РЕАЛЬНОСТЬ НОМЕР ОДИН

(фантастический роман)

Глава 1

ТАЙНЫЙ ШУРУП

Егорий с детства любил слушать сверчка. Сам не знал почему. Любил и все. А еще с малых лет его завораживали слова — шерхебель, шпиндель, карбюратор, копуляция... Там, где он жил, никто не знал, что эти слова значат. Многих других слов он тоже не знал: антрацит, резеда, любовь, катапульта... Но трудное слово «штангенциркуль» он выучил и умел выговаривать. Сначала по слогам: «штан-ген-цир-куль», а потом и скороговоркой: «штанциркль».

Постепенно его лексикон обогатили слова «рейсшина», «декольте», «энурез», «голкипер»... К совершеннолетию он осилил «полиспаст», «дефиле», «шампиньон»... Причем шампиньон представлялся ему французской площадью с ратушей во французском же городе. Ратуша виделась ему как Бастилия, которую все время штурмует разгневанный народ, возглавляемый храбрым Гаврошем. Гаврош же походил на Маяковского, которого, как и Егория, никто не любил, потому что тот писал не в рифму. Нет, не Егорий писал не в рифму, а Маяковский, а Егорий вообще старался не писать, в лучшем случае списывать, и через это много страдал. И с детских лет решил, что пойдет работать на станок, там ничего не надо читать, а читать Маяковского — и подавно! И там, именно где-то в станке, находился шпиндель.

Шпиндель, шпатель, сулема...

Станок пришелся ему по душе, в нем находился не только шпиндель, но и трансмиссия, кажется. И, кажется, киловатты и амперы. Нравилось ему, что станки стояли как солдаты — шеренгами и рядами, и выкрашены в защитную, солдатскую краску. В станках ощущалась и суровая внутренняя дисциплина: ни палец, ни целую руку сунуть в станок не решался никто.

Если случалось такое, то случайно. Попавшихся в станок дважды были единицы, им все время давали грамоты и медали.

Тонкости ремесла он постиг скоро, и ему поручили нарезать резьбу на гайке М-12, он горячо взялся за это и уже через неделю все склады были забиты великолепными, со свеженарезанной резьбой, гайками; экономисты подсчитали, что их хватит на семьдесят три года. Тогда он был брошен в прорыв: давно ощущалась нехватка болтов. Егорий и тут не подвел, вскоре отечественные болты вытеснили с рынка болты иноземные. Причем наши болты были крепче, крупнее и во всех смыслах надежнее. Их охотно брали на строительство секретных субмарин, годились они и для мирных целей, например, они безукоризненно подходили к пульмановским вагонам дальнего следования. Егорий гордился своей причастностью к большим делам.

И тогда его вызвали в Контору.

Кардамон, реферат, яранга...

Под ярким конторским электричеством люди крутили арифмометры или напряженно заглядывали в компьютеры: здесь билась государственная мысль, непостижимая простому человеку. Руководитель Конторы спросил у него строго, а он был очень строг с рождения, да добавила суровости ответственная конторская должность:

— Не обращались ли к тебе, Егорий, государственные злоумышленники с незаконными предложениями? Дебилы, повстанцы?..

— Никогда в жизни! — четко, по-военному ответил Егорий. — Но пасаран!

Тогда руководитель Конторы сказал торжественно:

— Егорий, поздравляю тебя! Есть мнение, что ты справишься и с тайным шурупом, который применяется исключительно в космических кораблях. Враги многое бы дали за него... Смотри!

Егорий родился и вырос на полустанке, где в лесопосадке стояла беленая известью трансформаторная будка, у которой прошло его детство, да к самым рельсам прилепились два камышитовых дома. Домика. В одном доме жила Натаха с бабушкой Клавдеей, а в другом — Егорий с дедушкой Егорием, — так уж заведено было в их семье, что Егориев всегда должно быть несколько.

Когда-то давно у Егория была мать — Нюся, а у Натахи отец — Прокопий, и они служили на железной дороге. У Нюси был муж, он тоже служил на железной дороге, а у Прокопия жена, и она — так уж сложилось — была железнодорожницей. Так вот, в один прекрасный майский день Нюся исчезла вместе с Прокопием, но исчезла так, что раз в год от нее приходил перевод на семьдесят семь рублей (и почему не восемьдесят или хотя бы семьдесят пять?) и новогодняя открытка с Дедом Морозом и Снегурочкой, и цифрой «1966», как будто Нюся застряла именно в шестьдесят шестом году и не знает, как выбраться оттуда.

В другой прекрасный день — сентябрьский, когда дождем залило весь полустанок и начало что-то искриться в трансформаторной будке, исчезли муж Нюси и жена Прокопия, — оказалось, их имена нигде не значились и быстро забылись. Они и сами забылись бы навсегда, но от них к новому году стали приходить переводы на семьдесят пять рублей (и почему не семьдесят семь?).

На эти деньги шиковать не приходилось, но два раза в году мясное ели — котлеты или голубцы. А к первому сентября Егорию покупали парусиновые туфли и две пачки гематогена по двенадцать копеек за пачку. Дедушка говорил тогда:

— Ничего, проживем. Лишь бы войны не было. Врагам нас не одолеть!

И добавлял:

— Но пасаран!..

Егорий не знал, что это значит, но ему тоже нравилось произносить раскатисто:

— Но пасаран!

Врагов он тоже не любил.

Натаху бабушка Клавдея водила в поселковую школу — до четвертого класса, а после четвертого она стала ходить одна; бабушка с бугра только смотрела ей вслед. До поселка было всего пять километров, и до тех пор, пока зрение позволяло, она смотрела, как внучка, придавленная холщевой сумкой с учебниками и тетрадками, шагает по раскисшей дороге, обходя большие лужи, перепрыгивая через маленькие: Натаха мечтала о резиновых сапогах, тогда бы она легко смогла переходить самые огромные лужи.

Бабушка Клавдея, проводив ее, время от времени поглядывала на ходики: не пора ли встречать внучку? Темнело в их краях рано, в четыре уже появлялись на небе тусклые осенние звезды, и бабушка тревожилась, потому что из недалекого леса нет-нет да набегали голодные волки (люди живут небогато, а с чего волкам сытым быть?) и задирали одиноких собак; собаки тоже не оставались в долгу, сбивались в стаи и рвали лес-

ных обитателей. Страшнее волков были люди; черная тарелка репродуктора все время рассказывала о шпионах, бандитах, расхитителях, дебилах и каких-то андроидах, расплодившихся без числа, но — слава Богу — они пока на полустанок не заглядывали. Или заглядывали, но их никто не заметил?

Егорий в школу не ходил, его не отпускал из дома дедушка Егорий.

— Чему там могут научить? — Спрашивал он как будто сам у себя, и самому себе отвечал: — Путному не научат! А грамоту я помогу тебе осилить, хотя сам в ней не больно силен.

Из школы, конечно, приходили, грозились забрать Егория в интернат, а дедушку Егория в дом престарелых, но дедушка показал на стену, где висела двустволка, и сказал:

— Первых двоих, кто зайдет в наш дом, пристрелю, можете даже не сомневаться. Хотите попробовать?

Никто попробовать не захотел. И даже те, кто поначалу вошли в дом, поспешили из него выйти. Приезжала пару раз из районного управления образования ученая комиссия, но в дом заходить тоже не стала, постояла у трансформаторной будки, спросила у Егория-младшего — не тянет ли его в школу, чего он растет, как бирюк? Он ответил комиссии, что ничего не забыл в школе, что у него есть «Арифметика, сиречь наука числительная...» Леонтия Филипповича Магницкого, а также занимательная книженция «Детский гостинец, или четыреста девяносто девять загадок с ответами в стихах и прозе, взятых как из древней, так и новейшей истории и из всех царств природы и собранных одним другом детей для их употребления и приятного препровождения времени». Читают они с дедом и растрепанные тома «Библиотеки учения, экономической, нравоучительной, исторической и увеселительной в пользу и удовольствие всякого звания читателей»... А это все полезные книги. Так что Егорий-младший научен чтению с младых ногтей. Писать тоже умеет знатно...

Комиссия вытаращила от удивления глаза и больше на полустанок не приезжала. Видимо, большая власть не дала команду разобраться с этими полустанцами. Власть, видать, и сама против этих книжек-учебников-алгебр-геометрий. Научился лозунги читать — и хватит.

Так и жили Егорий с дедушкой, а Натаха с бабушкой.

Натаха была кругом отличница — и по географии (знала, где на карте найти город Бузулук, и даже как-то была в этом городе), и по английскому (если бы вдруг попала в город Бирмингем или Ливерпуль, то не пропала бы там, сумела бы добыть кусок хлеба: give me the broad and butter), и по рисованию (когда она училась в третьем классе, в фойе кинотеатра была устроена выставка ее рисунков про весну, про родной город и про дружбу детей; по небу летали самолеты, похожие на воздушные шары, дети обжирались пломбиром, старики и старухи, взявшись за руки, протестовали против врагов). С дисциплиной у Натахи тоже было все в порядке (в дневнике одни пятерки, и бабушку в школу вызывали за все время только раз, когда завуч Вера Филипповна заметила, что у девочки прохудились парусиновые башмаки, и она третий день ходит в школу в рваной обуви). Завуч не знала, что перевод приходит к новому году, а пенсия бабушкина разбегается на макароны, подсолнечное масло и пшенную крупу.

До седьмого класса Натаха читала «Казахские народные сказки» и рассказывала Егорию об Алдаре Косе, а после седьмого стала читать «Декамерон». Егорий, привыкший к ее комментариям, просил объяснить и новеллы Боккаччо, и она с легким вздохом объясняла:

— Ну, это...в общем, когда жена говорит мужу, который залез в бочку, «левее, правее, до самого дна», то имеет в виду не его перемещения в бочке... Так мне кажется...

— А что же она имеет в виду? — спрашивал Егорий, как будто не понимал. Но скорее всего придуривался, он любил придуриваться.

— Да, что? — кивал головой дедушка Егорий.

— Это касается того, чем часто занимаются мужчины и женщины... я так думаю...

— Фу, какая гадость! — принялся плеваться дедушка. — Как пропускают такие книги? Это же разврат и разрушение совести...

А внук внезапно заинтересовался:

— В кино на этом месте всегда затемнение... Сначала целуются, а потом затемнение. Как тут узнаешь, чем они там занимаются?

— Так ты до сих пор не знаешь, что бывает между женщиной и мужчиной, когда они ложатся в койку?

— Не-ка... А что бывает?

— Тьфу ты! — дедушка сплюнул и пошел кормить кур.

— Пойдем к трансформаторной будке, — позвала Натаха Егория, — там никто не помешает, и я расскажу тебе...

Трансформаторная будка стояла в лесопосадке, и когда им не хотелось быть на глазах у бабушки и дедушки, они шли туда.

Айсберг, рефрижератор, степлер...

— Ты знаешь, хотя бы, что женщина с мужчиной устроены по-разному?..

— Ну... — промычал он.— Женщина размером меньше.

— Больше ты различий не заметил? — удивилась она.

— Заметил, — вспомнил он картонку от отрывного календаря на которой какой-то козлоногий мужик лапал огромную бабищу. — У женщин здесь больше, чем у мужчин.

Он показал рукой на ее грудь. И покраснел.

И тут же вспомнил еще одну картинку от календаря. И чего на этих картинках женщины всегда обнажены, мода, что ль, такая или климат чрезмерно жаркий? Вот и на этой — совершенно голая женщина лежала на узкой кушетке и прикрывала тонкой рукой пах, но ему казалось, что она ничего не прикрывает (были отчетливо видны слегка курчавые волосы), а наоборот — показывает на то место, где ниже живота угадывалась ложбинка (вот, вот в чем мы разные, но это ли имела в виду Натаха?).

— И еще что-то есть у мужчины, чего нет у женщины, — решился он.

— Точно так же, как у нее есть то, чего нет у него...

Разговор этот показался ему очень интересным.

— Почитай еще, — попросил он у нее. Она открыла книгу, немного помедлила, словно решая для себя: читать или не читать, уж больно диким казался ее сосед по полустанку. Или он все-таки придуривался? Но тряхнула головой, решилась: парень-то вон какой здоровенный вытянулся, не скажешь, что семиклассник. Да и заглядываться он стал на нее в последнее время, она это заметила. Может быть, он заглядывался бы на других, но других на полустанке не было.

— Слушай, — сказала она и начала читать: одну новеллу, другую... Он слушал, не перебивая, иногда только негромко вздыхал, должно быть, завидуя героям Боккаччо, представляя себя (неужели так скоро?) на их месте. Она мельком взглянула на него: в глазах Егория появился какой-то туман, на щеках полыхал густой румянец, как на морозе. Она поразилась этой перемене, и вдруг сама почувствовала, как горят ее щеки. Она продолжила: «...Девушку разобрало, и она, позабыв приличия, не постеснялась раздеться при Периконе, как если бы это была ее служанка, а затем легла в постель. Перикон не замедлил к ней присоединиться; потушив огни, он мигом оказался рядом с нею, сжал ее в объятиях и, не встречая с ее стороны ни малейшего сопротивления, затеял с нею любовные игры. Когда же она, до той минуты не имевшая понятия, как бодает мужской рог, его наконец восчувствовала, то словно раскаялась, что долго не сдавалась на уговоры Перикона, и теперь уже, не дожидаясь с его стороны приглашения так же приятно провести ночь, частенько сама стала его приглашать, но только не при помощи слов, — объясниться с ним она бы не сумела, — а при помощи действий...»

— Натаха, — перебил он ее вдруг, — покажи мне то самое, чего у меня нет...

— Ты очумел? — спросила она, постаравшись вложить в эти слова все возможное возмущение, но, кажется, не получилось. Даже удивления не прозвучало в них, но ее голос дрогнул — от чего?

— А картинок в книге нет? — спросил он.

— Нет, картинок совсем нет, — извиняющимся тоном ответила она.

— Жалко, — сказал он. И повисла тишина.

Она на всякий случай полистала «Декамерон», хотя и прежде листала его, тоже в надежде обнаружить картинки, но и тогда картинки не нашлись.

— А что, тебе жалко показать? — не успокоился он.

— Дурак! — сказала она, не найдя других слов. — дальше читать, нет?

— Давай! — согласился он без большой охоты.

Она продолжила, но сама почувствовала, что голос ее изменился, стал как будто глуше: «...и тут, сбросив с себя то немногое, что на нем было, разделся догола, а его примеру последовала девушка. Потом стал на колени, словно хотел молиться, а ей велел стать перед ним.

И так он стоял на коленях, и при виде ее прелестей похоть его все сильнее распалялась, следствием чего явилось вздымание плоти; Алибек же, в изумлении созерцая таковое явление, спросила: “Что это у тебя торчит, Рустико? У меня такой штуки нет”».

Егорий опять перебил Натаху:

— Не думал, что ты такая настырная...

Потом Натаха много раз вспоминала этот день, но не могла объяснить себе, как же получилось так, что книга выпала у нее из рук и она принялась дрожащими руками расстегивать воротник кофточки. Может, этого и не было вовсе, и ей только привиделось, как кофточка соскользнула с плеч и Натаха, оставшись в тоненькой маечке с надписью «От нас не уходят, от нас отстают», вплотную подошла к Егорию, и тот вдруг побледнел; она потянула маечку вверх и тут же открылись взору Егория вполне оформившиеся груди.

— Вот... смотри, — тяжело выговорила она. — У тебя такого нет?..

Он вздохнул и ответил:

— Нет...

Егорий поколебался немного и дотронулся до ее груди, и тут же отдернул руку — обжегся.

— Спасибо, — растерянно сказал он.

— Пожалуйста, — ответила она и опустила майку. Но почему-то соски ее не захотели прятаться, выпукло обозначились под тонкой тканью.

Больше никогда не читала она ему «Декамерон». Даже к трансформаторной будке они почти перестали ходить. А потом как-то очень быстро кончилось детство, она уехала в институт, а он пошел в цех, где стояли шеренгами и рядами станки, и стал производить тайный шуруп, без которого не поднимется в небо ни одна ракета, ни один самолет. Из специального воздушного железа делался этот шуруп, и был легче всех газов на земле, — и это знали все, но никто, кроме изобретателя шурупа, не знал главную тайну шурупа, а именно: он делался не из железа, а из специальной огнеупорной глины. Теперь эту тайну доверили и Егорию.

Так что человек он был надежный. Руководитель Конторы мог на него вполне положиться.

Банджо, бакшиш, бамбук...

Глава 2

ГАЙКА ПОВЫШЕННОЙ ТОЧНОСТИ

Натаха закончила Физико-физический институт секретных конструкций и стала работать на совершенно секретном полигоне, который был расположен в степях Казахстана. Никто не знал, почему все полигоны находятся в Казахстане, а Натаха знала: отсюда было ближе всего до Луны, которая — всем известно — планета Солнечной системы; здесь рукой подать и до Солнца, ну а кроме того в Казахстане живут гостеприимные люди; космонавты, изголодавшиеся в своих железных капсулах, всегда могли рассчитывать на горячие баурсаки, ароматный бесбармак и прохладное куже... Куже сразу снимало головную космическую боль, которая всегда сжимала головы, как будто тисками на крутой траектории снижения, и врачи лечили ее ношпой и пирамидоном, а надо было — куже. А лучше всего был кипящий ледяной кумыс, он легко избавлял от космической тоски, и даже те, кто уже хлебнул межзвездного ужаса и галактического одиночества, после пиалы кумыса готовы были на новые полеты.

Полигон был очень далеко от родной трансформаторной будки, приходилось туда добираться на рейсовых цеппелинах, зато там зарплату обещали очень высокую. Денег нигде не давали, поэтому ценились предложения.

На полигоне жили суровые и неприветливые люди, они перед строем давали клятву не разглашать тайны и держать язык за зубами, в противном случае их ждал безжалостный расстрел или медленное угасание в лабораториях, где они добровольно вызывались на самые опасные опыты. Натаха знала, например, что добровольцы испытывали воздействие невесомости на эффективность зубного порошка и пасты для полости рта. В космосе они приобретали свойства крупного наждака и за год полета стирали зубы до самых корней. Поэтому до Марса и обратно космонавтам требовалось по три вставных челюсти.

На добровольцах испытывали водонепроницаемые портянки, которые легко сохраняли человеческое тепло при абсолютном нуле, но при этом ноги и все тело так потели, что потребовалась разработка специальной дренажной системы. Что и было в конце концов сделано.

Эти отважные люди — добровольцы — первыми испробовали настой из черники, собранной в Чернобыльских лесах; настой был очень хорош от желтой галактической скуки, профессиональной хвори звездных скитальцев, но после приема снадобья время от времени их постоянная угрюмость сменялась безудержным смехом, они словно срывались в штопор неостановимого веселья и тогда вместо позывных из глубин космоса доносился страшный хохот.

Нет, незавидна была доля тех, кто не сумел сохранить тайны Полигона. Если такое все-таки случалось, то большинство несчастных предпочитали быть расстрелянными или замурованными в стены строящихся зданий (такая традиция очень дисциплинировала полигонцев), чем попасть в добровольцы, тем более, что вскоре предполагались испытания (слух, ничего больше) интеллектуальных планетарных вездеходов, в систему управления которых должен быть встроен живой человеческий мозг. Конечно, некоторые добровольцы могли соблазниться этим проектом — все-таки лучше быть мыслящим бронированным джипом, чем испытывать на себе веселую силу черничного настоя, но трудно приходилось этим человеко-машинам, когда космическая экспедиция завершала свою работу и улетала на Землю, оставляя ставшею не-

нужной технику; всегда идет борьба за каждый лишний килограмм стартового веса. И тогда интеллектуальный внедорожник оказывался обреченным на тысячелетнее одиночество, потому, что человек уже научился строить неизнашиваемые механизмы, жалея металл и никогда не жалея живое. Эти человекообразные джипы сотни лет будут ползать по чужим планетам, проклиная космос, вселенную — все, все на свете, а когда сядут аккумуляторы, питающие энергией колеса и гусеницы, они застынут под светом ненавистных звезд и еще сотни лет будут вспоминать какую-нибудь речку Кушум, клев на заре и вкус ежевики.

Отважные и очень умные люди работали на Полигоне. Они не жалели себя во имя процветания цивилизации. Они готовы были и день, и ночь питаться порошковым молоком, есть мясо выведенных под микроскопом диковинных животных, пить спирт, полученный из опилок баобабов, годами избегать половых контактов, которые полезны для организма, но губительны для духа, с восторгом принимать все новое, какой бы дикой ни казалась эта новизна: они аплодировали, когда был изобретен жидкий нечерствеющий хлеб; он был всем хорош, только вкусом походил на полынь, и от него издыхали мыши и крысы. Они радовались, как младенцы, когда был объявлен набор по революционной программе «Дети космоса»; смысл ее был простой: будущие космонавты должны быть зачаты в космосе. Было набрано пятьсот женщин и две с половиной тысячи мужчин репродуктивного возраста и отправлены на околоземную орбиту на гигантском корабле. Разработчики программы рассчитывали, что перебор мужчин гарантирует обязательное зачатие, а в перспективе — приспособленное к невесомости, закаленное жестким излучением потомство. И не их беда, что эксперимент сразу начался космической оргией и продолжился горячей потасовкой — острая нехватка женщин привела к поножовщине, чуть не сотню мужиков — самых брутальных — выбросили за борт, и они до сих пор вращаются спутниками вокруг гигантского орбитального корабля.

Натахе была поручена разработка гайки повышенной точности. И прочности: одна небольшая гаечка, не хромированная, не луженая, должна была выдерживать пятнадцать тонн веса. Без этой гайки нельзя было даже планировать возведение домов повышенной этажности, а без них на Земле скоро ступить будет некуда — кругом небоскребы, а с крыш небоскребов все время валятся отходы, — и перспектива выжить, не задохнуться экскрементами, есть только у обитателей самых высоких домов. Используя гайку повышенной точности, можно было возводить дома трехкилометровой высоты, на верхние этажи которых добираться придется на ракетных лифтах. Без этой высокотехнологичной гайки нельзя было даже думать о межзвездных перелетах, которые — доказали ученые — возможны на кораблях весом не менее миллиона тонн; подсчитано было, что небольшому экипажу в сто человек понадобится для полета одной докторской колбасы шестьсот пятьдесят тонн, воды нужно, если умываться хотя бы через день, двести тысяч тонн, учитывая и регенерируемую влагу. Этот гигантский корабль невозможно соорудить без гайки повышенной точности.

Работа спорилась, фотография Натахи висела на доске почета Полигона. Она была награждена почетной грамотой и видеопроигрывателем с набором стереодисков о природе средней полосы. Диски были сняты специально для нее, она сама рассказывала операторам, что ей хотелось бы увидеть, и в кадр попали и знакомая до боли лесополоса, и трансформаторная будка. Теперь по вечерам она включала проигрыватель и как будто возвращалась на родной полустанок: ей нравилось смотреть, как вечером солнце опускается на землю и тогда рельсы упираются в уставшую за день звезду, и пассажирские поезда, которые проходили вечером, без всякого парома или моста могли перебраться на Солнце. Она любовалась трансформаторной будкой, которая немного напоминала ей мавзолей ее одинокого детства. Она попросила, чтобы эти кадры сопровождались музыкой и ей записали тягучую песню, сочиненную одним норвежцем; она не знала норвежского языка, но понимала: так поют о любви. Потом один знакомый норвежец перевел ей текст песни и она убедилась, что была права:

Зима пройдёт и весна промелькнёт,И весна промелькнёт;Увянут все цветы, снегом их занесёт,Снегом их занесёт...
И ты ко мне вернёшься — мне сердце говорит,Мне сердце говорит,Тебе верна останусь, тобой лишь буду жить,Тобой лишь буду жить...Ко мне ты вернёшься, полюбишь ты меня,Полюбишь ты меня...

Про Егория она иногда думала: «Ну, почему, почему его так зовут? Может быть, все-таки Григорий? Гриша?»

Она не видела его десять лет, потому что не знала, где находится цех со станками, а он, наверное, не знал, где располагается Полигон, а может, и знал, но не подавал виду — это был государственный секрет. Но они хотели увидеться, и думали иногда, что их счастье заключается в том, чтобы быть рядом, лучше всего — у трансформаторной будки. Но тайный шуруп и гайка повышенной точности пока разлучали их, и никто не знал, как это исправить.

Купидон, рудимент, абажур...

Глава 3

ПРЕОДОЛЕНИЕ

На Земле уже никто не спорил, что нужно переселяться на другую планету. Все давно были «за», и в научных журналах это называлось аксиомой. Даже старики согласно кивали головами, только вздыхали тяжело: жалко все-таки будет расставаться с Землей.

Старая планета едва-едва терпела на себе людей: то цунами накатит, то вулканическим пеплом засыплет целое полушарие, то три года поливает дождем пополам со снегом. А в прошлом году на коралловых островах принялась расти древовидная картошка, а вслед за картошкой начал размножаться злобный колорадский жук, который страшнее саранчи. Плоды у этой картошки крупные — с арбуз, но растут высоко, убирать трудно, много людей во время уборки побило. Пришлось срочно изобретать специальный картофелеуборочный комбайн, который был похож на пожарную каланчу. Колорадский жук тоже не подарок — кусачий, как кобра, правда, жирный...

А в последнее время в пустынях стали сами по себе — без дождей, без наводнений — разливаться озера с коричневой газированной водой; вода эта была кристально чистой, если не считать коричневый осадок, и соленой, а главное — необыкновенно вонючей. Вода эта убивала все живое, хотя, честно говоря, живого в пустынях было немного, в основном одичавшие верблюды, ядовитые, как каракурты.Знающие люди говорили: должно быть, звезда взорвется, вспыхнет сверхновой. А звезда эта — Солнце.

Нужно было бежать.

Абракадабра, базилик, абсолют...

Ученые все обосновали, подсчитали на сверхмощных компьютерах, философы одобрили и даже посоветовали: уносить ноги со старой планеты нужно как можно быстрей, до следующего миллениума. Иначе будет совсем худо. Как в понедельник после попойки.

Народу, конечно, ничего не сказали. Все равно всем места на кораблях не хватит, да и кораблей пока нет. Еще даже гайка повышенной точности не изобретена, еще толком не проведена разведка ближайших звездных систем; первая такая ракета улетела два года назад, космонавты обещали вернуться годика через три-четыре, но по тому, как плакали жены, все провожавшие

поняли — эти разведчики не вернутся, или вернутся их пра-пра-пра-пра (и так семьсот пятнадцать раз)-пра-пра...внуки.

На Полигоне считалось, что главная проблема, которую предстоит преодолеть на пути в глубокий космос — одиночество, на которое будет обречен экипаж, отправившийся к звездам, даже если он будет состоять из тысячи человек. Замкнутость пространства корабля, продолжительность полета сделают невыносимым существование людей, вынужденных изо дня в день, из года в год, из столетия в столетие видеть одних и тех же соседей, один и тот же интерьер. До цели, возможно, доберется только седьмое или восьмое поколение, тех, кто стартовал с Земли, несмотря на то, что продолжительность жизни межзвездных скитальцев будет доходить, благодаря применению антибиотиков и витаминных добавок, до пятисот лет.

Против одиночества были разработаны специальные вакцины, но кроме отвлекающей тошноты они ничего не давали. Более эффективны, особенно на начальной стадии, были межзвездные диеты и комплексы физических упражнений, но и они приедались; существовала, конечно, и опасность за многие сотни лет полета превратиться в груду тренированных мышц, свихнувшись на спортивных тренажерах.

Натаха, как молодой специалист, тоже внесла свою лепту в решение злободневной проблемы, и некоторые ее разработки были рекомендованы к внедрению. Например, она научно обосновала возможное благотворное влияние ношения на межзвездных кораблях масок наподобие карнавальных, и при этом соблюдения строгой конфиденциальности. Маски необходимо менять каждую неделю, как постельное белье, но лучше ежедневно. На корабле несложно будет организовать производство масок, применив безотходные технологии, и тогда космонавт будет всегда в гуще сменяющихся лиц; создастся полезная иллюзия многонаселенности корабля, а главное — непременно будут нарушены заданность и скучная списочность; как и на Земле, тебе будет казаться, что в коридорах корабля можно встретить кого угодно. И уже сейчас никто не удивляется, если слышит от собеседника взволнованный рассказ о его встрече с изобретателем футбола, или знакомстве с великим Мастером караоке.

Натахе пришлось даже самой отправиться в коротенький испытательный полет — всего-то на полтора года — и эффективность ее «Теории масок» была блестяще подтверждена на практике. Все так перемешалось в этом полете, столько было новизны и тайны, что возвращался экипаж из тренировочного полета неохотно, а, вернувшись, многие так и не решились расстаться с масками — для них это стало не суровой необходимостью, а образом жизни.

Предложила Натаха в дальних полетах практиковать и регулярный обмен женами и мужьями. Нет ничего скучнее, чем на протяжении многих веков межзвездного перелета изо дня в день слышать, как она погубила ради него свою молодость и неземную красоту, а он пожертвовал ей свой талант, сейчас бы уже мог быть чемпионом района или даже области по древнейшему виду — городошному спорту.

Последнее ее предложение пока не получило широкой поддержки, но желающих немедленно отправиться в полет прибавилось.

Но все-таки основные ее усилия были направлены на разработку гайки повышенной точности. Она ночами не смыкала глаз над книгами, не отходила от кульмана и компьютера, брала на карандаш все интересное, что иногда происходило вокруг, — никогда не знаешь, что может пригодиться в научных изысканиях. Сама себе она напоминала алхимика, наобум смешивающего микстуры, минералы, высушенные и толченые лягушачьи лапки, тараканьи сердца. Ее научный руководитель любил повторять, что случайностей на свете не бывает, только закономерности. Она привычно соглашалась с ним, но иногда спрашивала у себя:

— А что, когда я показывала грудь тому мальчишке у трансформаторной будки — как же его звали? — это было тоже закономерностью?..

И она вздыхала.

Она никогда не забывала, как его звали, ей нравилась эта нехитрая игра в «не помню». Так жизнь казалась полнее; хотелось думать, что в ней были уже потери, а вскоре последуют и обретения. Иллюзии были надежнее реальности.

А в реальности в нее был влюблен Главный Технорук Полигона — Пахом Пахомович. Так она сама думала — что влюблен, а может, в нем пылала одна только страсть, поэтому она отвергала его настойчивые ухаживания. Однажды он даже принес ей букет ромашек; они росли вокруг взорвавшейся много лет назад тринадцатой стартовой площадки, и она узнала, что Технорук сам их собирал. Приехал на «Уазике» и целый час рвал цветы, рискуя разодрать сапоги среди ржавого и покореженного железа, а потом завернул ромашки в газету и повез их Натахе (правда, он называл ее Натальей Павловной, не иначе). Постепенно и все на Полигоне стали называть ее так, а она скучала по своему настоящему имени — Натаха.

Она цветы взяла, но больше ничего ему не позволила, да он и не пытался.

Бонус, капелла, абсурд...

Глава 4

АТОМНОЕ ОДИНОЧЕСТВО

Ученые Полигона насчитали триста разновидностей одиночества. Каждая из них была изучена, их признаки изложены в фундаментальных научных работах, и считалось, что рано или поздно одиночество будет побеждено. Конечно, кроме атомного. По-научному эта разновидность называлась Malacosoma franconica, кажется, так же именовалась одна из бабочек, которые прежде водились в этих местах, или водились в других местах. Но между собой эту «бабочку» здесь называли «атомной». Рассказывали, что много лет назад в глубоких подземных бункерах несли боевое дежурство офицеры ракетных войск. Сверху над ними были мощные антенны, которые прощупывали каждый клочок охраняемого пространства, сверху были зенитные пушки, которые могли попасть даже в летящего воробья, а внизу в подземелье в полной готовности стояли баллистические ракеты, которые должны были обрушиться на врага, если тот осмелится обрушиться на нас. И вот возле этих атомных ракет несли офицеры свою бессонную службу, готовые в любую минуту нажать на стартовые кнопки. Все было устроено так остроумно, что один офицер, случись ему даже сойти с ума от подземной тоски, не мог запустить ракету, для этого нужно было одновременно троим, а то и четверым ракетчикам нажать на свои кнопки. Все они находились поврозь — каждый в своем бетонированном помещении, и неделями, месяцами не видели никого, не слышали ничего, кроме военных команд. Подземная жизнь очень тяготила, несмотря на хорошую зарплату и сухой паек, и постепенно ряды ракетчиков стали редеть. Кто принялся пить — не может русский человек в тяжелые минуты без водки, а легких-то минут никто никогда не видел; кто выхлопотал справку о тяжелом заболевании — популярнее других стали куриная слепота, свиной грипп и коклюш; кто дезертировал и был застрелен, пытаясь преодолеть охранный периметр. А некоторые додумались до того, что принялись вдыхать сахарную пудру и, получив затемнение в легких, вообще откосили от службы. И постепенно дежурная смена ракетчиков стала длиться и по месяцу, и по году... А что поделаешь, офицеров не хватало.

Но вот чудо — пошел и обратный процесс. Некоторые ракетчики стали тяготиться редкими выходами на поверхность. Многих из них здесь никто не ждал: жены давно бросили их, дети позабыли, друзья откровенно смеялись им вслед.

И тогда офицеры все реже стали подниматься на поверхность, последняя смена спустилась в бункер в 1967 году. До сих пор они не вернулись, и никто не знает — там ли еще дежурная смена, и есть ли под землей, в бетонном далеке, хоть кто-то, кто нажмет на кнопку, когда придет ее время. Время кнопки.

Вот это и назвали атомным одиночеством. Malacosoma franconica. Но почему все-таки оно названо по имени бабочки?

Эти бабочки, красивые, как пятнистые змеи, исчезли с полигона сразу после того, как взорвалась тринадцатая пусковая. Тогда же исчезли и муравьи, но их никто не заметил. А бабочки были приметные, жалко, что они пропали, без них по вечерам стало еще тоскливее...

Но однажды они вернулись. Уже после взрыва на шестнадцатой и пожара на сто пятидесятой бис. Все уже забыли о них, а они появились. Стали еще красивее, наряднее и, кажется, крупнее — примерно с подушку. Не бабочки, а целые планера.

Все на Полигоне не могли налюбоваться на вернувшихся, говорили даже, что это прекрасное насекомое может стать символом Полигона, но однажды обнаружили, что оно, это создание, радиоактивно. Те, кто больше всего восторгались бабочками, получили огромные дозы излучения, и постепенно на их место пришли другие исследователи и изобретатели — пока живые. И эти вновь пришедшие принесли с собой панический страх перед Malacosoma franconica, бабочку принялись интенсивно уничтожать — из огнеметов, пулеметов, пистолетов. Своеобразным спортом стала стрельба по бабочкам из обыкновенных рогаток. Чемпионом Полигона стал Кантемир, дублер космонавта под номером пять тысяч триста двадцать; прошел слух, что скоро он будет запущен на орбиту вокруг Солнца, чтобы вблизи убедиться в том, что звезда наша безвозвратно остывает, и скоро уже — через миллион лет или на той неделе — вспыхнет сверхновой или превратится в злобного желтого карлика.

Радиоактивные бабочки научились скрываться от метких стрелков и стали забиваться в подземные бункеры, а там — на беду дежурным, но всеми позабытым ракетчикам — стрельба была строго запрещена, даже из рогаток. Ведь никто не знал и не мог знать, как поведут себя грозные атомные ракеты, если в них нечаянно попадут револьверные пули или галька, отшлифованная временем и мировым океаном и пущенная из рогатки твердой офицерской рукой. Можно было только предполагать, что чувствовали подземные ракетные сидельцы, глядя с ужасом, как порхают с пульта на пусковые кнопки и снова на пульты, смертоносные насекомые.

Вот оно, атомное одиночество!..

Аболла, дайвинг, оберон...

Глава 5

ОДИНОКОЕ ОДИНОЧЕСТВО

В бункерах было все необходимое для жизни — вода, тушенка, сухари, большие запасы моршанской махорки, спирт, дрова, антрацит. По-своему там было даже уютно, только никогда не смолкала капель; тяжелые капли срывались с потолка и летели вниз, как гранаты, вода сочилась по стенам, хлюпала под ногами. Да странные, светящиеся в ночи бабочки медленно летали под потолком, не опасаясь выстрелов, разве только случайных.

Влюбленный Пахом Пахомович как-то рассказал Натахе, что люди, живущие неподалеку от бункеров, не раз слышали детский плач, раздававшийся из бетонных глубин.

— Маугли нашего века? — спросила она.

Технорук грустно улыбнулся, он не переносил, если в его присутствии она говорила о ком-то другом.

— Этому явлению может быть несколько объяснений, — начал он скучный рассказ. — Первое — дети сами собой появились в бункерах в результате атомных мутаций. Второе — дети выросли из межзвездных спор, притянутых из космоса земным притяжением. Третье — это совсем не дети плачут, а рыдают бабочки-мутанты...

— А четвертое, — перебила она его, — офицеры взяли с собой в бункера жен, тех, которые не успели сбежать, и нарожали детей самым старинным методом... Вам, Пахом Пахомович, знаком этот метод?

Технорук задрожал всем своим крупным телом:

— Не шутите так, Наталья Павловна! Вы же знаете о моих чувствах!..

— Пахом Пахомович, родина доверила нам самое важное на земле дело — спасение человечества, а вы не устаете говорить о своих личных чувствах, не мелко ли? — урезонила она его.

Он знал, что если женщина, когда ей признаются в любви, вспоминает о долге перед родиной, то у признавшегося бедолаги шансов на взаимность никаких, но не мог удержаться, бурчал свое:

— Я люблю вас... тебя...

Она смеялась и почему-то вспоминала Егория. Где он?

Аббревиатура, абсурд, багет...

От него не было ни слуху ни духу. Мог бы хоть открытку прислать. Ну, раз в году — хотя бы на восьмое марта. Но не присылал.

Она как-то заглянула в зеркало и зацокала языком — от неожиданности открывшегося. А открылось ей, что в зеркале живет какая-то чужая женщина, еще молодая, но очень похожая на немолодую. И в глазах у нее горит прямо нечеловеческая, космическая тоска. Ей, должно быть, рожать детишек пора, заводить мужика, приводить его из дикого состояния в человеческое, учить завязывать галстук, варить пельмени и жарить яичницу, а она все дни свои проводит на Полигоне, ломая голову над гайкой повышенной точности, и даже по вечерам не расстается с карандашом, делая наброски этой злополучной гайки в секретной тетради (строжайше запрещено было хоть что-нибудь писать не в секретной, проштампованной тетради; даже заявления в Объединенный Профсоюзный Комитет Полигона на выделение ей и бабушке по два ведра картошки она обязана была писать в этой тетради, иначе на первый раз штраф, а на второй, само собой, — расстрел).

Ей должно было уже поднадоесть замужем, и уже украсить мужа первыми, еще нежными, рогами, а у нее еще и мужа-то не было. Стыдно сказать, она была девственна.

Натаха — нет, Наталья Павловна, еще раз заглянула в зеркало: привлекательна, стройна, неплохо одета, в меру косметики, но почему же она не выпускает из рук карандаш? Как будто для рук не существует ничего иного?

Однажды в магазине конфискованных товаров ей продали видеокассету (только по разрешению Объединенного Профсоюзного Комитета) с фильмом «Чапаев» — классику мирового киноискусства. Она знала фильм наизусть и во время просмотра подсказывала главным героям их реплики: «...ты, Василий Иванович, за большевиков али за коммунистов?..» Но вдруг Чапаев задрожал, пошел мелкой рябью и пропал с экрана. На его месте появились совершенно незнакомые (возможно, если бы они были Натахе знакомы или даже приходились родней, это несколько бы уменьшило шок, который поразил ее при виде их) и совершенно голые люди — мужчины и женщины, которые принялись вытворять такое... такое... такое...

Даже бесстрастное перо романиста, схожее с безжалостным скальпелем, вырезающим болячки, не в силах описать оргию, что происходила на экране. Одни голые как будто пытались пожрать других голых, а другие — пожираемые — стонали и кричали от наслаждения, и сами бросались на потную, извивающуюся, сладкую плоть. Особенно неистовствовала одна, в кисейной маске, совсем еще молодая. Она — и это было заметно — наслаждалась не только оргией, но и тем, что их снимает видеокамера. Натаха вгляделась — что-то неуловимо знакомое было в этой валькирии.

Вот что было на конфискованной кассете под Чапаевым.

Рука Натахи потянулась к выключателю, ведь за порнографию по суду обязывают носить специальную срамную одежду — прозрачную блузку, коротенькую юбочку и надпись «Разврат — разруха души», но рука как бы сама собой повернула регулятор громкости, чтобы, значит, посторонние не услышали, и из руки выпал карандаш.

Она дважды просмотрела нестертую преступную запись, поставила ее и третий раз, но какой-то посторонний звук испугал ее, она выключила проигрыватель, и звука не стало. Как будто у стонов и криков на экране появилось эхо. Она осторожно включила кассету, и через минуту-другую эхо вернулось. Ее бросило в пот, а потом и в дрожь, когда она поняла, что это она постанывает — подстанывает — в такт происходящему на экране.

Она бросила кассету в мусоропровод, предварительно, как преступница, стерев с нее огуречным раствором возможные отпечатки пальцев. Ночью лежала без сна, а в голове крутились, чередовались сцены из выброшенной кассеты: животы, груди, мокрые обсосанные губы. Натаха встала, накинула халат, спустилась в подвал дома, где стояли мусорные контейнеры. Она нашла какой-то железный прут и принялась копаться им в ящиках. Спугнула с добрый десяток промышлявших в ящиках крыс, и с полдюжины кошек, промышлявших крыс, перепачкала халат, но кассету нашла.

В это время в подвале возникла, как будто материализовалась из мусора, Заместитель Оберкапо Дома, отвечающая за порядок на первых этажах и подвале — Нина Арнольдовна, — и чего им вечно не спится этим ответственным, и откуда у них такой нечеловеческий нюх? А может, он на самом деле нечеловеческий?

— Не спится, Наталья Павловна? — спросила та вкрадчиво. Она всегда и всех подозревала в противоправной деятельности, такое у нее было призвание. И, конечно же, она была права: кто может про себя сказать, что хоть раз в жизни он не допускал эти самые противоправные проступки, или не хотел допустить? Кто без греха?

— Да вот, случайно выбросила в мусоропровод любимый фильм — «Чапаев», — пустилась Натаха в объяснения, — коекак нашла... А здесь я сейчас приберу, товарищ капо, не беспокойтесь...

— Знаете, — оживилась Нина Арнольдовна, — я с самого детства люблю старинные революционные фильмы. Вот люди были! Жили в дикие времена, без Интернета, без видео, в разрозненных, враждующих странах, а сколько в них было веры в грядущую справедливость!.. Вы так не считаете?..

— Считаю, да, считаю... веры было хоть отбавляй...

— И не было организующей и направляющей силы Всемирного Дисциплинария, — сказала Нина Арнольдовна. — Разве не так? Не так?

— Конечно, конечно, — подтвердила Натаха. — Заповеди Дисциплинария у меня дома всегда на видном месте...

— Нынче многие маскируют преступные помыслы мишурой красивых слов, — задумчиво произнесла Заместитель Оберкапо. — Однако нет глубины и крепости в убеждениях... Нужно, чтобы в душах наших с младенческих лет был свет Правды... Вот ты, Натаха, о чем мечтаешь? Что тебе снится?

— Ничего такого мне не снится, — покраснела девушка. — Как всем...

— Я знаю, что ты девушка правильная, живешь по Дисциплинарию, но я ни это сейчас имела в виду... У тебя мечта девичья, человеческая есть?..

— Мечта? — удивилась Натаха, она даже не предполагала, что люди из службы Оберкапо знают такие слова. — Есть... Как можно скорее закончить работу над своим заданием, а кроме того, быть примером, крепить...

— Ну, заладила, — с раздражением перебила ее Нина Арнольдовна, — у тебя хотя бы жених есть? Впрочем, служба Правды не давала пока таких сведений на тебя... А тебе пора и семью заводить... В заведенном порядке подашь заявление, и тебе подберут хорошего юношу или неиспорченного холостяка... Выбор сейчас большой...

— Спасибо, товарищ Капо, — подняла ее Натаха в должности, — но мне пора. Завтра рано вставать...

— Иди, иди... Как-нибудь соберусь к тебе в гости, вместе «Чапаева» посмотрим... Лады?..

— Хорошо, — сказала Натаха.

Надо было стереть пленку, разбить молотком, спалить в микроволновой печке, растолочь в ступе. А у Натахи рука не поднялась, так нравился ей Чапаев. А после того, как героический начдив уплывал в историю, на экран прорывались голые стонущие тела; она привыкла смотреть кассету почти каждый вечер, и постепенно перестала различать, где кончается Чапаев и где начинается оргия: ей казалось, что Петька с Анкой тоже среди этих людей в масках, бьющихся за наслаждение как за главное счастье мира.

Но и они были поражены одиночеством, Натаха назвала его одиноким одиночеством. Наверное, они думали, что чем плотнее прижмутся друг к другу, тем меньше пространства останется для тоски и боли, но они ошибались, думала она.

Геодезия, полиграфия, а капелла...

Глава 6

ГОРЬКОЕ ОДИНОЧЕСТВО

Лет тридцать назад люди заметили, что сильно стала горчить белорусская ягода черника. Прежде ее даже с молоком ели, такие в этой самой чернике были болотная нежность и лесная сладость, и вдруг стала ягода, как хина, и запах испортился, и цвет обесцветился. А произошло это примерно в то время, когда прямо на старте растаяла — взяла, да испарилась, исчезла с глаз — новейшая многоступенчатая ракета; сам изобретатель ракеты не знал, сколько у нее ступеней, поговаривали, что не меньше ста сорока. И даже больше. Предназначалась ракета для географических исследований: измерять реки, высоту гор, уточнять орбиту Земли, — что-то она нынче без всякой стабильности несется в пространстве, и есть подозрения, что несется она не совсем туда, а если быть честным, то совсем не туда; и куда мы вместе с ней попадем — никто не знал, а теперь, наверное, и не узнает, ведь улетучилась многоступенчатая ракета.

Но это к слову — о ракете. А главное — черника. Горькая, мелкая, бесцветная. Ну чисто дикий крыжовник.

Первый, кто попробовал эту новую чернику, был Технорук Пахом Пахомович. Шел как-то по лесу на двадцать седьмой радиоактивной площадке и наткнулся на ягоду, попробовал — ничего его не берет — и стал ее называть так — горчика. Но ему она очень понравилась, он и тертый хрен ел, как мороженое, и корейскую приправу покупал ведрами — про запас; он любил все переперченное, пересоленное, резкое, бьющее в нос, царапающее горло. Может быть, именно поэтому ничего его не брало — ни ангина, ни куриный грипп, ни даже эта самая горчика, которая, как оказалось потом, была не простой черникой, а, скорее всего, модифицированной в глубоком вражеском подполье неопознанной отравой. Кто-то, у кого руки чесались, приготовил эту ягоду на погибель всему человечеству, не иначе.

Генеральный Куратор Полигона Демьян Третий, Живущий для Народа, во время политинформации проверяя ногти сотрудников Департамента Жестких и Мягких Конструкций, как-то сказал:

— Внешних врагов у нас, слава Дисциплинарию, нет. Мы не знаем о них, поэтому привычно считаем, что их нет. Но опаснее внешней угрозы — внутренняя. А она, как известно вам,

сгущается, угрожает всему нашему гениально устроенному и точно налаженному обществу. Помните, как в прошлом году даже у нас на Полигоне появлялись электронные воззвания, авторы которых требовали... вы только подумайте — требовали! — сделать гласными наши научные разработки, и уверяли, что готовится Новый Космический Ковчег (Ковчег надежды), места на котором гарантированы только элите. Какая наглость — распускать гнусные слухи. Это происки врага, и вы знаете, что они были благополучно пресечены, Народный Суд вынес справедливый суровый приговор: злоумышленники были вычислены, схвачены и замаринованы в дубовых бочках с красным перцем. Поделом же им... Вот и горчика выведена презренными подпольщиками...

Роман, трилогия, верлибр...

На обыкновенных людей горчика действовала самым неожиданным образом. Сначала ничего не замечали, а потом заметили — удивились, и даже стали опасаться. Да, и как не опасаться: один, съев всего-то пригоршню, стал летать — неуклюже, не как орел или журавль, но все-таки получил возможность передвигаться по воздуху, как воздушный шар. Это ему оказалось кстати, потому что там, где он жил, от землетрясений пришли в негодность все дороги, стало невозможно ходить, да и обувь быстро изнашивалась. А по воздуху-то и приятнее.

Другой принялся сочинять романы. Ни с того, ни с сего. Копался на грядках — баклажаны не задались — и вдруг пошел к кадке с дождевой водой, руки вымыл, да с мылом, вытер их насухо и пошел в дом. Клава, сожительница его, удивилась, чего он надумал? Уж не бутылка ли у него на чердаке припрятана? Вот гад! И баклажаны уродились чахлые, как гороховые стручки, и картошку эти перламутровые жучки жрут, аж хруст идет, и вечнозеленые помидоры декабря ждут, а он водку лакать? Ну, это он зря! Смотри-ка, нашел дурочку!

Клава выждала пару минут и потихонечку пошла за сожителем, чтобы взять его с поличным; без скрипа открыла дверь, как разведчица, и остолбенела! Петро — кажется, так его звали, сидел за кухонным столом и чего-то писал в тетрадке.

— Ты чего, Петро? — встревожилась женщина. — Заболел?

— Как будто здоров...

— А если здоров, то кто картошку полоть будет? Дядя будет?.. Сосед?..

Обычно упоминание о соседе вызывало у Петра сложные чувства, хотелось просто морду набить, а в этот раз он пропустил гнусные слова мимо ушей.

— Я картошку полоть не буду, дешевле ее купить, хватит уродоваться...

— А ты на нее заработал? Заработал, я спрашиваю?..

— Заработал, — сказал он и опять погрузился в тетрадь.

Клаве стало дурно. Она накапала валерьянки, закусила малосольным огурчиком — горькая она, валерьянка, а под огурчик ничего. Под огурчик и водочка хороша. Батюшки, и чего только не приходит людям в голову! — встряхнулась она и продолжила допрос:

— Правильно, теперь будем чистописанием заниматься...

Она заглянула через плечо сожителя и прочитала: «Голубой туман струился над полуночной землей...»

— Чего это такое ты написал? — испугалась она. На донос было непохоже, да и время для доносов неподходящее; рекомендовалось писать после двенадцати, когда улягутся спать родные. Обер-капо второго микрорайона шутил иногда: «Донос, как понос, в полночь он тебя пронес...» Все знали, что это куплет из юмористической передачи на трехсотом канале, но смеялись над шуткой, как будто в первый раз слышали. Всем хотелось улыбнуться вместе с капо, хватит уже хмуриться, жизнь с каждым днем налаживается, и могла бы быть еще лучше, если бы не проклятые подпольщики.

Куплет на самом деле хороший, талантливая вещь, не так часто в наши дни встречается истинно народный, забористый юмор.

— Что ты пишешь? — повторила Клава.

— Роман, — коротко ответил Петро.

Клава на минуту потеряла дар речи. Она смотрела на сожителя и не могла понять его безмятежности. Он сидел над тетрадкой и спокойно, сосредоточенно укладывал на бумагу строчку за строчкой, как он укладывал на зиму картошку в погребе, как укладывал в дубовую бочку яблоки перед тем, как замочить их, как, наконец, укладывал он когда-то давным-давно снаряды у стодвадцатидвухмиллиметровой гаубицы: да, пришлось, пришлось повоевать...

— Роман? — переспросила она, еще надеясь, что ей послышалось, и что пишет он заявление в кассу взаимопомощи — и сапоги прохудились, и валенки к зиме справить надо...

Но он писал роман...

— Художественную вещь пишу, — пояснил он. — Крупную... Роман — как минимум, а, может быть, трилогию.

— Петро! — умоляюще прошептала она. — Ты хоть знаешь, что бывает с теми, кто пишет романы? Их сразу ставят на прямой учет в восьмом управлении Дисциплинария. Ты только подумай — в восьмом!

— Ну и что? — спокойно спросил он. — Разве это занятие запрещено? Хвала Дисциплинарию, мы живем в свободном мире. Каждый может написать хоть повесть, хоть поэму — и опубликовать свое творение... Сколько уж можно горох с фасолью выращивать, пришла пора и за роман взяться. А ты садись, скажем, за венок сонетов...

Клава схватилась за голову — сожитель обезумел.

— Знаешь ли ты, когда был напечатан последний роман? — спросила она.

— Ну, конечно, — напряг он память, — кажется, восемьдесят лет назад...

— А почему никто не пишет их больше, ты знаешь?

— Со школьной парты знаю. Исписались писатели, выбрали для литературы тупиковый путь развития, тем самым вызвали всемирный филологический кризис... Об этом нам все уши прожужжали. Слово ушло в землю, как искра в автомобильном моторе... Писатели перешли на сказы, сказания, миксты, эссе... Потом на рассказы-раскраски, рассказы-пазлы... Кстати, ты не знаешь, что такое эссе?

— Ничего я не знаю, — сказала она честно, потому что со школьной скамьи ненавидела книги. Она помнит, как в школе все радовались в тот день, когда было отменено преподавание литературы, философии и рисования. В тот год в школьную программу было, наконец, добавлено караоке. А книги постепенно стали исчезать, но не сами по себе, а кто-то помогал им исчезать. Шепотом передавали, что все книги теперь собираются в одну гигантскую библиотеку, где стеллажи так высоки, что на самый верх можно попасть только на специальном воздушном шаре. Самые смелые говорили негромко:

— Ликург хочет все книги заточить в тюрьму...

В ответ на признание Клавы Петро тоже не мог не признаться.

— Я тоже почти ничего не знаю, — сказал он, не поднимая от тетради головы. — А вот что такое роман, я помню хорошо.

— ???..

— Это когда веришь, что выдумываешь чужую жизнь, а в конце концов получается своя, даже не очень сильно вывернутая наизнанку... Но лучше всего полосонуть кого-нибудь по сердцу — и налить полный роман живой крови... Чужой крови, но всю жизнь ждать случая, чтобы добавить и своей...

— Говоришь, как капо, — попыталась взять себя в руки Клава. — Роман — это много слов, и ничего больше... Мертвечина...

— Я пишу роман, а значит, он жив, — сказал он.

Третий, отведавший горчики, стал невидимкой, но не совсем, и наоборот. Какую бы он ни надевал одежду, она становилась

прозрачной как стекло, и все видели его совершенно голым. А если он все снимал с себя, то становился невидимым. Но на дворе как раз бушевала зима и куражились метели, жгли морозы.

Четвертый продвинулся на ниве селекции. В домашних условиях сумел скрестить крысу с черепахой, так что получилась бронебойная крыса. Селекционер был награжден медалью «Жизнь на пользу Отечеству» четвертой степени, а выведенные крысы взяты в распоряжение военного ведомства.

Пятый...

Но все отведавшие горчики пропали. Не сразу, не все скопом, но постепенно улетучились куда-то. О них и вспоминали не сразу, их и не искали, о них не писали в газетах, как будто и не было таких людей. Никогда, или были давным-давно, а, может, и не здесь, да, может, и не они.

Но время от времени они все же появлялись, потерянные, потрясенные, и не могли толком объяснить, где же они находились. Они только повторяли, что вокруг них абсолютная пустота, Абсолютное горькое одиночество. Но им нужно обязательно вернуться: горькое одиночество не может отпустить, потому что оно Абсолютное. Им говорили:

— Оставайтесь, почему вы снова и снова уходите туда?

Они только испуганно качали головами и торопились в абсолютную пустоту. Обер-капо третьего микрорайона, Председатель Депутатов Высокого Дивана Маджонг Супрематович, человек влиятельный и очень умный, предлагал считать пропадающих врагами народа, ведь они предпочитают пустоту созидательной и полной жизни под эгидой Заповедей Дисциплинария.

Депутаты высокого Дивана обещали принять специальный закон против всех форм одиночества. Причем предполагалось карать одиноких строго: для первого случая — в урановые рудники, а если не поможет — расстрел резиновыми пулями. Широкая общественность одобрительно отнеслась к проекту нового закона. Все и всегда делается для людей.

Лаглинь, лактация, галлон...

Глава 7

РАЗОБЛАЧЕНИЕ

Однажды летним вечером в дверь к Натахе постучали, хотя у нее был электрический звонок. Она всполошилась: в последний раз к ней приходили контролеры шестого — мебельно-

го — управления Дисциплинария; их интересовали на этот раз шторы — не слишком ли они непроницаемые. Она отделалась тогда небольшим штрафом: все-таки работники Полигона пользовались третьим уровнем доверия, а некоторые даже четвертым, и самые избранные — пятым. Последние могли даже слушать анекдоты, причем без обязательного доноса.

Кто бы мог быть сегодня?

Она не сразу стала открывать, заглянула в глазок: время неспокойное, враги только и смотрят, чтобы учинить очередную гнусность, а тут молодая сотрудница, работающая над совершенно секретной темой. Конечно, никто не должен знать не только о содержании, но и о самом факте проведения исследований по созданию гайки повышенной точности, но как ни борись с болтунами, как ни закатывай их в дубовые бочки, все равно кто-нибудь ляпнет по пьяне или в пылу дискуссии: а, знаете, высокопрочная и высокоточная гайка вот-вот будет получена!.. И не будет ей равной на земле!

В глазок она рассмотрела только зонтик от дождя, которым прикрывался поздний посетитель.

— Кто? — спросила Натаха.

— Я! — ответила Нина Арнольдовна, Заместитель Оберкапо.

«Пропала!» — почему-то подумала Натаха. Обреченно открыла дверь, улыбнулась навстречу важной гостье. В самом деле, не каждый день к нам приходят представители высшего звена руководства дома. Только представишь, сколько у них разнообразных забот, так голова кругом идет.

— Не ждала, Наталья Павловна? — спросила заместитель Оберкапо. — Честно признайся!..

— Если бы вы предупредили! — принялась Натаха оправдываться. — Я заказала бы что-нибудь в робот-ресторане, как раз вчера пищевые карточки пополнили. Можно было даже бутылку вина получить, я три года не отоваривалась спиртным, как раз бутылочка накопилась...

— Ну, ничего, ничего, — вкрадчиво улыбнулась Нина Арнольдовна, — не суетись, милая... Я принесла вино...

— Ну, что вы! Мне так неловко... Это честь для меня...

Гостья приобняла Натаху за плечи, сказала:

— Может, это для меня честь? Вот закончишь работу над гайкой, получишь звание «Польза Отчизне», переедешь в отдельную квартиру, так, может, вспомнишь добрым словом добродушную старушку капо...

— Извините, я не знаю, о какой работе вы говорите, — строго произнесла Натаха.

— Ну, знаю, знаю — ты не распускаешь язык, это я так — ради осторожности, по привычке... Не бойся! — сказала Нина

Арнольдовна. — Ты на хорошем счету... Твой поведенческий рейтинг за сотню зашкаливает... Давай емкости...

Натаха быстро накрыла на стол, чем богаты, тому и рады: порошковая сублимированная картошка, искусственная рубероидная сельдь, синтезированное пальмовое печенье и немного деликатеса — натуральные толченые желуди без цикория; аккуратно пододвинула к гостье большие, вмещающие не меньше грамма, пипетки для употребления спиртного...

Нина Арнольдовна расплылась в улыбке — закуска ей понравилась.

— Наливаю! — сказала она и включила специальную микропомпу, которая разливала жидкости с точностью до десятой части нанолитра.

— Будем! — сказала Заместитель Оберкапо. — Какой аромат!.. Это «Семиреченское коллекционное», оно досталось мне по случаю...

Натаха тоже пригубила. Да, хорошее вино.

— А я вот чего пришла, — сказала Нина Арнольдовна, — помнишь, я кассету с «Чапаевым» у тебя видела?

— Да, помню, — еле выговорила Натаха. Конец, конец, конец... И не пожила совсем, а теперь и не удастся уже...

Она вспомнила, как на последнем «Слете Верности» было показательное запечатывание бочки с развратниками. Все присутствующие боялись отвести взгляд от двух тоненьких восемнадцатилетних девочек и мальчика, которых закатывали в бочку с белокочанной капустой. Тогда говорили, что мальчик гулял сразу с двумя, с одной в кино ходил, с другой даже целовался. Экзекуция в итоге прошла на высоком морально-этическом уровне.

За хрипящих и стонущих на натахиной кассете могли и в бочку с раками закатать.

— Ну что ты застыла, включай магнитофон, — сказала Заместитель Оберкапо. — Люблю такие фильмы!..

Она развалилась на диване, вытащила из кармана пачку сигарет. Капо разрешалось курить; на такой работе без табака не обойтись. Натаха помнила, что также разрешено курить бойцам бригад «Верности», которым доверено высокое право проводить экзекуции, космонавтам на лунной станции — чтобы не так страшно было, и некоторым ответственным работникам Полигона. Натаха не была ответственным работникам, но потянулась за сигаретой, наверное, от растерянности. Закурила, затянулась, голова приятно закружилась; за одну сигарету ее могли поставить на горох — на три часа. Капо обязана донести.

«Бежать, бежать», — мелькнуло в голове у Натахи, но она не убежала, включила магнитофон, обреченно присела на стул.

— Не расстраивайся, — великодушно сказала Нина Арнольдовна, — вовсе не донести про сигарету я, конечно, не могу, но постараюсь выхлопотать тебе «горох на дому». Довольна? Кури, наслаждайся!

На экране чапаевцы расправлялись с офицерьем. Каппелевский отряд погибал в Приуральской степи, удивляя даже большевиков своей бесполезной доблестью. Или как раз полезной?

Натаха лихорадочно соображала: как успеть выключить магнитофон на том самом месте?

— Ну, ладно, милая, — отвернулась от экрана Нина Арнольдовна, — нацеди еще, да больше!..

— По две порции за один раз не положено, — подала голос Натаха, — за это могут быть назначены штрафные ассенизационные работы — ШАР-Один и даже ШАР-Два.

— Тебе ли, ученой, опасаться дерьма, ваше племя только и занято тем, чтобы всех нас загнать в него, — неожиданно грубо произнесла Нина Арнольдовна. — Короче, наливай, и давай перекручивай кассету до того самого места... сама знаешь какого...

Натаха едва не грохнулась в обморок. Но быстро пришла в себя. Если Оберкапо знает о кассете, а сюда еще не ворвались бойцы бригад «Верности», то это значит, что она все-таки не донесла. Почему, ведь сокрытие преступления страшнее самого преступления, учит Дисциплинарий?

— Перекручивай кассету! — повторила Оберкапо, и в голосе ее почему-то зазвенела не сталь, как бывало часто, а ржавая жесть. — Думаешь, можно хоть что-то у нас спрятать?.. Ни спрятать, ни утаить!.. Специальная техника есть, и она не дремлет...

Натаха знала это и без нее.

— Ну, включай уже! — потеряла терпение Нина Арнольдовна. — И садись рядом...

Натаха — выхода не было — плюхнулась на диван.

А на экране завелась оргия, но теперь в присутствии Оберкапо она казалась невозможной, запредельной по своей омерзительности. Неужели это она смотрела эту кассету, иногда даже два раза за вечер? А сейчас в телевизоре те же самые голые красотки, потные, с тяжелыми силиконовыми грудями, те же голые мужики, волосатые, как обезьяны, — а у нее к горлу подкатывает тошнота, дрожат руки, испарина выступила на лбу. «Провалиться бы! — подумала Натаха. — Забиться бы в какой-нибудь заброшенный бункер и ничего не видеть, ничего

не слышать... Да есть ли теперь хоть один свободный бункер на всей огромной территории Полигона?»

Она украдкой взглянула на Нину Арнольдовну. Та смотрела на экран, не отрываясь, как бы полностью безучастно. Но тут же Натаха заметила, что одна рука у Оберкапо находится в движении, словно перебирает воображаемые клавиши воображаемого инструмента, наверное, какой-нибудь фисгармонии. «Ведь она подыгрывает происходящему на экране, — догадалась она. — Ну и капо!»

На губах у Нины Арнольдовны играла легкая полупрезрительная полуснисходительная усмешка, она как будто говорила: «Какая мерзость, мне даже смотреть на это противно, но мои служебные обязанности требуют этого; для меня это не просто кассета с порно, а важная улика преступления против нравственности...»

Но рука помимо ее воли продолжала играть на воображаемой фисгармонии, и музыка эта была камерной.

Оберкапо вздохнула. Как будто она изображала ветер.

И вдруг она закрыла глаза, не совсем, а так, чтобы видеть происходящее на экране, а больше ничего не видеть. Это трудно было объяснить, подумала Натаха, Нине Арнольдовне, наверное, хотелось остаться наедине с теми, кто был на экране, но и Натаха пусть будет здесь. Пусть не уходит... Пусть смотрит, смотрит...

Оберкапо вздохнула еще раз и еще, сказала:

— Мне не довелось быть замужем...

Натаха посмотрела на нее, костистую, двухметровую, с форменной прической «полубокс» и не удержалась:

— Мужчины у вас не было?

Рука капо на минуту перестала играть на фисгармонии, Натаха замерла от страха, но пальцы Нины Арнольдовны опять нашли воображаемые клавиши, или что там есть в фисгармонии, и она продолжила подыгрывать участникам оргии.

— Дева я... Старая дева, — сказала она почти торжественно.

«Зрелище распалило начальницу, — догадалась Натаха, — да так, что ее потянуло на откровения...»

— А ты, ты — девушка?..— почему-то шепотом спросила Нина Альбертовна.

«Только об этом меня не допрашивали!» — разозлилась Натаха и соврала:

— У меня мужиков полно было...

— Дааaа! — кажется, ее удовлетворил ответ. Она опять закрыла глаза, откинулась на спинку дивана, рука не занятая на фисгармонии, легла Натахе на коленку.

«Что? Что она хочет?» — запаниковала та.

И вдруг Оберкапо обхватила Натаху обеими руками, прижалась к ней всем телом, и замерла, и улыбка, теперь уже потерянная, болезненная и одновременно порочная — легла как маска на ее лицо. Натаха рванулась, но та только крепче прижалась к ней.

— Отпустите! — закричала Натаха, но Оберкапо не слышала ее. Кажется, начальницы и не было здесь, осталось только вытянувшееся большое солдатское тело, а ее пылающий мозг был далеко отсюда. Где?

— Ну что это такое? — напрягла все силы и вырвалась из объятий Натаха. — Что вам надо?..

Нина Арнольдовна открыла глаза, в них не было ни тени смущения.

— Не трепещи, дурочка, — сказала она. — Не ори!.. Знаешь, что с тобой сделают за эту кассету? Знаешь?..

— Знаю, — прошептала Натаха.

Оберкапо поднялась с дивана, одернула форменный френч.

«Все, сейчас объявит “Непреложную волю Дисциплинария” и вызовет конвой из бойцов бригад “Верности”», — подумала девушка.

Но Оберкапо явно медлила.

— Собственно, я чего зашла, — наконец сказала она. — Есть у меня брат... Достойнейший человек... Образованный, хорошую должность занимает, начальство его ценит... А вот с личной жизнью у него не клеится... Не хочу, чтобы он напоролся на какую-нибудь шалаву, чтобы она ему всю жизнь испортила... Да ты его знаешь, это Пахом, Главный Технорук Полигона. Пахом Пахомыч. Знаешь?..

— Знаю, — Натаха никак не могла понять, куда клонит начальница, впрочем, все она понимала, но боялась поверить, что это может стать правдой.

— Вот и славно, — сказала капо. — Ты ему нравишься, даже очень. Он тоже не урод, и душа у него чувствительная. Как голубки заживете...

— Голубки... — повторила девушка.

— А кассета у меня пусть пока полежит, — Нина Арнольдовна добавила голосу материнской строгости, — а если что — вытащим ее на свет... Но ты же умненькая, бузить не станешь? Не станешь?

— Не знаю, — еле выговорила Натаха.

— Вот и ладно, — поняла ее по-своему капо, — заживете, как люди... Но помни...

Офсет, лабиринт, сюита...

Глава 8

ПОРОК ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ

В этот день с самого утра жизнь как будто заладилась по-новому, по-счастливому. Во-первых, выглянуло солнце, а его давно не было, наверное, где-то пряталось, и утро выдалось светлым, ярким, только над речкой на одну всего минуточку повис розовый туман, но быстро рассеялся, проколотый солнечными лучами; во-вторых прилетела какая-то птаха и принялась щебетать, да так певуче, что сразу за душу взяло. Натаха смахнула неведомо откуда взявшуюся слезу, и подумала: «Пока птицы поют, и мы будем живы. Не может пропасть планета, на которой есть такие певуньи», — и отчего-то стало радостно, как будто уже удалось спастись.

На Полигоне тоже пришла удача, Натахе удалось наконец получить первый, пока еще опытный, образец гайки повышенной точности. Она же гайка повышенной прочности.

Гайка переливалась всеми цветами радуги, сверкала в ослепительных лучах телевизионных ламп; ее снимали только для истории — эта пленка будет опечатана в Хранилище Тайн на тридцать три года, потому, что гайка совершенно секретная. Много бы дали за ее секрет враги, но, как говорит народная мудрость, близок локоток, да не укусишь.

Принялись испытывать гайку: и уксусом ее жгли, и в огонь бросали, и молотками били изо всех сил, а под конец положили в холодильник — рядом с бутылкой рябиновой водки. Правда, не удержались — жахнули по рюмке, другой, цеховой капо — добрый мужик — отвернулся. И потом даже спели тихонечко любимую: «Корабли постоят и ложатся на курс... не пройдет и полгода, и я появлюсь, чтобы снова уйти на полгода...» Давнишняя песня, но почему-то царапает сердце. А, может, потому и царапает? Так и мерещатся корабли, которые собираются куда-то на полгода, и неизвестно, вернутся ли они вообще, многие так никогда не возвращаются, большинство. Вот стоят они у причальной стенки, вокруг свинцовая вода, чайки надрываются в крике, как будто знают все, и уже заклокотало за кормой — прощайте, прощайте, прощайте...

Кто-то зарыдает на причале, и все... Как не было корабля... А многие так никуда не отплыли, не довелось. То ли капитан запил горькую, то ли команда разбежалась — в кабаки, к женам под лоскутные одеяла, в дальние края, где у пароходов счастливая судьба.

Легкая грусть только усилила не очень понятное ощущение праздника.

«Может, на самом деле в мире случилось очень-очень хорошее, и мы это чувствуем? — подумала она. — Теперь с помощью нашей гайки мы построим такие звездолеты, такие звездолеты!.. Они легко увезут нас на далекие звезды, спасут от взрыва остывающего Солнца...

Ближе к обеду Натаху позвали в секретную космическую мастерскую. Там тоже в этот день случилось свершение. Тамошние ученые сумели построить искусственную планету. Небольшую, но уютную, с центральным отоплением, правда, туалет во дворе. На такой планете можно жить в открытом космосе одной семье вместе со своими домоЧАДцами (Челядь Автономного Дома) пять-десять лет, пережидая неблагоприятные условия, которые наверняка сложатся после взрыва Солнца. Для домоЧАДцев были предусмотрены помещения казарменного типа с раздельным проживанием этих существ мужского и женского рода. Также отдельные бараки устраивались для человекообразных андроидов.

На искусственной планете было не меньше гектара пахотной земли, которая могла давать обильные урожаи картошки, репы, кукурузы и свеклы. Хорошо росли полба, горох и стронциевые огурцы, доходящие весом до пяти-семи тонн. Одним огурцом можно полгода кормить всех домоЧАДцев.

Были на планете водоемы, даже небольшой океан, горные системы, водопады, пара пустынь и непроходимые джунгли. Планета была очень симпатичной, висела над Полигоном и жужжала, как шмель, и это ее негромкое жужжание, едва ли не больше всего остального, понравилось Натахе.

На презентации искусственной планеты присутствовал Генеральный Куратор Полигона Демьян Третий, Живущий для Народа. Параллельно с представлением жужжащей планеты он провел выборочную проверку подворотничков и остался очень доволен тем, что ученые не забывают о личной гигиене. Гигиена — сестра дисциплины, основа порядка. Человек, помывший руки хорошим, ароматным мылом, вряд ли возьмет в руки копье, булыжник, пистолет...

«Он гений!» — подумала про него Натаха. И еще она подумала, что хорошо бы купить такую планету и зажить счастливо с... с кем? С кем?

Да, а куда подевался Егорий? Не пишет, не звонит... Может, опасается пользоваться Свободной Электронной Почтой, от которой граждане не могут иметь секреты? Но какие могут быть у них с Егорием секреты — про трансформаторную будку?.. Про «Декамерон»?..

Она поинтересовалась у конструктора планеты: скоро ли начнется серийное производство таких планет и они поступят в розничную продажу?

— В самое ближайшее время, — ответил конструктор, — копите мани.

— И сколько примерно потребуется мань? — спросила она по инерции; ее накоплений могло бы хватить на табуретку. Но в глубине души она надеялась на премию за свою гайку, могут ведь дать. Могут?

— Не менее ста, — ответил конструктор, немного гордясь собой. — Ну, еще за регистрацию, за подключение к Свободной Электронной Почте, за дезинфекцию и прививки... Причем домоЧАДцам документы выправлять так же, как хозяевам, по строгой бдительности. Глаз да глаз нынче нужен за люмпеном — хоть за андроидами, хоть за живорожденными.

— Да неужели так дешево? — гнула свое Натаха.

— Шутите, девушка, сто миллионов мань для вас дешево?

— Сто миллионов! — воскликнула Натаха, и настроение у нее испортилось.

— Вы можете записаться в очередь и дождаться скидки, — принялся ее успокаивать конструктор. — Вспомните, какой ажиотаж был вокруг Индивидуальных Атомных Убежищ, а сейчас можно за бесценок взять даже трехкомнатное, мебелированное...

— Спасибо, — поблагодарила Натаха, — буду ждать...

И она отправилась домой, и почему-то у нее перед глазами стояла трансформаторная будка, лесополоса, бабушка Клавдея и Егорий младший, и Егорий старший. Как давно жили они все вместе на крошечном полустанке!

Сюжет, наган, целлофан...

А дома ее поджидал незваный гость — Пахом Пахомович. С цветами, дорогими оранжерейными розами.

Все-таки обмануло утреннее солнце.

— Наталья Павловна, здравствуйте! А я случайно в ваших краях оказался, — принялся врать Технорук. — Дай, думаю, загляну к старой знакомой...

— А цветы тоже случайно нашли?.. Или случайно вырастили? — сказала она, и вдруг почувствовала, что утреннее настроение возвращается к ней.

Технорук был неказист, скажем честно, хотя это, может быть, и невежливо по отношению к руководителю такого ранга, пусть и техническому. Пахом Пахомович был невысок, за-

метно кривоног. Густые мохнатые брови должны были характеризовать его как человека основательного, но почему-то не характеризовали. А волосы, обильно растущие из ноздрей, напоминали, что человек, а Технорук — точно, произошел от обезьяны, причем не так давно.

Но вот он, смущаясь, протянул букет, и ей стало приятно.

— Проходите, Пахом Пахомович, сейчас чай будем пить, — как бы против воли Натахи выговаривали ее губы. — У меня чай индийский есть, со слониками... Помните, раньше такой был?..

— Люблю индийский, — сказал Пахом Пахомович, хотя он любил водку и Генерального Куратора Полигона Демьяна Третьего, Живущего для Народа.

Технорук по-хозяйски зашел в квартиру: вытер башмаки, повесил на «плечики» шинель, нырнул в туалет — видать, долго ждал, полез руками в раковину — чистюля! — и Натаха вздрогнула от омерзения. Хотя, казалось бы, что тут такого раздражающего, когда человек опорожняет мочевой пузырь? А почему нужно хмуриться на шинель на вешалке? На ней золотое шитье, погоны с серебряными звездами, нашивки за ранения — все солидно, все по-настоящему.

Она пересилила себя, сказала:

— Где получили ранения?

Он развел руками укоризненно:

— Отчего же на «вы»? Предлагаю на «ты»...

Она подумала, что это, в общем-то, ни к чему ее не обязывает — и кивнула:

— Давайте — давай!..

Но разговор, даже на «ты» не клеился, крутился вокруг Полигона.

— Руководство очень ценит ваши достижения по созданию гайки, — в пятый раз начинал он про болты, гайки, шайбы и шурупы. — Не за горами уже Переселение, вековечная мечта человечества!..

— Так где вас... тебя ранило, Пахом? — повторила она свой вопрос.

Он помолчал, выбил нос, затем сказал неохотно:

— Как-то пришлось от выродков отбиваться. Тогда половина легиона нашего полегла... Дебилы — беспощадные враги.

— А я всегда думала, что дебилы — это как вампиры, страшная придумка, не более.

— Эти придумки метко стреляют... В меня попали две пули...

— Бедненький! — непроизвольно произнесла Натаха. Она любого пожалела бы так.

Но Технорук Пахом Пахомович был не «любой».

— Но мы им тоже тогда показали, где раки зимуют, — ни один не ушел, — сурово продолжил он свой рассказ. — Баб их взяли живьем, а главная удача — получилось в этот раз захватить и беременных. Тогда была поставлена задача выяснить, как живые существа могут спариваться с андроидами и даже рожать от них. Плодят выродков, и те уже нынче начинают вопить о своих правах, а что будет дальше, что?..

Пахом Пахомович перевел дух и продолжил:

— Ну, ничего, космические ракеты по секретному плану «Ковчег» — вам его доводили, я знаю, — будут строиться только для людей высшей очистки, безупречной верности и эволюционной ярости. Ни андроиды, ни дебилы, ни люди бункеров и шахт — вся эта бунтовщицкая шваль — на них не попадут! Грядет великий очищающий Отбор!

Натаха ужаснулась и спросила:

— А где теперь захваченные вами женщины?

— Там, где положено находиться возмутителям общественного спокойствия, — ответил технорук. — Ну, а которые беременные — я знаю — согласились на проведение опытов и экспериментов. Ведь пока механизм живорождения среди машин и людей так и не выяснен нашими учеными. Так что бунтовщики служат науке...

— Над беременными опыты? — воскликнула Натаха.

— Все делается по закону. В седьмой поправке к закону о государственных интересах прямо сказано: «Нет таких жертв, какие мы не готовы принести на алтарь Отечества!» Замечательные слова!.. Их любит повторять Наш Любимый Куратор-Император, Живущий для Народа, Ликург Шестнадцатый... Эти слова отдаются в сердце каждого из нас, разве не так?..

— Конечно, — поторопилась Натаха согласиться с ним, все-таки с Техноруком лучше не спорить.

Фишинг, молдинг, стратосфера...

Технорук для чего-то вышел на центр комнаты, прокашлялся и начал торжественно:

— Глубокоуважаемая Наталья Павловна!..

Натаха боялась захохотать, хотя было ей совсем не смешно.

А он тем временем достал из кармана бумажку, чтоб от волнения не пропустить ни слова, которые сочинил ему Народный сказитель Полигона Аристофан всего за пятнадцать мань:

— Предвижу все: вас оскорбитПечальной тайны объясненье.Какое горькое презреньеВаш гордый взгляд изобразит!Че-

го хочу? с какою цельюОткрою душу вам свою?..Пахому Пахомовичу трудно давался текст, даже и написанный на бумажке. Аристофан рекомендовал дома перед зеркалом прочитать стихи хотя бы пару раз, но где Технорука взять время для всякой ерунды? Но все-таки он читал, запинаясь, краснея, проклиная Аристофана, и только он один знал, что читает стихи второй раз в жизни. В первый раз — в четвертом классе, когда ему предложили выбрать — в угол на горох за стрельбу из резинки, или стихи выучить. Он выбрал «Я памятник воздвиг...»

Аристофан предупредил, что девушка, для которой он заказал вирши, может заметить, что это чужие стихи, пушкинские, — так надо ответить, что интонация в них вложена Аристофаном современная, а что вы хотите за 15 мань?

Пахом Пахомович не стал дожидаться вопроса, сказал, потупившись:

— Это мы Пушкина переработали... Для вас. Что скажете?

— Я должна что-то говорить?

— Ну, понравилось?

— Я Пушкина очень любила, — сказала Натаха, — но сегодня, в интонации уважаемого Аристофана, Пушкин открылся неизвестной мне доселе гранью — и я поняла, что ошибалась в своей любви к нему, и мне должен быть ближе Бальмонт... Или Северянин...

— Знаю, знаю Бальмонта, — сказал Пахом Пахомович, — он на четвертой новой площадке служит начальником взвода охраны. А про этого Северянина не слышал, он случайно не из радиолокационного батальона?

— Нет, Северянин не имеет отношения к радиолокаторам, — на глаза Натахе навернулись слезы, внезапные, злые, горячие.

Технорук добыл из кармана шинели огромный, скомканный носовой платок специального воинского покроя и бросился вытирать девушке слезы. Она оттолкнула его изо всех своих сил. Пахом Пахомович едва удержался на ногах. Закричал:

— В чем дело, Наталья?.. Павловна?

— Извините! — сама перепугалась Натаха. — Случайно получилось... Рефлекс.

Технорук решил, что он достаточно поухаживал за девушкой, во всяком случае, перевыполнил рекомендации, полученные от Нины Альбертовны. Та сказала: «Возьми бутылку, разопьете поллитра “Цветов полигона” — и в койку — закреплять успех. Главное — койка... Как бы баба ни брыкалась, как бы ни брала на жалость, как бы ни уверяла, что у нее месячные — тащи ее в койку!.. Потом она тебя еще благодарить будет, вот посмотришь!»

Пахом Пахомович пошел на нее, расставив руки, так, наверное, ловят убежавшую курицу. Или свинью. Натаха ощущала себя свиньей.

Она увернулась от него, забежала за стол, но тут же поняла, что попалась: стол был придвинут к дивану и дальше прохода не было. Тупик.

Технорук тоже понял, что дальше ей некуда бежать. Он одернул китель и неспешно двинулся к ней. Натаха оцепенела.

На полпути он остановился, прокашлялся, напомнил:

— А Нина Альбертовна говорила, что ты со всей душой...

Натаха поняла, что ей не уйти от него.

— Я жениться могу, — обнадежил он ее. — Все по закону... И кольца, и государственные значки «Примерный семьянин», и двухдневное путешествие на родину Куратора-Императора, Живущего для Народа, Ликурга Шестнадцатого — все будет...

Она опустилась на диван, закрыла глаза и почувствовала, как рядом тяжело осел Пахом Пахомович, положил свою руку ей на плечо, стал осторожно перебирать рассыпавшиеся по ее плечам волосы. Обольститель.

Вторая его рука поползла по ее груди, добралась до соска. Она всхлипнула, но руку не сбросила. Вдруг вспомнила кассету и хрипящих, стонущих от страсти людей... А если честно, так она ее и не забывала. Великий Дисциплинарий, дай сил!..

Но где же Егорий? Почему не спасает ее? Почему не берет этого гнусного Пахома за грудки и не выкидывает его в окно?

Она услышала тяжелое сопение технорука, его руки уже вовсю хозяйничали у нее на теле: сжимали груди, гладили живот, пытались стянуть юбку.

Все свои силы собрала Натаха и рванулась из его объятий. Затрещала ткань и в руках Пахома Пахомовича осталась часть ее одежды, а сама она перелетела через диван, ударилась об этажерку с книгами, книги рухнули на нее, и она оказалась на полу под грудой «Теорий космических гаек», «Введений в гайкостроение», «Уставов сторожевой службы» и была среди них одна книжка, которую она прочитала от корки до корки — «Приди и останься» — Надежды Черновой. Совсем не к месту она вспомнила:

— Бреду по земле наугад...

«Точно — наугад, — подумала она, — все наугад...»

Технорук удивленно хмыкнул: нет, он не ожидал такого отпора. Нина Альбертовна уверяла, что Натаха, конечно, поломается для приличия, как и положено девушке, но не так, чтобы этажерки падали.

Он, герой сражений с дебилами и андроидами, само собой и не думал отступать, тем более, что одежды на Натахе осталось не так много. Он наклонился над ней, смахнул книжки

и, приподняв ее, бросил девушку на диван, навалился на нее, принялся срывать остатки одежды на ней. Натаха попыталась укусить его за руку, но он — здоровый бугай — не давал ей даже пошевелиться.

— Не брыкайся! — прохрипел он. — Себе только хуже сделаешь!..

Он просунул руку между натахиных ног и почти без усилий — так она устала — развел ее колени.

— Не надо, пожалуйста, не надо! — сумела она еще выговорить, но Пахома Пхомовича это не остановило. Наоборот. Он впился губами в натахины губы, да так, что она чуть не задохнулась.

— Помогай, помогай! — потребовал насильник. — Ну давай же, давай, не напрягайся... Еще чуть-чуть и все...

Но тут же он словно поперхнулся словами, дернулся, дернулся второй раз, но слабее, и замолк, и кто-то знакомый произнес буднично:

— Давай руку, чего разлеглась?

Она оттолкнула с себя безжизненное тело технорука и увидела Егория с бейсбольной битой в руках. Вот странное дело, в бейсбол у нас почти не играют, а биты чуть не в каждом доме, почему? Натахе подарили биту сослуживцы на ее прошлогодний день рождения, удружили. А что, угадали, кажется, с подарком. Точно в точку попали.

— Прикройся! — кинул Егорий ей первое попавшее покрывало. — Посторонние в доме...

И только тут она разглядела чернобрового высокорослого красавца, усердно старавшегося не смотреть на нее, голую.

— Здравствуйте! — только и сказала она, закутываясь в покрывало. — Вы как здесь оказались?

— Что тут происходит? — ответил Егорий вопросом на вопрос.

— Это наша капо замуж меня выдает, — принялась объяснять она, — да, видать, сегодня не получилось у нее... Вовремя вы появились...

— Но, думаю я, не менее важно для всех нас вовремя отсюда смыться, — заметил чернобровый. — Кстати, меня зовут Артуром...

— Ах, да! — спохватилась Натаха. — Очень приятно...

— С этим что будем делать? — Егорий показал на Технорука. — Он скоро может очухаться...

— Если ты не отправил его в мир иной, — сказал Артур. — Навернул ты ему по башке знатно.

Пахом Пахомович застонал на полу, завозился, приходя в себя.

— Так! — продолжил Артур. — Убить Технорука или поднять на него руку — это трактуется в Дисциплинарии одинаково: нападение на должностное лицо, и за это полагается бочка с помоями... А значит, нам всем нужно в бега, в подполье, в шахты и бункера... У меня есть кое-какие ключи... Главное — не медлить.

— А несостоявшегося мужа нужно связать, его еще целые сутки не хватятся, — предложила несостоявшаяся жена. — И его пропуск нам может очень пригодиться...

Через полчаса они уже пробирались через бетонные завалы пятой стартовой позиции, взорвавшейся еще полвека назад оттого, что в нее попала невиданная доселе фиолетовая молния.

— Да, — сказала Натаха, — еще полчаса назад я была уважаемым конструктором на Полигоне, невестой самого Технорука, а теперь я беглянка, государственная преступница, и за мной с минуты на минуту начнется беспощадная погоня, — удивилась своему быстрому превращению Натаха, но почему-то без особого огорчения.

— А я был лучшим станочником, получившим двухдневный заслуженный трудовой отпуск с правом посещения знатной землячки, работающей на Полигоне... Теперь за мою жизнь никто не даст больше бракованной гайки, — откликнулся Егорий.

— А я всегда не в ладах с Дисциплинарием... Да я, собственно, не землянин, — сказал Артур.

— Неужели инопланетянин! — взмахнула руками Натаха, но больше для порядка: ей ли не знать, что никаких инопланетян пока не обнаружено, что во вселенной пустота, газовые туманности, взрывающиеся звезды. Одиночество и тоска наполняют вселенную.

— Да, нет, — ответил Артур, — я родился и вырос на Майне — так наш народ называет подземную столицу... С Егорием мы познакомились совсем неподалеку от подземного хода в Майну...Там и сдружились, но он никогда не спускался в Майну. Да, не каждый решится на такое.

— Я слышала о Майне, — сказала Натаха. — Но ведь это легенда, происки дебилов, андроидов, повстанцев? Разве не так? Считается, что свое первое большое поселение все эти дети генетических отбросов основали в районе десятых шахт, но туда много раз снаряжались военные экспедиции, не раз сбрасывались атомные фугасы, шахты заливались токсичной водой — ничего живого там не может существовать... А какие там полыхают молнии — фиолетовые, от них остаются километровые воронки...

— И тем не менее я там родился, провел детство, играя с пятнистыми, как змеи, бабочками, — сказал Артур, — и скажу вам больше: мы сейчас отправимся туда, поскольку через пару часов все дороги, все выходы и входы будут перекрыты. Только там мы можем попытаться скрыться от всемирного сыска. Думаю, что по нашему следу уже брошены боевые фиолетовые крысы, беспилотники, самонаводящиеся проклятья и капканы возмездия.

И преступники прибавили шагу, снова и снова переживая случившееся с ними сегодня.

Гриф, набоб, дантист...

Глава 9

УТРО ИМПЕРАТОРА

Он сам просыпался задолго до того, как в дверь робко поскребется Лидия Вторая, Живущая для Народа, Почетная подавальщица. Вот и нынче, еще до прихода Живущей для Народа, он потянулся, пробормотал невнятно «Блажен, кто смолоду был молод», строчку, ставшую для него поговоркой. Он уже давно забыл, какой смысл он вкладывал первоначально в эти слова, произносил их по инерции.

Лидия Вторая много лет исполняла и обязанности Почетной постельщицы. И одевальщицы тоже.

По утрам она дарила Ликургу быстрые ласки, которые он назвал «предкофейными», а потом также быстро одевала его, помогала умыться, выбелить лицо, что делало его похожим на мраморную статую. Она же пудрила парик, отдавала распоряжения на кухню: королевские креветки, круасаны, турецкий кофе, фрукты — хурма, грузинские мандарины, виноград. Из кухни отвечали: заказ принят, выполняется. И приносили тушеную фасоль, селедку (селедки было много, еще с времен до Дисциплинария), желудевый кофе производства Концерна Горюче-Смазочных Материалов, моченый терн и вареную кукурузу.

Даже такое изобилие на столе давалось нелегко: проклятые дебилы контролировали все больше транспортных артерий; армия, легионеры, отряды служб охраны едва-едва справлялись с налетами повстанцев.

Ну, ничего, скоро все это кончится. Секретные изыскания дали ошеломляющий результат: Солнце может взорваться в ближайшие три года. Или раньше.

Лопнет звезда, как воздушный шарик, и термоядерный вихрь слизнет все с Земли, слизнет и саму Замлю. К тому времени Избранные на Ковчегах Надежды будут далеко отсюда, на новых планетах, на новых берегах. Катаклизм уничтожит заразу вольнодумия, не станет ни дебилов (дегенератов), ни андроидов, ни примкнувшей к ним жалкой горстки предателей-людей. Исчезнет нечисть...

Вчера вечером Министр Возмездия, Живущий для Народа, Геракл Третий доложил, что с Полигона сбежала Конструктор Высокого класса, разработчица гайки повышенной прочности и точности.

— Эка невидаль! — беспечно сказал император. — Одной дурехой больше, одной меньше — какая разница?

— Ваше Человеколюбие! — возразил Министр. — Она сбежала с опытным образцом гайки повышенной прочности. В этой гайке — ключ к строительству Ковчегов Надежды... Мы даже представить себе не можем, какими последствиями чреват этот побег!..

— Найти! — отдал приказ Ликург. Он любил короткие и четкие команды, чего развозить? Мир прост и четок, он и требует таких же решений. Он вспомнил далекую-далекую юность, прошедшую в прошлом веке, когда он был тайным ликивидатором и никогда не расставался с винтовкой Мосина. Уже тогда проблемы решались в одну секунду — время зависело от скорости полета пули...

— Меры принимаются, Ваше Человеколюбие! — вытянулся министр. — Куратора полигона Демьяна Третьего накажем так, что он надолго запомнит! Уже отозвали представление на эту конструкторшу; подумать только, — хотели дать ей «Пользу Отчизне»... Симпатичная девка, кто же знал, что она вражиной обернется?

— Это не меры! — грянул Ликург. — Даже не полумеры! Ну, не получит девка значок, так он ей на фиг и не нужен. Главное — верните гайку! Сроку вам три дня. А девку — в солдатский бордель...

Он еще возвысил голос:

— У вас очередная операция на какое число назначена?

— Завтра утром первая волна бомбардировщиков пойдет, Ваше Человеколюбие! — доложил министр. Будут сброшены свекольные бомбы и чесночные фугасы...

— Не утром, а сегодня ночью! — отдал приказ Ликург. — К боеприпасам добавить три тысячи заряженных капканов... самого радикального размера...

— На слонов есть, на велоцирапторов...— Детали — на ваше усмотрение...

«Старый козел, — подумал про Императора министр, — опять ночью поднимать бомбардировщики, опять будут жертвы среди личного состава. В прошлую ночную бомбежку мимо аэродромов промахнулись тридцать самолетов, а еще тридцать были сожжены фиолетовыми молниями...»

Министр не знал, что почти уже год у трона императора установлен мыслеуловитель, захваченный у повстанцев, и «старому козлу» известен его образ мыслей.

Если бы министр узнал о существовании аппарата, он наверняка бы застрелился на радость завистникам и своему заместителю — Александру Четвертому, Думающему о Народе.

Но Ликург позаботился, чтобы царедворцы никогда не узнали о существовании мыслеуловителя. Приятно было иногда ошарашить какого-нибудь генерала или адмирала, или даже Депутата Высокого Дивана, а время от времени и Премьер-министра, Живущего для Народа. Вызвать его, скомандовать «замри и внимай!» и сказать негромко, весомо, проникновенно:

— Несмотря на то, что ты думаешь о своем Императоре, как о жабе в манишке, решено тебя наградить. Тебе вручается бриллиантовая (на самом деле — из плексигласа) звезда «Безупречная служба» четвертой степени с крупной денежной премией.

В действительности денег в казне не было и вместо денег предлагали на выбор мешок моркови или собрание сочинений Ликурга. Все брали Ликурга.

Чуть ли не каждый, услышав от Императора, что тому известны тайные его мысли, падал в обморок, а очнувшись, полз к трону, скуля: «оклеветали, не так поняли». Потом за страх они служили ревностнее, чем за совесть.

Но все равно никому верить нельзя.

Ляпис-лазурь, магараджа, люфт…

Сегодняшний день был особым. В этот день из типографии должны доставить новую книгу Императора. Придворные утверждали, что книга станет новым словом в литературе, философии, обществоведении. По сути дела сегодня его день, ведь именно в этот день произошло то, что должно было произойти... Придворные, посвященные в некоторые секреты его жизни, думали, что это день, когда он родился, а он родился совсем в другой день. Но никто этого не знал, а он никогда не говорил.

Еще в далеком прошлом он мечтал о торжественных днях, праздниках жизни — с шампанским, речами, рукопожатиями. Эти праздники не для того, чтобы потешить самолюбие, а

для того, чтобы понять себя, чтобы выверить себя; в его юности никто и предположить не мог, что у него есть такая фантазия, а она была. В молодости ему пришлось и по подвалам ночевать, и на чердаках, и в люках теплотрасс, не расставаясь с винтовкой Мосина. И холодно, и неуютно было ему, и голодно, но он знал, что мечта сбудется. Откуда он это знал — ему самому было неведомо...

А когда сложилось, совпало, вылетели на зеленое сукно три шестерки, когда верой и правдой послужила верная винтовка, то он даже и раздумывать не стал — день, когда винтовка выстрелила, будет его праздником. Известным только ему. Тайным. Но самые близкие знали. Но не все.

Обычно он дожидался Лидии Второй, Живущей для Народа, в постели, но сегодня поднялся и, погрузив ступни в пушистые шлепанцы, заскользил по паркету к большому зеленому ящику, стоящему сразу за изголовьем походной кровати. Он давно уже приказал выбросить из спальни огромную императорскую кровать с балдахином, полусотней подушек, на которой хорошо спать не одному. Он спал один.

Зеленый ящик неизменно привлекал взоры приближенных, он явно диссонировал со всей остальной мебелью: тяжелыми креслами, обитыми мягкой узорчатой кожей гигантского марсианского червя, необъятным письменным столом, вырезанным из цельного ствола венерианской секвойи, гигантскими книжными шкафами, верхние полки которых терялись в неоглядной вышине императорской спальни. Среди позолоты, сверкающих камней, драгоценного дерева зеленый ящик казался ящиком для снарядов. А ведь некогда он и был сделан из двух ящиков из-под 125-миллиметровых снарядов.

Как-то министр огородничества и народных промыслов Публий Изначальный набрался смелости и спросил:

— Ваше Человеколюбие, удовлетворите наше любопытство, скажите, что находится в этом ящике, если это не государственная тайна?

— Вот именно — тайна, — без гнева ответил Ликург, но вечером Публий, не выдержав ожидания ареста, принял яд, его едва-едва спасли, теперь он служит на космической станции, обращающейся вокруг Плутона. Поболтать Публию теперь не с кем; кроме него в экипаж входят три андроида самой первой модели — безголосые, лишенные слуха, неповоротливые. Зато хорошо играют в покер.

Ликург как-то пошутил:

— Что-то Публия не видно... и не слышно... Где он? Уж не к Плутону ли подался?

Придворные расхохотались.

— Очередной том ваших афоризмов выходит из печати в пятницу, — сказал вчера Шеф и Организатор Пропаганды, Иоанн Изначальный, Живущий для Народа, — а к субботе выйдет очередной том философских размышлений Вашего Человеколюбия — «Мудризмы»...

«Конечно, вся эта мудристика дерьмо, — подумал Ликург, — но, наверное, есть правда и в словах Шефа и Организатора Пропаганды Ивашки, который настаивает: народу нужны философские откровения... чем нелепее, тем нужнее. Изгаляясь над мудризмами, народ как бы поднимается над ними, обретая если не величие, то по крайней мере чувство достоинства. Народом, воспитавшим в себе чувство достоинства на критике нелепостей, управлять легче.

Император погладил шершавое крашеное дерево зеленого ящика, снял со шнурка ключ, который всегда, как ладанка, был у него на груди, открыл ящик. Тускло сверкнула в полумраке спальни заветная винтовка.

Он взял в руки славное оружие: в скольких переделках оно побывало — и в боях, и в засадах, но ни разу не подвела русская сталь. Он достал из ящика масленку, ветошь: вот удивились бы подданные, увидев его за собственноручной чисткой винтовки. А он любил протирать ветошью вековой металл, словно лаская оружие, как будто говоря: нет, я не забыл, кому я всем обязан. Я помню, как в одно мгновенье винтовка сделала больше, чем все учителя, чем все наставники, друзья, родичи.

Он долго не выпускал винтовку из рук, сталь приятно холодила ладонь. Такими, наверное, бывают девушки зимой. Он передернул затвор, новенький желтый патрон покатился под ноги. Он удивился: кажется, в патроннике должно быть пусто, впрочем, прежде он держал оружие заряженным, мало ли чего? Он закатил патрон под кровать, его время, может быть, настанет уже скоро.

Он нехотя расстался с винтовкой, запер ее в ящик. Щелкнул замок. Начинался день Императора.

На столике перед походной койкой коротко звякнул звонок. Это Лидия Вторая, Живущая для Народа, Почетная подавальщица. Засветился экран над дверью, показывая Ликургу, что это действительно она — не выродки, не повстанцы ворвались в его приемную, а минута в минуту — нежная Лидия.

Электронным пультом он разблокировал систему замков и запоров, и Лидия вошла. Склонилась: «Долгих лет Вашему Человеколюбию!». Он заметил, что спина ее уже не так гибка, как прежде. Это же он наблюдал у многих придворных. «Возраст», — говорил сам себе, и не верил. А думал: «Перестали бояться, все идет в тартарары, им лишь бы места в Ковчегах Надежды получить...» И еще думал: «Ну, погодите, хитрецы, погодите сладкоголосые предатели!.. Я вам приготовил сюрприз». Сюрприз был простой: как только будет приготовлено достаточное количество гаек повышенной точности и прочности, начнется сборка Ковчегов Надежды; так вот, больше половины кораблей будут бутафорскими, им не суждено будет вывезти своих пассажиров от гибнущего Солнца. До девяноста процентов чиновников сгорят вместе с Землей. Напрасно они нынче радуются, раздуваются от гордости, что получили заветные места втайне от всего народа, а нередко и втайне от своих семей. Они никуда не полетят!

Лидия Вторая неслышными шагами подошла к нему, спросив взглядом разрешения, обняла его, принялась развязывать тесьмы ночной рубашки, как бы невзначай касаясь его тела. Обычно он закипал еще до того, как она раздевала его, но сегодня он отстранился — непонятное раздражение нарастало в нем. В последнее время этот беспричинный, казалось бы, гнев захватывал его все чаще и чаще.

И причины, конечно, были, и о них знали все. Приближался конец старой Империи, можно сказать — девятым валом накатывался крах. Нужно успеть унести ноги с этой веселой планетки. Нужно успеть...

— У тебя сегодня руки холодные, — сказал он Лидии Второй, — ступай...

Она медлила. Наконец, решилась:

— Ваше Человеколюбие, поздравляю вас с Днем Ликурга. Долгих лет вам!..

— Спасибо, — ответил он, — спасибо, Лида...

Она не сумела скрыть удивления. Когда в последний раз он так ее называл?

Кювет, планшет, па-де-де...

Она помогла ему надеть парадный мундир, поправила орденские планки. Орден он носил только один, изготовленный в единственном экземпляре: «Спаситель Мира». Огромная звезда была вырезана из цельного алмаза, найденного в Якутии лет десять назад. Весу в нем было без малого девять тысяч карат. Он запомнил это потому, что подписал помилование преступнику, работавшему в копях и нашедшему огромный камень: заключенному повстанцу тогда скостили срок на десять лет, так что ему осталось всего сорок лет. Но докладывали, что помилование не пошло бандиту и террористу на поль-

зу, он отдал Богу душу на другой же год. В копях вообще больше двух-трех лет не выдерживают.

Наконец грянули литавры. Распахнулись бронированные двери, и он не спеша вышел в зал для приемов (обязательно — не спеша, подлинное величие неторопливо, надо подчеркнуть, что именно он и управляет временем).

Зал был полон. Обычный утренний прием. Слепило глаза офицерское шитье, генеральские эполеты были похожи на золотые крылья, реющие над полями выигранных сражений, голые плечи дам, несмотря на ранний час, напоминали о грядущем вечере, о жаркой ночи, министры были торжественны и глубокомысленны, депутаты Высокого Дивана, предводительствуемые Маджонгом Супрематовичем, выглядели заступниками народными, каковыми они и являлись на самом деле. Придворные музыканты держали в руках нотные тетради с написанными в его честь за эту ночь маршами, ораториями и даже одной героической симфонией. Художники-скорописцы расставили в зале сотни мольбертов, и едва Император показался в дверях, как они схватили кисти, карандаши и принялись за работу. Скульпторы взялись за резцы, молотки, в зале на минуту даже повисла белесая дымка, как в каменоломнях, но тотчас же охрана взашей выгнала скульпторов в соседний зал, и они вынуждены были довольствоваться его изображением на экране телевизора. Трещали затворы сотен фотоаппаратов, работали видеокамеры всей планеты.

Ликург с непонятной грустью отметил: а ведь с каждым днем эта толпа становится меньше. Нет, пожалуй, не меньше, все такая же, но клубится она теперь не как высокое белоснежное облако, а как грозовая туча. Но, может быть, ему это только кажется?

Он в деталях помнил первый год своего императорства, тогда восторженные толпы журналистов буквально осаждали его. О нем снимались фильмы, писались умнейшие научные статьи...

Сейчас фильмов и статей не стало меньше, но они словно потускнели. Он знает, что их организует Ивашка-Пропагандист... Ну, ничего...

Он улыбнулся — и тут же к нему бросился Маджонг Супрематович. Расшаркавшись, он достал откуда-то из-за спины свиток.

— Ваше Человеколюбие! — начал он. — К нынешнему славному дню готовилось все прогрессивное человечество...

— А ты откуда знаешь? — спросил Император. — Об этом могу знать только я...

— Земля слухом полнится, — загадочно начал Маджонг.

«Ну, это на час, — подумал Ликург, — не меньше... В прошлом году Маджонг врал почти два часа... А потом примется поздравлять сошка помельче — еще часа на три. Может, заквасить их всех в одной большущей бочке с капустой?.. Так и без этого голод на планете свирепствует... С другой стороны число едоков сократится, притом намного.

Он уже готов был крикнуть стражу, но, наверное, этот прохиндей Маджонг понял, что сейчас может лишиться головы, и в голосе его явно зазвучали рыдание, восторг и поклонение одновременно. Ликург не мог понять, как можно в скучной торжественной речи объединить все это. Должно быть, нужен для этого огромный талант, талант диковинный, такой с молоком матери не всосешь; он воспитывается только в том, кто сто раз пересекал паркетное пространство в любую бурю — и остался жив. Многие пошли на дно, для других последним пристанищем стала бочка с маринадом, а он оставался на плаву, даже и укреплялся.

— Поздравляем вас от всей души, ликуем, желаем... — пел, рыдал, захлебывался от восторга Маджонг. Презираемый многими, даже и Императором, но живой Маджонг.

— Благодаря вашему неслыханному человеколюбию мы стоим на пороге новой жизни. Вы побеждаете своих презренных врагов, но теперь готовы одолеть само время. Вы даете человечеству шанс родиться заново...

«Что он несет, ведь это страшная государственная тайна, — подумал Ликург, — все-таки придется его хотя бы замуровать».

Но Маджонг почувствовал опасность и на этот раз:

— Я имею в виду духовное возрождение, которое неизбежно под солнцем вашей мудрости. Вы — светоч...

Маджонг уложился в полтора часа.

«Года через два-три дежурная речь вполне может уместиться в пятнадцать минут», — Император все-таки огорчился. Да, сегодня на всем заметен налет условности, ритуальности, когда давным-давно забыт глубинный смысл происходящего и никто не понимает, даже жрецы, зачем произносятся молитвы, горят свечи, стоят, потупившись, весталки...

— Дисциплинарий с нами! Я им еще покажу! — произнес он совсем негромко, но его расслышал Главный капо Западных Февел, Живущий для Народа, Маркел Третий, и с ним случился обморок, а, может быть, он искусно изобразил этот обморок: скреб ногами в огромных сапожищах, обмочился, горлом пошла пена. Император недовольно поморщился, и Маркела Третьего уволокли из зала; через полчаса он прощался с же-

ной — Ларисой, убеждал ее, что в ссылке он пробудет не больше пяти лет, и вернется. Так что, нужно его ждать.

— В Сочи не ссылают на пять лет, — говорила Лариса, — самое малое на пятнадцать... Езжай себе с миром, присылай нам мандарины...

А прием тем временем закончился.

В общем, все прошло не очень скучно. Было и чем развлечься: двух чиновников, поскользнувшихся на паркете, тут же приговорили к закатыванию в бочку с горьким перцем условно. Надо было слышать, как вопили они.

Потом он помиловал ворюгу, так было заведено — с утра казнить и миловать, ближе к обеду садиться за мемуары, которые давным-давно были написаны и нужно было только делать вид, что пишешь, исправляешь ошибки, а потом придворные расскажут о неслыханной работоспособности Императора, и к понедельнику выйдет очередной том мудризмов.

Привели нескольких преступников, и одного из них нужно было отпустить. Почему-то всегда помилованного звали Варравой.

Он велел дать отпущенному новую (искусно отреставрированную) куртку и кирзовые сапоги с портянками из тонкой фланели. Ворюга едва не задохнулся от счастья, кланялся, клялся больше не воровать. Но не сдержался. Выходя из дворца, стащил прикрученную к воротам бронзовую табличку, на которой было выгравировано, что ворота эти некогда принадлежали Тамерлану, и что тот добровольно их пожертвовал Ликургу, Живущему для народа. Ворюгу тут же поймали, но тут же и отпустили: не идти ведь против воли Императора.

После приема занялись государственными делами. Император проверил наличие у государственных служащих носовых платков; оказалось, что даже на праздничный прием коекто умудрился явиться без платков. В их числе Бригадный Генерал, Живущий для Солдат, Иван Седьмой. Пришлось его разжаловать в рядовые.

Как всегда, вызвали ученых-ракетчиков, и они явились прямо в рабочих халатах, еще та сволочь. Едва поклонились, с праздником собравшихся не поздравили, рук из карманов не вынимали. Эх, кабы не нужны были, бросить бы их на растерзание марсианским клопам!

Ученые принялись сыпать затейливыми словечками: континуум, эффект Огурцевича, энтропия... Пришлось их поставить на место. Двоим из них, самым с виду молодым, предложили на выбор (а шепчутся, что демократии мало) получить розог или попытаться найти выход из подземного лабиринта. Конечно же, трусы выбрали розги.

После порки ученые стали сговорчивее, внятно объяснили, что месяца через два первые Ковчеги Надежды будут готовы к старту.

— Теперь, когда стараниями молодой исследовательницы Натальи Павловны и всего многотысячного коллектива наконец получена гайка повышенной прочности, — начал самый ученый из всех ученых Пиерквадрат Второй (его звали, конечно, по-другому, кажется, Пифагором Шестым), — ничего не мешает нам...

Ликург перебил его:

— Эта исследовательница будет поймана и понесет заслуженную кару!..

Самый ученый из ученых поперхнулся.

«Экая сволота этот хрыч-академик, — подумал Император, — притворяется, будто не знает, что опытный образец гайки повышенной прочности исчез вместе с этой ученой девкой... Все они заодно. Ну, погодите!..»

Как бы услышав размышления Ликурга, академик-лауреат заверил его:

— Все чертежи гайки сохранены, уже завтра начинается ее массовое производство...

Завершился день тоже неплохо. Он вызвал начальника охраны Димона Восемнадцатого, Живущего для Народа, и спросил у него:

— Что это?

И указал на винтовочный патрон, валявшийся под императорской кроватью.

Димон окаменел. Он никогда не забывал, почему он Восемнадцатый. Начальники охраны почему-то долго не держались — полгода, год, а потом пропадали. Слушок шел, что они выдвигались на самые высокие должности в провинции.

— Ты можешь объяснить, как попал в мою спальню боевой патрон? — спросил

негромко Император.

— Мы проведем самое тщательное расследование в кратчайшие сроки, о результатах доложим... — голос Димона дрожал.

— Отвечаешь лично! — напомнил ему Ликург.

Димон щелкнул каблуками и вышел из спальни императора. Этот обязательно найдет виноватых, много виноватых. Умен, хитер, беспринципен — такие хороши в службе, но долго на них рассчитывать нельзя — продадут любого. С ними ходишь, как по лезвию ножа и каждый день решаешь: не пришла ли уже пора ротации? Не пора ли высаживать из лодки вот этого, того и еще дюжину-другую соратников? Иначе, не ус-

пеешь оглянуться, как тебя самого высадят, и бойко поплывут дальше без тебя, и даже не оглянутся. Что ж, пора привыкнуть, что в этом мире нет мира.

Ликург подошел к стеллажам — переплеты из кожи, переплеты из коленкора, совсем без переплетов; миллионы книг, как скалы, высились в библиотеке. Кто и когда собрал такое чудовищное количество книг, не знает никто, старые ученые поговаривали, что Александрийская библиотека не сгорела, не пропала, не растащена на самокрутки, а только пропала с глаз и все эти тысячи лет пополнялась... Ученые кричали, что библиотека эта живая, и убить ее нельзя. Ликург как-то вытащил одну старинную книженцию — средневековую — и кинул ее в камин, так книженция сгорела, как порох. Нельзя верить ученым, да и кому интересно, откуда взялась эта изба-читальня?

Он нажал на кнопку, вызвал подъемную корзину и на ней поднялся на второй уровень — к периодике всех времен и народов. Он давно уже ничего не читал, тем более периодику. Он был сам автором всей периодики, новостей, творцом истории. Здесь на втором уровне, на высоте двадцати километров в бесконечном лабиринте стеллажей своей библиотеки, он привык размышлять. О себе, об империи, о себе...

Он забирался в такие библиотечные дебри, что однажды заплутал и двое суток не мог найти проход к подъемной корзине. Наткнулся на два скелета, закованных в цепи. Вокруг скелетов лежали пачки бумаги, покрытые какими-то записями. Он решил, что это были летописцы Кастор и Поллукс, прославлявшие прежнего Императора, но тот часто забывал кормить их, а в один прекрасный день и совсем забыл про них. Не до того стало... Ликург заглянул в один листок: «...его Человеколюбие возглавил штурм крепости и со шпагой в руках первым ворвался на стены башни. Враги стали тысячами сдаваться». Никаких крепостей Октавиан Второй не брал. Поделом же летописцам.

Ночью, выбившись из сил, Ликург подкладывал под голову подшивки журналов «Современник», «Северные цветы» и тревожно спал, и ему снились третий и четвертый уровни библиотеки, а говорили, что их девять; на восьмом и девятом — книги графоманов. Именно там, стеная от тяжести кандалов, пишет сейчас новую историю Октавиан. Кормят ли его? Ликург в ужасе просыпался, и ему начинало казаться, что он никогда не выберется отсюда и сам станет книгой в кожаном переплете и навсегда пропадет в этих книжных горах. Он и на самом деле пропал бы в этом гигантском книжном паноптикуме, но представил себе, какая грызня начнется, что и Солнцу

взрываться не нужно — голыми руками друг друга передушат. Все всех... Он ужаснулся и тут же нашелся нужный проход, он и был-то в двух шагах.

Только ли для размышлений забирался он сюда? Да и о чем всерьез можно думать? Не о чем. И тогда он понял, что прячется в этих пыльных лабиринтах. От всех. Как в детстве он прятался от грозы, натянув на голову лоскутное одеяло.

Вот так, всю жизнь его оберегали то ватное, то бумажное убежища.

Картон, регистр, трон...

Глава 10

ДЕНЬ, КОГДА ВИНТОВКА ВЫСТРЕЛИЛА

Димон немедля взялся за работу. В ход пошли подкупы, пытки, глубокая слежка, эвристические допросы, облавы. Были арестованы семьсот сорок тысяч подозреваемых, большинство из них признались. Во всем. Пришлось даже, добывая истину, сделать научный анализ всей современной литературы. Аналитики пришли к странному выводу: литературы давно уже нет. Глядя на миллионы книг, он не поверил аналитикам, спросил у самого главного компьютера: есть ли на свете литература? Компьютер ответил совсем непонятно: на свете только литература и есть.

Для проведения расследования Димоном были привлечены тринадцать тысяч сыщиков, все потомки Шерлока Холмса: правнуки, внучатые племянники, один даже назвался отцом чудака с Бейкер-стрит, взаправду старый, немощный, но очень сварливый.

Он, кстати, определил возраст винтовочного патрона, попробовав свинцовую головку на зуб. Его зубу можно было доверять, он у папы Шерлока Холмса был последним, трепетно помнящим юные ощущения, первые кариесы, борьбу с парадонтозами.

— Патрону — сто шестнадцать лет, — сказал папа, — а он, как огурец с грядки — свежий, крепкий. За ним хорошо ухаживали, не жалели ветоши, масла. Он хорош был для винтовки Мосина, бил кучно, без осечек.

Один из племянников добавил:

— Сейчас такого оружия нет. Все эти автоматы и пулеметы, трясущиеся у вас в руках, бьющие куда угодно, только не

в цель, не дают стрелку ощущения боя, с пулеметом, пушкой ты не воюешь, а работаешь на войне. За всю войну ты можешь ни разу не увидеть врага, не заглянуть в его яростные бирючьи глаза... Впрочем, откуда они у него, у противника, бирючьи глаза? Скорее всего, сонные, и в них мольба о стопке доброго пшеничного спирта, поднимающего боевой дух...

В общем, информация пошла к Димону косяком — устная, письменная, записанная на современных носителях. Буквально за неделю были заполнены все тюрьмы, даже лунные и марсианские.

Быстро удалось выяснить, что винтовочный патрон некогда принадлежал загадочной личности, которого звали Фиолетовый. А, может быть, это была такая кличка?

Идя по следу Фиолетового, Димон на одном из темных чердаков нашел кучу истлевшей ветоши, сборник гималайских сказок и еще одну книжку, в которой написано что-то про вторник (или называлась она «Вторник» — не разберешь), какие-то каракули на ломкой от времени бумаге: «...Фиолетовый жил в западном углу давно погашенной, по причине центрального отопления, кочегарки. Он вообще с детства любил все западное — хот-доги, гамбургеры, колу, только винтовки предпочитал отечественные, проверенные в славных сражениях...»

Димон не стал читать эту растрепанную книжицу, что толку от всех этих книг? Он давно уже приметил, что если заведется где книжка, а уж если пара-другая, то жди неприятностей. Люди через книжки портятся, все им становится не так, и все им перестает нравиться, и революционная ситуация сразу тащит их на площадь орать речи, крушить памятники, которые не докрушили в прошлый раз, бить витрины и тащить по домам табуретки, холодильники и пыльные ковры.

И еще Димон нашел тетрадку, распухшую от влаги, полную размытых чернильных строчек, но кое-что в ней можно было прочитать. И он прочитал: «...четыре речки было в нашем городе — Чаган, Деркул, Ревунок, ну а четвертую все знают. А девочка, которая мне нравилась... нет, не нравилась — я не мог даже на минуту оторвать от нее взгляд, когда ее видел — жила в старинном доме, тоже всем известном, и ее окно на втором этаже (или третьем? Кажется, все-таки на третьем) выходило в сад, где нелегко было продраться сквозь заросли акаций и сирени. Я продирался и слушал, как она играет на пианино. Иногда я даже подтягивался на ветке акации, чтобы рассмотреть ее, и мне видна была ее чуть склоненная голова, кактус, стоявший на подоконнике, похожий на уменьшенного велоцираптора, клетка с унылым кенаром, желтым, как октябрь.

Она играла такую грустную музыку, что я висел на ветке акации, а по щекам катились слезы. Наверное, это было смешно.

Вообще в те годы я был очень смешон: лопоух, неуклюж, стеснителен, в драке мне первому расквашивали нос. Да к тому же я не умел плавать. Кое-как барахтался, но разве это мое плаванье можно было сравнить с кролем, брассом и даже баттерфляем моих друзей?

Однажды она позвала меня купаться на Чаган. Не предупредила... Я влез бы в тесные плавки, которые мать переделала из солдатских трусов, и тогда со мной вполне можно идти на пляж. Но она не предупредила, и на мне были пузырящиеся, длиной ниже колен трусы. Нечего говорить, что я опозорился. Влетел в воду, едва пришли на Чаган, поплыл натужно на противоположный берег, а когда оказался на другой стороне, то понял — что бы сейчас со мной ни сделали, что бы обо мне ни сказали, как бы надо мной ни смеялись — я назад поплыть не смогу, не осилю. Она кричала, махала мне рукой, звала вернуться, но я знал, что если мне суждено было утонуть, то это может случиться именно в тот день. И я ушел, за часа полтора добрался до моста, перешел на ту сторону и поплелся туда, где осталась девочка. Она, конечно же, давным-давно ушла. Я бросился к ее окну над акациями, но она даже разговаривать со мной не стала...

А через несколько дней я узнал, что она куда-то уехала — не то в Уфу, не то в Атбасар... Кажется, все-таки в Уфу, и стала уфалейкой...

Встретились с ней мы только спустя много лет, когда воздух другой стал, когда старая жизнь пропала, как будто и не было ее никогда, когда все распадалось и рушилось.

К тому времени я научился плавать — и кролем, и брассом, и это умение не раз и не два потом спасало мне жизнь. И еще я научился стрелять. Из автомата, пистолета, пулемета — точно, без промахов, я сказал бы — артистически. На мишени выстрелами я мог начертать лозунг повстанцев, которые к тому времени завелись в старых ракетных шахтах, подземельях, лесах и горах, — да где только они не завелись, и я по молодости и недомыслию увлекся их идеями: «Все на слом, все на переделку». Но лучше всего мне удавалась стрельба из полюбившейся винтовки Мосина.

Однажды поздно вечером ко мне в дверь постучались. Почему-то заволновавшись, я спросил:

— Кто там?

— Откройте. К вам пришел тот, кто вам нужен.

Я открыл дверь, на пороге стояли двое мужчин. Впрочем, я не сразу понял, что это мужчины, скорее тени мужчин. Пришедшие были высокого роста, но поражала их худоба. И видимая немощь. Казалось, что они стоят рядом друг с другом, чтобы поддерживать друг друга, иначе они оба повалятся на пыльный ковер под ногами. Лица их оттеняли капюшоны длинных — по самые пятки — грубых брезентовых плащей. Они показались мне близнецами — и рост, и телосложение, и тембр голоса, и походка у них были как две капли воды, и только спустя годы я понял, что нет двух других столь непохожих друг на друга людей.

Я пустил их, тогда еще я жил в доме с диваном, телевизором, керогазом и рыжим котом Васей. Вася сидел на диване и зашипел на вошедших, как удав. Люди в плащах, однако, не испугались его змеиного шипения, но скорее они просто продемонстрировали свою отвагу мне.

Они откинули назад капюшоны, оказалось, что один был блондином, другой брюнетом, один хмурился, другой чуть заметно улыбался, на поясе у каждого из них висели стилет в ножнах и огромный пистолет. Так и хотелось пальнуть куда-нибудь, хоть в потолок, из такого здоровенного нагана.

Блондин заметил мой взгляд и сказал:

— И у вас будет такой... И даже пулемет будет. Оружия у нас хватает.

— Вот обращаться с ним мы не умеем так виртуозно, как вы, — сказал брюнет.

— Откуда вы знаете?.. — встревожился я. — Откуда?

— Земля слухом полнится, — сказали они оба одновременно, как будто отрепетировали этот разговор заранее.

— Подлинное мастерство, тем более в таком деле, как ваше, дорого ценится, — продолжил блондин.

— Я не принимаю заказы, — постарался я опередить их, но они пришли не заказ размещать.

— Мы сядем? — не то спросил, не то приказал блондин, и я понял, что из них двоих он главный.

Я пододвинул к ним табуреты, они с видимым трудом (борьба с врагами их очень утомляла) опустились на сиденья, угрюмо засопели, хотя при этом продолжали один хмуриться, другой — улыбаться.

— Какая у вас ко мне нужда? — спросил я.

— Для начала предлагаю познакомиться, — предложил блондин. — Меня зовут Кастор.

— А меня Поллукс, — сказал брюнет. И добавил:

— Ну, а твое имя мы знаем...

Кастор и Поллукс! Кто о них не слышал? Это были легендарные и неуловимые вожди подполья, отважные командиры повстанческих отрядов. Говорят, что император Октавиан Второй, Живущий для Народа, трясся от страха при одном только упоминании их имен. Это за их головы были назначены астрономические суммы, их портреты были развешены даже в детских садах, газеты и телевидение ежедневно приводили леденящие кровь подробности их неслыханных злодеяний: подложили бомбу под мукомольный завод — и теперь перебои с хлебом, а жители прилегающих к заводу кварталов с ног до головы усыпаны мукой; подвели мину и под ликероводочное производство, и хотя перебои с водкой не наблюдаются, пришлось крепость ее уменьшить — до 16 градусов; сделали подкоп под Главным Государственным банком, деньги, конечно, не взяли (эти деньги даже налетчики не берут), а развесили в операционном зале свои революционные плакаты и призывы, расстреляли портреты Императора и тогдашнего министра пропаганды — Мебиуса.

На плакатах близнецы изображались бородатыми мужчинами огромного роста — в спортивных тренировочных костюмах (ведут здоровый образ жизни, не то что Октавиан Второй, обжирающийся салом и буженниной), в руках у одного была ветка цветущей сирени, у другого — теннисная ракетка. Их окружали счастливые детишки, покинувшие бункеры и подземные лабиринты.

И вот эти легендарные подпольщики, эти чудо-богатыри у меня в квартире. И мне ничего не стоит сдать их местным капо, или вызвать полицию, или тайную службу. И сразу стать миллионером! Получить квартиру! Автомобиль! Путевку в Сочи. Талон на пожизненное снабжение докторской колбасой! Высочайшее звание «Живущий для народа»! Орден «Верный сын Отчизны»!..

Соблазн велик.

— Слушаю вас, — сказал я Кастору и Поллуксу.

Кастор откашлялся, как перед произнесением большой речи, произнес:

— Свобода! — и умолк. Видимо, волновался.

Откашлялся Поллукс, сказал:

— Свобода! — и замолчал. Но столько в их глазах пронеслось всего — и постылое рабство народов, и душегубка цензуры, и обжорство знати, и удручающий голод масс, и жестокое подавление инакомыслия, и несбыточные надежды на лучшее будущее, — что больше не потребовалось слов.

— Я с вами, герои! — сказал я.

Но соблазн получить орден и вдоволь колбасы остался, на время куда-то закатился в памяти»...

Дальше в тетради шли страницы, размытые водой. Понятны были только слова: «водяра», «закусон», «вобла»... Димон перевернул испорченные страницы, продолжил читать:

«...Меня приняли в Северное тайное общество, хотя я хотел попасть в Южное или на крайний случай Западное. Но Поллукс сказал, что закончились бланки удостоверений Южного общества и вообще в нем давно нет мест. Стрелков там и своих навалом. Пришлось податься к “северянам”, но я не жалел: подальше от глаз близнецов было как-то спокойнее.

Я дал клятву служить свободе и справедливости, всегда быть верным принципам демократии. Клясться было положено перед огромным подсвечником. Сначала зажигали свечи, двенадцать свечей; 12 считалось непростым числом, магическим, а подсвечник как бы поддерживал магию огня и соединял разрозненные языки пламени в одну пылающую стихию.

Когда подсвечник нагревался так, что от него начинал исходить жар, положено было взять его в руку и пройти с ним по начерченному на полу кругу. Все подпольщики при этом обязаны быть в масках, клянущийся же — совершенно голым: разрешалось только набросить на себя тоненькую простынку.

Конечно же, во время проведения торжественной процедуры я запутался ногами в простынке и рухнул на пол, горячий и тяжеленный подсвечник вылетел из рук, ударился об стену и развалился на части.

— Плохая примета! Очень плохая! — стоголосо прошелестело в зале.

— Быть беде...

— Немедленно позвать Верховного жреца Северного общества!..

Верховным жрецом оказался Поллукс, все в том же грубом плаще, все также его глаза закрывал капюшон.

— Сохраняйте революционное спокойствие! — простер он к собравшимся коротенькие ручки. — Мы не суеверные барышни, мы революционеры! Тот, кто всегда выше нас, тот, кто был раньше времени и раньше звезд, дает нам знак: все прежнее на слом, все отжившее на переплавку — грядет новый мир и все будет в нем по-новому.

— Старое — на свалку! — кто-то выкрикнул в зале с истерическими интонациями.

— На слом!

— На разборку! — истерику подхватили охотно. Все дружно рвали глотки, некоторые закатывали глаза.

И вдруг раздался резкий треск. Это одна из дам рванула на себе платье, еще и еще раз... Тонкая ткань поддалась, и платье упало к ее ногам; дама принялась раздирать на себе кружевное белье.

Она не осталась в одиночестве. Ее примеру последовали многие в зале, в основном женщины, но были в числе рвущих на себе одежду и молодые люди, и не только молодые.

— Старье прочь! — вопили они. — Новому миру новую одежду!.. Свобода миру, свобода телу!..

Поллукс сделал мне знак следовать за ним. Мы оказались в каком-то сумрачном помещении, за массивной дубовой дверью. Он сказал негромко:

— Надеюсь, ты понял, что сейчас я спас тебе жизнь. Разорвали бы, как свою одежду, на клочки, что с них возьмешь — фанатики новой жизни. Потом бы горевали, плакали, написали бы воспоминания, сняли документальные и художественные книги — ничего нового. Толпа страшна, но без нее не обойтись — именно она вершит подчас историю. Сила ее ужасна, но недолга; всегда найдется вождь, который возбудит ее, и ее же похоронит. Нужно уметь вовремя вставать впереди толпы, и делать вид, что она идет за нами, а все остальное время лучше держаться подальше от нее...

Он протянул мне невзрачную картонку — удостоверение члена тайного общества, довольно сухо поздравил меня, наверное, было жалко разбитого мной подсвечника... Блажен, кто смолоду был молод... И чего привязалась ко мне эта строчка?.. Блажен...»

На этом месте было несколько вырванных страниц, затем опять продолжались записки:

«...первое мое задание в тайном обществе... Приехали верхами близнецы. Я впервые видел их в седлах, и так это было комично, что я не сдержался, хмыкнул. Кастор обжег меня взглядом. Но я понял, что завел себе непримиримого врага только тогда, когда совершенно случайно стал свидетелем потешной сценки, когда Кастор поддерживал Поллукса, чтобы тот щелкнул включателем люстры. Если бы они знали, что я нахожусь в одной с ними комнате, они непременно заставили бы меня включать свет, но я стоял за шторой у окна, пытаясь открыть форточку. Кастор кряхтя подсадил держал Поллукса за плечи, и в полутьме их парный силуэт был похож на большого, костлявого таракана. Поллукс включил люстру и в это время я вышел из-за шторы и, конечно, не сдержался:

— Когда повстанцы возьмут власть, может вам нужно, как всемирным героям, выхлопотать себе особый мясной паек?

Вы специально себя изнуряете, чтобы быть похожими на чахоточных карбонариев? Нужно будет пересмотреть стандарты унитазов, приделывать к ним ручки, чтобы не соскользнуть вовнутрь... Или оборудовать унитазы спасательными кругами? Раковины и унитазы также нужно будет снабжать лестницами-стремянками...

— Придержи язычок! — прошипел Кастор. — Пользуешься тем, что у нас не хватает специалистов, никого не в грош не ставишь?..

— Еще как ставлю в грош... Ну, ладно, ладно — пошутить нельзя?

— Смотри, не перешути. В любом деле переборщить — себе навредить, — сказал Поллукс, и в голосе его я почувствовал сильное желание живьем содрать с меня шкуру.

Что-то все меньше и меньше мне нравились вожди восстания. Соблазн рос.

Охра, падеспань, люцерна

Как-то речь зашла о жесткости императора Октавиана Второго. Вот, дескать, он не брезгует применять изощренные пытки. Совсем недавно он за малейшую провинность отобрал у министра связи жену-красавицу и отдал ее адъютанту этого министра. А всего-то министр тот проспал пуск новейшей имперской боевой ракеты, не обеспечил связь, и до сих пор не знают, куда ракета улетела, и улетела ли вообще, потому, что все боятся в шахту заглянуть — вдруг в этот миг ракета вылетит и снесет башку?

А заведующему гаремным отделом пропаганды, Живущему ради чистоты, Мальбруку, за то, что провертел дырочку в стене одной из спален (мало ему каждый день официально глазеть на прелести гаремных див, он еще подсматривать наладился), назначено такое наказание: кастрация с отсрочкой исполнения приговора, причем время отсрочки не указано — может, через год, а может, завтра потащат Мальбрука коновалы в темный угол.

Ретро, портмоне, хеллоуин...

— Пора испытать тебя в деле, — сказал Кастор. — Тайное общество поручает тебе ликвидировать командующего бронетанковыми войсками Симеона Одноглазого, Живущего для народа... Вся сила режима в танках и броневиках. Да еще в авиации, космических силах. Доберемся и до этих. А пока одноглазого...

— У него ведь четверо детишек, — сказал я, вспомнив генерала, окривевшего, как говорили, во время танковых учений, когда он по недоразумению навел прицел на собственный дом, прямо на окно спальни, и ему открылось внезапно такое, что потом не смогла объяснить ни его жена, ни тем более его денщик, которых он увидел в прицел, и тут же окривел...

— В арсенале нашей борьбы, — сурово ответил Кастор, — жалость не значится. Мы думаем не о людях — о человеке! Это ясно?

Мне было не очень ясно, но я кивнул, идеи высшей справедливости тогда бродили во мне, как прокисший кумыс.

Мне выдали маузер в деревянной кобуре и книгу Кастора и Поллукса «Свобода рождается в бою». Я осилил первые три страницы, очень мудреная была книга. Там уже в первых строчках было написано про чистую волю, анархию, философию Гегеля и марксизм Маркса и Энгельса, а также про конфуцианство Конфуция и романтическое мировоззрение Ницше, Достоевского, Иванова-Задунайского, а также просто Иванова, писателя с улицы Мостовой. Их мощным соединенным интеллектом утверждалась необходимость вести народ к счастью, а также богатству. А также к всеобщей любви. И люди легко достигнут всего этого, а еще многого другого, о чем написано на непрочитанных мною полутора тысячах страниц умной книжки, если будут слушаться Кастора и Поллукса.

Нет, что бы ни говорили о легендарных вождях повстанцев, мужики они были неглупые, вот только ростом не вышли. И грамматешки им бы не помешало добавить. Кастор сумел закончить два класса школы в поселке Социализм, Поллуксу учиться не довелось — с детства захватила его борьба за народную свободу.

Так что не образованием они брали, а природной сметкой. А грамотеев и без них в движении хватало — и старый книжный червь Бочаров, и тот же борзописец Иванов, и даже сам Борис Моисеевич Эткинд, человек энциклопедических познаний.

— Когда успешно выполнишь первое задание, — сказал Поллукс, — посажу Иванова книгу писать...

— Какую книгу? — хмуро спросил я, прикидывая, что лучше — выполнить задание вождей подполья, или сдать этих вождей в какую-нибудь тайную службу, благодать, что этими службами наводнены окрестности.

— Конечно, про тебя книгу! — радостно сказал Кастор. — Ты же станешь героем! О тебе будут слагать песни, от одного только упоминания твоего имени будут трепетать тираны!

Тогда мне показалось заманчивым стать народным героем, и для этого всего лишь надо один раз нажать на спусковой крючок любимой винтовки Мосина.

— Ладно, ладно, — согласился я. — Вот только прочитаю вашу книжку о свободе...

— Ты что, сдурел? — сказали они одновременно. — Там полторы с лишним тысячи страниц!.. Пока ты ее прочитаешь, Симеон Одноглазый деру куда-нибудь задаст. Или в маразм впадет и не поймет самого факта возмездия. А он один из первых врагов нашего движения. Сколько он народу раздавил своими танками!..

— Ну, хорошо, — согласился я. — Завтра займусь этой проблемой...

— А сегодня нельзя? — спросили нетерпеливые вожди повстанцев.

— Завтра — и баста! — проявил я твердость.

Вечером достал из укромного места винтовку, патроны. Оружие было в идеальном состоянии.

Бывают в жизни моменты, когда чувствуешь, что надвигается нечто важное, которому суждено переделать твой мир. Не знаю, что это за чувство такое — шестое или тринадцатое, не ведаю, откуда оно берется, но когда оно приходит — ты его не проспишь. Ты знаешь, что нужно делать!..

Я завернул винтовку в холстину и вышел из дома. Сентябрь стоял золотой, тихий, ясный. Хорошо в такой день идти с винтовкой по делу. Лишь бы не было осечки.

Не больше получаса понадобилось мне, чтобы дойти до дворца Октавиана Второго, Живущего для народа. Под боком у дворца стояли всякие министерства, в том числе и танковое, в котором сидел Симеон Одноглазый и думал: куда девать танки в едином царстве-государстве, в единой империи? Внешних-то противников нет. Может, бросить пару дивизий на борьбу с саранчой?.. Против мелкого пруса пойдут самоходные артиллерийские установки, против крупного пожирателя полей и огородов можно применять реактивные самонаводящиеся снаряды... Но этим проблему не решишь, остаются без дела еще шестнадцать танковых армий и два отдельных корпуса — стоят, голубчики, заправленные, орудия заряжены, ждут сигнала. А тут вечный мир!.. А может, на дворец двинуть?..

Перед чугунными воротами путь мне заступила охрана.

Спросили не грубо:

— Куда лезешь, дядя? Не видишь что ли, ограду, не видишь колючую проволоку? Нас не замечаешь?

— Дай ему в рыло! — сказал кто-то.

— Дать ему в харю всегда успеем, сначала узнать надо, чего ему, дуриле, нужно, — произнес другой.

— Чего приперся? — спросил третий. А всего их было не меньше взвода. Здоровенные, видать, перловку и репу на них не жалели. — Чего хочешь?

Я загадал: если пробьюсь к Симеону — застрелю Симеона, если, паче чаянья, доведется увидеть самого Императора, то убью его. Не зря же шел. Да и затаившаяся пока демократия требует выстрела.

— Мне к Октавиану Второму, Императору, — ответил я охране. — Важное дело!..

— Ну, ты ханыга! — заржал один. — К Императору ему нужно! По важному делу! А к Господу Богу тебе не хочется?

— Полосни его очередью, и сразу на небесах окажется, — радостно предложил другой, и все захохотали.

Но все-таки они отпустили меня живым, в общем-то, незлобные ребята. Я двинулся вдоль ограды, а надо мной пламенел сентябрь. И настроение было сентябрьское, чуть грустное и очень светлое. Я решил, что первое задание должно пройти идеально и не испортить такой чудный день.

Там, где ржавчина чугунной ограды смешалась с ржавчиной дубов, я забрался на вековое дерево. Там, на высоте двадцати, а, может, и тридцати метров, огромная дубовая ветвь мостом нависала над оградой и звала в запретный императорский сад. Я двинулся по этому осеннему мосту, но мне даже не понадобилось перебираться в сад. Я навел прицел и тут же в его перекрестие попал командующий бронетанковыми войсками. На еще зеленой лужайке перед дворцом он играл в шахматы с Императором. Конечно, проигрывал. Попробовал бы кто-то выиграть у Октавиана Второго. Он придумал новые правила: двигал и белые, и черные фигуры. «Я главнокомандующий армии всего мира, — говорил он, — поэтому мне подчиняются все цвета!.. Может, кто-то не согласен?..»

Согласны были все, и по этому поводу не расстраивались. Но у Симеона была мечта — обязательно выиграть у Императора. Даже если придется лишиться жизни.

Я пригляделся: разыгрывалось несложное начало, гамбит Эванса. Главный танкист пожертвовал пешку, и не зря. Перспективы удачного развития были очень неплохие. Генерал сиял, Император хмурился.

Я передернул затвор, снова прицелился. Октавиан снял с доски одного неприятельского слона, сунул его в карман. Позиция танкиста на шахматной доске резко ухудшилась. Император замурлыкал под нос какую-то песенку. От дуба, где

я обосновался, до лужайки с шахматистами было метров сто пятьдесят, и расслышать мелодию я, конечно, не мог, но вся империя знала, что когда Октавиан выигрывает в шахматы, а выигрывает он всегда, то напевает «Не сталевары мы, не плотники, но сожалений горьких нет как нет, а мы монтажники-высотники...»

Когда-то давно — в другом времени, в другом городе, в другой жизни — он, кажется, учился в ремесленном училище на монтажника. Говорили, что дело свое он знал. Но история распорядилась: быть ему не монтажником, а суровым императором.

Я перевел перекрестие прицела на висок генерала, где трепетала голубая жилка. Я задержал дыхание, еще секунда — и партию не удастся закончить.

Генерал между тем сделал рокировку в короткую сторону и усилил фланг; несмотря на утрату слона, он вполне может добиться ничьей, а при известных обстоятельствах даже победить. Танкист двинул вперед конницу; до сих пор еще живое спорит с неживым, и даже побеждает. У него не было никакого опыта управления конными лавами, но ему повезло: эскадроны прорвались в тыл — и полетели во все стороны пешки, панически боящиеся окружения. Ферзь покачнулся и схватился за шапку, расшитую самоцветами. Действия конницы вынудили самую тяжелую фигуру попятиться.

Но явного перевеса не было ни у кого. И тут Император проглядел действия второго слона противника. Слон мгновенно пересек поле и запер неприкаянного ферзя в углу; тому ничего не оставалось, как сложить голову в обмен на жизнь отважного офицера.

Генерал едва сдерживал радость. Октавиан наливался темнотой, как июльская грозовая туча.

Что-то удержало меня от немедленного выстрела. Танкист уверенно двигался к победе и, казалось, наступает самый момент получить пулю — в минуту, когда сбывается мечта, в минуту триумфа. Но мне стало его почему-то жалко... Да еще так билась на виске голубая жилка. Тут еще Император сунул в карман ладью танкиста, и стало понятно, что и на этот раз он не проиграет. Я перевел прицел на Октавиана. Тот торжествовал, как ребенок. Наверное, думал, что власть должна быть абсолютной, полной, иначе грош ей цена. Как посылать на смерть бойцов, отдавать приказы на бомбежку, если ты не можешь забрать у своего генерала просто так ладью? Не выиграть, а забрать — и принимать аплодисменты придворных. Император обязан быть жестоким, несправедливым, страшным. Ему можно все, другим в его присутствии — ничего.

Придворные устроили настоящую овацию победителю, тот благосклонно кивал особенно шумным проявлениям восторга.

Я прицелился в Октавиана Второго, и тут только заметил у него на плече, на золотом эполете крошечного котенка — рыжего, большеглазого и ушастого. Когда-то такой был у нас, и его звали Василием. Нет, не Васькой, а Василием...Блажен, кто смолоду...»

Здесь в рукописи не хватало еще нескольких страниц. Димон пригляделся к почерку, он без сомнения был ему знаком. Но кому он принадлежал? Кому? И этот рассказ о винтовке Мосина не был ему совершенно неизвестным. Да и поговорочка эта про блаженство... И, вдруг память Димона осветило словно вспышкой молнии. Ну, конечно, как он мог забыть! Как не в ту же секунду понять, откуда в спальне Императора взялся патрон? Ведь с самого первого класса в школе не устают читать истории о доблести, доброте и справедливости Ликурга, и в этих историях присутствует всегда винтовка, как последний аргумент. Нельзя было Димону забывать об этом...

Надо все-таки дочитать тетрадь. А потом решать, что делать, и зачем Ликург Шестнадцатый, Живущий для Народа, подбросил этот патрон?

Мемориал, коллайдер, фермуар...

«...никого не смог убить! — орал Кастор, — принялся Димон за рукопись, все больше и больше холодея от страха. — Да, умеешь ли ты стрелять? — шипел Поллукс. — Может, ты сам о себе распускаешь слухи, будто ты ворошиловский стрелок?

— Закажи мне самого себя, узнаешь, — огрызнулся я.

Нет, не нравились мне вожди. Не нравились вообще повстанцы, революционеры, заговорщики. От них всегда пахло пивом и рыбой, как от рыбаков, но они не были рыбаками, и не любили рыбачить и не могли отличить леща с душком от леща без душка. Среди них попадались, конечно, и те, кто ненавидели пиво и обожали благородные красные вина, и говорили на тринадцати языках без словарей, и еще на двух со словарями, но и они вызывали во мне тошноту. Может, потому, что пугачевцы, декабристы, гавроши на баррикадах всегда посягали на то немногое, что могло принадлежать мне в жизни, — мое время, мою свободу и обязательно на мои мысли. Они должны — мысли эти — помогать мне горланить на площадях, швырять бутылки с коктейлем Молотова, разводить костры из книг...

Противники повстанцев тоже были не прочь захватить мои мысли в плен, а еще лучше — убить их. Поэтому одни всегда твердили о монгольском иге, другие с пеной у рта доказывали, что иго было как раз хазарское и очень полезное.

— А теперь получи конверт с новым заданием, — сказал Поллукс. — В конверте фотография и адрес того, кто должен быть устранен. Задание пустячное, думаю, что ты должен справиться... Нужно обязательно убрать этого человека; это крупная акула в теневом бизнесе...

И он засмеялся.

Я открыл конверт и первое, что мне бросилось в глаза на цветной фотографии — розовый шарфик на девичьей шее. Где-то я его уже видел. Блажен, кто смолоду был молод!.. Я поднял глаза — ну, конечно, это была та самая девочка, с которой я ходил купаться на Чаган, которая внезапно исчезла из моей жизни; я всегда считал, что именно из-за нее мне захотелось взять в руки винтовку, так велико было отчаянье, или таковым казалось...»

Здесь опять ничего нельзя было разобрать, как будто кто-то намеренно вымарывал целые страницы. Но так вымарывал, словно хотел, чтобы хоть что-то осталось. Димон с трудом читал, а скорее догадывался, что было написано дальше: «На крыше кинотеатра КРАМ, за кирпичной трубой, я занял позицию. Конечно же, я никогда не смог бы убить ее, но мне так захотелось ее увидеть, хоть и через прицел.

Она появилась в сопровождении телохранителя, и я сразу понял, что этот амбал был для нее не только охранником. Зря я висел когда-то на ветках акации под ее окном и проливал слезы, когда она играла на пианино. Зря я рисковал жизнью, переплывая Чаган, зря я думал о ней... Блажен, кто... Я напряг память и вспомнил следующие строчки:

Блажен, кто вовремя созрел,
Кто постепенно жизни холод
С летами вытерпеть умел...

Но при чем здесь Пушкин?..

В наушнике наводчик вопил: “Огонь! Стреляй же, до цели пятьдесят метров!.. Огонь!.. Ты делаешь большую ошибку!.. Не пожалей!”

Я еще раз взглянул в прицел: розовый платочек был на месте, но девочки моей там больше не было. Красивая, успешная женщина, прикрываемая амбалом-охранником, садилась в шикарный автомобиль; ее хотели убить, ее сегодня должны

были убить, но она осталась жива... Интересно, играет ли она теперь на пианино?..

“Тебе конец!” — сказал наушник голосом Кастора. “Собака! Собачье мясо!” — добавил голосом Поллукса. “Ты труп!” — сказали они в унисон.

Я не стал дожидаться, когда ко мне пожалуют боевики повстанцев или в окно мне влетит граната. Я опять отправился ко дворцу. Охранники меня узнали, заорали:

— Ну, точно надоело тебе с ненабитой мордой жить!

Их командир (я потом узнал, что его звали Димоном) приказал:

— Тащи его в караульное помещение!.. Разберемся с ним, когда кортеж пройдет.

И тут же из-за небольшого леска вылетела небольшая — всадников двадцать —кавалькада; они направились прямо к караулке.

— Внимание! — крикнул Димон. А, обращаясь ко мне, добавил:

— А ты смотри мне! Иначе разорвем в клочки!..»

Охранники заняли свои места, передернули затворы автоматов — на всякий случай, и стали похожи на гипсовые скульптуры в городском саду.

Димон напряг память и, в общем-то, без особых усилий вспомнил тот далекий день, и как будто ледяной сквозняк проник в самое сердце.

Нет, все-таки зачем Император поручил ему это расследование?

Он продолжил читать странную тетрадь: «Всадники сбавили ход у самой караулки, и вдруг один из них резво спешился, заглянул в зарешеченное окно. —— Эй, ребята! — крикнул он — Вода холодная есть?

Димон никогда не видел Октавиана Второго так близко, а это был он, и внезапно заробел. Застыл. Окаменел...

Охранники, по примеру своего командира, боялись дышать, не то что подать ковш воды. Все они были головорезы, тренированные хладнокровные убийцы, они без раздумий могли броситься в огонь и воду, но так сильна вблизи оказалась магия власти, что она на время парализовала их.

Мне до этого приходилось видеть Императора только по телевизору, там он был мужественнее, старше, величавее, а здесь он оказался немолодым, потным, тяжело дышащим мужиком. Его беленое на манер китайских проституток лицо было похоже на фарфоровую маску, и на этой маске на лбу сидел жирный, налитой кровью комар.

Я бросился к ковшу с водой, вынес его из караулки, немного расплескав, и протянул всемирному властителю.

Октавиан Второй напился, шумно выдохнул, похвалил меня:

— Хоть и разлил немного, но, видать, расторопный... Проси чего-нибудь, только не денег...и только не еды; весь двор овсянкой какой уж месяц давится... Эти суки, повстанцы, саботируют производство еды. И чего они хотят, паразиты? И так уже дошли до того, что Диван принял закон, по которому после очередной революции объявляется выходной. Так, в Макро-Усе плотность революций довели до двенадцати штук в день. На каждой улице своя революция, на каждом перекрестке баррикады, все свергают всех. Где набраться столько выходных? Боюсь, и сюда эти свободолюбцы пожалуют, их и танки не остановят.

Он еще приложился к ковшу, продолжил:

— Если поймаем когда-нибудь главарей повстанцев, им сильно не поздоровится. Шкуру с них сниму!.. Говорят, они скрываются в западных шахтах, самих глубоких на планете...

Он помолчал с минуту, опять спросил:

— Будешь чего-нибудь просить?

— Нет! — ответил я. — Я пришел не для этого...

— Для чего? — удивленно спросил он. — Все просят, даже эти великаны Кастор и Поллукс; прислали письмо, просят денег для своей партии фиолетовых... Ты тоже, смотрю, с фиолетовым отливом...

— Сейчас фиолетовых много, — сказал ему я. Он молча махнул рукой.

— Вы когда-нибудь видели главарей этих — Кастора и Полукса? — спросил я у него.

— Не приведи Дисциплинарий! — испугался он. — Говорят от одного их вида люди сознание теряют...

Я не выдержал, перебил Октавиана:

— Да, они немощные дистрофики!.. Реальные вонючие клопы... И открыто живут на улице «50 лет запрета на аборты», дом шестнадцать, квартира семнадцать...Их можно взять голыми руками.

— Охрана! — крикнул Император, и к нему изо всех ног бросились и головорезы Димона, немного пришедшие в себя, и секретные бойцы в камуфляже, давно обжившие каждый куст Императорского сада, и андроиды специального назначения, которые легко попадали из револьвера белке в глаз на расстоянии тридцати километров. Правда, никаких белок здесь и в помине не было. Четыреста лет назад водились степные лошадки, но за четыреста лет их успели съесть степные волки, которые в свою очередь пали от рук охотников; уж больно знатные шапки получались из волчьей шкуры.

— Взять! — закричал Император. — Живьем! На улице, где аборты пятьдесят лет назад запрещены! А, может, разрешить их? Все равно ковчегов на всех не хватит!

Димон оглянулся: не услышал ли кто посторонний важнейший государственный секрет? Посторонних не было. Кроме меня. Но я, судя по всему, уже покинул разряд посторонних.

— Мне бы десяточек таких, как ты, людей иметь, я горы бы свернул, — сказал Император проникновенно. — А вокруг одни дураки и блюдолизы...

Я промолчал, скромно потупившись.

— Так пойдешь ко мне на службу? Начальником всей охраны?

Тогда мне показалось, что винтовка, завернутая в холстину, принялась вырываться у меня из рук. Отавиан тоже это заметил, спросил:

— Что у тебя за палка в мешке?

Я улыбнулся:

— Это не палка, а винтовка... Безотказная винтовка Мосина! На всякий случай взял, вдруг эти карлики станут оказывать серьезное сопротивление...Винтовка пристреляна.

— Молодец! — похвалил меня Октавиан Второй, Живущий для народа».

Димон, листая тетрадь, вчитываясь в каждое хоть чуть-чуть понятное, едва различимое слово, давным-давно догадался, кто автор записей. И тем не менее бесконечно задавал себе вопрос:

— Зачем?

Все ответы, которые он давал сам себе, звучали похоже. Надо Димону, начальнику охраны Императора Ликурга, рвать когти, бежать без задних ног куда глаза глядят. Но бежать, скорее всего, было некуда. К повстанцам? Так они мечтают запустить его в космос на геостационарную орбиту — пусть поврашается лет тридцать!

Скрыться у народа, обитающего в озерах и омутах? Но разве не он в целях безопасности приказывал сбрасывать в озера, а заодно и реки, глубинные бомбы? Тогда удалось взорвать всех диверсантов, а вместе с ними и всю рыбу, которой кормились навсегда промокшие подводные люди. В общем, тогда жертв было много, и вряд ли в подводных обиталищах обрадуются появлению Димона. И запросто могут скормить его голодным ракам. Бррр!..

Но, может быть, все-таки Ликург поручил ему это расследование с иной целью — не погубить Димона, а его руками выполнить большую государственную работу? Нужно все-таки

до конца дочитать эти записки снайпера. Он опять углубился в чтение. Речь шла о знакомом, но давно позабытом: «Вождей повстанцев взяли голыми руками, не понадобилось никакого оружия. И Кастор, и Поллукс лежали на своих раскладушках (по примеру какого-то древнего героя они не спали на перинах, матрасах — только на раскладушках) и нюхали клей, засунув головы в целлофановые пакеты.

Ребята Димона уже через полчаса притащили вождей повстанцев, связанных бельевой веревкой, и бросили к ногам Императора. У обоих от страха стучали зубы.

— Ну, надо же, какие костлявые, — сказал Октавиан Второй. — Может, это не они? Уж больно хилы...

— Это не мы, совершенно не мы, — тут же отказались от самих себя Кастор и Поллукс, и, не разобравшись в ситуации, начали тыкать пальцами в мою сторону, — вот человек может подтвердить, что это совсем не мы.

Я достал винтовку, передернул затвор, прицелился в первого близнеца, спросил взглядом у Императора: прикончить этих токсикоманов?.. Не знаю, стал бы я стрелять в них, но Октавиан Второй, Живущий Для Народа, поверил в мою решительность, а это было для меня полезнее, чем застрелить жалких, трясущихся карбонариев.

— Просим пощады! — прокричали в унисон неудавшиеся подпольщики. — Мы всю жизнь заблуждались, а теперь прозрели...

— Прозрели! — вопил Кастор.

— Еще как прозрели! — орал Поллукс. — Верим в небесную природу власти нашего любимого Императора.

— Горячо любимого!..

Это было так противно, это было так смешно, что стало ясно — жизнь себе они вымолить все-таки сумели.

— Грамоте обучены? — спросил у них Император.

— А как же, многие языки знаем, — кажется, врали они, — и лао, и марати, и телугу, и даже альфендио...

— На альфендио в мире говорят 633 человека, — удивил Императора Кастор. Поллукс добавил:

— Теперь — 634, Кастор в совершенстве выучил альфендио...

— Ладно, ладно трепаться, — сказал Октавиан Второй, — казнить вас пока не буду, продолжайте коптить небо. Но вас посадят на цепь, и будете вести летопись нынешнего правления. Смотрите у меня, кормежка ваша будет зависеть от качества работы. А прикованы вы будете на втором ярусе моей библиотеки...

— Благодетель! — повалились в ноги летописцы. — Распишем так, что мама родная не узнает — все героические деяния, все душевные грани будут представлены полно и выпукло.

Их тут же заковали в железо и на корзине подняли на второй ярус императорской бесконечной библиотеки, на тридцатикилометровую стеллажную высоту, и они сразу взялись за дело.

Вот от них, наверное, пошла вкривь и вкось вся мировая историческая наука. Их многотомную писанину никто толком не читал: писанному мы никогда не верим, сказанного опасаемся, — мы и без слов все понимаем; молчать и не верить нас научил глубокий, как степной колодец, космос. Каспийское море впадает в Урал, яицкие казаки — потомки древних хазар, родословная Октавиана Второго восходит к Посейдону,— что ни напишут наши ученые, то в книгах и останется, как запас на черный день, а мы все равно будем знать свою правду; у нас этой правды хоть завались, пуда по два на каждого.

Сгинули Кастор и Поллукс, растворились в книжных лавах, в первые годы их библиотечного заточения с головокружительной высоты время от времени доносилось позвякивание цепей, а потом все стихло, наверное, зачитались близнецы. Ну, а меня Октавиан назначил Личным Несменяемым Часовым Императора.

— Будешь каждую ночь бодрствовать у дверей моей спальни, охранять, — сказал он. — Отсыпаться будешь днем... Паек будешь получать двойной, с баклажанной икрой... И чтобы винтовка всегда была в полной готовности защищать меня, твоего Императора! Понял?

— Понял, — ответил я. Но как-то мне это не очень понравилось. И неясная мысль запала в голову, одна мыслишка...»

Димон мог бы дальше не читать, но он читал: «Личным несменяемым часовым я выдержал два года. Скучно было дремать у двери спальни Октавиана, опираясь на винтовку, да и страшно: где-то в бескрайней вышине библиотеки хлопали крылья начитанных летучих мышей, гремели цепями близнецы, время от времени посылая мне негромкие проклятия, кто-то все время хлопал невидимыми дверями, топал сапожищами, а где-то совсем рядом плакала девочка, наверное, у нее тоже шарик улетел. Я громко шептал в темноту:

— Девочка, чего ты? Обидел кто?

Всякий раз отвечал густой мужской бас:

— Не суй нос в чужие дела! Стой, где поставили, ворошиловский стрелок!

В тесных бесконечных коридорах было много крыс, они почему-то любили сидеть на подоконниках, их черные силу-

эты выделялись на фоне стекол, и казалось — они здесь настоящие стражи, не я.

А однажды в приемную прорвалась женщина — тонкая, быстрая, решительная — в чем-то тонком, черном, строгом.

— Пропустите меня к ним! Пропустите! — сказала она мне. — Я знаю, они тут. Мне верный человек сказал.

— Даже охрана не бывает верной, — ответил я, и почему-то мне стало смешно.

— Что вы с ними сделали? — спросила женщина, и, не спросив, села на кушетку мадам Рекамье; откуда она взялась, эта кушетка?

— Где-то я видела эту кушетку, — произнесла женщина и положила ногу на ногу. — Где мои дети?

Ноги у нее были стройные, к ним как раз подходило тонкое, строгое.

— У нас здесь не бывает детей, не положено, — объяснил ей я. — Для детей в Империи достаточно специально отведенных помещений. Вот, скажем, дом-интернат открытого типа, он построен на месте подземного ядерного взрыва. Архитекторы исходят из странной закономерности, по которой в одном месте атомные бомбы не взрываются.

— Вы меня разыгрываете? — грозно спросила она и приподнялась с лежанки Рекамье.

Я передернул затвор.

— Стреляю без предупреждения! — сказал я строго. — Имею на это специальное разрешение... Так что лучше стой на месте!

— А знаешь ли ты, кто я такая, солдатик? — спросила она, но остановилась. Наверное, подумала: кто знает, что у него на уме? Может и пальнуть сдуру, зарабатывая лишнюю лычку.

— Ну и кто? — поинтересовался я, но на всякий случай расстегнул кобуру маузера.

— Я Лидия... Некогда была Лидией Первой, Живущей для Народа, Почетной подавальщицей...

— Выгнали? — перебил я ее.

— Сама ушла... Годы берут свое. Почувствовала, что пора жить не для народа, а для себя самой.

— Первый раз вижу человека, который будто бы сам отказался от жизни во дворце, от деликатесных объедков, от парчовых обносков. Рядом с хозяевами жизни тепло даже в сорокаградусный мороз, даже хина кажется сладкой, и людей, как магнитом, тянет к подножью тронов, — сказал я, — а ты уверяешь, что сама все это оставила?

— Представь себе!..

И вдруг я понял, что эту бывшую Подавальщицу мне послал сам Дисциплинарий, если она не врет. Ничего, проверим.

Я взял ее под теплый локоток, отвел подальше от двери императорской спальни. Спросил еле слышно, а вдруг государственная тайна:

— Скажи, почему у императоров лица беленые, как фарфоровые? Ведь это, по сути, маски?..

Лидия задумчиво посмотрела на меня, потом проговорила:

— Ни за что и никогда бы не сказала тебе, но ты сам ответил: это маска. Секретные историки пишут, что это повелось от Веспасиана Тринадцатого, Живущего для Народа. Тогда замучили старика вулканические прыщи, — и как только лекари не бились — ничего не помогало. Готовили отвары для кожи, мази, микстуры, а юношеские прыщи не покидали стариковской кожи. Тогда попробовали обычный театральный грим, но и он не очень помог: нарисованный румянец, черные, как смоль, брови, алые губы делали Веспасиана похожим на клоуна. Клоуна-перестарка. Но этот несовершенный грим подтолкнул императорских косметологов на нужное решение. Что нельзя улучшить, то можно спрятать — так родилась идея мягкой маски, и она вот в один прекрасный день придворные увидели Веспасиана с выбеленным лицом. Все сделали вид, что так было всегда...

— Ну, а потом выяснилось, что эта маска годится еще кое для чего, — перебил ее я. Она замахала руками, опасливо оглянулась на дверь императорской спальни.

— Больше ничего не знаю! — в панике прошептала она. — Не знаю!..

— Зато знаю я... — жестко сказал я. — Маска не только скрыла лицо Императора, но и дала возможность иметь сколько угодно императорских двойников... Скажем, настоящий правитель находится на рыбалке, а его двойник в это время проводит утреннюю проверку ногтей у придворных среднего звена. Или подлинный Император еще нежится в постели, а подделный возглавляет учения пожарников...

Я собрался с духом и добавил:

— И, вообще, неизвестно, может давным-давно на троне и не Октавиан совсем, а какой-нибудь Брут?

— Исключено! — сказала Лидия. — У настоящего Октавиана есть идентификатор — императорский Перстень Власти с изумрудом, и в этот перстень вмонтирован специальный микрочип с императорской родословной. Подделать его невозможно.

Я достал из кармана перстень, показал его Лидии:

— Этот, что ли?

— Только компьютерное сканирование может подтвердить или опровергнуть подлинность этого перстня, — не сдавалась она, но по ее глазам я видел: она готова поверить. Но я ей пока не говорил, что купил перстень в подземном переходе; там у одного барыги были и белила, и перстни, и императорский шлем-корона — и все это я сторговал за полбанки. Барыга и сейчас там стоит, и даже снизил на свой товар цену.

Я включил императорский сканер, раздалось негромкое жужжание, по экрану компьютера побежали какие-то значки, должно, быть антураж секретного кода. И тут же компьютер запросил пароль.

— Ну что, встало дело? — торжествующе спросила Лидия. — Пароль нужен, а как я понимаю, его вам никто не сообщал. Или, может, Император посвятил вас в эту тайну всех тайн? Нет?..

Я набрал первое пришедшее в голову число — 13-13-13, — и сканер заработал. Не прошло и минуты, как на экране появилась надпись: «Идентификатор подлинный, перед нами его Человеколюбие, Живущий для Народа, Император Октавиан Второй, хранит его Дисциплинарий!»

— Что вы задумали? Что ты, молодчик, задумал? — опять двинулась в мою сторону Лидия. Остановилась только когда уперлась грудью в острие штыка.

— Скажите честно, сколько «Октавианов» сменилось за вашу бытность в этой спальне? — спросил я у нее. — Вы не можете этого не знать, ведь белила по утрам наносит на лицо Императора именно Подавальщица... Только она видит подлинное лицо владыки... Ну, не жеманьтесь, не жеманьтесь, вам это зачтется когда-нибудь...

— Хорошо, я скажу, — вдруг смягчилась она. — Только скажите, живы ли мои несчастные мальчишки?

— О ком вы говорите?

— Естественно, о своих сыновьях — Касторе и Поллуксе...

— Ах, об этих вождях? Единственное, что могу сказать — они живы и занимаются научной деятельностью, — ответил ей я.

Она вздохнула облегченно:

— Слава Дисциплинарию!

Где-то высоко над нашими головами едва слышно прозвенели цепи.

— Что это? — встревожилась она.

— Это круглосуточная стража, — соврал я. Мне давно уже удалось убедить Императора, что я один со своей верной винтовкой могу заменить всю дворцовую стражу.

— Теперь выкладывайте свою информацию, — сказал я.

— Думаю, что только за этот год это уже третий император, они быстро меняются, — прошептала она.

— Третий? — изумился я. — Что-то маловато...

— У меня нет точной статистики, хотя думаю, что царствующих двойников действительно больше...Нынешний, скажем, пообещал еще на той неделе назначить Подавальщицей Лидию Вторую, мою дочь, но теперь отказывается, говорит, что не помнит...Скорее всего, он просто не знает... Трудно выполнять желания придворных, если ты эти желания не знаешь. Это тоже, наверное, сокращает время царствования...

— А ты не так проста, — сказал ей я, переходя на «ты». — Дочь приводи, постараюсь пристроить ее на хлебное место...

— А есть вообще такие места?..

— Поищем... — я подумал, что лучше всего иметь такую женщину если не в друзьях, то в союзницах.

Я прислонил винтовку к стене у двери императорской спальни и пригласил Лидию выпить по рюмочке коньяка. У меня был превосходный коньяк, изготовленный из лучших сортов дубовой коры из светящегося леса.

— Не откажусь, — сказала она. — Сто лет не брала в рот спиртного...

— Наверное, повода не было? — спросил я.

— Не было, — сказала она. — С горя не хотелось, а радости не было... Собственно, какие радости бывают у человека? Утром проснулся — вот тебе и радость, хотя не каждый понимает, что это радость. Если за целый день тебя не закатали в бочку с черным перцем — прыгай от счастья! Если на улице разъехались ноги на скользкой дороге, и грохнулась на ледяной асфальт, вывихнула руку, разбила коленку, то благодари Дисциплинарий, ведь мог случиться перелом. Некоторые выигрывают в телевизионные шарады, им вручают мясорубки, соковыжималки и путевки на пляжи Карского моря, — это тоже счастье, потому, что большинство людей никогда не бывало дальше керосиновой лавки и думает, что сразу за соседним переулком кончается вселенная и начинается Всемирный Хаос, а тут — нате вам! — путевка в фешенебельный отель на Карском море... Но я не выигрывала путевки, не разбивала коленок и, кажется, даже не просыпалась...

Мы выпили с ней, и я налил еще. Выпили и это. Тогда она сказала:

— Поначалу ты показался мне таким фиолетовым, как баклажан, а сейчас присмотрелась — ничего, терпимо, не так бросается в глаза, как полчаса назад...

— Цвет кожи совсем не важен, — сказал я. — Говорят, что повстанцы вывели новый тип андроида — голубой. Но кожа у него красного цвета. А он — голубой. Прямо парадокс...

— Парадоксов не бывает, — продолжил я, — просто один знает больше, а другой ничего не знает вообще. Блажен, кто смолоду был молод... И ему было понятно, что цвет будут учитывать не сразу, что дадут пару лет на обзаведение...

— О чем мы говорим? — спросила Лидия, — Чистый абсурд. Выпили всего ничего, но умудрились учинить дискуссию о цветах. У меня в детстве была белая кошка с голубыми глазами. Я решила выкрасить ее под цвет глаз, и выкрасила масляной краской, как та ни отбивалась, как ни царапалась...

Она замолчала, задумалась.

— Ну и что? — спросил я.

— Да, ничего, кошка сдохла... Не все выдерживают смену цвета...

В это время за дверьми спальни зародился воющий звук:

— Ли-и-и-и-и!.. Ли-и-и...

— Он зовет меня уже третий год, — сказала Лидия. — Не верит, что я ушла...

— Я каждый день слышу этот вой, но думал, что Ли — это какая-нибудь утренняя китаянка, — сказал я, — и удивлялся, когда он отказывался от приведенных желтых красавиц. Почему же он никогда не говорил, что это он тебя кричит?..

— Дело в том, что ему кто-то напророчил, что власти он будет лишен при участии женщины по имени Лидия, — объяснила она, — и вот поэтому одна часть его натуры — трусливая — не желает даже слышать это имя, другая часть, которая посмелее чуток, зовет меня — и борьба эта внутренняя порождает этот нечленораздельный вой...

— Так Лидий много, — сказал я, — всех не удалишь... Я знал одну, ее звали Лидией Фоминичной, и некоторые тоже теряли из-за нее голову...

— Да, нас немало, — согласилась Лидия. — Только в нашем роду их было десятка полтора, на разный вкус, и на разный опять же цвет... Кроме дочки моей — Лидии — есть сейчас пара племянниц, пяток двоюродных сестер, ну и с десяток из родни помельче наберется...

Вой в спальне прекратился.

— Уснул, — предположил я, но в ту же самую секунду дверь из спальни распахнулась и в проеме двери встал, подбоченясь, Император Октавиан Второй, Живущий для Народа. Владыка Порфироносный. Его Человеколюбие.

— Шепчетесь? — сказал вкрадчиво, но голос его предательски дрогнул. Его терзал страх, и в этом страхе утонули его глаза, и это не скрывали белила на лице.

И тут произошел исторический момент. Миг Истины. Свершилось предначертанное. Винтовка Мосина, стоявшая у стены, вдруг повалилась, прочертив штыком по стене тонкую линию, ударилась о пол и... выстрелила. Император упал.

Странный мир, в котором все может выстрелить. И даже, говорят, кочерга — был бы грех. А грехов у нас...

Кабала, саботаж, магистрат...

Лидия пронзительно закричала, бросилась к Октавиану:

— Ты убил его, убил!

Я засмеялся:

— К сожалению, винтовка пальнула совсем в другую сторону, посмотри, пуля попала в дикую желтую картину, на которой изображен один только человеческий след на размытой дождями равнине.

— Это знаменитая картина Малыгина... — Лидия приподняла голову Императора и тот открыл безумные глаза, обвел взглядом приемную, и произнес растерянно:

— Не убивай, пожалуйста! Я сам все отдам — и ядерный чемоданчик, и Перстень Власти, и запас белил...

Он вздохнул облегченно, поняв, что никто его убивать не собирается, во всяком случае, в эту минуту.

— Знали бы вы, как надоело мне быть Октавианом... Каждый день краситься, каждый день ходить в гарем...

— Слабый ты человечишка, — сказал я ему, взяв чемоданчик, в котором рябило глаза от кнопок; нажми любую и помчится на цель атомная ракета. Под каждой кнопкой табличка с названием цели: «штаб повстанцев», «дача Сталина», «мюнхенская пивная», «Беловежская Пуща», «крейсер “Аврора”»...

Я удивился:

— Выходит, эти ракеты могут попасть в прошлое и все там взорвать?

Бывший Октавиан Второй засмеялся:

— Давным-давно не работают никакие кнопки, все ракеты заржавели и не летают, как страусы. Большие, а не летают. Но самое смешное — мы давно уже взорвали прошлое и вот-вот подберемся и к будущему...

— Нет никакого будущего, и уж подавно не существует прошлого, — грустно сказала Лидия. — Перемешались все времена и эпохи, не поймешь — где живешь, не всем ясно — зачем...

— Умойся! — сказал я бывшему императору. — Историю будет двигать другой. Сильный, решительный и меткий. И этот другой будет всем известен, как Император Ликург... Для весомости придумаем приличное число новому правителю. Пусть будет Ликург Шестнадцатый... Нужно теперь всем научиться говорить так: «наш Любимый Куратор-Император, Живущий для Народа, Ликург Шестнадцатый... Ну а бывшего... императора пощадим, убивать не станем. Забросим его на третий или даже четвертый уровень библиотеки — пусть читает, пишет чего-нибудь — до скончания времен; глядишь, и напишет такое, такое, такое... В общем, на цепь его!»

Прежде чем Октавиана подняли на почти безвоздушную высоту библиотеки, я не забыл поинтересоваться у него:

— Как тебя звали прежде, до того, как ты, собака, узурпировал императорскую власть? И кто ты? Лодочник?..

— Нет, я конюхом был... — понурил голову узурпатор. — А мать при рождении нарекла Владимиром... Владимир Ильич я...

— А фамилия? — догадалась, наконец, спросить Лидия. Тот фамилии своей не помнил. Да, и для чего она ему?

Была вызвана дочь Лидии — Лидия Вторая, головокружительная красавица — нежность, проницательность, верность — и тут же я возвел ее в высочайший ранг Живущих для Народа. В то утро Лидия Вторая впервые помогла мне выбелить лицо. Она не жалела белил, и не жалела слез — так оплакивала она Октавиана... Затем был вызван командир отряда охраны Димон...»

Здесь кончались записи в старой тетради. Но Димон сам вспомнил тот день.

Давно это было, и, честно говоря, тогда он не придал особого значения, что в приемной Императора оказалось две Лидии — Первая, заплаканная, потрясенная, и Вторая — только что назначенная Подавальщицей, Живущей для Народа. Здесь же жался в углу какой-то пожилой, безликий, залитый водой человек.

Император сказал тогда:

— С сегодняшнего дня мы будем именоваться Ликургом Шестнадцатым. Историки уточнили мою родословную, а это великие историки Империи — они не могут ошибаться, и, как и следовало ожидать, сделали ошеломляющее и радостное для всего мира открытие. Я — прямой потомок легендарного спартанца, великого законодателя — Ликурга, а он восходит к Адаму. Это значит, что наш мир будет стоять несокрушимо многие века...

«Чего я несу? — ухмыльнулся про себя Император. — Так можно договориться до того, что Бог — один из нас... С другой

стороны — чем больше глупости, тем меньше умных. А умные нам ни к чему...»

Ликург продолжил:

— Каждый, кто вспомнит прежнее имя — Октавиан — будет закатан в бочку с ослиной мочой. Указ об этом опубликовать сейчас же, даже пометить вчерашним днем, нет — прошлым годом!

Ликург Шестнадцатый уже в тот день выглядел угрожающе. Но никто тогда не знал, что он не только выглядит таким, он такой и есть. Страх не сразу пробрался из дворца во все уголки мира, но не прошло и месяца, как ни у кого не вызывало недоумения, что Император стал выше ростом — на целую голову, что голос у него стал жестче, что Лидия Вторая, Живущая для Народа, Почетная подавальщица, стала носить старинные императорские драгоценности, по империи прокатилась волна невиданных по своей жестокости казней. Людей — и виноватых, и невинных, а невинных чаще, — закатывали в бочки с черным перцем, полынью, белладонной, индийской коноплей и сбрасывали бочки в море. Называлось это «гуманным взысканием», и ведь на самом деле некоторым закатанным непонятно как удавалось спастись; их тотчас отправляли в рудники — добывать окаменевшее жигулевское пиво прошлых веков. В пивных рудниках никто не выживал.

Димон размышлял: «Все-таки он вручил мне самую свою жгучую тайну... Если, конечно, нет более жгучей. Все это я должен истолковать очень просто: он призывает меня в союзники. Времена настают такие, что Императору не мешает обзавестись соратниками, которым можно хоть чуть-чуть доверять. Впрочем, все времена во все времена были тяжелыми, и не стоит надеяться, что станет легче. Нет не станет. Тяжелее — да.

Уже на следующее утро он попросил аудиенции. Облачился в парадный мундир, неподъемный от орденов, медалей и почетных знаков. Были среди наград самые памятные, дорогие, полученные за отчаянные операции: Орден Ночного Душегуба второй степени — за молниеносный захват крупной станции по разведению живородящих андроидов; Орден Прощения четвертой степени — за разгром повстанческих отрядов у водопада Семи подземных взрывов — эх, славное было дельце! Тогда утопили живьем чуть не дивизию бунтовщиков. Но по традиции перед казнью простили их всех. Очень гордился он Счастливой Звездой Заката, полученной им из рук Ликурга Шестнадцатого — за то, что закатал по приказу Императора в консервные банки весь Союз Писателей, после чего вновь назначенные прозаики и поэты всегда испытывали творческий подъем...

Димон вошел в кабинет Ликурга, печатая шаг.

Завибрировал пол, тонко запел хрусталь люстр, присутствующие генералы и маршалы, старые рубаки, затрепетали ноздрями, как кобылы перед случкой (а, правда, какого они пола, маршалы?), в гареме старые жены оттерли молодых от провернутых в стене дырок, предвкушая драматическое зрелище.

Димон отрапортовал зычно и коротко:

— Заговор раскрыт, ваше Человеколюбие!..

— Неужели опять прачки поднимаются?

— И они тоже, ваше Человеколюбие. Главным образом все и поднимаются. Кухарки и кухаркины дети, шахтеры, еще недавно добывавшие глубинные окаменелые розы, а теперь, когда все розы кончились, они принялись винить в этом недальновидное правительство. Думают провести всесветную забастовку пожарники, причем, они решили не покидать своих депо, где у них параллельно проводится чемпионат южного полушария по коллективному сну.

— Чего они-то хотят? — спросил Ликург. — Газированной воды, чтобы ею тушить пожары?

— Именно этого они требуют, как вы догадались? — удивился Димон.

Император промолчал, а Димон проворчал:

— Паразиты, не люди...

— Надеюсь, принимаются суровые меры? — спросил Ликург Шестнадцатый. — Пора и силу применить...

— Каждый день ее применяем, ваше Человеколюбие, — принялся скороговоркой докладывать Димон. — Только вчера две роты пожарников перебросили из южного полушария на Землю Франца Иосифа, пусть там тушат ледяные торосы... Закатали триста кухарок в бочки с майонезом, шахтеров — целых три смены — замуровали в шахту, и тут же произошло чудо: было найдено сразу два куста окаменевших роз, а за это любому бунтовщику полагается свобода. Так, мы выпустили из шахты тех, кто нашел драгоценные цветы...

Ликург удивленно выгнул бровь.

Димон зачастил еще быстрее:

— Вытащили из шахты и запустили на стратаскафе на высоту сорок километров. Пусть там поразмышляют — бастовать или погодить... Запускали мерзавцев под ликование народных масс; больше всех радовались родственники преступников, их дети и жены.

— Но самое важное, — Димон придал голосу торжественности, — схватили главных злодеев, которые готовили покушение — страшно вымолвить, ваше Человеколюбие, — на вас. Они даже пронесли в вашу спальню винтовочный патрон,

причем дошли до такого цинизма, что задумали совершить злодеяние старинной винтовкой Мосина... Арестовано триста тысяч человек, еще два миллиона готовятся отречься от своих сомнений.

— Гуманно, гуманно! — похвалил Димона Ликург, и добавил почти шепотом, чтобы не услышал никто из свитских. — Репрессии не самоцель, ведь подумать только, сколько инакомыслящих мы сумели направить на нужную дорогу!.. Но, поводя репрессии и чистки, а они необходимы обществу, как лекарство, надо помнить, что людей у нас много, а кораблей мало... В полет должны отправиться только самые верные и обученные хоть какому-то ремеслу, чтобы на новой планете не пропасть насовсем. Поручаю вам формирование списков убывающих одновременно со мной — в первой армаде кораблей... Вам понятно?..

— Так точно! — гаркнул Димон.

— В списки должны попасть действительно мастера... И в этом я вижу вашу особую миссию... Или вы откажетесь?

«Все! — мелькнуло в голове у Димона, — в грибном супе сварят!..»

— Думаю, что не откажетесь! — продолжил Император. — И справитесь с миссией так же точно и быстро, как вы это сумели в щекотливом дельце с найденным в моей спальне патроне. Никто бы, кроме вас, не справился с поставленной задачей так быстро, с выдумкой, я сказал бы даже — с творческим подходом... Прошу вас принять из моих рук награду. Это высший орден Империи, но и его недостаточно, чтобы достойно оценить ваш труд на благо народа. Поэтому с сегодняшнего дня учреждается новый высший орден — «Верность Империи», и вы становитесь его первым кавалером.

Ликург приколол на китель мундира Димона что-то неимоверно сверкающее, звенящее и огромное, как самоварный поднос.

— Награда из чистого золота, — соврал Император и внутренне рассмеялся: был ли вокруг хоть один человек, который верил, что в казне осталась не украденной хоть одна крупица золота?

Он решил проверить. Подошел к ближайшему свитскому генералу, спросил негромко:

— В части начали поступать орудия, покрытые сусальным золотом?

Генерал выкатил глаза:

— Так точно, ваше Человеколюбие! Отличные скорострельные пушки.

— Ядра тоже золотые? — продолжил Ликург.

— Так точно! — врал генерал. — Ядра из золота царской пробы...

— Молчать! — не сдержался и фальцетом закричал Император. — Не умеешь врать, не берись!..

Генерал поник, потускнели на его штабной груди штабные ордена. Он молча упал на колени и заплакал. Все продолжали улыбаться, и больше других заместитель генерала.

Император спросил у сломленного генерала:

— Скажи, служивый, как надо поступать с брехунами?

Генерал только мычал и давился слезами.

— А можешь ли ты сказать, что такое счастье?

Генерал шмыгнул носом и вдруг твердо, по-солдатски, произнес:

— Только не в бочку с редькой закатывайте, я ее терпеть не могу — для меня и это будет счастьем...

Молодец! — воскликнул Ликург. — Настоящий вояка, кремень, а не человек! Как нам такие люди нужны! Как нужны...

Он подошел к генералу, обняв за плечи, поднял его с колен.

— Служи отчизне!.. Служи своему Императору.

Лицо генерала просияло.

— Да, я... Жизнь отдам за ваше Человеколюбие!

Ликург насупился:

— Может, она потребуется, твоя жизнь, раньше, чем ты себе представляешь...

Генерал пропустил эту фразу мимо ушей. Он сегодня, сейчас остался в живых, а что будет завтра, даже Император не может знать.

Аудиенция была завершена, Димон принялся за составление списков покидающих обреченную планету. Первым он вписал Императора, вторым себя и пару блондинок — официанток из закусочной «У космодрома». Подумал и внес в список и пару брюнеток — стриптизерш из ночного клуба «Фаршмак» — может, Ликурга потянет?

Лайм, шпатель, контрацептив...

Глава 11

СКИТАНИЯ

Артур сказал, что им нужно поторопиться, потому, что наверняка на дорогах, ведущих к десятым и двадцатым шахтам, уже расставлены засады, на всех высотах притаились снайперы, спущены с поводков боевые фиолетовые крысы.

— Видел ли ты когда-нибудь фиолетовую крысу? — явно красуясь перед Натахой, спросил Артур у Егория.

Тот, простак, конечно ни видел. Он вообще дальше Талдыпана не бывал, когда дедушка Егорий, светлая душа, ездил в райцентр сдавать сусличьи шкурки и брал с собой внука. Это случалось раза три, и Егорий навсегда запомнил огромный серый бугор цирка шапито, который каждую весну вырастал на пустыре возле талдыпанского базара, и в этом самом шапито плясали крошечные хитромордые собачки в штанишках, рыдали клоуны, извергая водопады слез и беспрестанно награждая друг друга тумаками, жил огромный и пузатый силач Либа, у которого на самом деле фамилия была — Либермандер. Силач этот жонглировал четырьмя двухпудовыми гирями, и прокормить его, говорил дедушка Егорий, было невозможно. Либа сначала работал сторожем на рыбной базе, но ему ужасно приелся замороженный хек безголовый, и он поступил силачом в цирк и его определили на пайку издохшего от апрельских холодов удава. Так что силач каждые три дня получал по кролику и был очень доволен. Хотя шел слух, что гири внутри были пустыми.

— Ничего, — говорил силач, — запас прокормочного потенциала у меня большой. Выгонят из силачей, пойду в «Чудо природы. Мужчина с женской грудью». На самом деле грудь у него была бабья — большая, но дряблая. Но издалека вполне могла сойти за чудо природы.

Еще в цирке Егорию понравилась помощница фокусника. Сам фокусник был лысоват и все время опасался, что во время выступления может свалиться с головы цилиндр, который служил ему как головным убором, так и тайником для мелкого волшебного реквизита: например, в нем он хранил тараканов, пару воробьев и совершенно необходимые в его ремесле разноцветные бумажные ленты, а также колоду карт с тремя бубновыми тузами.

— Так видели вы Фиолетовую Боевую крысу? — не отвязывался Артур.

— Конечно, — откликнулась Натаха. Честно говоря, Артур ей понравился — образованный, высокий, хороший рассказчик. Судя по всему, инкогнито объехал весь свет, а ведь выходцам из Майны прямая дорога была только в стальные камеры секретной полиции. Значит, он еще и отчаянный смельчак. Она чувствовала, однако, что ее привлекает в нем и нечто такое, что она пока сама понять не может.

— Я в детстве играла с этими крысами фиолетовыми, — добавила она. — У нас их около трансформаторной будки было завались...

— Как вы могли играть с этими злобными существами величиной с сенбернара? — изумился Артур.

— Да, вот такие мы! — сказал Егорий, никогда в глаза не видевший этих злых тварей, которых в Империи за глаза называли ЦПЛ — цепными псами Ликурга.

...Так они двигались по печальной местности, где уже давно вместо деревьев из отравленной земли росли какие-то ржавые растения, похожие на железные сталагмиты.

Чтобы не было скучно пробираться через эти заросли, Натаха придумала отгадывательную игру, когда она чего-нибудь спрашивает, а Егорий с Артуром по очереди отвечают. Ее саму по правилам этой игры спрашивать было нельзя ни о чем, разве только о политике. Но политика никому не интересна.

— Начинаем с Артура! — провозгласила она. — У него имя начинается на «А»...

Артур с Егорием переглянулись, хотели отказаться от этой неинтересной игры, не подвергать себя лишней опасности, но так умоляюще сверкали на фоне ржавых сосулек ее глаза, что они согласились. Только Егорий сказал:

— Громко не говорить! Скажите спасибо, что давно вышли из строя камеры слежения и микрофоны... Собственно, их уже купили бракованными...

— Давай первый вопрос! — сказал, обращаясь к девушке, Артур. Егорий почему-то насупился.

Они пробирались среди останков каких-то строений — не то взорванных, не то разрушившихся от старости.

— Что такое абсурд? — спросила Натаха.

— Что? — в один голос переспросили Егорий и Артур, хотя Егория вопрос не касался.

Она кивнула головой, дескать, именно про абсурд она и спросила, они не ослышались. Вот такая непростая она девка.

— Абсурда нет на свете, а если по другому сказать — весь мир — абсурд.

— Непонятно... — протянула Натаха.

— В абсурде как раз все и должно быть непонятно, — объяснил он, теоретик. — И его нельзя объяснить. Как только объяснил, он исчезает...

— Не надо нам никакого абсурда, — перебил Егорий Артура, — Нам бы сала побольше, горилки, и чтоб на рыбалку по пятницам — на озеро Челкар, на речку Солянку... Знаете, как таблак в степи цветет? Как будто миллионы раскаленных угольков кто-то насыпал повсюду... Вот это абсурд так абсурд!..

— Ты без очереди влез, — урезонила его Натаха, — значит, вопрос опять Артуру. Что такое счастье? Или его тоже не бывает?

Артур задумался. Егорий почему-то смотрел на него неприязненно, и чем дольше, тем больше. Хороший парень, этот Артур, свой в доску, но в последний час от него просто тошнило. Случается же так!

— Счастье, конечно, водится на земле, — опять влез без очереди Егорий, — как жар-птица — все про него слышали, а видеть как-то не довелось... Правда, приходят время от времени какие-то герои, показывают перья будто бы от диковинной этой птицы, но перышки какие-то пожухшие, неяркие — у петухов хороших, пожалуй, пышнее хвосты...

— Счастье, — перебил его Артур, — это когда уже ничего не хочется? Так? Или когда еще хочется всего?..

— Скучные вы какие-то, — сказала Натаха, и почему-то стало понятно, что следующий вопрос она задаст про любовь, и опять выходило, что очередь отвечать Артуру. И как это женщины умеют управлять всем на свете?

Но тут их настигла фиолетовая крыса. Егорий взял наизготовку биту, Артур достал из кармана нож с выщелкивающимся лезвием.

Крыса была молода, почти подросток (другая информация о фиолетовых крысах строго секретна), и когда только успевают их обучать боевым искусствам? Известно было, что фиолетовая крыса делает до шестидесяти выстрелов в секунду из простого нагана, причем, больше половины пуль улетает мимо цели (для устрашения свидетелей), но зато остальные попадают, куда надо и не надо. Хорошо крысы печатали на машинках, набирали тексты на компьютере — до трехсот знаков в минуту. Но люди боялись сотрудничать с фиолетовыми тварями. Первым, кто сломал свой страх и привлек крысу (конечно, недешево) к перепечатке своего нового романа, был писатель Иванов.

Крыса зашипела. Артур и Егорий встали спинами друг к другу — приготовились к смертельной схватке. Так просто они не дадутся в ее раскрашенные лапы!

Крыса зашипела снова, но оружия не доставала — ни саблю из ножен, ни наган из желтой кобуры. Больше того — она отступила на пару шагов, наверное, для того, чтобы стремительнее броситься на государственных преступников. Наконец, она потянула саблю из ножен, было бы солнце — блеснул бы в его лучах клинок дамасской (на самом деле выкован на кузне завода имени Ворошилова) стали.

И вдруг крыса швырнула клинок под ноги беглецов, за клинком наземь полетел и наган.

— Возьмите меня с собой? — глухим крысиным голосом проговорила фиолетовая крыса. — Я пригожусь. Я много чего умею...

Артур и Егорий на минуту потеряли дар речи. Они никогда прежде не слышали, чтобы крысы переходили на сторону повстанцев; почему-то беглецы уже считали себя повстанцами. Только не Натаха, она не считала. Она презирала (выяснилось это недавно) как революционеров, так и контрреволюционеров. Она, как и Егорий, впервые видела боевую крысу, но в ступор впадать по этому поводу не собиралась.

— У тебя чулок распустился, — сказала она ей. — Сзади... справа...

— Ой! — воскликнула крыса, и смущенно улыбнулась. — Эти чулки на мне просто горят.

И она из-под ресниц взглянула на Егория. Хорош был станочник, ничего не скажешь. Даже на фоне старинных, блеклых пожарищ, мимо которых им предстояло проходить.

Крыса принялась разглядывать чулок, при этом поднимая юбку до бедер.

— Синтетика, что с нее возьмешь, — сказала она таким мирным тоном, как будто всего минуту назад не они готовы были поубивать друг друга. — Так, принимаете меня в ваш отряд?.. Верьте мне...

— Нет у нас никакого отряда, — сказал Егорий, очарованный крысой. — Просто вместе идем... Нам в одно место надо... К родственникам. Может, слышали такую местность Богырлай?..Так вот они там живут... Там еще озеро есть — тоже так называется — Богырлай...

Крыса строго взглянула на него, прислушалась к какому-то неясному звуку и сказала:

— Встроенный в мочку моего уха компьютер уверяет, что нет давно никакого Богырлая — высохло озеро, закипело и испарилось за один день, и люди здесь не живут уже тридцать лет...

Артур поднял наган и саблю; саблю в ножнах, повозившись, подвесил на поясном ремне, наган навел на крысу:

— А теперь говори, что ты задумала! И на кого ты работаешь? Кто тебя послал?

— Странный ты... — ответила она. — На кого в этом мире может работать крыса? Конечно, на Ликурга Шестнадцатого. А послал меня конкретно Димон — начальник секретной службы. А то, что я задумала — сказала уже. Хочу перейти на вашу сторону. Если не прогоните, это произойдет впервые в истории. До этого ни одна фиолетовая крыса не попадала в плен, и уж тем более — не сдавалась добровольно.

— Чего ради тебе сдаваться? Пайка у вас сносная, бараки теплые, ежегодно два выходных дня, эвакуироваться с Земли

будете в самом первом отряде кораблей, вместе с Императором, — сказал Артур, выказав знание предмета. Но откуда, ведь крыса засекречена, находится в перечне высших секретов Империи?

— В том-то и дело, что никаких отрядов кораблей не будет, — сказала крыса. — Ликург с компанией рванет на первой же ракете, я сама слышала их с Димоном разговор... Не будет никаких ковчегов, все это брехня... Император торопится, ученые пугают его, что солнце взорвется со дня на день...

— А чего же строят на всех заводах? — спросил Егорий. — Я сам пропасть всяких болтов и заклепок произвел...

Крыса тяжело вздохнула и сказала:

— Тут придумана большая якобы хитрость... По сути дела нет пока никакого корабля... Заводы давно в руинах, тысячу лет никто ничего не производил, кроме всякой дряни: то многоразовые бабские прокладки, то говорящие цитатники, то спрей для портянок... Разве под силу сегодняшним инфантилам, не прочитавших даже сборника гималайских сказок, создать хотя бы что-то грандиозное, ну или похожее на грандиозное? И тогда решено было строить гигантский космический корабль по частям: один делает шуруп, другой гайку, третий собирает унитаз, четвертый бьет заклепку... Всем нашлось дело — плотникам, бетонщикам, лудильщикам, даже членам союза писателей. Многие взяли работу на дом: бухгалтеры щелкают костяшками счет, составляя галактические сметы и отчеты; экономисты изо всех сил добиваются экономии межзвездных ресурсов; трамвайные диспетчеры разрабатывают предполагаемые маршруты трамваев на предполагаемых планетах..., — и всем объявлено было, что заняты они чрезвычайной работой. Если шуруп, то обязательно «шуруп невиданной прочности», если гайка, то «повышенной твердости», если болт, то непременно «сверхпрочный»... Никто не знает всего объема работ, даже самые посвященные, никто не видел чертежей ракеты, да и есть ли они? Это будет стихийный корабль, если будет... А в новогоднюю ночь должна состояться сборка ракеты, естественно, «великая сборка». Все обязаны будут доставить на сборочную площадку свои гайки, шурупы, заклепки, кнопки, клавиши, отвертки, струбцины, шерхебели, карбюраторы, шпиндели... В эту ночь и родится корабль. Тысячи и тысячи людей будут своими руками собирать его из миллионов деталей... И в эту же ночь Ликург с сатрапами улетит прочь!

— Да... — сказал Егорий. — Интересно, конечно, но это и не было большим секретом. Все мы вытачивали свои болты и знали, что они пойдут на Ковчеги...

— Но кто из вас знал о сборке? — спросила крыса. — Надо писать это слово с большой буквы — Сборка... О ней должны объявить днями, ведь до нового года всего-ничего...

И словно в подтверждение ее слов, где-то из-под облаков прогремел металлический государственный голос:

— Слава Дисциплинарию! Слушайте важнейшее сообщение! Слушайте! Хвала владыке вод и земель, звезд и планет, газовых туманностей Ликургу Шестнадцатому! Его Человеколюбие повелел объявить, что 31 декабря состоится Великая Сборка. Исторический день! Прорыв к всеобщему благоденствию! Каждый должен явиться на сборочную площадку со своими болтами-гвоздями-лобзиками, потому, что судьба мира в их трудолюбивых руках! Вместе создадим Ковчеги, вместе шагнем в будущее! Не забудьте — 31 декабря! Не забудьте!

— Теперь все уши забьет напоминаниями, — сказал Артур. С неба тотчас проорали:

— Слава Дисциплинарию! 31 декабря! Не забывайте! А сегодня вечером состоятся показательные казни, увлекательные пытки, где каждый может испытать себя в роли палача. Не пропустите! Сообщается также, что с сегодняшнего дня повышаются цены на предметы роскоши: чай, керосин и сайру бланшированную.

— Так берете меня? — в который раз спросила фиолетовая тварь.

— Куда от тебя денешься, — ответила Натаха, которой крыса не пришлась по душе.

— Нужно постараться проникнуть на корабль, — сказала крыса, — только так можно спастись... Солнце на пределе...

Они шли по берегу реки, в воде слышались тяжелые шлепки, удары.

— Рыбы-то сколько! — удивился Егорий. — Откуда?.. Я думал, что все реки давно выкипели, а вон, оказывается, не все... Жизнь живет...

— Скоро на реке станет лед, вот она и прыгает, — сказал Артур. — Зимой подо льдом не порезвишься.

Они решили встать на ночлег на самом берегу и постараться поймать на уху, хотя всегда существовала опасность быть засеченным беспилотником службы слежения. За сегодняшний день они пару раз видели эти бесшумные самолеты, с одного по ним был даже открыт огонь из пулемета, но промазала летающая машина убийств.

У Егория в подкладке фуражки всегда хранились пару рыболовных крючков, кусок капроновой лески. «Мы — деревенские, да, Натаха? — сказал он. — Нам без снастей нельзя. Правда?»

Он сел на какой-то корявый, кривой пенек. Было неудобно, на зато он занял место между Натахой и Артуром.

— Ловись, рыбка, — проговорил он и забросил удочку. — Сейчас!..

Вдруг раздался мощный всплеск, другой, третий, как будто кто-то в воде хотел привлечь к себе внимание. И на самом деле беглецы увидели у самой поверхности огромного медно-бокого сазана.

— Привет, мужики, — поздоровалась рыба только с представителями мужского пола. Наверное, женщины со сковородками некогда нанесли чувствительный урон ее племени.

Мужики смотрели на сазана, потеряв дар речи.

— Это андрагонная рыба, — сказал всезнающий Артур, и от костра сверкнули на него глаза Натахи. — В народе она известна как золотая рыбка.

— Ничего себе рыбка, — сказал Егорий, — килограммов на двадцать потянет. Из одной варки ведро ухи выйдет.

Золотая рыбка плеснула обмахом (а хвост бывает у коровы), прокашлялась (ничего не скажешь, в воде сидеть уже холодно — кажется, октябрь) и наконец вымолвила:

— Вы с ума сошли — андрагонную рыбу на уху пускать? Во мне одних шестеренок полпуда...

— Тут зубов не напасешься, — согласился Егорий. — Так какая от тебя польза?

— Вот дает, неуч! — сказала андрагонная рыба. — А желания выполнять? У меня вот целый каталог с желаниями... Каждый спит и видит встречу с золотой рыбкой, мечтает о ней, а ты, темнота, собираешься меня под нож!

— Желания! — встрепенулась крыса. — Закурить бы сейчас!.. Но я ничего просить не стану... Помните, конечно «не верь, не бойся, не проси?»

— А я не откажусь, попрошу сигарет, — сказал Артур

— Пожалуйста! — ответила золотая рыбка и перед ним появилась пачка сигарет.

«Ма-хо-роч-ные, ГОСТ 16—20. Моршанск», — прочитал он на пачке и закричал андрагонной рыбе:

— Это что за курево? Термоядерный табак! А с фильтром есть?

— Конечно. Болгартабак. «Стюардесса», «Вега», «Ту-134»... Выбирай!

— Мне «БТ»...

— И все? — соблазняла золотая рыбка. — Можно коньячку хорошего, например, «Плиску»...

— И все бесплатно, что ли? — заинтересовалась Натаха.

— Почти бесплатно, — ответила обитательница глубин. — А главное, хоть пачку сигарет взял, хоть коньяку французского — итог один.

— Какой итог? — спросил, закуривая «БТ» Артур.

— На выбор — или рудники, или галеры...

— Какие-такие галеры? — сигарета выпала из артуровых губ. — Сейчас таких нет... этих... кораблей, давно уже используется атомная энергия.

— Вот когда прикуют тебя к веслу, тогда и увидишь — есть галеры или нет их, — сказала андрагонная рыба.

— Да я всего одну затяжку сделал, — заметно испугался Артур.

Золотая рыбка засмеялась:

— Хоть ползатяжки... Я обязана тебя сейчас же телепортировать в исправительно-трудовую эскадру. На первый раз срок небольшой — сорок лет на верхней палубе или тридцать на нижней...

— Тридцать!!!

— Пролетит незаметно время, там столько интересных людей!.. Сейчас, например, на триреме «Быстрая» во втором ряду прикован к веслу один из олимпийских чемпионов — за применение допинга, а соседом с ним — великий парикмахер века... Парикмахер закован по навету...

— Надеюсь, вы шутите, — закричал Артур. Было видно, что ему как раз не до шуток.

— Приготовьтесь к телепортации, — сказала рыба. — Причешитесь хотя бы...

— Не буду причесываться! — завизжал Артур. — Уберите эту каракатицу... Что же делать?..

— Вот с этого вопроса нужно было начинать, а не бросаться в крик, — андрагонная рыба подплыла к самому берегу.

— Естестно, — за все придется отвечать, — начала она, глотая буквы. — Люшь кататься, люби и саночки возить!.. Об этом не стоит забывать. Вот вы думаете, наверно, что уколов иголкой кого-нибудь слегка, чуть-чуть, почти безболезненно, вас не приговорят за это к казни. Но как вы ошибаетесь: в нашем мире наказуемы не действия, а намерения. Да и не только в нашем... Удар меча, укол иглой — не все ли едино?.. Но, не бледнейте, не падайте духом!.. У нас на галерах существует гибкая система скидок и отсрочек, как раз идет запись. Можете записать себе отсрочку наказания на сто лет. А хотите — на двести лет?..

— Хочу, — повеселел Артур. — А на пятьсот лет есть отсрочка?

— Есть! — торжественно сказала андрагонная рыба. — Я, как представитель правительства на водах, обязана вам заявить, что у нас есть все в рамках расширенного и обновленного каталога. Правительство не имеет другой цели, как улучшение благосостояния народа...

— Заткнись! — не выдержала крыса. — Еще скажи, что к отсрочке в пятьсот лет полагается бутылка водки.

— Как раз это я и хотела сказать, — с торжествующей улыбкой на губах произнесла рыба. — Только не водка, а коньяк — восемьсот пятьдесят три грамма выдержанного, армянского, и почти целый лимон...

Она достала из холщовой сумки, болтавшейся у нее на боку, бутылку, лимон и несколько серебряных (из луженой жести) рюмок.

— Так записывать вас на пятьсот лет? — спросила она, открывая бутылку.

Артур потянулся за рюмкой:

— У меня разве есть выход?..

Андрагонная рыба улыбнулась:

— Выход есть всегда. Даже если ты на крючке. Но вот как найти его?.. Мой дедушка, когда был еще совсем мальком, попал в бредень. Любознательный был сазанчик, везде совал свой мокрый нос, ну и в итоге залетел в самую мелкоячеистую сетку — потыкался-потыкался, а делать нечего — добро пожаловать на свет белый! Думал, что не миновать ему котелка, но решил еще побороться — никогда не вредно за себя побороться, даже если сегодня и нет в этом нужды — боритесь в запас, потому что придет время, и никто не придет вам на подмогу. Потому что все заняты борьбой за самих себя. Никто не протянет руку...

Так вот, дедушка перевернулся вверх брюхом (тогда еще — брюшком), притворился задохнувшимся. Другие бились, как безумные, пытались выпрыгнуть из бредня, но только больше запутывались, а дедушка лежал, прикрыв глаза, и молил Всевышнего, чтобы удался его нехитрый план. И в очередной раз трусость и расчетливость спасли очередную жизнь. Рыбаки собрали в мешки крупную рыбу, в ведра — трепыхающуюся мелкую рыбешку — сгодится на животку, а задохнувшихся покидали в воду. Дедушка с тех пор обитает только на глубине и не пытается поближе рассмотреть сетки, бредни и неводы...

— Врешь ты все, золотая рыбка, — сказала Натаха. — Про трусость и расчетливость... Это у вас под корягами так, у андрагонных, а у людей иначе... Вот Артур и Егорий помогли же мне...

— Сильно помогли?.. — насмешливо спросила рыба. — Ты на Полигоне была ведущим спецом, Егорий — лучшим ста-

ночником, а сейчас вы все беглецы, отверженные. И вам ни за что не попасть на Ковчеги...

— Есть у кого-нибудь гарпун или багор — проткнуть этого разжиревшего наглого пескаря? — спросил Егорий. — Жалко, что несъедобный... А это звучит как «неполноценный»...

Пока беглецы вели непонятную какую-то беседу (совершенно ни о чем, согласны?), Егорий наладился таскать карасей, крупных, светлых, икряных, без малейшего признака андрагонности в глазах. Крыса и Натаха нарезали тальниковых веток, насадили на них карасей, развели огонь, и еда получилась царская. Только андрагонная рыба с негодованием отказалась от угощения, сказала:

— Хоть далекие, но все-таки это родственники мои. Глотать, давясь, только что поджаренную родню — не по мне.

— А что, собственно, это такое — андрагонные организмы? — спросила Натаха. — Вот мы находимся рядом с таким организмом, а сами не ведаем — что он такое. Может, он вред здоровью человека наносит?

— Еще как наносит! — рассмеялась рыба. — Что-то вы все очень подозрительные, как жулики или беглецы... Вы не жулики?.. Хотя я жуликов люблю, они только мелкие рыхлители народного сознания. Вы только вдумайтесь, ведь по сути своей жулики подталкивают людей в союзники власти, они как бы заедино ведут борьбу с жуликами... А рассказать вам о всепланетном ордене андрагонности я не имею никакого права. Это мировой секрет!.. Скажу только, что одна из его задач — противоборство с ОРГБОРЧУДОм, есть такая организация.

— Никогда не слышала, — сказала боевая фиолетовая крыса.

Андрагонная рыба шумно плюхнулась в реку, зафыркала, во все стороны полетели брызги. «Она не от сазана произошла, — подумал Артур, — а от тюленя или бригадира тракторной бригады... А почему, собственно, от бригадира? Может, от шахтера?»

— Ну, давай, записывай на пятьсот лет, — крикнул он ей.

Золотая рыбка тотчас подплыла к берегу, протянула Артуру блокнот, на обложке которого было коряво написано: «Журнал осужденных на галеры».

— Расписывайся, что в добром здравии и полной памяти идешь на отсрочку исполнения приговора, — сказала рыба, и Артур поставил свою закорючку.

В ту же секунду она щелкнула кнопочкой на какой-то коробочке, которую достала все из того же холщового мешка. Сверкнула молния (и это поздней осенью; вообще замечено, что любое таинственное действие сопровождается молниями — и летом, и зимой. Нет, не зря мы боимся молний и грома — ни фига мы о них не знаем) и грянул гром. Тут же, что-то большое, вопя дурным голосом, повалилось рядом с костром и покатилось к реке.

— Что случилось, что? — переполошились беглецы. — Уж не солдаты ли настигли нас?

Солдат не было. Солдаты давно привыкли не торопиться, и несмотря на то, что погоню возглавлял сам Димон, наделенный чрезвычайными полномочиями, солдаты тащились елеле, опасаясь повстанцев, а больше всего мутантов, издавна населяющие радиоактивные леса в районе тридцатых шахт. Все знали, что время от времени из шахт стартовали баллистические ракеты и куда-то улетали, но — куда? И кто их запускал, если давным-давно все в этих шахтах проржавело и обрушилось, ракеты упали с пусковых столов, оружейный плутоний из головных частей продан еще в прошлом веке?..

Солдат задерживали ежедневные карательные уроки, так их называл Димон. Те из местных жителей, кто не успел спрятаться, были вынуждены слушать лекции о вреде радиации, о вреде курения и сливочного масла, а после лекций каждого десятого слушателя законопачивали в ящики из-под чая; чая давно не было, и пустые ящики пригодились.

— Так, что же все-таки рухнуло? — подала голос боевая крыса и бросилась к темному предмету, лежавшему около самой воды. Она пригляделась и увидела Артура, запакованного в какую-то прозрачную пленку. Трудно было при свете костра рассмотреть, где у него руки, ноги, но общая конфигурация этого живого (еще живого?) куля была понятна — это было колесо.

— Что это такое? — строго спросил Егорий у золотой рыбки. — Твоих плавников дело?

Рыба опять залилась смехом:

— Конечно! Не могу ведь я позволить, чтобы наш сотрудник рисковал собой в каких-то сомнительных предприятиях. Всего в трех километрах отсюда висит беспилотник, и скорее всего он атакует вас. Вы будете убиты!.. Прямой убыток нашей призывной-вербовочной-добровольческой фирме, вон сколько коньяку выпили, лимон сожрали. А теперь рекрут-галерник упакован в андрагонную тару, снабженную пространственным маяком-навигатором, беспилотники опознают такой груз и не стреляют по нему. Так что вам рядом с ним вполне безопасно... Во всяком случае, до утра, когда за ним придет специальный глиссер.

— Ты же обещала отсрочку! — закричала возмущенно Натаха. — Бессовестная!..

— Фирма свои обязательства выполняет неукоснительно, — ответила золотая рыбка. Рекрут ступит на нижнюю палубу галеры ровно через пятьсот лет, а до этого будет храниться в андрагонном складе в свежезамороженном виде; там он скоротает время, а кроме того, получит хорошее образование: рекрутам мы даем полный курс андрагонности, введение в галероведение, фундаментальную лирику, историческую казуистику — во сне за пятьсот лет он изучит пятьсот дисциплин. Мечта!..

— Сейчас же освободите его! — подступил к рыбе Егорий с битой наперевес. Тотчас вокруг нее замерцал защитный экран.

— Кишка тонка! — хохотнула рыба. — Защита «А»... Если приблизишься хотя бы еще на шаг, будешь объявлен государственным преступником и поражен электрическим разрядом в сто тысяч вольт.

В подтверждение своих слов рыба опять щелкнула кнопочкой, опять полыхнула молния, и тотчас ярким пламенем загорелся осокорь, склонившийся над рекой.

Егорий остановился.

— Помогите! — едва слышно донеслось из андрагонного колеса, в котором был замурован Артур.

— Держись! Артурчик! — закричала сердобольная Натаха. Егорий отметил про себя: «С каких пор этот... этот... стал для нее Артурчиком?»

— Через пятьсот тридцать лет увидитесь, — сказала золотая рыбка, и окуталась золотистой защитной дымкой, — ну, а мне на боковую пора. Да, не вздумайте ночью попытаться освободить рекрута...это чревато для вас... Впрочем, не буду вас пугать — если что, сами убедитесь. Да и на ночлег я устроюсь поблизости. В общем, утро вечера мудренее.

Удрученные, стали укладываться. Принесли из степи несколько охапок жесткого осеннего сена, поверх сена расстелили кусок брезента, который захватили из дома Натахи, поверх брезента — тонкие байковые одеяла.

— Может быть, и не замерзнем до утра, — предположил Егорий.

Ему досталось лежать на самом краю, за ним улеглась смятенная Натаха, а с другого края примостилась боевая фиолетовая крыса, — еще та штучка, кто знает, чего от нее ждать?

Золотая рыбка устроилась у ствола рухнувшего с яра дерева и начала храпеть, как солдат в казарме. Время от времени она подплывала к своему рекруту — на месте ли глупый галерник? Тот только негромко стонал.

Порт-монет, порт-сигар, беф-строганов

Натахе было совсем не холодно между крысой и Егорием. Но неуютно. Если она поворачивалась в сторону друга детства, то ей начинали мешать его руки. Егорий то касался ее талии, то его ладонь, медленная, но настойчивая, пробиралась к ее бедру и норовила забраться еще дальше; его губы вообще бесчинствовали, тыкались ей в шею, норовили запечатлеть поцелуи на руке, плече — везде, куда только могли пробиться.

Она шепнула ему: «Спи!». Но только раззадорила его, он принялся рассказывать, как скучал без нее, как думал только о ней, как писал ей письма, но не отправлял, конечно. Однажды даже сложил для нее стихотворение, но тоже не отправил. Как-нибудь вспомнит, прочитает ей. А вспоминала ли она их трансформаторную будку? А новеллы Бокаччио?

Она вспоминала, часто вспоминала, но тут его неумелая рука добралась до ее груди, и она резко повернулась к крысе. Егорий пробурчал что-то обиженным тоном, но через минуту она почувствовала его руку у себя на плече.

Крыса спала, не снимая боевую броню, не выпуская из рук оружие. Все было бы ничего, но латы впивались Натахе прямо в бок, и долго вытерпеть эту пытку было невозможно. Она опять повернулась к Егорию.

— Тебе что, Артур понравился? — тут же прошептал он ревниво.

— С чего ты взял?

— У меня глаза со мной, вижу...

— А ты что, ревнуешь? — сразила она его вечным вопросом, на который никто не ждет честного ответа.

— Хороший он, кажется, парень, но очень доверчивый, — сказала она, немного помолчав, вытерпев очередную его ласку. Теперь он гладил ее живот, и рука как бы сама собой сползала ниже.

— Как бы ему помочь? — спросила она. Его рука добралась до кромки ее трусиков; он готов был пообещать ей все, что угодно.

— Часа в четыре, под утро, посмотрим, что там к чему. А сейчас пусть этот пескарь андрагонный уснет, — сказал Егорий, тяжело дыша.

— Ты просто прелесть! — обрадовалась Натаха и чмокнула его в щеку. Он тотчас завоевал еще сантиметр дороги к счастью.

Она решила, что дальнейшее продвижение его руки может и ее завести неизвестно куда, и это в то время, когда красавчик Артур лежит, запакованный в какой-то пластмассовый куль.

— Руку убери! — строго сказала она Егорию, и тот нехотя подчинился.

До четырех почти не спали, разговаривали. Притом Егорий вспоминал свой разъезд, трансформаторную будку, говорил о новых станках, которые сгнили на складах; Натаха рассказала о значении гайки, которую они разработали, — эта гайка может спасти человечество; крыса лежала молча, только время от времени трещала суставами рук, — и они умудрялись понимать друг друга и не терять нить разговора. При этом Натаха еще и прислушивалась к стонам, идущим из андрагонного куля. Видать, запал ей в душу этот пришелец из несуществующего города. И чего она в нем нашла?

Эх, себе на беду зазвал Егорий Артура в эти полигонные края. Тот и сам не хотел, но Егорий так красочно расписывал лесополосу, врал про то, что здесь водятся не только толстенные луговые суслики, но и лисы, косули, а однажды там видели настоящего уссурийского тигра.

Артур, конечно, не поверил, но понял, что отказать другу он не может, уж столько красок вложил Егорий в свой рассказ.

Да, Натаха влюбилась в Артура.

— Ну, что, пойдем выручать гостя? — спросила она у Егория, едва часы показали четыре.

— Я сам схожу на разведку, — сказал тот и неохотно поднялся. В голове мелькнуло: «А, может, Артуру лучше на галеры?.. Там заодно и подучится?»

Но ему стало стыдно своих мыслей, и он двинулся к берегу, где на ледяном песке лежал свернутый в колесо Артур.

До рассвета было еще далеко, но где-то вдалеке вспыхнула лампочка, застучал колесами на стыках паровоз.

«Полустанок, разъезд!» — догадался Егорий. И тут же у него родился план спасения Артура. План был с сумасшедшинкой, но как часто именно такие планы и приносят требуемые результаты?

— Натаха, я скоро вернусь, — сказал он ей. — Не скучай!..

И растворился в ночи.

«Неужели бросил?», — мелькнуло в Натахи в голове, и она даже головой затрясла, отгоняя свои сомнения.

Прошел час, и небо на востоке порозовело. Вообще, она давно отметила, что небо на востоке всегда краснее, чем на западе, а звезды ярче и ближе к земле. Она однажды была на испытаниях галактических заклепок, которые были так секретны, что проходили на Самом Дальнем Востоке. И вот там она видела звезды с кулак величиной, казалось, что их не собирают в корзинки для углей только лишь потому, что они обжигаются, а небо казалось раскаленным как плита русской печки. «Наверное, на востоке воздух чище, чем на западе, — думала

она, — вот поэтому и создается такой эффект. А, может, в атмосфере востока растворены какие-то неведомые восточные краски, и ученые пока только пытаются понять, кем они растворены и для чего».

Где-то опять забился на рельсах паровоз, забрехала собака, и стало еще тревожнее. Что-то во сне пробормотала андрагонная рыба.

«Неужели?..» — не успела она додумать эту мысль, как зашуршали кусты и из зарослей тальника вывалился человек с огромным мешком через плечо.

— Не пугайся, — сказал Егорий, — это я.

— Что ты такое приволок? — спросила она.

— Думаю, что это самое грозное оружие против карасей, пескарей и может быть даже окуней.

— Автомат Калашникова? — гадала она. — Но откуда здесь может оказаться автомат?..

— Автоматы и пулеметы есть повсюду, — ответил Егорий. — Человек сначала изобретает наган, а потом уже стиральную машину. Но ты права, я притаранил не автомат.

— Ну, не томи...

— Как ты думаешь, кто самый заклятый враг карасей?..

Она задумалась.

— Ну, что тут думать, — сказал он и потянул ее за руку к берегу реки. Через пять минут они оказались в двух шагах от спящей золотой рыбки. Егорий запустил руку в мешок и тотчас раздалось злобное шипение.

— Какой агрессор! — сказал Егорий и вытащил из мешка огромного звероподобного кота. — Этот вечно голодный котенок, которого, как мне кажется, могут звать Барсиком, как будто нас тут дожидался, он не хотел покидать курятник, где устроил засаду на мышей, но я ему пообещал славную охоту на реке.

Кот опять зашипел, ему явно не понравилось находиться в мешке.

Егорий несильно размахнулся и бросил кота на ствол рухнувшего в реку осокоря, у которого похрапывала андрагонная рыба.

— Разве коты едят андрагонных рыб? — спросила негромко Натаха.

— Будем надеяться на это, — ответил Егорий. Он хотел еще что-то сказать, но в это время Барсик (а, может Пушок, Васька или Вельзевул?), заметил золотую рыбку и сейчас же сбавил громкость шипения, припал на передние лапы и стал медленно подползать к храпящей рыбе.

— Так рыба-то в два раза больше кота, — продолжала сомневаться Натаха, — а зубищи у нее какие, ты видел?..

— Разве дело в зубищах? — сказал друг ее детства. — Тут важно, кто кем питается... Ты хоть когда-нибудь слышала, чтобы рыба задрала кота? Не слышала? И не услышишь, потому, что рыба существует на свете для котов, а не наоборот, и пусть хоть сто раз она пройдет процедуру андрагонности, и вместо сердца и половых органов у нее будут поставлены шестеренки, все равно кот сожрет ее, или хотя бы сильно надкусит.

Пример про половые органы Егорий привел не случайно, ему захотелось для чего-то смутить ее. Для чего?

Но она не смутилась. Тем временем Вельзевул сменил змеиное шипение на вопль — должно быть, боевой клич, и впился когтями в андрагонную плоть, напичканную шестеренками, маховиками и микрочипами. Золотая рыбка успела только воскликнуть «Караул, обездвижили!», как Васька перекусил ее становой провод, вышиб предохранители, и поволок безжизненную рыбу в свое обиталище.

— Ура! Мы победили! — закричала фиолетовая крыса, видевшая гибель андрагонного монстра. — Ай да Егорий! Вот она, крестьянская смекалка!

— Я — потомственный пролетарий, — надулся гордостью станочник, гегемон.

Принялись обсуждать свои родословные, у кого они были. Выяснилось, что беглецы из хороших семей, все плохо-хорошо учились в школе, а одна — в Физико-физическом институте секретных конструкций (мы знаем, что это Натаха), все, когда приходилось, держали вилку в левой руке, а нож наоборот — в правой, все были против насилия, но андрагонную рыбу не жалели, вот нисколечко не жалели.

Боевая фиолетовая крыса хотела пожалеть, но вспомнила про галерников, прикованных к тяжеленным веслам, про тысячи обманутых, мающихся отсрочкой в морозильниках, и не стала жалеть.

За разговорами совсем забыли про Артура, даже Натаха. Мучимая угрызениями совести, бросилась к упакованному кавалеру (почему, собственно, она думала о нем как о своем кавалере?), и принялась срывать с него куски пластика. Крыса протянула ей нож:

— Режь!..

Та неизвестно о чем подумала, но отшатнулась от ножа, продолжила руками рвать пластмассовые путы. Не прошло и получаса, как Артур поднялся на ноги, кряхтя и стеная. Сказал «Спасибо» и убежал в кусты. Вслед ему хмыкнула крыса:

— Прижало молодца... А чего, спрашивается, копил? Пластмасса, поди, герметичная?..

— Не смешная твоя шутка, — сказала Натаха. — Человек столько перенес!..

— Ах, прости! — улыбнулась крыса. — И тебя, вижу, прижало... Но иначе... От твоей хвори тоже кусты помогают.

— Крыса, да еще циничная! — обиделась Натаха. — Зря мы тебя взяли с собой.

— У вас, милые мои попутчики, выхода не было, — строго сказала крыса. — Кстати, в моем вчерашнем задании было записано: «настигнуть и уничтожить!». Я настигла...Молите Создателя, что я перешла на вашу сторону.

— Ладно, ладно, — согласилась с ней Натаха.

Но крыса не услышала ее.

— Мир полон страстей, — продолжила она. — Сам мир — страсть, так мы всегда готовы подлить в него, как вино в переполненный кубок, еще и еще своих любовей, разводов, расставаний, кажущихся нам роковыми, не замечая, что из кубка уже льется через край... Вы, люди, умеете любить всегда через край, ненавидеть только до зубовного скрежета — инстинкты, заложенные природой, вы для чего-то превращаете в абсурд — с дуэлями, доносами, клятвами, слезами и часто в итоге с ненавистью... Вы готовы полюбить с полоборота, вы сходитесь друг с другом, как в бою. Вы охотно ставите слово «любовь» в один ряд со «смертью». Вот наш крысиный мир холоден, но прекрасно организован. Поэтому нас больше, чем людей, в нас больше гармонии...

— Посмотрите наверх, — перебил ее Егорий. — Беспилотники. Целых три... Сейчас будут атаковать.

— Все в кусты! — закричал Артур, появившийся из зарослей тальника.

— Ну, нет, — пробурчал Егорий, — лучше под огонь беспилотников, чем в кусты после этого сына Майны...

Крыса достала наган, взвесила его на ладони, как будто за ночь он мог стать тяжелее или наоборот — легче.

— Эта игрушка против ракет беспилотника? — спросил Артур. — Шутите?

Крыса промолчала, разглядывая чудом уцелевший после пожаров лесок. У самого берега лежало несколько поваленных осокорей, а дальше, примерно в полукилометре, желтела октябрьскими листьями целая роща.

— Если сумеем добежать до рощи, то, может быть, и спасемся, — сказала боевая крыса. — Предлагаю бежать по моей команде...

В это время в небесах что-то захрипело, прокашлялось, и завелась знакомая уже волынка:

— Слава Дисциплинарию!.. Его Человеколюбие повелел объявить, что 31 декабря состоится Великая Сборка. Исторический день! Каждый должен явиться на сборочную площадку со своими болтами-гвоздями-лобзиками... Вместе создадим Ковчеги надежды, вместе шагнем в будущее! Не забудьте — 31 декабря!..

Крыса истошно завопила «Вперед!» и первая бросилась в сторону рощи. За ней все остальные.

Поднебесный голос еще прокашлялся и добавил:

— Объявлена вне закона боевая субстанция с бортовым номером тридцать тысяч один, известная как боевая фиолетовая крыса, перешедшая на сторону враждебных элементов. А также вне закона объявлены станочник двести тридцать первого завода космической фурнитуры под номером Ж-166, бывший инженер-конструктор Полигона под номером Э-122. Все, кому известно местонахождение этих изгоев, вставших на путь предательства, должны немедленно сообщить об этом властям, или принять меры к их уничтожению!.. Слава Дисциплинарию!..

— Про Артура ни слова, — почти обиделась крыса, петляя между пнями, обуглившимися стволами деревьев. — Это странно...

— Может, он шпион? — предположил Егорий, мчавшийся к спасительному леску бок о бок с крысой.

— Как вам не стыдно? — закричала Натаха. Она замыкала цепочку бежавших. Возглавлял ее Артур.

В воздухе раздалось шипение — один из беспилотников запустил ракету. Длинная, тонкая, как палка, ракета просвистела над объявленными вне закона и взорвалась далеко впереди — у самой рощи.

— Скорее! Скорее! — закричала крыса. — У них, должно быть, с утра оптика запотела. — Если ударят залпом — не промахнутся.

Но один из беспилотников опять принялся громыхать про сборку 31 декабря, другой опустился почти на головы беглецов. Крыса остановилась на секунду и выстрелила в самолет. И сразу поняла, что попала. Наверное, в эту самую запотевшую оптику, потому, что аппарат начал на самом деле вести себя, как слепой. Он задрал нос и стал набирать высоту, но поднялся совсем невысоко, как будто силы у него кончились; он вдруг сорвался вниз, как больной канатоходец, и врезался в землю.

— Ложись! — закричала крыса. — Сейчас ракеты начнут рваться!..

Бегецы рухнули в траву, тяжело дыша, но уже с небольшой надеждой: до леска оставалось не больше сотни метров, а этих стреляющих стервятников стало меньше.

Крыса опять прицелилась в беспилотник, и опять попала. На этот раз, должно быть, в боезапас. Самолет окутался черным дымом и внезапно взорвался со страшным грохотом. Тут же взорвался и самолет, врезавшийся в землю минуту назад.

— Урррааа! — закричал Артур. — Один остался!

Но оставшийся как будто и не собирался стрелять, в очередной раз завел свою песню про 31 декабря, про Сборку. А потом принялся заводить музыку — начихать ему было на погибшие самолеты. Он включил на полную громкость забойную песню прошлого века «Два кусочека колбаски», а потом над степью, лесом, рекой поплыл «Пушкинский вальс», и Натаха удивилась, кто здесь может любить Прокофьева?

«Он должно быть умеет вытаскивать музыку из наших голов, — догадалась Натаха. — Но у кого в голове песня про колбасу?»

— Бежим дальше! — скомандовала фиолетовая крыса, и первой бросилась к леску. За ней остальные.

Через пять минут все были под защитой (какая-никакая, а все-таки защита) деревьев, сидели, привалившись спинами к прохладным стволам.

— Нам на север? — спросила крыса у Артура.

— Откуда я знаю, — ответ прозвучал обескураживающее, все думали, если Артур вырос в этом подземном городе — Майне, то не может не знать дороги к нему.

— Город-то подземный, в него можно войти и с севера, и с юго-запада, и с запада... — принялся он объяснять, но его никто не стал слушать, потому, что раздался дребезжащий грохот и на яр вылезли танки, немного — десятка три. Приземистые броневые чудовища были построены с учетом последних веяний танковой моды — они могли закапываться в землю на глубину сто пятьдесят метров и оттуда стрелять полезными ископаемыми, сея панику. Также танк был вооружен гибкой шерстяной пушкой, боеприпасы которой наводили ужас на врагов — они разбрасывали чумных мышей и тушканчиков на расстояние трех километров.

— Шерстяные танки! — прошептала крыса. — Сейчас засосут мышей со всей округи, нужно молиться, чтобы среди них не было чумных...

— Уходим!.. Уходим! — скомандовала крыса, и беглецы помчались в глубину леска. И тут опять помог беспилотник. Может, он тоже, как боевая крыса, хотел примкнуть к похитите-

лям гайки повышенной точности? Самолет запустил еще одну ракету и на этот раз не промахнулся — напрочь отлетела башня шерстяного танка. Оставшиеся танки принялись трусливо закапываться под землю. Через десять минут на поверхности остались только кучи рыхлой земли и контейнеры с мышами и тушканчиками.

— Этот народец нужно отпустить, — сказала сердобольная Натаха. — Вот они-то наверняка знают, где вход в Майну.

Оказалось, что на самом деле грызунам были известны все входы-выходы в мятежном городе, и один из них был как раз поблизости. Мыши даже знали по случаю пароль для стражи, и довольные друг другом они расстались, и люди с фиолетовой крысой двинулись в одну сторону, а степной народец — в другую, но мир тесен, может, они еще и встретятся?

— Люди часто встречаются, — сказал Егорий, — обреченных на вечную разлуку среди живых немного. Но вот подмечено, что пока люди не видятся — они тоскуют, полны нежности к тем, по ком тоскуют, а повстречались — и как будто им сказать нечего. Из этого я делаю вывод, что человек существо неразговорчивое, о лучших его качествах до сих пор неизвестно. Говорят: самопожертвование, любовь, ум — дескать, всем этим человек набит до краев. Но куда девается эта любовь-ум, когда надо вывалиться из грязного окопа и пробежать сто метров с винтовкой наперевес по раскисшей от дождей глине и зарезать штыком вон того белобрысенького, что старательно целится в тебя из автомата; а лучше успеть зарезать парочку белобрысых, для надежности боя — пока эта парочка не всадила в тебя всю обойму. Так где тут самопожертвование?

Натаха взгянула на него: и когда он таким стал?

— На что ты намекаешь? — спросила она. — Любовью обделен?..

— Зато у меня тайный шуруп есть! — ответил он невпопад.

Клип, агент, таблоид...

Хотя степной чумовой народец уверял, что до Майны рукой подать, добирались до подземного города месяц. Два раза отбивались от беспилотников, несколько раз на горизонте появлялись шерстяные танки, но атаковать не решались. Пытались перехватить беглецов скоростные голубиные стаи, но друзья легко ушли и от них. Видимо, что-то разладилось в управлении войсками, или разладилось во всей империи. Даже грозные фарфоровые слоны, также, видимо, посланные в погоню,

пронеслись на бреющем полете над самыми головами, и не заметили ни людей, ни приметную издалека фиолетовую крысу.

— Империя потеряла хватку, — сказал Артур.

— Или ей уже совсем безразлична судьба Земли, — сказала крыса.

Егорий принялся размышлять вслух. За время скитаний и отрыва от императорских ищеек он сносил три пары башмаков, которые он по мере надобности воровал в селениях, городах, мимо которых они проходили. Этим не обходились, таким же путем добывали пропитание. Однажды даже подоили корову, которая призывно ревела в чьем-то сарае.

Необходимость воровать сделала Егория философом; нужно было хоть как-то оправдывать клептоманию. И хотя Егорию ни разу не попались башмаки по размеру, и с ног не сходили кровавые мозоли, он не ленился писать тем, кого они обворовали, подробные записки с указанием вещей и продуктов, которые они реквизировали во имя идеалов повстанческого движения, с обещаниями все, до единой хлебной крошки вернуть тотчас после победы над тиранией.

— Все-таки хорошо, что наш Император улетит отдельно от нас, — сказал он, — со своей челядью (жадной, жестокой, продажной). В итоге где-то в космосе возникнет новая цивилизация — людей, которые за всю свою жизнь не сказали ни слова правды, — только льстили, только кланялись, только кляузничали. И вовек по-настоящему не работали, ждали подачек с барского стола...

— Представляю себе эту цивилизацию, — сказала Натаха, — Жуть!.. Так, может и не стоит добиваться мест в ковчегах?..

Крыса засмеялась:

— А кто тебе припас эти места, преступнице, беглянке?

— Купим новые паспорта в подземных переходах! — беспечно ответила Натаха.

— А вторая цивилизация разовьется из повстанцев, — фантазировал Егорий. — Вот с этими не приведи Господь встретиться. Эти станут расстреливать за все. Любишь? — в расход! Не любишь? — в петлю! Сомневаешься? — в мясорубку! Равнодушен? — в прорубь! Высокий? — в топку! От горшка два вершка? — живьем в землю! Грамотный — вырвать язык! Даже читать не умеешь? — в урановые рудники навечно!..

— Между прочим, я родился и вырос в повстанческой столице — Майне, — обидно стало Артуру, — и тамошний народ, как видите, не вырвал мне язык...

— Даже наоборот, — пробурчала боевая крыса.

— Но самая страшная цивилизация может возникнуть из тех, кто окажутся никому не нужными, кому не удастся по-

пасть ни на одну ракету..., — продолжал Егорий. — Брошенные, разочарованные, отверженные, готовые на любую жестокость, они станут кошмаром вселенной...

— Тебя послушать, так ничего хорошего в мире нет, — сказала Натаха, и задумалась.

Егорий ничего не ответил.

Либидо, бусидо, харизма...

Вечерами укладывались на ночлег, строго соблюдая как бы сам собой установившийся порядок: Натаха с крысой в центре брезента, а Егорий с Артуром по краям, причем Егорию доставалось спать со стороны фиолетовой воительницы, а Артур неизменно оказывался рядом с Натахой.

Ночью долго не могли уснуть, ворочались, вздыхали, смотрели на звезды. Потом, кто-нибудь заводил разговор о прошлом; ни о настоящем, ни о будущем никто говорить не хотел. Вспоминали, как ходили в лодочные походы по реке, как целовались в нагретых на солнце палатках, как проказничали в школе... Выходило, что прежде были расчудесные времена, дождей было больше, но они были короткими, зато радуги едва помещались на небе и пахли степными цветами. Рыбы в реках было полно, она охотно ловилась на красных бойких червей, которых было полным полно в арыке на Форштадской — чуть копни влажную, перемешанную с палыми листьями, землю, и собирай в пустую консервную банку этих упругих созданий.

В прошлом дни были намного длиннее, часов на десять, — решили беглецы. Зимы были морознее, лето жарче, осень красивее...

А какая водка была замечательная! К водочке природа создала соленые огурчики и челкарскую селедочку. Селедочка была малосольная, жирная, огурцы крепкие, хрустящие (специально выводили хрустящие сорта), в кадках в погребах хранились моченые яблоки, крупчатое топленое масло — чистый мед. Сейчас ничего такого днем с огнем не найти.

А вывод из всех ночных разговоров был простой: время все портит. Люди раньше верили, что чем дальше сумеешь забраться в глубь веков — тем будет лучше; чем больше накрутится столетий на календаре, тем больше будет счастья, но получалось наоборот. В средние века сожгли дюжину еретиков, и теперь никто иначе и не говорит, как «мрачная эпоха средневековья», а совсем недавно — всего лет двести назад — изобрели специальные печи, которые работают на человеческом топливе, — и ничего, уже поговаривают, что это достояние истории, из нее, из истории, словечко, даже такое страшное, не выкинешь.

Прежде налетит нетрезвая дружина со своим заполошным князем во главе, кого посекут, кого в полон утащат, девок испортят не дюжину. Так годок-другой пройдет, отстроят кремли и поскачут с ответом: в полон возьмут их заполошного князя, пожгут терема, девок перепортят несчитано, так многограмотные несторы во всех своих книжищах написали, что случались, дескать, лихолетья, и войной, и мором людишек побило. А на следующих страницах тех книжищ немногословно отмечали, что тьму чад нарожали испорченные басурманами девки — костистых, скуластых, узкоглазых, в общем, русских.

А нынче в плен стараются не брать, чем кормить-то орду? Девок не портят тоже, дружинники современные все больше промеж себя обходятся, а каких напасть постигла, за грехи, должно быть, это когда думаешь, что хочешь, а оказывается — не можешь.

Меньше других говорил о прошлом Артур, как будто у него прошлого было совсем мало.

И он, конечно, верил в будущее. Это у него, наверное, от повстанцев. Но самое противное, что было в нем — он по вечерам, когда устраивались на ночлег, пытался что-то шептать Натахе...

Нет, все-таки и это было не самым противным в нем, а то, что Натаха слушала его, а иногда в ответ сладко улыбалась.

Егорий был мрачнее тучи, и как ни пыталась крыса расшевелить его, ничего у нее не получалось. Но она не теряла надежды...

Однажды Егорий проснулся под самое утро. Было еще темно, но заря уже угадывалась. Плескалась в речке ранняя рыбешка, в камышах что-то чмокало, похрипывало, ворочалось... И вдруг сквозь эту рассветную какофонию к нему пробился иной звук, от которого его бросило в жар. Он тихонько приподнялся на локтях. Так и есть, Натаха целовалась с Артуром — страстно, взасос, и даже слегка постанывала.

Егорий одеревенел. Как же так, его Натаха стонет от страсти под каким-то гражданином из подземного города, в общем-то чужаком? И откуда он только взялся, кто его привел?

Он тут же вспомнил, кто его притащил — он сам и притащил его за собой к Натахе, зачем?

Егорий готов был закричать, когда в постепенно рассеивающейся мгле рассмотрел, как Натаха обняла Артура, прижалась к нему всем телом, а он положил свою руку ей сначала на грудь — она застонала громче, а — потом подвинул ладонь ниже — на живот, и еще ниже, еще...

И вдруг Натаха, бывший конструктор гайки повышенной прочности, девушка нравственная и серьезная, согнула ноги в коленях, да так, что соскользнуло с ее ног одеяло; Артур только прикоснулся к ее коленям, как она тут же развела их.

Ужас! Как это пережить?

Он закрыл глаза, отвернулся, заткнул пальцами уши, чтобы не слышать любовные стоны.

Соло, пончо, патиссоны...

Внезапно он почувствовал, что кто-то легонько толкает его в бок. Кто же это может быть, если Артур и Натаха заняты? Конечно, фиолетовая крыса! Только ее не хватало!

— Может, оставим их? — предложила она. — На заре клев должен быть отменный. Думаю, что Натаха и Артур еще не сейчас вспомнят о нас...

Егорий молча встал и зашагал, не оборачиваясь, к видневшемуся невдалеке небольшому озеру.

— Клев, как и отсутствие клева, нужно просто пережить, — сказала крыса, догнав мрачного Егория, — а потом, проходит день или год, или десять лет, и все оказывается не таким, как казалось вначале...

— Ты что, утешительница всех скорбей? — сказал он. — Или интерес имеешь?

— Имею, — не стала врать она. — Но у меня характер другой, я приставать не стану, не бойся...

Он, наконец, поднял на нее глаза. Наверное, она была самой женственной из всех боевых фиолетовых крыс. Длинноногая, загадочная; ему не хватило бы слов, чтобы описать ее, даже если бы она не была так строго засекречена. Хотя осталось ли что-нибудь секретное в рассыпающейся, гибнущей Империи? Может, и с крысы само собой снято клеймо секретности?

Он невольно залюбовался ее статью, ее панцирем, оружием, сияющим в первых лучах солнца. Ему словно передалась часть ее решительности, ее не всегда понятного оптимизма.

— Ничего, — сказал он. — Ничего...

Клев и в самом деле был отменным, но рыба ловилась только радиоактивная, зашкаливали даже установленные повсюду имперские счетчики Гейгера, отрегулированные для спокойствия народа показывать излучение в сто двадцать раз меньшее, чем на самом деле.

Егорий отложил удочку, крыса даже и не разматывала леску.

— И все-таки скажи, почему ты с нами? — спросил он. — Ты — страшно секретное и несокрушимое оружие Империи,

вдруг оказываешься на стороне тех, кого тебе положено хватать, уничтожать, тащить в узилище?.. Ты одной левой могла бы с нами всеми расправиться, получить награду, новое звание, а ты ловишь со мной, государственным преступником, карасей?

Крыса улыбнулась:

— Может, мне интереснее со слабыми, такое может быть? У сильных все понятно: тяжелые шерстяные танки, боевые крысы, чесночные бомбы; им на роду написано всегда праздновать победу. А как побеждать слабым, какие хитроумные комбинации вынуждены будут придумывать они, сколько смекалки, изобретательности потребуется им?..

В это время как будто землетрясение всколыхнуло берега озера, земля вырвалась из-под ног, в почве образовались трещины. Егорий, пытающийся удержаться на ногах, заметил, что трещины как бы обозначают на земле правильные геометрические фигуры — квадраты, прямоугольники, треугольники. В центре озера образовалась воронка — сначала небольшая, едва заметная, но она быстро увеличилась, в нее с шумом начала уходить вода. На берег прибежали всполошившиеся Натаха и Артур. Егорий даже не посмотрел в их сторону.

Тем временем образовавшиеся на земле геометрические фигуры пришли в движение, как автомобили в час пик, и они явно старались занять свое место в иерархии треугольников и квадратов.

— Что это? — спросила Натаха.

— Думаю, что перед нами открываются подводные ворота в Майну, город беглецов и отверженных, — сказала крыса. — Здесь величайшие изобретения местных ученых, эпохальные открытия, невиданные прозрения человеческого гения направлены на то, чтобы спрятаться ото всех, закопаться, замаскироваться. Чтобы никто не увидел, чтобы никто не услышал, чтобы никто не догадался. Здесь не живут, а прячутся...

Между тем, все фигуры, видимо, заняли свои места и на месте озера образовался огромный люк, к которому вела широкая гранитная лестница. Завизжал покрытый ржавчиной механизм, открывающий люк, и проржавевшие металлические створки поползли в сторону.

— От нас, видать, не прячутся! — сказал Артур, и обида за родной город прозвучала в его голосе. — Понимают, что своих...

— Особенно фиолетовая крыса им своя, — сказала фиолетовая крыса. — Давно уже в мире все всем чужие. Может, просто механизм, открывающий люк, испортился? Посмотри, сколько тут ржавчины.

— Чего тут гадать-разгадывать, — сказала Натаха, — нужно спускаться в люк, иначе дождемся массированного удара беспилотников...

И тут же в небе над входом в Майну показались беспилотные самолеты.

— Скорее, скорее! — прибавили шагу беглецы. Запретный подземный мир открывался перед ними...

— Чувствую себя, как Садко, — сказал Егорий.

Глава 12

КАЗНЬ ПАХОМА ПАХОМОВИЧА

— Тебе, мужик, повезло, — сказал палач Пахому Пахомовичу, — тебя казнят в праздничный день. Народу соберется прорва, наверняка сыщутся добровольцы — вот уж будет потеха!.. Для добровольцев инвентарь припасен плохонький, ржавый, казнимому одно мученье, а народу, конечно, развлечение...

Если вдуматься, какие ныне у народа праздники — новый год, хуеловин, да вот ночью под Ивана Купалу шалим — и все!.. Где день революции? День второй революции? Наконец, день пятой революции? Где они, спрашиваю я вас, где?

Пахом Пахомович сидел на холодном заплеванном асфальте, прислонившись к свежевыкрашенному (праздник есть праздник) эшафоту — хоть эшафот поставили походный, он все-таки придавал публичной экзекуции торжественности, создавал на площади праздничную атмосферу.

Рядом с бывшим техноруком Полигона, уронив голову на грудь, сидела бывшая Оберкапо дома Нина Арнольдовна; головой своей она время от времени вращала, как будто сомневалась, что та все еще на плечах.

— Может, сегодня добровольцев не будет? — с надеждой спросил Пахом Пахомович у палача. Тот только хмыкнул.

— А вы в каком звании будете? — бывшему Технору ку так хотелось поговорить.

Палач приосанился:

— Мы свою родословную ведем от самого Сансона, — горделиво ответил палач. — А звание наше — Мастер Первой руки.

— Что это значит? — побледнел бывший Технорук.

— Сейчас узнаешь! — подала голос Нина Арнольдовна. — Молюсь Дисциплинарию, чтобы тебя первым изрубили на кусочки!.. Я буду хохотать, как безумная! С девкой не смог справиться, позор! Теперь получай! Кретин!

На площади перед императорским дворцом постепенно собирались люди. Зрелище, конечно, обещало быть замечательным, но все были озабочены иным: считанные дни остались до 31 декабря, до исторического дня Великой Сборки, до вселенского исхода. Обсуждали, что с собой брать, а без чего вполне можно обойтись. Было разрешено брать не больше тридцати килограммов ручной клади на человека, и на каждую семью полагался небольшой двухсоткилограммовый контейнер. Как решить, что важнее — сковородки или ножи, книги или пластинки с записями Клавдии Шульженко?

— Удочки и спиннинг нужно брать обязательно, — рядом с эшафотом разговаривали двое мужчин. — Кто-то мне рассказывал, что на Проксиме клев просто сумасшедший. Хотя наши космонавты, кажется, еще не добрались туда, откуда же про клев известно?..

В поднебесье в тысячный раз завелось объявление: «...Слава Дисциплинарию! Хвала владыке вод и земель, звезд и планет, газовых туманностей Ликургу Шестнадцатому! Его Человеколюбие повелел объявить, что 31 декабря состоится Великая Сборка... Исторический день! Не забудьте — 31 декабря! Не забудьте!»

Площадь почти заполнилась, прибыли духовой оркестр и любимая Ликургом Государственная академическая народная рок-команда. Оба прославленных музыкальных коллектива одновременно включили фонограммы. Духовой оркестр начал выступление с Гимна Империи, рок-команда принялась лабать старый бугешник «Не целуйся с этой сукой!»

Народ еще больше оживился, когда помощник палача притащил огромную корзину с любительским пыточным инвентарем. Каленые щипцы, ужасающего вида крючки, чугунные молотки, кинжалы и прочие инструменты не вполне ясного применения — всего этого было в изобилии. Пахом Пахомович был близок к обмороку.

— Не спи, сейчас повеселимся! — тормошила его Нина Арнольдовна.

Стали потешать народ мастера юмористического цеха. В их арсенале были анекдоты, скетчи, репризы. Народ радостно аплодировал удачным шуткам. Один юморист орал во все горло, перекрикивая гром оркестров: «Ведут преступника на электрический стул, и палач говорит ему: «Сообщите адрес ваших родных». «Вы пришлете мой прах?» — спрашивает осужденный. «Нет, — отвечает тот, — мы пришлем счет за электроэнергию».

Палач на эшафоте захохотал во все горло, раскладывая щипчики, буравчики, пилочки.

— Пытать будете? — спросил бывший Технорук.

— Мучить будем, — улыбнулся потомок Сансона. — У меня сегодня юбилейная казнь — двухсотая. Хочу, чтобы она стала образцово-показательной. Уж будьте спокойны — я постараюсь!..

Технорук сполз в подозрительную лужу на асфальте, встал на четвереньки и, быстро-быстро перебирая руками и ногами, побежал прочь от страшного эшафота — на длину цепи, которой он был к нему прикован. Цепь была довольно длинной — для прокорма, потому что осужденных никогда не кормили, считалось, что ради потехи их будут подкармливать зеваки, пришедшие посмотреть на казнь. А кроме того, чего их кормить, переводить дефицитные продукты, если через минуту-другую у них голова слетит с плеч. Да и аппетита большого у них не было. В общем, цепь оставляла осужденным некое подобие иллюзии, сумасшедшей надежды. Бывшая Оберкапо обреченно крутила головой, не двигаясь с места, а бывший Технорук время от времени убегал на четвереньках на всю длину цепи, протягивал грязные руки к людям, но, кажется, никто ему особенно не сочувствовал. Начальство, хоть и бывшее, почему-то не любят в наших городах и селах. Кто-то бросил Пахому Пахомовичу надкусанную эрзац-шоколадку, он только зарычал на нее.

Наконец запели трубы. Шоу начиналось. Народ придвинулся к эшафоту, Пахома Пахомовича прибило человеческой волной прямо к лестнице, ведущей к плахе.

Вышел в чем-то красном, синем, оранжевом, желтом и фиолетовом Имперский герольд, взмахнул руками и торжественные трубы умолкли. Герольд огляделся: микрофон лежал у самой плахи, видимо кто-то из палаческой команды уже присмотрел себе эту ценную вещь. Хоть она, конечно, не работала (кто сейчас на публичной казни использует исправную технику?), но пару мань за нее выручить можно.

«Жулье!» — подумал герольд и сунул микрофон себе в карман. Из другого кармана достал свернутый в трубочку Указ Императора, развернул бумагу и закричал в пространство над площадью:

— Хвала Дисциплинарию! Куратор-Император милостиво указал, чтобы в нынешний день получили по заслугам негодяи, проявившие преступное небрежение, что могло бы повлечь за собой тяжелейшие последствия, если бы на пути преступников не встали доблестная служба Охраны и лично Димон, Живущий для народа. Эти негодяи действовали в сговоре с бандой изгоев, которые, как могли, саботировали строительство Ковчегов надежды и даже сумели прельстить миллионом мань одного... одну... из нестойких изобретателей секретных конструкций — конечно же, с деструктивными намерениями. Не все из этих врагов Империи пока заключены в узилище, но это только вопрос времени. Но эти двое (герольд показал рукой на Пахома Пахомовича и Нину Арнольдову) должны узнать всю меру народного гнева! Эти изверги заслуживают лютой смерти, но наш человеколюбивый властитель...»

Герольд сделал затяжную паузу, даря осужденным миг надежды, а потом продолжил: «...властитель передал судьбу негодяев в их же руки. Сейчас на эшафот вынесут две чаши с чистой родниковой водой и две чаши со смертельным ядом. По вкусу и цвету их не различить. Если кому-то повезет выпить воды, то ему будет дарована жизнь...»

Гул разочарования пронесся над площадью. Не такого зрелища ждала толпа. Четвертования, повешенья, бичевания голых женщин — вот что придавало перцу скучной жизни обывателя. На худой конец сошел бы расстрел быстро прорастающими марсианскими колючками, или хотя бы единоборство без оружия. Женщина вон какая рослая, она так просто не сдалась бы этому потерявшему человеческий облик бывшему Техноруку. Но Император повелел — яд!

Преступников вывели на помост. Пахом Пахомович был грязен, как ноябрьская ночь в Талдыпане (и где он, этот Талдыпан?), он шарил глазами по толпе, почему-то ему захотелось, чтобы на площади оказались его знакомые, зачем? Ему показалось, что он заметил сменного мастера подземного ракетного цеха, и бывший Технорук стал махать ему рукой. Но скорее всего он ошибся. В подземных цехах было сейчас не до развлечений, вспомогательная работа по строительству Ковчегов шла и днем, и ночью.

Нина Арнольдовна была спокойна, казалось спокойной. «Вот как все вышло, — думала она, — по-сволочному получилось... Для чего я кисла в военном училище, жила в общаге, где в одну комнатку было втиснуто двенадцать коек, просиживала за учебниками по теории управления массами, для чего?»

Постепенно в ней нарастало раздражение: верой и правдой служила Империи, а что заслужила? Стакан с каким-нибудь медным купоросом? Ведь и помереть не дадут по-человечески, заставят корчиться от ужасной боли, наверняка станут продлевать страдания.

Помощники палача вынесли чаши, поставили возле злоумышленников.

— Сами будете пить или силком заливать? — спросил потомок Сансона.

— Не хочу! — закричал Пахом Пахомович. Его схватили, опрокинули навзничь, кинжалом разжали зубы и в мгновение ока влили в него содержимое одной из чаш. Технорук захрипел, повалился на помост эшафота, принялся кататься по занозистым доскам.

Нина Арнольдовна мужественно (площади это очень понравилось) взяла одну из чаш и выпила все из нее крупными глотками. Отошла от плахи, тяжело дыша.

Помощник палача приподнял Пахома Пахомовича, встряхнул его:

— Вставай, чего валяешься! Еще и обделался от страха... Тьфу!..

Герольд опять обратился к площади:

— Преступники невредимы! Великодушие нашего Императора не знает границ. Обеим злодеям оставлена их презренная жизнь, в чашах не было яда! Славьте Дисциплинарий!

Площадь слабо зашумела: с одной стороны люди остались живыми, с другой — толпу лишили зрелища. В последние годы почти не стало истинно народных развлечений: ни кулачных боев — микрорайон на микрорайон, волость на волость, провинция на провинцию; прежний Император обещал, что для кулачной потехи могут быть созданы кулачные дивизии, рукопашные армии, но, как водится, нет старого императора — нет и его обещаний... А куда подевались, скажите на милость, гонки на асфальтовых катках, почему запретили федерацию бокса на раскаленных углях?..

— Что с нами будет? — спросила Нина Арнольдовна у палача, хмуро собиравшего не пригодившийся инвентарь.

— Насчет вас никаких распоряжений не имею, — ответил за него герольд, — уносите ноги, пока про вас не вспомнили. Впрочем, распорядителем казни был Вольный Граф Зачаганский, Живущий для Народа, он как раз сюда идет...

— Все-таки скомкано мероприятие, — сказал Граф Зачаганский Нине Арнольдовне. — Я предлагал провести хотя бы заключительное бичевание второй степени, но на самом верху (он показал пальцем куда-то высоко над своей головой) мне отказали. Так что свободны, господа уголовники и шпионы. Пока свободны...

Нина Арнольдовна поклонилась Графу, сбежала по лестнице с эшафота и через минуту смешалась с толпой, медленно рассасывающейся на площади перед императорским дворцом.

А Пахом Пахомович остался на площади. Снятые него цепи он аккуратно собрал и перетащил к воротам, ведущим в Императорский парк, уселся рядом на асфальт. Сначала сидел молча, неподвижно, потом стал раскачиваться, мычать. И, наконец, запел. Вернее, заговорил нараспев. И тотчас его окружили зеваки, кто-то прицелился в Пахома Пахомовича фотоаппаратом. Бывший Технорук выводил: «Купите, купите, купите цепь, это самая надежная, самая незаменимая деталь в устройстве мира... Вы все собираетесь в новый мир, но как в нем обойтись без цепей?.. Купите, купите!.. Это воплощенная в чугуне реальность номер два... Вы еще не забыли, что реальность номер один в нашем мире — это жизнь. Если это вообще реальность... А может, цепь — наипервейшая наша реальность? Купите, купите на дорожку цепь!.. А вдруг реальности нет совсем, а?..»

Наконец охрана в парке решила положить конец этому концерту. На самом деле, разве порядок, если у ворот Императорского парка, который за глаза называют Вампираторским, поет какой-то бродяга? Наверняка свихнувшийся. Сумасшедший, пора ему в белый дом.

Подошел медицинский транспорт на конной тяге, и Пахом Пахомович был усажен в карету без всякого почтения. А один ефрейтор даже закатил бывшему технору ку в ухо.

Что с ним стало потом, никому не известно. Во всяком случае, его песня не прижилась в народе, не стала застольной, под нее не маршировали ветераны Пятой Освободительной революции, ей не подпевали Черные Скауты.

Магнат, магнит, базилик...

Глава 13

ИСХОД

Ликург стоял у окна своего кабинета и смотрел: на улице уже какой день нарастал поток людей, направляющихся к месту сборки Ковчегов.

Он сказал Лидии Второй:

— Нам нужен абсурд, ведь он и есть самый главный аргумент действительности. Трехголовый человек, летающие жабы, женщина с семью грудями — ее опоры. Я очень бы тревожился, если бы у нас время от времени не появлялись говорящие грибы, человекоядные кузнечики, если бы никто не сочинял фантастических романов...

Лидия Вторая не вникла в суть проблемы, улыбнулась:

— Есть абсурд или нет абсурда — кому это интересно? Пора проверить, как идут сборы. Вот действительно головная

боль — что взять с собой, что оставить? Я видела, что в зале приемов на полу целая россыпь драгоценностей... жемчуг, гранаты, даже на бриллианты люди равнодушно наступают. Примусы стали дороже автомобилей... Вот абсурд!..

Ликург Шестнадцатый только вздохнул.

Во дворце хлопали двери, гремела посуда, под ногами хрустели битое стекло и изумруды. Челядь носилась из угла в угол, создавая неразбериху, шум и гам. Даже в кабинет Императора то и дело звонили, спрашивали: «Пятиметровый глобус Земли брать? Упаковывать все семьсот парадных мундиров Ликурга?..»

За последние месяцы Солнце как будто потяжелело, хмуро смотрело на Землю, ученые опасались, что Сборка и Эвакуация может затянуться, и тогда ничто не спасет планету вместе с Ковчегами.

От многого пришлось отказаться. Решено не отягощать корабли знаменитой бесконечной библиотекой, писателям дай волю, так они за пару лет наваракают две таких библиотеки. После долгих споров в Диване на первые Ковчеги взять только десять первых жен Императора, конечно же, со всей обслугой. (А мы-то с вами знаем, что ракет будет всего ничего, может, одна, от силы две... А может, и столько не понадобится.)

Фото и видеоархив Империи тоже оставляли на Земле; ничего ценного, по мнению специалистов, в нем нет, все, как на любой заштатной планете: непрерывная стрельба, бесконечные бунты, эпидемии куриного гриппа, — в общем, все легко наживется и на новой планете.

Бросали на обреченной Земле и все музыкальные записи, кроме Гимна Империи: не до песен теперь.

Но не забыли боевые знамена, они еще потрепещут на ветру неведомых планет! Конечно же, Ликург приказал бережно упаковать замечательную свою винтовку Мосина: может, и ей найдется работа в далеких краях?

Император без радости смотрел на великие сборы, но и без особого сожаления: миру полезны встряски, миру полезно двигаться — хоть в другую галактику, хоть к своему концу.

Фиолетовый (а в душе он никогда не переставал быть фиолетовым) вызвал Димона, и тот рассказал, как в народе восприняли потешную казнь бывших Оберкапо и Технорука.

— Слава Дисциплинарию, все обошлось! — докладывал босс охраны. — Не было ни возмущений, ни волнений, головы людей заняты предстоящей Сборкой и Эвакуацией. В массы внедрены тринадцать тысяч специальных групп для выявления и подавления беспорядков, им даны самые широкие

полномочия. Разрешено даже открывать огонь на поражение, старшие групп получили полные боекомплекты быстро прорастающих марсианских колючек. Есть у этих отрядов и совершенно секретная миссия: распространение анекдотов, самых скабрезных и матерщинных, самых похабных, самых циничных. Нужно добиться, чтобы планету охватила беспричинная эпидемия ржачки, чтобы хохот не выглядел кощунственным даже на кладбище. Смех разрушает любую организацию; не случайно все повстанцы, карбонарии, революционеры суровы, как шаманы. Все «оводы» панически боятся даже простой улыбки. Показаться смешными для них страшнее, чем умереть.

— Все записные остряки брошены на борьбу с повстанцами, — сказал Димон. — Надеемся, что нам удастся задуманное.

Император, обычно скупой на похвалы, объявил Димону благодарность, призвал не жалеть усилий для наведения порядка, даже если придется танками по головам.

— Танки крепче голов, — согласился Димон.

— Надеюсь, вы задумались и над тем, как нам придется обустраиваться на новой планете? — просил Ликург. — Я имею в виду поддержание порядка...

— Основы Дисциплинария будут положены в фундамент нового сообщества, — четко ответил босс охраны.

— Всецело полагаюсь на вас, — улыбнулся Ликург Шестнадцатый. — На кого же еще?..

Император подумал: не засиделся ли Димон, может, ему пора отправляться на фронт, воевать с андроидами? Посмертно можно Димона наградить еще одним орденом, не жалко.

От этой улыбки заныло в затылке у Димона, и мелькнула предательская мысль о побеге. Но куда? С кем? Бросить нажитое? Одних золотых коронок собралось потихоньку более пяти тысяч... Но кому они будут нужны на новом месте? А может, еще сгодится золотишко, зря знатные дамы выбрасывают драгоценности?..

Нет, нет, побег исключается.. Значит, значит... Он не стал думать о том, что это может значить. Он знал, что во дворце установлен новейший мыслеуловитель, и Ликург знает, о чем думают придворные. И совершенно ничего не значит, что он живет так, как будто ему неизвестны все эти «старый козел», «урод накрашенный», «пора его подвесить за яйца», «отольются ему наши слезки»... Наоборот, надо ухо держать востро, не прозевать, когда Император нанесет свой удар, а то, что он его нанесет — нет никаких сомнений...

— Решено! — вслух произнес Димон, а подумать постарался о новейшем подразделении Гремучих Змей, которое под-

чинялось непосредственно Императору, и тот, если бы захотел, мог бы в одну ночь избавиться от неугодных во дворце.

Змеи были специально натренированы, беспощадны, действовали бесшумно, не то, что спецназ, и только перед самым броском слышна становилась угрожающая трещотка, но было поздно. Знающие люди говорили: если услышал трещотку, то не торопись никуда, ты уже везде опоздал.

Как только Димон убрался, Лигург Шестнадцатый включил мыслеуловитель на воспроизведение. «Сука, сука, сука! — это Предводитель Депутатов Великого Дивана Маджонг Супрематович. — Как я его боюсь!.. Сильнее, чем ненавижу!» Император подумал, что, наверное, за такой животный страх старика Маджонга надо поощрить

— Лидия! — позвал он. — Осталась ли у нас еще селедка — Каспийский залом?

Та откликнулась моментально:

— Осталась. Но, Ваше великодушие, на прошлой неделе электричество отключали бессчетно, боюсь, что «залом» элементарно протух.

— Ничего, — усмехнулся Ликург, — тащи пару штук. Да, и скажи, чтобы этого старого осла Маджонга вызвали.

От селедки воняло за десять шагов, на Маджонг Супрематович ни разу даже не поморщился, держал рыбу, подаренную императором, на вытянутых руках, саблю, перед тем, как вырвать ее из ножен.

— Угощайтесь, — пригласил Ликург, — рыба с императорского стола...

Предводитель Депутатов (вот выучка у этих старорежимных мокрецов!) поклонился со сладчайшей улыбкой на лице и запустил сияющие никелем зубы в селедку. По рукам у старика потекло, вонь сделалась непереносимой. Лидия Вторая спросила глазами у Ликурга: может, вынести Маджонгу хотя бы тарелку, салфетки и немного воды? Император отвернулся. Маджонг продолжал жевать тухлую селедку, улыбаясь.

Индикатор мыслеуловителя, встроенный в наручные часы Ликурга, показывал максимальную силу ненависти.

«Так мы не в детском саду, чтобы дружить, — подумал Ликург. — Ненависть никогда не лжет... С ней нам по пути».

Маджонг доел селедку, поблагодарил Ликурга, и вместе с ним волны тошноты испытали все придворные. Один офицер охраны не выдержал и бросился в угол — рыгать, а Маджонг улыбался. «Не люди — нержавеющая сталь, — подумал Император, — ради себя родных будут, улыбаясь, жрать дерьмо...»

В мыслеуловителе сегодня собрался особенно щедрый улов. «Был бы холостым — пристрелил бы этого фиолетового

урода! Жену жалко, детей», — это Генеральный Куратор Полигона Демьян Третий, Живущий для Народа. Первым побуждением Ликурга было замуровать его по плечи в стену Отчаянья, чтобы в Самом Черном Подвале он неминуемо был бы сожран крысами. Но вспомнил, что Куратор отвечает за подготовку к Сборке, и подавил гнев. Еще будет время для страшной мести.

Придворный поэт Аристофан подумал строчкой из Пушкина: «...И чешется у вас рука по пустякам...» Хитрый сочинитель! Присосался к чужому, как к своему! Но все равно — и его за борт! Пока превратится в кусок льда, покувыркается недели две — три в ледяном пространстве, пока не сядут аккумуляторы. Бррр! Врагу не пожелаешь такого конца. Аристофан ему не враг, просто он назвался поэтом, не написав ни строчки, а это неприятно. Ни строчки, которую можно было бы назвать поэтической. Но таких поэтов большинство... Придет и их время кувыркаться в безвоздушном пространстве.

Оставим пока Ликурга разбираться со своими придворными, выясняя, что про него думают (надо сказать, что тратил он время на занятие, конечно, не императорское и, честно говоря, совершенно пустое, потому, что придворные давно уже научились ничего не думать, а если думали, то так, чтобы Императору было приятно. Попадались только такие старые чудаки, как Маджонг Супрематович).

Вакцина, супрематизм, линия

А где же Нина Арнольдовна, жива ли она? Может, ликует, а может близко к сердцу приняла нынешнюю позорную экзекуцию и строит планы мести?

Между тем, бывшая заместитель Оберкапо дома уходила от императорского дворца все дальше и дальше. Она не сразу осознала, что идет, куда глаза глядят. Причем шагала она против течения; толпы людей вытягивались из столицы на юг, а она двигалась на север. Нам почему-то всегда кажется, что на юге хорошо, уже в мае можно купаться, девушки там почти голые и на юге не так страшно цепляется одиночество; мы не любим север, да и за что его любить — край каторг и пятидесятиградусных морозов. Край пустоты.

Иногда ее окликали, дескать, не в ту сторону идет, она в ответ слабо улыбалась: человеку, который еще утром должен был умереть на глазах толпы, не все ли равно, куда идти. Разве в этот день было ей что-то припасено на Земле? Предполагалось, что даже солнца и самого воздуха ей больше не понадобится... Ее не должно быть среди живых уже более шес-

ти часов, так что, может быть, это шагает на Север не она, а ее пустота?

В высоте над ее головой опять завелся голос, призывающий не забывать о дне Сборки. Великом дне переселения человечества на другую планету. К до тошноты приевшимся словам в этот раз добавилось что-то новенькое. Поднебесный диктор призывал всех землян репродуктивного возраста в оставшиеся до переселения дни активно, сверхактивно заниматься любовью. Даже если ее давно нет. Ученые посмотрели в микроскопы и телескопы и рассмотрели: в той части космоса, куда предположительно должны отправиться земляне, правит бал жесткое рентгеновское излучение, могущее повлиять на детородную функцию; поэтому нужно заранее забеременеть. Причем предписывалось ни в коем случае не использовать противозачаточные таблетки. Каждый, кто откажется от соития, будет объявлен государственным преступником. Сегодня и до конца земных дней женщины не должны отказывать мужчинам. Даже если мужчина крив, горбат и изо рта у него пахнет дохлой кошкой.

«Ну вот, — подумала Нина Арнольдовна, — организован всемирный бордель».

На всякий случай она подобрала валявшийся в придорожной канаве черенок от лопаты, но на нее никто не набрасывался. Стало даже чуть-чуть обидно. Пришли непонятные и непривычные размышления: неужели все так плохо — и в природе, и в умах, и в домах, что ни во что не ставят люди Божьи заповеди? Она вспомнила, как еще совсем недавно она сама поклонялась какому-то идиотскому Дисциплинарию, читала по вечерам Манифест Прав и Обязанностей Человека, в котором обязанности занимали пятьсот страниц, а права две строчки. Она даже засмеялась своему прозрению, и от нее шарахнулась, должно быть, целая семья, впряженная в пожарный автомобиль; бензина на заправках было не достать, многие грузили свой скарб в брошенные автомобили, снимали с машин все тяжелое — моторы, кабины, трансмиссии, и превращали автомобили в телеги. Такие «телеги» упрямо пробивались к месту Сборки, несмотря на то, что каждые полчаса с небес гремел голос, объясняющий, что весь лишний груз будет просто уничтожен огнеметами.

Лавина тележек, груженных драгоценным семейным добром, неостановимо двигалась на Юг. Брали с собой из дома пузатые сундуки, похожие на осадные машины, комоды пушкинских времен, ковры, о которые вытирали ноги сарбазы Тимура, самовары, способные напоить даже знаменитый римский легион Германика.

Люди любили свои вещи. Одна женщина плакала над фарфоровой собакой. Специальный патруль не позволил ей взять собаку с собой. Она кричала:

— Будь проклята эта Сборка! Надо остаться всем — и умереть под родными звездами!.. До чего дошли, даже альбом с фотографиями не разрешили взять, а это ведь память! А разве память — это не жизнь сама — наша горькая, наша такая чудесная?

Другая рвала себе волосы из-за того, что ей не разрешили взять крошечные саженцы — березки, яблоньки, черешенки.

— Не положено! — был краткий ответ. — Тайная карантинная служба специально следит за тем, чтобы не привезти на новую планету никакой заразы...

На окраине какого-то грязного, унылого городка горели приземистые строения. Кто-то поджег завод по производству спирта. Рассказывали, что налетела толпа мужчин, по обличью не повстанцы, не андроиды, принялись выкатывать полные бочки, раздавать спирт всем желающим, а желающими оказались все. Пока завод заполыхал, удалось вытащить много бочек, и началась повальная пьянка.

«Ведь еще пару дней назад подобное было невозможно, — подумала Нина Арнольдовна, — народ стремительно дичает. Власти уже все безразлично...

В придорожной канаве горланила песню пьяная гоп-компания. Громче всех орал оборванный детина в грязном полушубке. Он колотил по струнам расстроенной гитары, и почему-то было понятно, что он в этой банде верховодит: «Я помню чудное мгновенье...» Нина Арнольдовна прежде где-то слышала эту песню, но не могла вспомнить где. Скорее всего, в казармах бригады по наведению порядка.

Где теперь порядок? Там же, где бригада по наведению порядка — провалились в тартарары?

— Эй, красавица! — крикнул тот, который с гитарой, прервав песню на полуслове. — Слышала указ про женщин? Чтоб, значит, они никому не отказывали?.. Иди сюда, глотни спиртику, хорош спиртяга, душа поет от него!.. И чего эту огненную воду всегда от народа прятали?.. А сами у себя во дворцах лакали!.. Жрали!..

Бывшая Оберкапо прибавила шаг, но было поздно. Трое из ватаги окружили ее, она почувствовала их руки у себя на спине, ниже спины, один, совсем еще мальчишка, обеими руками мял ее груди, тяжело дыша.

— Постойте, ребята! — закричал детина с гитарой. — Пусть выпьет сначала с нами, закусит, а потом может наслаждаться сколько ей влезет, точно? Мы же не звери, точно?

— Ну, пусть выпьет, — неохотно согласились насильники, налили Нине Арнольдовне, сами хлебнули из армейского котелка. «Уже и армейскую утварь принялись растаскивать», — подумала бывшая Оберкапо.

— Интересный у меня выпал день, — сказала она парню, который не переставал тискать ее груди, — утром голову собирались как будто снести, а пару часов спустя предлагают хлебнуть спирта и почти супружеское ложе... Что же будет к вечеру, а ночью?

— Постой, постой! — закричал детина с гитарой. — Так это над тобой так мудровали на площади?..

Нина Арнольдовна выпила спирта, в горле полыхнуло огнем, ей протянули обкусанную луковицу, но она отклонила солдатскую закусь, спросила у парня:

— При всех будешь, или отойдем в кусты?

— Чего нам прятаться, мы по закону действуем, — заорал самый пьяный.

— Завязывай, ребята! — вдруг встал на ее защиту гитарист. — Она и так сегодня натерпелась, пусть успокоится, отдохнет... Найдите себе других, вон сколько молодух по дорогам шагает...

Насильники, поурчав немного, отступили, только самый молодой, как присосался к грудям, так и повис на них — не убивать же его?

Нина Арнольдовна пыталась отстраниться от него, но он прямо-таки застонал, видать, давно от груди его отняли. Нине Арнольдовне стало даже приятно, она полностью перестала отбиваться, да и парень не проявлял настойчивости: дальше грудей его ласки не шли.

— Он, наверное, маммолог, — сказал детина с гитарой. — Специалист, хоть и такой юный.

Все еще хлебнули из котелка, спаситель Нины Арнольдовны запел новую песню:

— Земную жизнь пройдя до половины...

— Какие у вас красивые песни! — похвалила его бывшая Оберкапо, — Наверное, народные.

— Точно, народные, — ответил он. — Только земная жизнь заканчивается вся...

И словно в подтверждение его слов, в небе разлился бледный фиолет, как разбавленные чернила. Солнце, клонящееся к закату, стало почти черным, как при затмении, в короне его что-то заполыхало сразу в нескольких местах. Лица людей стали тоже чернильными, только глаза горели ужасом перед неизвестным и необратимым. Многие вставали на колени, молились, хотя было строго запрещено: существует Великий Дисциплинарий, он рассудит, защитит, успокоит, при необходимости примет

превентивные меры. Ученые утверждают, что удалось собрать и соеденить всю мудрость мира — и получился Дисиплинарий.

Но люди в последние дни потеряли разум, даже слушать не хотят ни о каком Дисциплинарии. Вспомнили о Боге! Нашлись древние книги, появилось рукописное Слово Божье, причем в один буквально день. Выходит, где-то в подполье сидели сотни, тысячи переписчиков?.. Как это могло пройти мимо тайных служб?

Небесный фиолет постепенно растворился, но было ясно, что это не случайно — не свет так упал, не звезды сложились в каком-то неведомом калейдоскопе, а что-то грозное и неотвратимое надвигается на Землю — и еще вернется жуткий фиолетовый закат, и вместе с ним что-нибудь пострашнее — много чего ждет впереди где-то проштрафившееся человечество.

— На Сборку путь держите? — спросила Нина Арнольдовна у предводителя с гитарой.

— Идем потихоньку, — ответил тот равнодушно. — Не очень верим мы с ребятами в эту Сборку... Посуди сама, кто-то сознательно сеет на планете большой хаос... Сознательно! Это почти не скрывается. Кому-то нужно, чтобы все перепуталось, затянулось в неразвязываемые клубки, завязалось в мильярд узлов, — и чтобы никому на свете не было понятно, что же на самом деле затевается? А что затевается? Что?

— Может быть, иссякает вместе с солнцем и запас вранья, а так хочется напоследок замесить такую брехню, чтобы и на новой планете звон от нее пошел? — предположила она, наконец, отодвинувшись от заснувшего у ее груди парня.

— Ничего исключать нельзя, — ответил он. — Тем более в эпоху фиолетового солнца...

Стемнело, и на позднем осеннем небе проявились звезды. Никто уже не удивился, что они фиолетовые, но все идущие к месту Сборки прибавили шаг, и как будто гул или стон прошел над дорогой. Путники озирались: кто стонет? Но выходило, что не стонал никто. Или стонали все?

Вся ватага постепенно успокоилась, наверное, спирт в котелках кончился. Ночевать остались в придорожной канаве, в которой пировали днем. Кто уснул, кто молча смотрел на удивительные звезды. А один мужик негромко плакал. Сначала показалось, что он смеется, и этому удивились. Но он плакал. Никто его не стал успокаивать, и он плакал и плакал.

— Ночь плача, — сказал мужик с гитарой.

Нина Арнольдовна добавила:

— А с рассветом начнется день плача...

Объектив, гальюн, букинг...

Мужик, который плакал, подошел к костру, вокруг которого размещалась ватага, и, размазывая слезы по щекам, сказал:

— Днем плача начинается тысячелетие смеха... Хохота до колик... Между прочим, отсюда в двух шагах есть тайные ворота в Майну. Лично я туда отправляюсь... Пока не рассвело, можно проникнуть в этот овеянный легендами город...

И он всхлипнул.

— Так все просто? — усомнилась Нина Арнольдовна. — Тайные службы десятилетиями ищут этот секретный город и не могут найти, а здесь прямо из придорожной канавы вход в столицу повстанцев, дебилов и андроидов?

Рыдающий мужик только махнул рукой и полез напролом в кусты бурьяна.

— Пожалуй, я за ним, — сказал гитарист. — А вдруг правда ворота тут есть? Интересно все-таки.

И он полез вслед за рыдающим, его всхлипы были хорошим ориентиром.

Нина Арнольдовна вздохнула и шагнула за ними в ночь. Не оставаться ведь в этой придорожной канаве, где куча храпящих мужиков, готовых исполнять императорский указ.

Глава 14

МАЙНА

Натаха, Егорий, Боевая Фиолетовая крыса и Артур даже ног не замочили, пройдя в Майну через ворота, открывшиеся в озере. Действовал такой хитроумный механизм, правда, тоже изрядно проржавевший, что человек оказывался под водой и над головой его плавали не вороны, а щуки, караси и огромные усатые сомы, и вся эта чудовищная масса воды не только не обрушивалась на жителей города, но даже защищала их. У этой воды были многие функции волшебной живой воды — она вылечивала без следа такие недуги, как ишиас, геморрой, ветрянка, герпес. А также бессонницу, диарею, чесотку — всего около шестисот недугов. Вода также хороша была от утренней болезни, и много страждущих с удовольствием пользовались этой драгоценной влагой, до которой только руку протяни — и она твоя.

Артур на правах сторожила объяснял:

— Город Майна — не полностью подводный город, некоторые его районы находятся в подземельях старых ракетных шахт, почти выходят на поверхность, а один район, кажется,

Первомайский, уютно расположился в жерле действующего вулкана. Там горожан хранит специальная огнеупорная пленка, наподобие той, что используется в антипригарных сковородках.

На улицах города было многолюдно. Народ, который попадался беглецам, в основном был приветлив, улыбчив, но в уголках глаз многих майнев (или майнчан?) таилась тревога: Империя наносила удар за ударом по столице мятежников, правда, всякий раз без пагубных последствий для Майны (сказывались неточные прицелы, отсутствие подробных карт, разгильдяйство имперских военных, устаревшее вооружение), но и пригласительных билетов на Ковчеги надежды никто из мятежных майнцев не ожидал.

Они оставались на обреченной планете. И хотя многие местные ученые с мировыми именами уверяли, что Земле ничего не угрожает в ближайшие пятнадцать тысяч лет, но тревога не покидала горожан. Например, академик Цистит уверял, что Солнце — молодая звезда, и у нее нет никаких предпосылок взрываться. И потом звезды, как и все остальное, не взрываются сами по себе, нужно, чтобы сошлись воедино тысячи причин, а таких причин, по его мнению, не наблюдается. А ученые Империи — подневольные люди, результаты их работ напрямую зависят от беспринципной политики, проводимой Империей.

Циститу за этот доклад вручили высшую научную премию Майны, но сомнения горожан почему-то только укрепились. Кроме всего прочего, немного грустно было расставаться с давним противником. Без врага, что ни говори, немного скучно. А самое главное — больше не надо будет прятаться.

Многие майнцы десятилетиями не бывали на поверхности, а если и выбирались, то всегда тайно, всегда с применением мер индивидуальной защиты, каждую минуту прислушиваясь: не шипит ли в небе ракета, выпущенная беспилотным самолетом, — и вот теперь можно будет свободно передвигаться хоть на север, хоть на юг? Свободно?.. Или все-таки повстанческие власти введут какие-то ограничения?

Беглецы вышли на широкую улицу, застроенную странными домами с узкими, какими-то куцыми крышами; должно быть дожди, если они здесь бывали, заливали жителей этих строений.

— Дожди здесь как раз бывают, причем обильные, — пояснял Артур, — и что интересно, вместо вашего града здесь выпадают караси, довольно крупные — над головой-то целое озеро... Не редкость, когда утром просыпаешься, а вместе с тобой в постели резвятся караси.

А насчет крыш так получилось: в свое время были разработаны десятки разных стандартов домов, кровли, сантехники, ну и всякого другого. В условиях стопроцентной демократии (а Майна объявила себя именно стопроцентно демократическим городом) плебисцит объявлялся даже по поводу стандартов на презервативы, а уж на размеры кровель — и подавно. Семь лет было потрачено только на обсуждение вопроса, одних особых мнений было записано и рассмотрено сто шестьдесят три тысячи. В итоге победил нынешний стандарт. Но в это же время проходили обсуждения стандартов жилых домов, и в результате голосований, проходивших аж в три тура, приоритет был отдан нынешнему стандарту. Но победившая крыша не подходила к победившим домам, и когда стали просыпаться по утрам с карасями в постели, то, естественно, забили тревогу — люди все умные, авторитетные, за голову каждого в Империи назначены миллионы мань. И теперь в парламенте идут консультации по этому вопросу. Особенно жаркие дебаты состоялись именно насчет карасей: может, не так уж и плохо, что часто на столе майнцев бывает свежая, не зараженная нуклеидами рыба?

— Демократия, конечно, благо, — сказала Натаха, вспоминая горячие ночные объятья Артура, — но иногда она похожа на старательную, но неумелую девочку, которая прочитала сундук книг, где вперемешку были свалены французские романы, пространные рассуждения английских философов, русские прельстительные книжки про любовь, справедливость, и теперь не знает, какое же место отвести Богу.

Оказалось, что в Майне жить — не сладкий мед. В городе торжества демократии электрические вилки не подходили к электрическим же розеткам, и вечерами большинство горожан не имели возможность включить свет. Телевизионные антенны, само совершенство, не работали, потому что пока к ним не было изобретено телевизоров требуемых систем. Мясорубки работали наоборот: просили фарша и восстанавливали куски мяса; этим потрясающим изобретением воспользовалась медицина, и теперь вопрос пересадки органов был снят с повестки дня трансплантологии.

Но решены успешно проблемы левых ботинок, теперь можно было купить одновременно и правые и левые ботинки, что было не всегда. Решен вопрос с писсуарами, их перестали устанавливать на двухметровой высоте. Торжеством демократии вполне можно было назвать закон, требующий, чтобы мужчины уступали дамам места в трамвае. Но санитарное и медицинское лобби провели закон, запрещающий беременным, хворым, не достигшим совершеннолетия женщинам пользоваться трамваем, оберегая их от пагубной вибрации. В трамвае всегда находился дежурный акушер, который требовал с пассажирок разрешение на проезд, заодно в специальном уголке трамвая мог провести освидетельствование.

Артур с гордостью рассказал, что в управлении вольного города принимают участие представители всех слоев населения — и андроиды, и повстанцы, основавшие Майну, и мутанты, прозванные императорскими солдатами дебилами из-за того, что они общались между собой без помощи слов — на каком-то магнитно-лучевом языке. Они всегда молчали, даже под пытками, что раздражало Димона и его людей.

— В самой глубокой из шахт, в здании Института Извилин живет Ремембер...

— Кто такой? — спросил Егорий. — Это имя у мужика такое или фамилия? Из искусственных, что ли?

— Ну причем здесь происхождение? — сказала Натаха. — Кто он такой, этот уважаемый человек?

И Артур поверил товарищам один из важнейших секретов Майны, о котором даже вскользь слышали не все. Много лет назад ученые подводно-подземного города создали искусственный интеллект с очень малой погрешностью выполнения всяких высоконаучных операций — что-то одна ошибочка случалась на тысячу операций, даже меньше.

Нынче, конечно, никого не удивишь кремниевыми мозгами, но эти мозги были всем мозгам мозги. Поглотив огромное количество информации, прочитав все книжки на свете, Ремембер, так его почему-то назвали, внезапно приобрел дар заглядывать в прошлое и даже будущее. Когда это открылось, то многие полагали, что человечество находится на пороге новой эры, оно по сути дела получает контроль над временем. Можно упредить любое землетрясение, не допустить эпидемий, добиться невиданного процветания. Люди перестанут попадать под машины, сосульки не будут разбивать головы... Ни один муж больше не застанет жену врасплох с любовником, писательский труд станет счастливым: каждый литератор не захочет больше чахнуть годами над романом, а с помощью Ремембера заглянет в то время, когда роман уже не только написан, но и напечатан, и просто сделает копию...

Но научный люд почему-то не потянулся к искусственному разуму, мол, сами с усами; в аргументы противники Ремембера взяли ту самую крошечную погрешность и всюду щеголяли этим: дескать, нельзя рисковать серьезными научными исследованиями, сверяя их с выводами кремниевого интеллек-

та. А если честно — ученые просто побаивались, кому приятно узнать, что твоя мудреная теория, за которую ты получил парочку премий, дачу на Рублевке, давным-давно забыта, признана антинаучной.

Не стал популярным искусственный мозг и в среде поэтов, художников, артистов: все они боялись будущего. Немного нашлось желающих узнать истинные результаты всех своих жизненных усилий; вдруг они ничтожнее, чем даже привыкли думать завистники — они просто смехотворны?

В основном к Ремембер шли мелкие фокусники, портные, эстрадные певцы, парикмахеры, которым хотелось идти в ногу с эпохой; смешно ведь появиться на людях в кольчуге времен первых крестовых походов или в парике, обильно обсыпанном мукой. В одно время Ремембер был очень популярен в среде геймеров, они просили подсказать, как пройти сложные уровни, сохранить жизни. Чтобы оградить искусственный мозг от геймеров, эту услугу сделали платной — всего два маня, но сразу как отрезало, дорога, прежде секретная, но многим все-таки известная, оказалась забытой. Редко какой чудак обращается к искусственному мудрецу, все больше для того, чтобы сфотографироваться с Ремембером.

Сначала искусственный разум пытался хоть как-то привлечь к себе внимание. Он пробовал делать ставки на тотализаторе, но хозяева букмекерских контор пообещали повысить напряжение в сети, да так, что не спасут никакие стабилизаторы.

Он стал писать изящную прозу — легкую, лирическую, остроумную. Но держа в памяти миллионы книжек, он не смог избежать некоторой вторичности своих повестей и романов; читатель никогда не мог избавиться от чувства, что произведения Ремембера похожи сразу на все написанное за историю человечества.

У него испортился характер, чаще всего он молчал или наоборот — осыпал бранью редких посетителей.

— Ты знаешь дорогу к Ремембер? — заинтересовалась Натаха.

— Конечно, знаю, — ответил Артур. — Но, говорят, там теперь усиленная охрана, нужен пропуск. А в детстве мы устраивали в этой шахте шумные игры — перед самым зданием Института Извилин, где целый огромный зал был отведен кремниевому мозгу. Ремембер и сейчас там, но здание замаскировано на случай бомбежки.

— Для чего тебе этот искусственный мудрец? — хмуро спросил Егорий. В последние дни он был мрачен, и было от чего. Натаха перестала смущаться, да она, как оказалось, не

смущалась вообще, и как только по вечерам беглецы устраивались на ночлег, он стелила отдельно себе и Артуру, отгораживалась какой-нибудь фанерой, занавесочкой — вполне условно. Крыса сразу засыпала, а Егорий ворочался и тяжело вздыхал до той поры, пока не прекращались за фанерой сладкие постанывания, чмоканья, жаркий шепот. Он постоянно не высыпался, целый день его одолевала позевота; он даже подумывал бросить сдружившуюся за время пути компанию, но это было выше его сил.

— Неужели никто не догадался до сих пор задать Ремембер простой вопрос о судьбе Солнца и Земли? — спросила Натаха. — И все сразу станет ясно — оставаться здесь или удирать с этой планеты поскорей.

— Вопрос простой — ответ трудный, — предположила Боевая фиолетовая крыса. — Думаю, что спрашивали многие, но вот незадача — почему-то они не торопятся с сенсационными заявлениями... В самом деле, почему?

— Может быть, все дело в той самой маленькой погрешности, которую допускает в своих расчетах искусственный разум?— хмуро сказал Егорий.

— Егорушка, ну что ты все время хмуришься? — улыбнулась ему Натаха. — Наступает новый день, а с ним приходит все новое — и новые надежды, и... в общем, не надо печалиться...

Егорий отвернулся.

Беглецы заметили, что над ними больше не плавают щуки и караси. Обычное ночное небо было над их головами, но очень далекое. Артур пояснил, что они находятся в одной из заброшенных ядерных шахт, и здесь нужно держать ухо востро, в таких шахтах полно летучих мышей-вампиров.

Вокруг громоздились горы ржавого, растерзанного металла, искореженного бетона, битого стекла. Время от времени с вершин этих рукотворных скал с грохотом срывались лавины из шестеренок, кусков труб, каких-то колес; от одного такого железопада они едва унесли ноги.

— Как тут только люди живут! — сказала фиолетовая крыса. — Зато, наверное, они легко выполняют план по сдаче металлолома...

— Что ты сейчас такое сказала?— удивился Егорий. — Из какой это жизни?..

Крыса пожала плечами, она и сама не знала, откуда к ней прилетели эти слова, каким эхом занесены.

Егорий вспомнил свой полустанок, трансформаторную будку и лесополосу, в которой он срезал гибкие пруты краснотала — получались из них замечательные удилища, конечно,

не такие, как вязовые, но на чебака, подлещика, окуня вполне годились. Однажды с ним на речку увязалась Натаха. Он знал, что когда девчонки попадают на рыбалку, они там все портят. Даже ни к чему не прикасаясь. Уха обязательно перевернется в костер, ударит гроза с проливным дождем и в мешке с сахаром, чаем, солью, лаврушкой и хлебом возникнет нечто вроде лапши, палатку сорвет ветром и швырнет в костер, ну, а про клев можно будет вообще забыть.

Примерно так все произошло и на этот раз. Ливень начался, когда они еще не дошли до берега. Он был таким сильным, что казалось, будто Егория с Натахой тотчас смоет в речку этим теплым июньским потоком. Они кинулись к огромному черному тополю, схоронились под его шапкой, хотя с детства им твердили, что во время грозы опаснее всего прятаться под деревом. Но обошлось, шипящие, как гадюки, молнии не попали в них, не задели и дерево. Но, как ни прятались они от ливня, он все-таки достал их и под осокорем; они вымокли до нитки.

Гроза погремела и укатилась на другой берег реки и оттуда пыталась достать до леса, поджечь хоть одну лесину, но не подожгла, не хватило небесного огня. Дождь утих, и рыбаки добрались, наконец, до реки. Егорий принялся готовить нехитрые снасти — разматывать лесу, привязывать грузила, а Натаха, строго наказав Егорию не смотреть в ее сторону, спряталась за ствол тополя, выжала одежду и развесила ее на ветках.

И тут последняя молния все-таки достала из-за реки осокорь, стегнула, как погонщик кнутом, и тут же заполыхало столетнее дерево, а с ним и натахина одежда.

Егорий сначала захохотал, увидев, что Натаха осталась почти голой, принялся кричать:

— А король-то голый! Королева голая! Голая!!!

— Дурак! Ты просто дурак! — отбивалась она от него, и вдруг из ее глаз брызнули незваные слезы.

Она спряталась за кусты краснотала и оттуда раздавались ее всхлипывания. Он растерялся:

— Да, ладно, Натаха, — чего по одежке убиваться, небось не от Кардена она...

— Вот же дурак! — залилась она еще пуще.

Он стащил с себя еще влажную рубаху, шорты, кинул ей: «Подсуши чуток, да прикройся. Сейчас солнце выйдет, за минуту все просушит...»

— А ты? — спросила она.

— А я в трусах буду, ничего?

— Ничего, — ответила она коротко.

После дождя стало клевать — они наловили крупных окуней, яркие красные плавники которых горели на солнце фонариками. Развели костер, и вскоре в котелке закипела окуневая уха.

— Вот если бы сюда ершей добавить — было бы настоящее объедение, — сказал Егорий. — Лучшая в мире уха — из ершей и окуней...

— Ну а что ты про стерлядь скажешь? — спросила она, вспомнив, как однажды — давным-давно, кажется в мае, приезжала к ним бабушкина сестра и привозила в подарок такую рыбину, и тоже говорила тогда, что лучшая уха в мире — из стерляди.

Егорию не доводилось даже видеть такую диковинную рыбу, поэтому он вывернулся:

— Ученые открыли новую рыбу, которая лучше всех для ухи годится. Она называется палтус. Но водится палтус только в океане, его мало кто видел, поэтому для нашей речной местности ерш — главная рыба для ухи...

— Брешешь ты все, — сказала Натаха, — в ерше одни колючки, как водяной репей...

В этот день и вечером они наловили полную корзинку рыбы. Там были и подлещики, и подъязки, и даже попался один небольшой сазанчик. Таких сазанчиков в их местности почему-то называли «лопушками».

Собрались было домой, но Егорий уговорил Натаху остаться на утреннюю зорьку. Что за рыбак, который не встречает рассвет на берегу!

— Смотри, околеешь ночью в одних трусах, — сказала Натаха, но и ей хотелось остаться на берегу до утра.

— Ничего, ночи теплые, — ответил он.

Подбросили сушняка в костер, Натаха заварила травяной чай, да такой ароматный, вкусный — дома такого не бывает. Кружка у них оказалась всего одна, и они попеременно отпивали из нее.

Не успели оглянуться, как на них свалилась ночь: наверху у самых звезд было светло, а ближе к земле — темнее. Совсем черно было в лесу, и там среди деревьев кто-то осторожно ходил, вздыхал, словно искал что-то и никак не находил.

— Страшно? — спросила Натаха.

Ему было страшно, но он промолчал, пусть она думает, что он ничего не боится. И вообще, совсем не хотелось говорить. Натахины глаза отражали костер, а казалось, они полыхают огнем — и почему-то от этого двойного огня — в костре и в глазах — было немного не по себе.

Чтобы нарушить молчание, он опять вспомнил:

— И чего это ты слезы проливала по своей одежде?

Он подумал, что она может опять завопить «Дурак, дурак», но она только вздохнула, и он вдруг понял, что мимо него сейчас прошло что-то важное, а, может, и не прошло совсем, а пришло, чтобы остаться в нем навсегда?

Он часто потом вспоминал эту ночь, полыхающие глаза Натахи и лесные таинственные вздохи. Кто там вздыхал в черных зарослях? Однажды даже ему пришло в голову, что в лесу тогда вздыхал он сам, Егорий. Он отогнал от себя эту странную мысль, ведь человек не может раздваиваться. Или может?

...Где-то совсем рядом прогрохотал еще один железопад, особенно сильный. Беглецы рпасливо поглядывали наверх, не свалился бы на голову какой-нибудь трехтонный маховик или реактивный паровоз времен Третьей Перестройки.

— Скоро должны быть на месте, — сказал Артур почти шепотом.

— Чего ты шепчешь? — спросила крыса. — Может, ты кому-нибудь здесь крупно должен?..

Артур не ответил — стоит ли хоть что-то объяснять этому непонятному существу, которое предало своего хозяина, и можно ли быть уверенным, что больше крыса не предаст? Но фиолетовое создание не отставало.

— Что-то неважно ты ориентируешься в родном городе, — сказала боевая крыса. — Обязан с закрытыми глазами знать каждый переулочек, в каждой подворотне у тебя должны быть друзья, ну хотя бы собутыльники...

— Где ты тут видела подворотни? — приходилось все-таки отбиваться Артуру. — А уж тем более переулочки?.. Еще немного — и Институт Извилин... Сначала, кажется, должен быть Генеральный Штаб Заговорщиков, его подземный филиал, а потом Институт...

Показались стальные аппарели, по которым когда-то съезжали в подземелья огромные автомобили. Теперь останки этих моторных монстров дотлевали вокруг, а сами подземелья, обрушившиеся, поросшие какими-то чахлыми деревцами, зияли черными провалами. Было ясно, что никакого Генерального Штаба Заговорщиков здесь давным-давно нет. А может, и не было никогда.

— Ну, и бардак! — сказал Егорий. — Всеобщий развал! За что ни возьмись — все не работает, все разбито.

— Напрасно ты так! — одернул его Артур. — Когда-то это был боевой организм, здесь оттачивали свое умение великие мастера политической интриги. И не только политической. Отсюда вышли настоящие рыцари ночи, виртуозы кинжала... Например, нынешний командир большинства тайных под-

разделений Империи Димон прошел хорошую школу плетения интриг именно здесь... Скажу вам больше, заговор против Карла Первого, против Павла Первого, против Великой Русской Литературы и еще тысячи других были некогда задуманы и разработаны именно здесь. Тут была выпестована скандальная книга Иванова «Теория и практика заговоров».

— Теперь, видать, времена не заговорщицкие, — сказал Егорий, заглянув в один из бездонных провалов. — Разбежались заговорщики, расползлись, как крысы...

Егорий посмотрел в сторону Боевой Фиолетовой крысы, извинился:

— Прости, к тебе это не относится...

Та только хмыкнула, сказала:

— Не удивлюсь, если все заговорщики уже давно на той планете, куда мы только собираемся, и уже плетут хитроумные интриги.

Количество разбитого и искореженного металла вокруг стало угрожающим. Беглецы с трудом продирались через завалы сгоревших танков, взорванных орудий, рухнувших самолетов.

— Нешуточно здесь воевали, — сказала крыса.

— Давно это было, — заметил Артур. — Все силы Империи были брошены на повстанцев, но те устояли. А ведь сюда проливались дожди из пуль и снарядов, сбрасывались самые разрушительные в истории человечества бомбы и ракеты, беспилотники охотились на каждого жителя Майны, били в любую мишень — будь то женщина, будь то старик... Чего ж теперь изумляться, что повсюду руины?..

— Друзья мои, постойте! — сказала Натаха.— Мы двигаемся по принципу «куда глаза глядят». Не спорю, принцип хороший, зарекомендовал себя отменно, но все-таки не мешает спросить хотя бы у самих себя — куда мы идем? Куда мы прорываемся? Вообще-то основная цель нами достигнута — мы скрылись от погони. Спаслись, укрылись...

— Да, надо сказать, что за нами не особенно и гнались, — сказала крыса. — Может, играют с нами в поддавки, и наверняка следят за каждым нашим шагом. Вон сколько их кружит — беспилотников... Но, думаю, пасут нас не только с воздуха. Это было бы очень просто...

— Все тебе мерещатся враги, — резонно заметил Артур. — А время сейчас такое, предполетное, предстартовое, скорее всего, о нас просто-напросто забыли. Шутка ли сказать — перевозить не комод, не обеденный стол, не семью, а целое человечество!

В вышине над секретным городом опять завелся металлический голос:

— Слава Дисциплинарию, приближается день грустный и одновременно радостный!.. Нам предстоит покинуть родную Землю, обветшалую, обреченную, но мы приобретем новое отечество... День Сборки уже совсем близок...

— Никак не могу понять, для чего всех созывают на места Сборки, — задумчиво сказала Натаха, — если вокруг, не скрываясь, говорят, что мест в Ковчегах Надежды на всех не хватит, несмотря на миллионы и миллионы самодельных гаек, шурупов, болтов так называемой «повышенной прочности». А если у нас о чем-то прошел слух, то он надежнее закона. Закон не торопятся исполнять, а сплетня всегда оборачивается чистой правдой. Такой мы народ...

— И все-таки куда мы идем?..

Никто не ответил, только эхо передразнило:

— Идем-идем-идем...

За разговорами подошли еще к одному полуразрушенному зданию. «Всемирный Институт Извилин», — прочитала крыса. — Неужели тут обитает кремниевый супермозг? Не похоже. Судя по сугробам пыли, кучам мусора в вестибюле, оборванным проводам, если здесь что-то подобное и водилось, то оно давно уже отсюда вывелось. Может быть, от голоду околело?..

— Мозг здесь, я его нутром чую, — сказал Артур. И Егорий, и Крыса взглянули на него. Натахе тоже послышалось в его словах нечто необычное.

— Странно, — произнесла она задумчиво, — я его не чую, да и сдалась мне эта железяка никчемная! А ты чуешь...

— Надо же понимать, когда человек образно выражается, — улыбнулся Артур.

Беглецы тщательно осмотрели вестибюль Института. Егорий около одной разбитой двери нашел нечто похожее на покерные жетоны.

— Теперь вижу, что здесь пользовались извилинами, — сказал Егорий. — Может, в этом мрачном местечке и карты есть?

Нашлись и карты, новенькие, нераспечатанные. Крыса сунула одну пачку в свой походный хурджум, огромный, войлочный, казалось, что в нем легко поместятся все четверо путников.

— Я основательно собиралась, — сказала крыса. — Хурджумы входят в утвержденную форму одежды крыс.

Послышалось какое-то металлическое шкрябанье, завывание лебедки, скрип, и сверху спустилось нечто вроде строительной люльки или платформы.

— Трансглюкатор подан, — сказал трансглюкатор мягким приятным голосом.

— Спасибо! — не растерялась и вступила в беседу Натаха с говорящим механизмом. — Вы не могли бы нас подбросить до того места, где находится Ремембер?

Трансглюкатор подумал немного, потрескивая динамиками, и ответил:

— Спрашивайте у меня, я уполномочен отвечать на любые вопросы.

— Кем уполномочен? — спросил Артур.

— Естественно, уполномоченным органом, — не без достоинства в голосе сказал трансглюкатор.

Артур взял Натаху под руку и отвел ее подальше от говорящей люльки:

— Извините, срочно нужно обсудить один интимный вопрос...

— Забыл предупредить, — принялся он шептать ей на ухо. — Земные ученые предполагают, что Ремембер — это уже давно не организм, не устройство; это как бы очередное состояние материи; он вобрал в себя и продолжает вбирать все вокруг, как тысяча пылесосов, и вполне возможно, что люлька эта — и часть самого Ремембера, и одновременно она и является этим самым целым. То есть, Ремембер повсюду. Грязный пол, на котором мы стоим — это он, разбитые лифты — это тоже он, и даже груды металлолома тоже могут быть им...

— Я поняла, что язык надо держать за зубами, здесь может подслушать любой оконный шпингалет...

Они вернулись к люльке:

— И все-таки мы хотели бы поговорить с Ремембером, — твердо сказала Натаха.

Крыса поддержала ее:

— Вот именно, с самим!..

Им показалось, что люлька хмыкнула, но все-таки ответила тоном, не допускающим никаких шуточек. Серьезные люди прибыли по серьезному поводу. Под угрозой целая планета, надо спасать ее, или хотя бы попытаться спасти.

— Добро пожаловать! — произнесла люлька-трансглюкатор несколько церемонно. Открылась небольшая дверца и к ногам отважных беглецов выкатился неширокий трап. Первым на него шагнул Артур (сама решимость), за ним Боевая Фиолетовая крыса, а последним ступил на настил платформы Егорий, настороженно поглядывая по сторонам. Не нравилось ему происходящее, очень не нравилось. И, само собой, не нравился Артур.

Как только беглецы погрузились на платформу, она начала подниматься, одновременно на потолке стал открываться большой прямоугольный люк. Трансглюкатор вошел в этот люк, и они оказались в небольшом зале.

В центре зала на старом скрипучем стуле сидела рослая женщина, перед ней на таком же допотопном, шатком столике стояла початая бутылка плодово-ягодного крепкого вина; Егорий по этикетке узнал — «яблочное» производства пригородного совхоза «Плодоовощной», незабываемый напиток.

Женщина повернулась к прибывшим, и они ахнули: это была Нина Арнольдовна, бывшая Оберкапо, бывшая приговоренная к смертной казни, бывшая... А теперь она кто?

Она сделала глоток прямо из горлышка, глоток солидный, и сказала:

— Ба, старые все знакомые!..

Голос ее прокатился громовыми раскатами, да такими, что задрожали стены Института Извилин, глаза Нины Арнольдовны брызнули сиреневыми искрами, и стало понятно, что это может быть кто угодно, только не бывшая Оберкапо.

Мавр, офорт, цезарь...

Глава 15

ТАЙНА АРТУРА

Едва Нина Арнольдовна нырнула в кусты за мужиком с гитарой, как оказалась в кромешной тьме. И в полном безмолвии. Ни шороха, ни звука. Она по инерции сделала несколько шагов и остановилась. Вытянула вперед руки — препятствий никаких не было. Но не было и веток, которые хлестанули ее поначалу. А теперь как будто она внезапно попала в большую и пустую комнату.

Она медленно двинулась вперед. Прошла десять шагов, пятнадцать — где-то должна эта комната кончиться... Или она бесконечна? Или это не комната?

— Ауууу, — произнесла она негромко.

— ...ууу, — откликнулось недалекое эхо.

«Пещера, что ли?», — подумала Нина Арнольдовна.

— Ауууу! — аукнулась она уже погромче. И вдруг кто-то сказал ей в самое ухо:

— Перестаньте орать, не в лесу... Добро пожаловать !..

И тут же вспыхнул свет, и оказалось, что она действительно находится в большой комнате с высоким потолком, почти зале, и перед нею стоит человек.

Мужчина.

Улыбается.

В лице что-то знакомое. Очень знакомое. Капо соседнего дома? Продавец овощной палатки?

— Скажите, пожалуйста, вы в рекламе подсолнечного масла не снимались? — спросила она и почти попала в точку.

— Нет, — улыбнулся мужчина, усевшись на единственный шаткий стул, — я снимался в рекламе скороварок, а еще у меня была роль в сериале «Остров», я играл Ку-Эн-Зима.

— Простите, не смотрела, — сказала она, и тяжелые сомнения стеснили ей грудь: нет, не снимался он ни в какой рекламе, не играл Ку-Эн-Зима, да и кто он такой — Ку-Эн-Зим этот преподобный?

— Его мало кто смотрел, — меж тем беседа развивалась, — он еще на экраны не вышел. Говорят, я неплохо сыграл. Меня выдвинули на соискание Сталинской премии...

Нине Арнольдовне стало страшно. Почти так же, как вчера (неужели только вчера это было?) на эшафоте. А может быть, страшнее.

— Кто вы? — спросила Нина Арнольдовна — Нечистая сила?

Мужчина коротко хохотнул, почесал переносицу, произнес негромко:

— А чего вы стоите? В ногах правды нет. Присаживайтесь. А потом уж о деле.

Она огляделась. Второго стула в комнате не было, правда, стоял рядом небольшой ротанговый столик, но не садиться ведь на стол.

— Извините, — сказал мужчина, — сейчас все будет.

И крикнул:

— Стул сюда, самый лучший! И корзину вина с фруктами!

И тут же раздался страшный грохот, и ей под ноги вывалился материализовавшийся из комнатного пространства какой-то весь кривой и по виду шаткий стул, и подкатилась к ней запыленная бутылка «яблочного» — нектара, дававшего в бойскаутской юности легкое забвение.

Нина Арнольдовна подняла стул, с опаской села. Посмотрела на мужика — вылитый народоволец Желябов.

— Будете душу мою бессмертную покупать? — спросила она и улыбнулась робко, дескать, говорит она не всерьез, и вопрос ее нужно принимать с улыбкой. Но вышло жалко: голос дрогнул, в нем явно прозвучали плаксивые нотки.

— Не нужна мне ваша душа, давным-давно проданная и перепроданная, — ответил строго мужик. — А вот память ваша, аналитические способности мозга, потрясенного несостоявшейся казнью, потребуются... Я давно искал такой мозг, очищенный ярким страданием... Эмоциональное потрясение, катарсис иногда усиливают способности мозга в сотни раз. Вот для этого я позвал вас.

— Меня никто не звал, я сама, — сказала Нина Арнольдовна.

— Ну, да, сама, — ухмыльнулся он.

Она взглянула на него: писатель Иванов — один в один. И тут ей пришло в голову, что, наверное, ее подключат к компьютеру, станут показывать тестовые картинки, и ее ум послужит людям — она даже чуть-чуть загордилась.

— Решаете какую-то проблему? — спросила она. — Так вы ученый? Академик засекреченный? Да? Но имейте в виду — у меня математика всегда хромала. И в химии я тупая...Валентность, атомный вес, реакции замещения, щелочи и ангидриды — для меня темный лес... А так я, конечно, готова помочь науке...

Мужик молчал, вылитый Ломоносов. Только что из Архангельска пришел.

Ужас стал заполнять комнату.

— Что вы, что вы? — спрашивала Нина Арнольдовна. — Что вы? Что задумали?

— Да, вот, надеемся решить вечную проблему мироздания. Самую из самых...

— Чтобы Земля не упала на Солнце? — попыталась она успокоиться.

— Это проблема второстепенная, сказал бы даже, что ее не существует. Каждую минуту в метагалактике сгорает три тысячи планет, одной больше, одной меньше — разве это имеет значение?..

— Так какую же проблему вы решаете? — спросила она. — Мне вообще-то пора домой, муж будет ругаться...

И она поднялась, пошла в сторону, где предположительно могла быть дверь. Двери там не оказалось и она, ускоряя шаги, двинулась к другой стене. Двери не было и там.

— Нина Арнольдовна, что вы мечетесь? Вы же спросили о самой-самой проблеме философии, а сами не слушаете, — сказал мужик, вылитый Ларошфуко.

Нина Арнольдовна остановилась, рухнула на стул, подняла с пола бутылку «яблочного».

— Так вот, — продолжил мужик, — для себя я ее назвал «куриной задачей»... Ну, да, что было раньше — яйцо или курица?

Иначе говоря, это вопрос о смысле индивидуального существования... Вы, Нина Арнольдовна, для себя самой как отвечаете на этот вопрос?

— Яйцо раньше было, — сказала она. — Откуда вы знаете, как меня зовут?

— Смотрел по телевизору казнь несостоявшуюся...

— Я раньше тоже так думал, что яйцо, — продолжил мужик, — но путем сложнейших умозаключений пришел к выводу, что яйцо вторично... Иначе бытие лишается смысла... Подумайте хорошенько... Хотя ваше личное бытие скоро наполнится новым смыслом, почти не теряя индивидуальности, вы станете единым целым с тысячами других субстанций...

Нина Арнольдовна была на грани обморока. Страх был так силен, что она готова была броситься на страшного мужика, похожего на Малюту Скуратова.

— Так давайте выпьем! — предложил он. — За самое тесное сотрудничество в мире!

Он открыл бутылку и протянул ее Нине Арнольдовне. Та подумала, что надо бы пить второй, но взяла бутылку и приложилась к горлышку. Тепло разлилось по всему ее телу, странное тепло, которое постепенно разгоралось, как костер, становясь все горячее и горячее; как-то сразу, вмиг отяжелели руки и ноги, как будто она очень устала. Она и вправду устала, но не так свинцово-чугунно.

— Отравили? — теряя сознание, спросила она. — Зачем...

Но она не потеряла сознание, если сознанием можно назвать тот ужас, который заполнил ее. Она все видела, слышала, но не могла пошевелить даже мизинцем.

— Спасите! — попыталась она закричать, но из глотки вырвался только слабый хрип.

Комнату стал заполнять не то густой туман, не то дым, он поднимался откуда-то снизу, заполняя каждый уголок комнаты — все выше, и выше, и выше. Вот он скрыл щиколотки ног, вот добрался почти до колен... Может, это была черная вода, может жидкий металл, а в одно мгновенье ей почудилось, что это кровь. Черная кровь подземелий; жаждущая мести кровь всех безвинно замученных, растерзанных, погубленных...

И вдруг Нина Арнольдовна заметила, что сама она как будто растворяется в этой черной субстанции. Да что там — «будто» — она на самом деле начала растворяться... Если бы она могла завизжать, она бы завизжала, но она ничего не могла. Бывшая Капо только смотрела с ужасом, как исчезают ноги, бедра...

А страшный философ, где он?

Оказывается, он тоже растворялся, даже быстрее Нины Арнольдовны. Вот черная субстанция достигла его подбородка,

вот на поверхности остался только затылок, а вот — бульк — и мужика не стало. Через секунду целиком погрузилась и она.

Ничего. Темнота. Безмолвие. И так длится век. Вечность. Секунду. Времени нет. Его и не было никогда. Что для пустоты миллион лет? Миллиард? Тысячи цивилизаций промелькнули, зачем?

А жизнь была? Сон про утреннюю зарю, про кактус, расцветший на подоконнике, про девочку, которую разбудил солнечный зайчик? Девочку звали Таней?

И вдруг где-то принялась отсчитывать дни и годы хриплая механическая кукушка: мезозой, палеозой, наша эра, — в общем, полшестого.

В старом доме застрекотал сверчок, старинный жилец — и что он заливается?

Подала голос собака по имени Каквас, палец ей в рот не клади, особенно по утрам.

И стала рассеиваться мгла. Сначала проколола темноту одна золотая иголочка Солнца, потом десятая, и вот уже золотой дождь рассвета пролился на плечи.

И кто-то сказал спросонья:

— ...в луга поедем, Лев Лупыч, запрягай, опоздали ужо...

И все открылось, все нашло себя: в реке была прохлада — и река, и прохлада были ею, девочкой Ниной из Каменки. И ветер из-за Урала — это тоже она, и горький запах полыни, и уж, живущий под крыльцом деревенского дома, выползающий к дойке Пеструхи — молока попить — все-все вокруг было ею, и она была всем. Весь мир был растворен в ней, и она была молекулой этого мира.

Она знала, почему вымерли гордые, но неповоротливые динозавры.

Ей было известно, где покоится на дне океана Атлантида, она безошибочно складывала и вычитала многозначные цифры, она давно подчитала количество знаков в «Войне и мире»... Она знала все, или могла узнать. Счет завтрашнего матча семь — ноль, Ковчеги Надежды состоят из двух миллионов болтов, шурупов, шестеренок, гаек...

Она знала, что четверо беглецов уже вот-вот появятся у Института Извилин...

Но она не знала зачем...

Это «зачем?» сжигало микросхемы, требовало все большей памяти, энергии...

Смысл бытия в том, чтобы искать его? Я ищу — значит живу?..

«Зачем» не давало покоя, выжигало в разуме пустыню... Она растворила в себе все вокруг на сорок километров, но не приблизилась к решению задачи ни на йоту. Она совершенствовалась, она мыслила и размышляла. Но она не знала «зачем». Она не знала «авось», «якобы», «наверное»...Все они таились в «зачем» и не поддавались решению. Главный враг на пути совершенного познания — «зачем».

Она была всемогуща, но...

Она?

Он — Ремембер? Она — Ремембер? Он — она?..

Бывшая Капо, а ныне неизвестно кто, огляделась. Она сидела все на том же шатком стуле, и она же сидела в центре мира, она видела свои ногти с плохим маникюром, и ей же видна была спиральная галактика, на периферии которой произошел взрыв сверхновой и в кипении ядерных реакций там родилась звездочка, а вокруг нее десяток планет — как будто кто-то скопировал Солнце и его окружение...

А где же жуткий философ?.. Ах да, он растворен во мне, а я в нем...

«Мы всегда будем вместе!» — услышала она. И вместе с ней еще миллионы ячеек, в каждой из которых была и она. И у каждой ячейки стояла початая бутылка «яблочного», растворителя индивидуальности.

— Конечно, — приняла она свою долю. И тоже была услышана...

Но «зачем?»

Балаган, батарея, орда...

Она встретила Натаху, Боевую Фиолетовую крысу, Егория и этого, этого... Артура, подняла их наверх, и если бы могла, то насладилась бы их растерянностью, да что там — потрясением! Натаха даже не сдержалась, закричала:

— Так это и есть Ремембер? Чего у нее (него?) можно узнать? Это же Капо нашего дома, шпионка и стукачка, раба Дисциплинария!

Бывшая Капо поднялась, и беглецы вдруг разглядели, что в ней роста никак не меньше пяти метров. Она сделала шаг в их сторону, и началось землетрясение. Где-то осыпались стекла, кто-то невидимый пронзительно закричал.

— Шпион среди нас действительно есть, — громыхнула голосом бывшая Нина Арнольдовна, а теперь Супермозг Мира, Арифмометр Логики и Отец и Мать Философии.

Все посмотрели на Фиолетовую крысу, та сразу ощетинилась дюжиной стволов, она была при неполной экипировке, оказывается, забыла в казарме гвардейский миномет и безоткатное орудие; они всегда могли понадобиться.

— Это не я! — закричала крыса. — Я — честная...

И тут откуда-то в руках Артура оказался тепловой грохопал и он выстрелил прямо в грудь Ремембера, и еще, и еще, и еще.

— Подохни, кремниевая собака! — закричал Артур и выпустил всю обойму из своего смертоносного оружия.

Ремембер в облике Нины Арнольдовны пошатнулся и рухнул на пол, покатилась бутылка с растворителем индивидуальности.

Артур вставил новую обойму и навел грохопал на Егория. Потом перевел прицел на боевую крысу.

— Я специальный агент Дисциплинария, лично посвященный Высшему командиру тайных служб — Димону, — произнес он торжественно. — Вы все арестованы, и не пытайтесь сделать хоть одно движение без моего разрешения! Я андроид пятого поколения, стреляю без промаха!.. Наталья, это касается и тебя...

— Ужас! — только и сказал Егорий.

— Ужас! — тихо повторила потрясенная Натаха. — Вот я дура! Какая мерзость, какая мерзость!..

Артур извлек откуда-то ворох наручников, направился к лежащей Нине Арнольдовне, уменьшившейся до человеческих размеров.

— На всякий случай и ее наградим браслетами, — хохотнул он. — Тоже мне мятежный мозг, бабий ум повстанцев!.. Ну, ничего, скоро вам под топор... А мы — на новую планету...

— Не торопись, — сказала, поднимаясь с пола, Нина Арнольдовна, опять пятиметровая, — еще на Земле не все сделано...

Артур завизжал, принялся опять палить, но Ремембер только отмахивался от пуль, как от назойливых мух. Он схватил Артура за шиворот, встряхнул и приподнял его на двухметровую высоту. Щелкнули наручники, и андроид оказался в плену.

— Все равно скоро всем вам конец, — принялся кричать он, — войска Ликурга готовы задушить заразу вольнодумства. Часа не пройдет, как на Майну обрушится атомное возмездие...

— Не пугай, мы пуганые, — сказал Егорий, посмотрев на Натаху, потрясенную, опустошенную.

Она сидела на старом стуле, обхватив коленки руками, и повторяла про себя: «Мерзость, спала с автоматом... автоматом... спала с машиной...»

— Не убивайся, — успокоила ее Боевая Фиолетовая крыса, — женское сердце часто ошибается, но мне кажется, если бы этот андроид не взял тебя на мушку, не бросился бы заковывать тебя в железо, ты легко простила ему то, что он автомат... Видимо, это какой-то особый автомат, если ты так сладко стонала по ночам?..

Натаха залилась слезами.

А между тем андроид немыслимым образом вывернулся из наручников, у них, у искусственных, все это проще получается, и выхватил еще один грохопал (да он просто напичкан оружием, обыскать бы его хорошенько, еще не то обнаружится), и бросился к Натахе, уткнул ствол в грудь несчастной девушки, заорал:

— Все к стене, иначе выбью ей мозги!

— Милый, — сказала Натаха, — в этом месте не мозги, ты что, забыл?

— Заткнись! — неистовствовал он. — Все к стене. Больше не буду повторять, мне терять нечего!..

Никто не тронулся с места.

— Паразиты! Суки... — ругался он, как человек

И вдруг зашипел, как проколотый ниппельный мяч, закашлялся, захрипел — и замолчал. Дико выпучил глаза, поискал глазами по комнате, увидел бутылку знаменитого «яблочного», подтащил туда Натаху, поднял Растворитель Индивидуальности и несколькими глотками выпил его остатки.

И растворился.

— Ячейкой меньше, ячейкой больше — критического значения не имеет, — сказала Капо-Ремембер. — Кажется, вы что-то хотели спросить? Спрашивайте!

— Солнце взорвется? — спросил хмурый Егорий.

— Да.

— Когда?

— Вы же знаете, что при таких сложных вычислениях величина погрешности у меня очень велика. Но определенно могу сказать, что это случится в текущем тысячелетии, может, сегодня. И вы не должны забывать, что решение этой задачи является для меня второстепенным. Это местечковая проблема...

— Так что ты тогда знаешь, что можешь? — спросила крыса.

— Все. Счет в завтрашнем матче «Спартак» Москва — «Реал» Мадрид — шесть — ноль. Наши ребята выиграют...

Глава 16

СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ

Пришел долгожданный день Сборки. Еще до восхода солнца начали греметь оркестры — и «На сопках Маньчжурии», и «Прощание славянки», и «Поручик Голицын»... На гигантских монтажных стапелях все было готово — инструменты, обору-

дование, еще с вечера установлены гайки и шурупы скоропортящиеся, не терпящие долгого ожидания. Все ждали приказа на начало сборки, говорили, что выступит сам Ликург, Живущий для Народа.

Почти все население планеты собралось в местах Сборки. Настроение, конечно, чемоданное, слышались и смех, и плач, кто-то спрашивал:

— Выходит дело, повстанцы все остаются? Не боятся сгореть?..

Кто-то отвечал негромко, с опаской:

— У них в Майне гигантский искусственный мозг, он предсказал, что еще на миллион лет Солнца хватит...

Люди подхватывали разговор:

— Там, у повстанцев, башковитый народ подобрался, академики, стоматологи, шашлычники — сила! Может, и нам остаться? Не глупее нас люди остаются...

И пошел гулять слух, что никуда уезжать не надо, что Сборка отменяется. А тут еще приказ на начало Сборки подозрительно опаздывал. Говорили, что не могут найти Хранителя Печати, а без печати приказ недействителен. Потом прошел слух, что Хранителя нашли, но пропал Главный Церемониймейстер...

Ближе к полудню, когда начались разброд и шатания в умах, кто-то произнес:

— Разве из одних винтиков и болтиков можно собрать межгалактический корабль? А где моторы? А где атомное топливо?..

— А кто поведет ракету?

— А кто следить за порядком на борту станет, кормить, поить, укладывать в анабиоз, а потом будить — где эти люди?..

— Я все поняла! — закричала вдруг Натаха. — Настоящая сборка происходит не здесь!

— Что ты несешь? А где же? Не может быть! — стали орать со всех сторон. Злобой наливались глаза людей, они готовы были разорвать девушку; мы все знаем, что у нас часто достается не виноватым, а тем, кто первый заметил и сказал — ну, хотя бы про короля, дескать, зад у него не прикрыт.

— Сборка — это отвод глаз, — взялась за объяснение Боевая Фиолетовая крыса, сменившая окрас и ставшая блондинкой; она сбросила с себя чуть не полтонны оружия и стала очаровательной девушкой. Егорий так и жег ее глазами. Кто-то дал ей в руки микрофон, и она продолжила:

— Нас заставили собраться в местах, далеких от истинного места старта, заставили поверить в Ковчеги Надежды, чтобы мы не помешали избранным спокойно и с комфортом убраться с Земли... А может, оно к лучшему?..

Егорий шепнул ей на ухо:

— Какая ты стала! Как тебя, такую, называть теперь?

— Будем знакомы, — протянула она ему руку, — Крыса...

— Какое красивое имя! — сказал он.

Наталия, Татьяна, Надежда...

Ликург Шестнадцатый принял рапорт Димона о готовности к старту. Все ракеты были заправлены, проведена проверка электроники, еще раз уточнен начальный маршрут — правее Большой Медведицы, еще правее. На случай межзвездного конфликта приведены в боевую готовность носовые, а также и кормовые орудия, заряжены пулеметы, всем выданы бронежилеты с индивидуальными парашютами и пайки десантника.

— Сегодня обойдемся без громких слов, — сказал Ликург, — без прощальных речей и скупых космонавтских слез. Слишком многое мы оставляем, чтобы болтать про это. Вот доберемся до места, устроимся — и уж тогда помитингуем.

Он уселся в кресло у пульта управления корабля, Лидия Вторая расположилась рядом.

— Ничего не забыли? — спросил он.

— Никак нет! — отрапортовал Димон.

— Тогда принесите мой зеленый ящик, — приказал Император. Слуги бросились исполнять желание владыки.

«Неужели откроет при всех и покажет свое сокровище?» — подумал Димон.

Ликург открыл ящик и извлек из него винтовку Мосина, славного друга, надежного бойца. Он передернул затвор, досылая патрон в канал ствола, и прицелился в Димона.

Командир тайных служб побледнел. Он уничтожил тысячи врагов Императора, а теперь, видимо, пришел черед друзей. Но все-таки он произнес:

— За что, повелитель?

Кто и когда отвечал на этот вопрос?

— Выходи! — Ликург показал штыком на выходной люк. — Тридцать секунд тебе, потом стреляю.

Димон знал, что Фиолетовый слов на ветер не бросает. Димон слишком многое знал. Он вылез из ракеты и успел отбежать от пускового стола на безопасное расстояние, когда взревела космическая мощь и корабли один за другим стали уходить вверх — выше и выше — подальше от обреченной Земли...

А там, где еще кто-то надеялся на Сборку, ждал приказа с печатью, Натаха смотрела, как растут сверкающие груды гаек, шурупов, заклепок, которые выбрасывали несостоявшиеся переселенцы. Она глотала слезы и вспоминала свой полустанок, трансформаторную будку, лесополосу, все, что больше не существует на свете.

— Смотрите! — закричал кто-то. В небе беззвучно чертили белые линии стартовавшие ракеты, а когда звук дошел, то все вокруг содрогнулось от грохота.

— Будьте вы... — кто-то хотел послать вслед беглецам проклятие, но слова застряли в глотке. Потому что внезапно небосвод налился красным светом, огневым, раскаленным... Солнце вдруг стало распухать, невиданным еще протуберанцем тянуться к Земле. В одно мгновенье эта раскаленная солнечная плоть поглотила скорлупки кораблей, они вспыхнули, как спичечные головки, и посыпались на Землю подсолнечной шелухой.

— Аааааа! — раздался тысячеголосый вопль, но он скоро стих.

...Так для чего тогда пел сверчок? Для чего проливался утренний дождь, и сумасшедший жерех вылетал чуть не на метр над поверхностью реки? Для...

2012—2013 гг.

РАССКАЗЫ

ЭМИГРАЦИЯ В НОЯБРЕ

В ноябре хочется застрелиться или, в крайнем случае, эмигрировать. Все равно куда. Подальше от этой дряной погоды, бездонных луж и ледяного ветра, от пустых дней и бесконечных ночей.

Каждую ночь, дразня его бессонницу, в черноте двора — где-то на головокружительной высоте — загоралось одно окно, кто-то еще не выдерживал темноты и находил на холодной стене выключатель, и холодная электрическая звезда словно сигналила, просила пощады, погибая от одиночества. Матвей думал, что когда-нибудь он все-таки поднимется к этой звезде, на какой-нибудь сорок восьмой или пятидесятый этаж, и тогда с ноябрьским отчаяньем будет покончено. Но он страшился, что раз вкусивший одиночества, вовек от него не избавится...

Он представлял, кто мог жить в этой квартире на высоте птичьего полета. Может быть, это обсыпанный перхотью старый холостяк, потерявший надежду дождаться телефонного звонка в ответ на его объявление «Мужчина средних лет ищет молодую женщину без вредных привычек с целью создания семьи». Раньше звонили как раз пожилые, потом принялись трезвонить те, кто с вредными привычками, а в последние десять лет не звонит никто. Никто. Он рад бы теперь схватить в объятья какую-нибудь пожилую даму с вредными привычками, но телефон оглох и онемел.

А может быть на пятидесятом этаже собирается какая-нибудь тайная ложа, мечтающая о всеобщей справедливости? Скорее всего, они ночи напролет сочиняют электронные прокламации, в которых требуют у правительства сейчас же отдать всю власть и все деньги.

В этой квартире мог бы жить одинокий поэт, совершенно не понятый современниками. Поэт писал стихотворения и поэмы, абсолютно без всякой надежды на взаимность со стороны издательств и толстых журналов. Он запаковывал свои произведения в почтовые посылки и отправлял их во Всемирную Лигу Писателей. На почте не знали такой Лиги, но посылки принимали, и куда они уходили — никто не знал.

А может быть, в этой квартире беспощадная бессонница заставляет унылого, не выспавшегося человека таращить глаза в книжку, а книжка вся читана-перечитана — про одинокого старого д'Артаньяна и его близкого друга Планше, но другой книжки нет, и бьется неизвестный бедняга со старой книжкой и бессонницей под электрическим солнцем в сто ватт, и мычит от тоски, смотрит с ненавистью на измятые, влажные от пота простыни, подушку, похожую на старую, занозистую плаху, и наверное, тешит какую-нибудь злобную сумасшедшую мечту, например, чтобы в книжке все кончалось по другому, чтобы Ришелье подловил-таки ветреную Анну, захватил Бекингема, стал требовать выкуп в свободно конвертируемой валюте, и в итоге Атос простил бы леди Винтер и она вышла бы за д'Артаньяна. И родила бы бэби, как две капли воды похожего на Ришелье.

Но должно быть, в книжке ничего не менялось: грустный Планше из последних сил выбивался, пытаясь обеспечить приемлемое существование гасконцу, а тот днями спал, а ночами таскался по пивным...

В общем, Матвей дал себе слово когда-нибудь совершить восхождение на эту вершину.

...Нынче с утра было так тихо; не выла даже далекая собака, должно быть старая, должно быть, несчастная, а счастливые разве воют по утрам?

Прохожие, ожившие с рассветом, почему-то передвигались перебежками — от ветра или от страха.

Матвей не думал, что Наташа придет, но она все-таки пришла. Ледяные и мокрые ладошки просунула ему под рубаху, сама же и завизжала:

— Холодно-холодно-холодно! Боже, как мальчику холодно!..

Сто раз говорил ей, чтобы не называла его «мальчиком». Это смешно, но она не опасается быть смешною.

Она давно должна была его бросить, еще после первого аборта, еще после первого загула, еще после провала его первой книги, еще после провала второй — и всех последующих, и после того, как он проиграл в рулетку деньги на шубу — норковую шубу, о которой она мечтала десять лет, — поводов его бросить у нее было много, но она ни одним из них не воспользовалась.

Однажды, это было, кажется, тоже в ноябре, он сам сказал ей:

— Тебе пора замуж, не думаешь?

Она обрадовалась:

— Милый! Милый, мой мальчик, ты все на свете понимаешь... Как я тебя люблю! Ты навсегда останешься со мной.

И через несколько дней она вышла замуж. Он думал: ну вот, самая пора расстаться, тем более, что так сошлось — и ноябрь, и ее замужество, и очередной провал очередной книги — все подоспело, как нарочно.

Но она и этим шансом пренебрегла, на третий день после свадьбы приехала. Непривычно молчаливая, настороженная, ему даже показалось, что заплаканная. А, может, не выспавшаяся? Дело-то молодое, известно ведь что бывает на свадьбе, поэтому мудрено выспаться посреди криков «горько!», в центре веселья и повальной пьянки.

На минуту захолодело в груди. Не ревность ли?

Но виду не показал, улыбнулся, спросил про погоду: в ноябре не поймешь — то ли дождь, переходящий в снег, то ли снег, тающий, не долетая до стылой земли. Да и ветер случается колючий, просто как песком щеки дерет.

— Не мучайся, милый, — сказала она, — погода твоя любимая — холодно, ветрено, бесприютно. Прости меня, прости...

Она быстро разделась и нырнула под одеяло. «Стесняется», — догадался он.

Спросила:

— Где у тебя сигареты?..

Поднялась, закурила, взяла пепельницу — не спеша, словно извиняясь за свою прежнюю поспешность.

Он смотрел на нее, и вдруг в голову ему пришло: а ведь он практически никогда не видел женщину обнаженной. А ведь правда! Всегда, когда женщина раздевалась, нужно было не разглядывать ее, а приступать к действию. Женщины и сами давали понять, что они ждут не созерцания. Только хитрецы-художники могут похвастаться, что имеют кое-какую практику в разглядывании женской груди, ягодиц, живота, но они вряд ли похвастают этим. Никогда Матвей не слышал, чтобы хоть кто-то из них рассказывал о том — наслаждение или глубокое равнодушие — испытывают они в часы, когда женщина сбрасывает с себя последние покровы. Они скупы, эти художники, не хотят открыть тайну полишинеля, что только обнаженной женщина становится женщиной, а не продавщицей растрепанной, как художник Малыгин, капусты.

— Что ты меня разглядываешь? — спросила она.

— Любуюсь, — не соврал он.

— Что, раньше не видел?

— Не видел, — опять сказал правду он.

— Так смотри, не теряй время, а то я состарюсь, — сказала она и легла поперек кровати, отбросила одеяло.

«Там...там... с новым мужем она тоже раздевается», — подумал он, и опять холод разлился в груди, разлился и остался в ней.

— Не психуй, — сказала она. — У нас ничего не изменилось. Понял? И ничего не изменится... Не изменится...

Так что в ноябре ему не везет. В ноябре же, вспомнил он, к нему зашла улыбчивая дама по имени Елена из отдела кадров, с силиконовой грудью навыкате (однажды он попал к ней в гости, да засиделся; все ушли, а он остался, заболтался с портвейном — разговорчивый портвейн попался; это было лет восемь назад, но с тех пор время от времени она забегает к нему, прижимается на секунду к его плечу, считается, что у них роман). Она нерешительно помялась в дверях кабинета, что было несвойственно ее закаленному в кадровых баталиях характеру, и он приготовился к худшему.

Дама по имени Елена протянула ему листок, украшенный печатями и штампами, и сказала официально:

— Распишитесь, что ознакомлены.

Он пошутил:

— Что, увольняют меня? Гонят взашей?

И попал в точку: дама набежала на его пиджачное плечо, всхлипнула, сердобольная:

— Матвей, ты попал под сокращение штатов. Сергей Сергеевич просил передать, что ничего личного, не подумай...

— Ну что ты, я ничего такого не подумаю, — сказал он и расписался — ознакомлен.... Что поделаешь, ноябрь...

Тем же вечером Сергей Сергеевич с дамой по имени Елена закатились к нему, притащили любимого Матвеем портвейна, долго говорили об огромных запасах несправедливости, разлитой во всех, даже самых укромных, уголках мироздания. Ничего поделать нельзя, зло еще очень сильно. Нечего и думать победить его. Матвей и не думал ничего такого.

— Не унывай, старик, — говорил Сергей Сергеевич. — Конечно, в твоем возрасте тебе нелегко будет найти приличную работу, да и слава твоя впереди тебя бежит...

— А что слава? — обиделась за Матвея дама. — Ну, послал на хер замминистра, так тот мировой мужик — все давным-давно позабыл. Ну, расколотил на встрече с читателями чайный сервиз на тридцать две персоны, что, эти черепки дороже человека?

— Дороже, — упрямо сказал после пятой рюмки Сергей Сергеевич. — Он же троглодит, ему красная цена полтинник в базарный день. А этот сервиз собкоры подарили десять лет назад, можно сказать, память была... А он, эх...

— А я утверждаю, что он дороже полтинника, — спорила дама после седьмой рюмки, а потом полезла целоваться. С Сергеем Сергеевичем.

В те же дни он впервые увидел это странное объявление — на покосившейся скрипящей калитке, напечатанное на серой репринтной бумажке — в нем было только три слова: «Устрою эмиграцию. Гарантировано».

Что гарантировано, в какую страну?

Но по немногословию объявления, по глухой тоске, которая, казалось, беспричинно, накатывала рядом с бумажкой, он понял, что здесь серьезное учреждение.

Он прошел тогда мимо, пытаясь представить себе сотрудников этой конторы: джентльмены с пшеничными колониальными усами, засушенные классической литературой британские барышни, привратник в черной пелерине. В его представлении иммигрировать можно было только в Англию или Америку, ну, не в Турцию же, хотя можно и туда — в Галлиполи хотя бы.

«Ну надо же, — подумал он, — каким полезным делом занимаются люди. Помогают убегать от себя...

Прошло какое-то время, ноябрь еще не кончился, Наташа вытащила его к Иванову. Тот только что вернулся из какого-то путешествия, и напускал на себя таинственность, был загорел (и это в самом конце осени!), почти трезв.

— Я был в таком месте, где водятся циклопы, — говорил он, не жалея портвейна. — Такого навидался, в двух словах не рассказать.

Иванов намекал, конечно, на новую свою книгу (по секрету — полная ахинея), которую он написал в путешествии, и, по его словам, она произведет фурор в литературе. Так он говорил всегда, а книги его лежали грудами на балконе, и он сам разносил их по библиотекам, школам, детским садам. Как будто там их кто-то читал. Он сам видел, как во время ремонта в школе, что напротив его дома, уборщицы выбросили груду книг, в том числе и его сочинения. Он утешился тем, что был выброшен в знаменитой компании, вместе с Лениным и Марксом, Рабиндранатом Тагором и Крупской...

Иванов еще трепался о том, что задумал исторический роман, по его словам, сложную, многоплановую книгу. В ней будет заключена вся философия истории, ее глубинные пласты...

— Как думаешь, осилю? — спрашивал Иванов у Матвея, а отвечали дружно все гости:

— Тебе и такое по плечу.

Потом кто-то притащил гитару, души требовали Окуджавы и что-нибудь одесского. В итоге затянули «Зачем ты в наш

колхоз приехал...» — без гитары. Ну, а потом хотели завалиться к Малыгину, собственно, все и поехали к знаменитому художнику — вызвали такси, набились в него, как сельди в бочку, несмотря на протесты таксиста, а Наташа не поехала. Сказала, что ей муж велел быть дома к девяти, она и так припозднилась.

— Какой муж? — не понял он.

— Законный, — сказала она, — ты что, забыл, что я теперь замужем? Некоторым образом человек семейный. Я должна по вечерам возвращаться к семейному очагу...Что ты глаза выкатил, можно сказать, сам меня отдал замуж, а теперь удивляешься? А ты поезжай к Малыгину, поезжай, у него сегодня чача...

Она чмокнула его в щеку и уехала, а он остался один на черной, скользкой ноябрьской дороге.

Он никак не мог сообразить, в какую сторону идти. Устроила ему Наташа прогулку, что это с ней? Сначала пошел направо, потом повернул налево, потом опять налево, потом прямо — и оказался у дома Иванова.

— Не хватало еще заблудиться в городе, в котором родился, — он даже хохотнул, но так и не вспомнил, налево или направо ему шагать.

«Надо завязывать с портвейном», — подумал он и пошел направо, и тут же в глаза влез листок с объявлением про эмиграцию. Оно по-прежнему висело на той скособоченной калитке, и калитка была приоткрыта.

Он легонько толкнул дверцу, и она, заскрипев, открылась. За дверцей оказался крошечный садик, в нем пара акаций и микроскопическая клумба, вернее то, что осталось в ноябре от нее. И тут же дверь в стене, а из-под двери выбивался свет.

Устрою эмиграцию...

Матвей постучал, и тут же ему ответили:

— Войдите!.. Только закрывайте плотнее дверь — у нас сквозняки.

Он нерешительно вошел и оказался в помещении, заваленном разной канцелярской рухлядью — пишущими машинками, на одной из которых, наверное, печатался приказ о взятии Трои, столами с зеленым сукном, запачканном чернилами из чернильницы некоего Копперфильда, колченогими табуретами, растрепанными стопами бумаг, забытых еще самим Нестором...

За этим нагромождением старинных шкафов, стульев с высоченными спинками и грудами пыльных папок он едва рассмотрел женщину, сидевшую в коричневом кожаном кресле. Сама она тоже была в чем-то коричневом, и шторы на окнах были коричневые, и все вокруг было коричневое, даже змея,

злобно зашипевшая на Матвея из стеклянной банки из-под огурцов белорусских, в маринаде.

— Не бойтесь, она не кусается, — поднялась из кресла женщина, — да она и не выберется из банки, хотя пару раз ей это удалось, едва поймали.

Матвей с опаской посмотрел на шипящего гада.

— Это гюрза из семейства гигантских гадюк, — принялась объяснять хозяйка, — ее яд совсем чуть-чуть по токсичности уступает яду кобры... Да вы садитесь подальше от нее... Чему обязаны?

— Да, я, собственно, насчет эмиграции... правильно ли я попал?

— Правильнее некуда, — улыбнулась она и внезапно глаза ее полыхнули зеленым огнем.

«А ведь глаза у нее змеиные», — подумал он.

— Когда намереваетесь эмигрировать? — спросила она.

— Да, я не собираюсь... пока... Просто любопытно было узнать, что есть такие учреждения. А так — мне на родине нравится. У нас рыбалка такая! Горы, степи — все настоящее...

— Думаете, у них все ненастоящее? — опять Матвей разглядел зеленую вспышку.

— Был я в Европе, многое показалось игрушечным, — пустился он в объяснения, — например, не по душе мне, что пойманную рыбу отпускают. Сначала тащат ее к берегу на крючке, вы только представьте, какой это стресс для живого организма, а потом полуживую отпускают, и это вы называете гуманностью!

— Я ничего такого не говорила, — сказала она. — Но рассказываете вы интересно, даже очень.

— Ловить нужно столько, сколько можешь съесть сам, — продолжил он. — Не тащить рыбу в мешках домой, а прямо на берегу заварить волшебную уху, достать из рюкзака фляжку со спиртом...

— Вкусно, вкусно... Вы так рассказываете замечательно, что самой захотелось отведать этой ухи на берегу... — прервала она его рассказ. И сказала: — Берусь угадать, что вы писатель...

Он поклонился, представился, она всплеснула руками, спросила:

— Вы тот самый? Который написал...

Он не стал дожидаться, когда она вспомнит его книги, сказал:

— Ну, в общем-то тот самый...

И тут же добавил:

— Обещаю когда-нибудь взять вас на рыбалку. Если вы захотите...

Она захлопала в ладоши:

— Как здорово!..

— Можете и мужа своего взять...

Она засмеялась:

— Проверяете, есть ли муж?.. Не скажу... Но вы, полагаю, зашли не только на рыбалку меня пригласить? Если вы не собираетесь в эмиграцию, то чему мы все-таки обязаны счастьем видеть вас? Впрочем, вижу вы ничего не решили... Тогда возьмите буклет нашего агентства, там все подробно изложено...Обязательно прочитайте его внимательно, я даже попросила бы вас прочитать очень внимательно, вполне возможно, что вам не подойдут наши условия... Многие, знаете, отказываются...

— Что, плата высокая? — спросил он. — У меня чуток осталось после продажи «Москвича»...

Матвей вспомнил свою машину и брезгливую гримасу на лице мужика, который купил ее у него «для пополнения коллекции старины». Мужик пошутил, дескать, на этом «Москвиче» ездил еще Пушкин Александр Сергеевич. Он еще сказал: «Даю тебе за этот утиль живые деньги только из сострадания, сам люблю портвейн: похмеляйся на здоровье!»

У Матвея на самом деле был тогда массандровский период, тамошние портвейны, казалось, отогревали душу, и он рано по утрам собирал в доме пустые бутылки, выскребал из карманов последнюю мелочь (каждое утро она была последней, но откуда бралась?) и отправлялся за портвейном в овощную палатку «Ягодка номер три». Хозяин палатки — Женька, сам любитель благородных вин, уверял, что, наконец, налажены прямые поставки живительной влаги из Массандры в «Ягодку номер три». А в первой, тем более во второй «Ягодках» насчет портвейна было как в Каракумах.

Хозяйка эмиграционного салона прервала его воспоминания:

— Денег не надо, мы еще командировочные вам выпишем, чтобы на первое время хватило...

— Как, совсем бесплатно? — удивился он. — По государственной программе что ли?

Хотя он никогда не слышал, что существуют государственные программы эмиграции.

— Что-то в этом роде, — ответила она.— В общем, читайте буклет. А определитесь — приходите. Но помните, что квота на иммиграцию не безразмерная... А насчет рыбалки — я рассчитываю на вас...

— Давайте сразу на «ты»? — предложил он.

— Давай! — согласилась она. — Меня зовут Таней... Но мне пора, что-то засиделась я.

— Работы много? — спросил он.

— Когда как, — уклончиво ответила она.

Они с Таней вышли из захламленной комнаты, она подала ему руку.

— Провожать меня не надо, я живу здесь же, на втором этаже.

Матвей почему-то представил, что и на втором этаже та же мешанина из столов, стульев и пишущих машинок.

Она как будто прочитала его мысли:

— Не приглашаю тебя на чай — у меня такой беспорядок! Чаепитием займемся на рыбалке...

Он вспомнил, что на дворе ноябрь, и погрустнел.

— Мы совсем забыли, что на носу зима, и рыбалка состоится только через полгода — в мае...

— Подождем, — просто сказала она. — Или ты торопишься эмигрировать?..

Он почти ежедневно стал приходить в эту захламленную конторским добром комнату; смотрел, как Таня что-то пишет. Она сказала, что письма клиентам. Она была левша, и ему казалось, что она необыкновенно грациозна, потому, что он однажды попробовал левой рукой написать хотя бы пару слов, так сразу сломал перо, забрызгал чернилами листок бумаги. А у нее все получалось чудесно.

— Какая-то у вас допотопная контора, — сказал он как-то, — ни компьютеров, ни факса, письма пишешь от руки...

— Нас вполне устраивает, — ответила она, и он не стал приставать с расспросами. Какое ему дело, что кто-то пишет письма чернилами. Бывают странности и постраннее.

Таня спросила у него:

— Так ты прочитал буклет нашего агентства?

— Буклет? Ах, да, пробежал... — ему было неловко признаться, что куда-то запропастилась эта книжка.

Она засмеялась; смех у нее был легкий, чистый, весенний. А на дворе свирепствовал ноябрь, или уже декабрь?

Она спросила:

— Вы с женой предполагаете эмигрировать? Предупреждаю, что это вряд ли возможно. Такая у нас специфика.

Пришла очередь и ему рассмеяться: «Проверяете?.. Меня жена бросила в самом начале моего карабекаульского периода. Эх, что за чудесные портвейны в Туркмении!..»

— Она не любила вино? — спросила Таня.

— Она не любила меня, — ответил Матвей. — Кроме того, мы расходились с ней по некоторым литературоведческим проблемам. Она, скажем, считает, что наши классики Бунегин,

Крамской, Нестор Зачаганский, Кулемин-Денежкин пусты, как утренние стаканы. К ним же она причисляет Иванова, Махорина, Кулемина младшего. Подумать только, самого Иванова!

— Я не знакома с творчеством этих господ, — сказала Таня. — О чем они пишут?

Он принялся рассказывать:

— Кулемин-Денежкин — писатель-маринист. Хотя у нас нет поблизости моря, и он, насколько мне известно, моря никогда не видел, но его перу принадлежат блистательные строки об океане, о людях морей. Помните, «Над седой равниной моря...»

— Так это Горький, кажется, написал? — удивилась она.

— У Кулемина-Денежкина есть очень похожие места, трудно даже различить — такова сила его таланта, — пояснил Матвей, и продолжил:

— Махорин — мастер характеров, его герои смотрят со страниц книг, как живые...

— А Иванов? — запомнилась ей фамилия.

— Хотите, я познакомлю вас с ним, он живет через улицу? Мой старинный приятель, последний приверженец социалистического реализма...

— Постой, постой, — замахала она руками, — не всю информацию сразу, я не запомню... Как много в нашем городе литераторов!.. Хотя я тоже некоторым образом работаю на литературу, но этих авторов почти не знаю... Да что там «почти» — совсем не знаю. Может, они запрещены?..

— Да, кому..., — он вовремя спохватился, чуть не сказал «а кому они нужны!»

— Умолкаю, умолкаю, — сказал он, — но обещай, что как-нибудь выберешь время — и я познакомлю тебя с творческой элитой. Когда-то к нам даже Короленко приезжал...

— Я знаю, — сказала она, — ведь я тоже здесь родилась и выросла.

— А мне почему-то кажется, что ты иностранка, в речи слышится не то легкий акцент, не то ты так строишь свою речь, что в ней присутствует легкая «нездешинка»...

— Нет, — ответила она, — я — здешняя. И с этим писателем я знакома... с Владимиром Галактионовичем, — сказала она. — Его называли даже «живой совестью русского народа»...Мне довелось бывать у него в гостях, когда он приезжал сюда и жил в районе «казенного сада».

Он взглянул на нее, она не шутила.

Она продолжила:

— Ему угрожает опасность...

...Однажды, едва Матвей раскупорил бутылку, как в комнате появился еще один, облаченный во все коричневое, человек. Мужчина.

— Вы от гюрзы все-таки подальше держитесь, не ровен час — цапнет без предупреждения, — сказал он. — Она очень зла на нас за отъем яда, а гадюки очень злопамятны.

И потом только поздоровался, обращаясь к Матвею:

— Доброго здоровья! Много от вас наслышан от Тани. Это вы автор «Побега»? Вы?..

Таня представила его:

— Знакомьтесь, это Кирилл, мой коллега... Историк литературы, его конек — облачные литературы самых последних веков, включая и двадцать третий...

« А ведь выпили всего — ничего, — подумал Матвей. — Одна, вся в коричневом, знакома с Короленко, покинувшим наш бренный мир почти век назад, другой, тоже в коричневом, занимается историей облачной литературы не наступившего двадцать третьего века».

— Крепкий у вас портвейн, ребята, — сказал он, — подскажите, где берете...

— Обыкновенный у нас портвейн, — сказал Кирилл, — но мы в него гюрзинского яда добавляем, из расчета не более пяти капель яда на бочку вина. Конечно, тут главное — не переборщить... Вот я и придумал от руки подписывать каждую бутылку, чтобы знать, где сколько капель. Иначе головной боли не избежать...

Матвей посмотрел на этикетку, где чернильным карандашом было выведено: «Гюрзинское крепкое». Пять капель».

— Пожалуй, у меня может начаться гюрзинский период, — сказал Матвей.

А тем временем Наташа устала тревожиться:

— Три раза на этой неделе приезжала, и ни разу тебя не застала. Где ты пропадаешь?

— Пью «гюрзинское»...

— Чтобы пить грузинское, — услышала она по своему, — надо работать. Бери пример с Витьки Иванова, опять состряпал новую книгу — восемьсот страниц. Вот ему можно пить грузинское, даже с утра...

Он только пожимал плечами.

Наташу было не провести.

— Постой, постой! — сказала она. — Что происходит? Здесь не прибавилось не строчки!

Она взяла со стола тоненькую стопочку бумаги, где рождался новый роман Матвея, свернула из нее кулек, словно боя-

лась рассыпать те немногие строчки, которые все-таки сумели собраться здесь вместе, вопреки преступной лени Матвея.

— Что происходит? Запой? — спросила она, и сама же себе ответила: — Не похоже, почти трезвый... Так, так... И рубаха чистая... Или помирать собрался, или влюбился. Все понятно, я ее знаю?..

Она села в единственное оставленное ему женой кресло и заплакала.

А потом она его выследила, уж такая была дотошная, обо всем ей нужно было знать. Матвей с Таней как раз говорили о поэтике прозы Бунегина, она, прочитавшая пару рассказов местного классика, которые ей принес Матвей, ставила его в этом смысле чуть-чуть ниже Бунина. И немного выше Махорина. Матвей с ней спорил:

— Буниным здесь даже не пахнет!..

— Почему должно им пахнуть? — изумлялась она. — Он что, одеколон?

И тут им пришлось прервать дискуссию, потому, что они увидели в окно, как крошечный дворик — прямо по замерзшей клумбе — решительно пересекает Наташа.

— Это за тобой? — спросила Таня.

— Не выдавай меня! — взмолился Матвей. — Спрячь меня!

— Только в холодильник или ящик письменного стола, — улыбнулась глава эмиграционного агентства.

— Если я сейчас погибну, ты потеряешь клиента...

— Ну, хорошо, — внезапно согласилась она, — я спрячу тебя — в нашей квартире на втором этаже. Уговор — не открывать дверь, выходящую на балкон, хорошо?

И она быстро открыла небольшую дверцу, и он двинулся наверх по узкой крутой лестнице.

Он услышал, как внизу Таня сказала Наташе:

— Да, он время от времени бывает у нас.

— Он что, эмигрировать куда-то собирается? — спросила Наташа.

— Все-таки лучше об этом спросить у него, — ответила Таня, — но если вас интересует мое мнение, то мне кажется, он все-таки не исключает эмиграции.

— Да, — только и сказала Наташа.

— Я думаю, что ему хочется на берег моря, он почему-то считает, что все его неудачи оттого, что здешние ноябри такие длинные и ледяные...

— Что же, он без меня поедет? — расслышал еще Матвей, и дверка за ним закрылась. Он оказался в такой же коричневой комнате, что и на первом этаже — коричневые столы и стулья,

коричневые шторы. В углу стояла широкая кровать, накрытая коричневым одеялом. В отличие от комнаты первого этажа, здесь царил глубокий порядок, как будто в этих стенах никто не жил. А, может, тут и на самом деле никто не жил?

— Коричневое царство, — пробормотал Матвей. — Как будто они присягнули на верность коричневому...

Помимо воли Матвея, его взгляд поискал и нашел таинственную дверь на балкон. Дверь, как дверь, конечно же, выкрашена коричневой краской. Перед дверью на полу стояли сапоги с высокими голенищами, вокруг них белой, контрастно выделяющийся на фоне всего коричневого, краской был выведен круг. Странно. Или смешно.

Матвей, осторожно ступая, подошел к сапогам. Размера сорок третьего — сорок четвертого. Высокий, почти женский каблук, но сапоги явно не женские. В каблуки сапог вделано нечто наподобие шарниров или велосипедных педалей. Матвей потянул один сапог за голенище, каблуки металлически щелкнули и сделали шаг, но при этом остались на месте. «Ты только посмотри! — изумился он. — Ведь это приспособление для ходьбы на месте; хоть версту в них прошагай, а не стронешься с места. Кто-то тренируется... В пеший поход собирается?»

«Но что все-таки на балконе? — подумал он. — Что там?»

Он попытался разглядеть тесное пространство балкона через оконное стекло, но стекло это, должно быть, не мыли с февральской революции, и он ничего не рассмотрел — балкон как балкон; кажется, в углу стоит швабра, рядом — полдюжины пустых и пыльных бутылок, и все. Почему нельзя открывать дверь?

Он поймал себя на том, что думает обо всех этих странностях с раздражением. «Ну, надо же, сапожищи с отворотами, наверняка Петр Первый носил». Он пригляделся: сапоги были новехонькие.

Внизу хлопнула дверь, заскрипели ступени лестницы, и через минуту Таня оказалась в комнате.

— Наташа ушла, — сказала она. — Кажется, мне не удалось объяснить ей, зачем ты сюда ходишь. А в самом деле, зачем? Или все-таки ты надумал эмигрировать?..

Он подошел к ней и поцеловал в губы, сказал:

— Затем...

Она ответила на поцелуй так, как будто с ней всю предыдущую жизнь только и занимались тем, что целовались. Он поднял ее на руки и уложил на коричневую кровать.

Таня сбросила платье, и оказалось, что и белье у нее коричневое.

Матвей не удержался, спросил:

— Почему у вас все коричневое?

— Это цвет нашей международной службы, а еще — оранжевый, но он реже применяется. Эти цвета антистатичны, кумулятивны, а кроме того, доказано — они защищают от жесткого Д-излучения, — ответила она, но он все равно ничего не понял, но расспрашивать не стал, не тот был момент.

К этому разговору они вернулись не скоро, так все закрутилось, завертелось. Расставшись вечером с Таней, он начинал подгонять время, как в самолете — скорей бы долететь, а оно, время, как в самолете, никуда не спешило, даже наоборот — стрелки часов казались приклеенными к циферблату.

Он их возненавидел, часы, они теперь смотрели на него со всех сторон, куда ни глянь, а там циферблат; в них ему чудилась насмешка.

Таня радовалась их разгоревшейся вдруг ноябрьской любви, он же болел ею.

— Из какой ты страны? — в сотый раз спрашивал он у нее. — Это государственная тайна? Шепни мне по секрету, я никому не скажу...

Наташа приходила еще раз, он опять спрятался в комнате на втором этаже. Дверь на лестницу осталась открытой, и Матвей слышал, как Наташа говорила:

— Он совершенно беспомощный! Он привыкнет к вам, а вы его бросите; я даже не знаю, что тогда будет.

— У меня и в мыслях нет такого, чтобы бросить его, — сказала Таня. — Давайте лучше кофе выпьем, а что вы, собственно, хотите от меня?..

И тут Таня прикрыла дверь, ведущую на лестницу, и дальнейший разговор двух женщин остался ему неизвестен.

И тогда он увидел на столе тоненькую папку с бумагами. Что бы ни говорили, но мужчины любопытнее женщин. Он заглянул в папку и увидел несколько пожелтевших газетных вырезок. Он прочитал: «...А какая гнусная, подлая, мерзкая защита империалистской войны, прикрытая слащавыми фразами! Жалкий мещанин, пленённый буржуазными предрассудками! Для таких господ 10 000 000 убитых на империалистской войне — дело, заслуживающее поддержки... а гибель сотен тысяч в справедливой гражданской войне против помещиков и капиталистов вызывает ахи, охи, вздохи, истерики. Нет. Таким „талантам“ не грех посидеть недельки в тюрьме, если это надо сделать для предупреждения заговоров (вроде Красной горки) и гибели десятков тысяч...» И стояла дата: 1919 год.

«О ком так зло написано? — подумал Матвей и тут же увидел во второй заметке — «Ленин о Короленко». В третьей вы-

резке также шла речь о Владимире Галактионовиче: «Ленин предложил Луначарскому встретиться с писателем и растолковать ему директивы партии и правительства. Луначарский был в Полтаве в июне 1920 года и виделся там с Короленко. Они договорились о переписке. Короленко станет отсылать Луначарскому письма, где берется излагать негативные явления политики Советской власти, а Луначарский якобы будет их публиковать. Ни на одно из писем Владимир Галактионович ответа не получил».

— Как ты убедился, Владимир Галактионович — не только милосердный, но и смелый человек, — бесшумно поднялась на второй этаж Таня. — Он бесстрашно ходил в ревтрибунал, стараясь спасти людей. Другие за версту обходили чрезвычайку, а он сам стучался к этим вурдалакам в дверь, рискуя оказаться в черных подвалах, о которых даже думали шепотом. Когда власти менялись — он ходил в контрразведку — все с той же целью. А власти, особенно революционные, очень не любят, когда появляются лишние свидетели, тем более писатели, да еще такие, как Короленко... Над его головой сгущаются тучи...

— Это было давно, — сказал Матвей, — Жалко, конечно, человека, но всегда есть кого пожалеть в настоящем.

— Не существует ни прошлого, ни будущего, — сказала Таня. — Все мы живем в одном подъезде. Только, может быть, лестничные площадки разные...Ты так и не прочитал наш буклет?

— Нет, руки не дошли, — признался Матвей, и добавил:

— Тогда придется тебе кое-что объяснить, — сказала Таня, и крикнула:

— Натолий, можно тебя?

В коричневом офисе появился человек, тоже весь в коричневом. Матвей никогда прежде его не видел. Почему-то с первого взгляда на него Матвей окрестил его фокусником: появился ниоткуда, поклонился, как на сцене, одет, как иллюзионист, выступающий в сельском клубе.

— Внимание на экран! — сказал фокусник, и в комнате возник не то телевизор, не то киноустановка.

«Ну надо же, — подумал Матвей, — точно маг. Сейчас начнет ленты разноцветные вытаскивать из карманов...»

— Для начала я должен сказать главное, — произнес он торжественно, — а именно то, что мы прибыли сюда...

Он сделал эффектную паузу.

— Даже не знаю, как сказать, чтобы вы поверили и поняли, — продолжил он.

— Валяй как есть! — поддержал его Матвей, который терпеть не мог, когда на пустом месте нагоняют таинственность.

— Мы прибыли сюда из будущего! — закончил коричневый фразу.

Матвей улыбнулся: ну, точно иллюзионист. Такими серьезными бывают только иллюзионисты. Сейчас начнет приглашать подсадок из зала...

Коричневый фокусник перевел дух, продолжил:

— Конечно, нелегко вам в это поверить...

— Отчего же, верю, — сказал, улыбаясь, Матвей. — А скажите, астероид уже прилетал?.. Мимо прошел или попал точно в парк культуры и отдыха?.. Прямо в пивную угодил?..

— Какой астероид вы имеете в виду? — переспросил фокусник. — Тот, который едва не сжег Землю в 2098 году или Второй тунгусский метеорит 2108 года?.. Или падение межзвездного корабля пришельцев в 2222 году?

Коричневый говорил весомо, что поневоле Матвею пришлось оставить шутливый тон.

— Ну и как вам у нас? — он хотел спросить шутливо, но получилось почему-то серьезно. — Нравится? У нас в ноябре холодно и ветрено, но зато пиво холодное... А вообще, ребята, вы, видать, мастера розыгрыша. Только уже в душу въелись пришельцы, машины времени и звездные войны.

— Да, никто с первого раза этому поверить не может, — Таня прикоснулась ладонью к руке Матвея. — Но это чистая правда. Конечно, машины времени не существует, хотя ученые уже столько лет бьются... Но перемещаться по единой временной ткани вполне возможно — без всяких громоздких механизмов, достаточно глотка специальной микстуры, которую получают из яда гюрзы, который противодействует мраку забвения и естественному сопротивлению эпох. Тут, как и с гюрзинским крепким, важно не ошибиться с дозировкой...Кажется, в ваше время еще не разработана Теория Забвения и не открыт Закон Иллюзорности, не подскажешь?

Матвей смотрел на нее: засмеется или нет?

Она была непроницаемо серьезна.

— Так вот, — сказал коричневый, — объясняю даже не упрощенный смысл этих революционных открытий, а как бы легкий, мимолетный взгляд на них. Альберт Эйнштейн Третий доказал, что время, а значит и бытие иллюзорны, их как бы и нет совсем, и можно пешком ходить из эпохи в эпоху, и в то же время, конечно есть, — каждое утро вы боретесь с его адептами — будильниками... Время должно быть уже хотя бы для того, чтобы не проспать, когда придется по счетам платить.

Примирить иллюзорность бытия с его материалистической составляющей, пытались многие, и только Эйнштейну Третьему это удалось. Решение оказалось гениально просто.

— Да плюньте вы на эту составляющую, — сказал гений. — Не берите ее во внимание, как будто ее вовсе нет — и легко перемещайтесь во времени.

Ученые схватились за головы: как же они до этого не додумались раньше?

И забежать на чашку чая к юному лорду Веллингтону, похлопать по плечу старину Цезаря, сфотографироваться на память с Шекспиром, стало удивительно просто, до той поры, пока лорду до тошноты не надоело внимание путешественников по времени, да и вообще, он пугался фотографических вспышек... Цезарь же от современной тоски и скуки обратился в нынешний парламент, чтобы ускорить мартовские иды... Шекспир потерял душевный покой, узнав, что бедный Йорик оказывается пережил принца Датского...

— Постой, постой! — сказал Матвей, — если то, о чем ты говоришь, правда, то у вас произошло смешение времен, получился ужасающий коктейль! В одном дворе живут Достоевский и Бокаччо, по пути в булочную можно встретить Павла Васильева, салютовать корсиканскому артиллеристу?.. Так, да?

— Не все так просто, — сказала Таня

— Есть, конечно, кое-какие заморочки, — встрял коричневый иллюзионист.

— О них я расскажу сама, — остановила Таня коричневого. Тот поклонился, сказал: — Как пожелаете, госпожа руководительница!..

И он растворился в темном углу. Таня продолжила рассказ:

— Через несколько лет после открытия Закона Иллюзорности начался бум бесконтрольных путешествий по неразрывной ткани времен. Доступность гюрзинского элексира (нужна еще специальная обувь, создающая иллюзию движения, вспомните прибитые к полу сапоги, нужна небольшая бетонная площадка — идеально подходит балкон) и природное любопытство жителей Земли привели к тому, что в истории не осталось тайн. Сначала посчитали, что это хорошо, но вскоре задумались. Вместе с утратой флера таинственности, очарования недосказанности, щекочущих нервы догадок, начал потихоньку пропадать интерес к истории подлинной. Не многие, оказывается, хотели знать, что Изольда была не такой уж красоткой, а Елена имела скверный характер — напрасно греки так долго воевали за нее. Не поразила никого информация о короле Ричарде, что он страшно боялся щекотки и от него дурно пахло.

С героев как бы слетела позолота: выяснилось, что один попал в плен и замучил родное правительство плаксивыми

письмами с требованиями немедленного его выкупа, чего бы это не стоило; другой старался привозить водку после сражений, когда в полках резко сокращалось количество пьющих; у третьего было четверо (кроме него) братьев и когда пришло время делить наследство, он одного за другим всех этих братьев убил; четвертая старалась из-за сына — головы соперников так и катились в разные стороны...

Для женщин невыносимо стало узнать о том, что реальные костюмы ушедших поколений совершенно не похожи на их кинематографические версии... Мужчины, прежде мечтавшие попировать в средневековом замке с настоящими рыцарями, были шокированы чумазостью мессиров, грязными брабантскими кружевами, сворами собак, кормящихся у пиршественного стола. В средневековье наших современников поразили ежедневные кровавые казни, и виселицы с удавленными преступниками, стоявшие в самых неожиданных местах — на мостах, у крепостных стен, у таверн и кабаков. Люди охотно ходили на казни, не забывая прихватывать с собой и детишек. В ходу был юмор висельников, добрые соседи спрашивали друг друга по утрам:

— Франсуа, разве не тебя вчера четвертовали на площади Трех Мостов?

— А я слышал, что тебя сегодня собираются утопить у старой мельницы, где на прошлой неделе утопили и твою подружку — ведьму Лусию?

И мало кого лишал аппетита пепел Клааса, донкихоты с волчьей тоской в глазах доживали свои дни в богадельнях... Будущее тоже оказалось не то...

И поток туристов во времени стал иссякать, пока совсем не сошел на нет. Людям опротивело еще и еще раз убеждаться в том, что они иллюзорны и, быть может, их и вовсе нет, поэтому так легко они перемещаются из века в век, из тысячелетия в тысячелетие? Пустота в пустоте...

В довершение ко всему внезапно стали тысячами пропадать люди. Без следа, без записки, без намека, где их искать. Сначала грешили на неизвестный науке вирус, который будто бы растворяет человеческий организм, как кипяток растворяет кусок сахара. Но не подтвердилось. Потом думали, что, не дожидаясь всемирного потопа, зажиточные жители многих стран, построили свои собственные межзвездные корабли и отбыли на них, куда глаза глядят. Лишь бы подальше.

Но и это не сошлось. Кое-кто, конечно, улетел, утек, смотался, но ведь не тысячи! Тем более, выяснилось, что никто из пропавших не взял с собой никакого имущества. На наших

людей не похоже. Остались брошенными дубовые комоды, в ящиках которых — под стопой черного нижнего белья — так хорошо было хранить пачечки читанных-перечитанных, запомненных до единой запятой, писем — переписку с мальчиком-студентиком, приезжавшим на практику в тридцать девятом году и так жарко — на самое ушко — вравший про Москву, Париж и Яицкий городок... Что это за городок такой, и есть ли он на этом свете?

Остались брошенными пузатые альбомы с фотографиями, в которых дружные семьи делали стойку на деревянный фотоаппарат, похожий на саратовскую гармошку. Надо же, собирали люди изображения степенных тетушек и дядюшек, внуков-проказников, сучек-снох, давних знакомых (вместе отдыхали в пятьдесят седьмом в санатории под Сухуми)и вдруг в одну минуту бросили эти фотографические сокровища! Некоторые исчезали в самых неожиданных местах и в самое неурочное время. Один пошел за пивом — через дорогу, — чтобы предаться у телевизора болельщицкой страсти, и не вернулся. Подали даже заявку на розыск в международную полицию, но безрезультатно. Бидон с остатками пива, правда, отыскали на третий год, но никаких следов на нем не оказалось, дожди смыли следы... Другой был с женой в краеведческом музее, и около скелета велоцираптора ему приспичило в туалет. «Счас, Граня, я только в уборную — и назад. Жди меня здесь.» И он исчез. Безутешная Граня предлагала даже проверить алиби у динозавра...

Так продолжалось до той поры, пока Львом Цахесом не был сформулирован Второй Закон Пространственной Компенсации. Согласно этому закону любой, отправившийся путешествовать во времени, если не принять специальных мер, вытесняет из временной лакуны как минимум одного индивидуума. Ведь получается, что странник занимает как бы две ниши в хроносфере, иногда больше, например, когда не удается избежать временных парадоксов, когда путешественники по времени разыскивают своих жен в молодости, своих родителей, самих себя. Или начинают скупать выигрышные лотерейные билеты. Тогда полотно времени испытывает страшное напряжение, и случаются даже разрывы хроносферы. Правда, бывает это крайне редко и люди называют это временными разломами. Один такой разлом долгое время существовал в нашем городе на чердаке знаменитого дома Мизиновых...

— Так вот, представьте себе, вы отправились в будущее... С женами, детьми, собутыльниками...

— Представил, — сказал Матвей. Хотя ничего такого он и не представлял.

— Ваш переход, естественно, вызывает напряжение хроносферы, и той ничего не остается, кроме того, как разрядить ситуацию мощным энергетическим выбросом, который выталкивает из будущего столько индивидуумов, сколько их проникло из прошлого. Причем, эти переброски временной энергии не обладают никакой избирательностью, попадают под разделку чаще всего случайные люди...

— Короче говоря, — сказала Таня, — душа идет за душу. Но есть и обратная сторона медали: когда туристы времен возвращаются домой, в свое время, то те же неумолимые силы природы выталкивают из своих временных лакун уже других несчастных, ничего не подозревающих отцов семейств, ученых и мастеровых — и забрасывают их, куда Макар точно коров не гонял...

— Короче говоря, путешествия во времени были запрещены, и осуществляются только по строгому разрешению правительства, — закончила рассказ Таня. Помолчала с минуту и продолжила:

— Только совсем недавно мы научились относительно, подчеркиваю — относительно — точно попадать в нужное время, а поначалу, собираясь во времена Киевской Руси, тебя вполне могло занести в Древний Рим... Кроме всего прочего, это означало, что один патриций будет вытолкнут из своего времени.

— Только патриций? — спросил Матвей.

— Нет, конечно, эта участь могла ждать любого раба.

— Как же вы здесь оказались? — спросил Матвей. — Значит, вместо вас троих в будущее закинуты трое наших?..

— Наши, ваши, — передразнила его Таня. — Все мы Богу принадлежим... А что касается «наших», то у нас все по закону и на добровольной основе...

— Не хочешь ли ты сказать, что есть среди вас люди, готовые поменяться судьбами с нами?..— удивился Матвей. — Современников я еще могу понять, охота им хоть одним глазом заглянуть в светлое будущее (при этом Матвей строго посмотрел на Таню: ведь оно точно светлое? Таня таинственно улыбнулась), а чтобы из двадцать третьего века вернуться в наши времена — такое в голове не укладывается...

— А между тем, добровольцы есть... Наша организация «Freedom Writer International» имеет грант на спасение гонимых в своих временах писателей. Причем, писатели получают гарантию, что их произведения будут издаваться в их родных временах, и представляться читателям, как недавно обнаруженные... Рукописи, известно, огонь не берет, их пожирает

Хронос... Сейчас, как ты смог догадаться, мы собираемся перебросить в ваш двадцать первый век Короленко...

— И он согласился? — перебил Таню Матвей.

— Не буду от тебя скрывать, переговоры идут очень трудно...

— А почему вы выбрали наши края и наши времена?

— Владимир Галактионович, когда у него спросили, какие места он мог бы выбрать для обитания, назвал в числе прочих и этот город... Сказал, что ему полюбилось здешнее приволье — бескрайние степи, Урал-река, своеобразный народ, живущий на его берегах... «А песни, какие там поют песни!» — повторял он...

— А сейчас ты увидишь, как через два с лишним столетия будут выглядеть эти места, твой родной город, — продолжила она, — включите дальневидение!..

И тут же на экране возникла громада православного собора. «Старый собор», — узнал Матвей. В двух шагах от старинной церкви плескал желтой волной Урал, у берега была привязана одинокая будара, черное солнце отражалось в ее смоленых бортах.

— Все это можно и сегодня сфотографировать, — произнес Матвей, но тут же осекся: по Уралу, не касаясь его волн, шел белоснежный корабль, вдали виднелся второй такой же, а левее сияли золотые купола Петропавловской церкви.

— Так она же сгорела, разрушена, — сказал Матвей, — Пушкин видел ее развалины...

— Восстановлена, — коротко сказал фокусник в коричневом.

На экране разворачивалась городская перспектива — ровные ряды многоэтажных домов, аккуратных, белых, как шампиньоны.

— Дома-то какие, словно стерильные, — заметил Матвей.

— Ты почти угадал, — сказала Таня и в голосе ее прозвучала гордость, — это ЖПП — жилища повышенного порядка. Здесь объявляется тревога первой степени, с выездом специальных средств дезактивации, при обнаружении хотя бы одного окурка на всей территории города. Подлежат госпитализации все жители дома, где был обнаружен больной с температурой тела выше тридцати семи градусов по Цельсию... Чихающие и кашляющие граждане помещаются в глубокий карантин. Сначала на год, потом собирается консилиум и решает судьбу больного. Как правило, карантин продлевается на пять лет. С больными помещаются также их родные. Зато мы можем сказать, что практически побеждены бронхит, коклюш, ангина...

— Что же, у вас никто не курит? — спросил Матвей. — Тоска!.. Кажется, даже тошнее, чем у нас...

— Почему? Я сама заядлая курильщица, — сказала Таня. — Пожалуйста, покупайте лицензию и отправляйтесь на Курильные острова, и там можете выкуривать хоть по целой сигарете в день... Я два раза бывала там, и мне довелось попробовать даже дым, конечно законсервированный, гаванской сигары.

Экран дальновизора между тем показывал сиреневый садик. Матвей вспомнил, что в юные годы в этих сиреневых зарослях был сорван не один пылкий поцелуй, здесь он пережил первую безответную любовь: он, десятиклассник, влюбился в пятикурсницу из пединститута — он помнил даже, как ее звали — Оля. Она говорила ему: «Не ходи за мной, как тень, иди учи геометрию...» И добавляла: «Не проходи за мной по лужицам по следу следа моего, я знаю, снова не получится из нашей встречи ничего...» Лужиц никаких не было, а стихов он, кроме своих, тогда ни одного не знал.

Что касается геометрии, как и тригонометрии, он не мог различить все эти тангенсы, катангенсы и даже синусы, но он все равно не раскрывал учебников, а в тетради для алгебры рифмовал для нее «кровь», «любовь» и конечно «бровь».

По вечерам она отправлялась на свидание с Димой, красавцем со спортфака. Конечно же, свидания происходили в сиреневом садике. Здесь была городская территория любви.

Матвей тогда шел вместе с ней — от общежития, где она жила, до кинотеатра «Кызыл-тан», оттуда до кинотеатра «Крам», и мимо дома Карева — до самого садика. Она строго наказывала:

— Как только Димка появится, чтобы духу твоего не было, Ромео...

И смеялась. Смех у нее был с хрипотцой, негромкий. Но смех этот Матвей и до сих пор не забыл.

Про садик в городе говорили, что прежде на этом месте стояла большая и красивая церковь, но ее взорвали; кирпич пошел на строительство тротуаров, а всю территорию, которую занимал прежде храм, засадили сиренью и акацией — и получился сквер. Довольно странный сквер; в памятник Чапаеву, установленный в центре садика, два раза попадала молния, пытались здесь устроить театр, но он сгорел. А вот сирень прижилась, разрослась стеной на радость влюбленным.

Димка всегда приходил с опозданием, Оля нервничала, беспрестанно поглядывала на часы, и ругала Матвея:

— Иди уже домой, горе... Ухажер, ты от матери ремня не получишь?..

Она злилась на Матвея из-за того, что на Димку вешались девчонки со всех факультетов, и он беспечно принимал знаки внимания не только от Оли.

— Что ты ходишь за мной? — спрашивала она у Матвея. — Я тебе в матери гожусь!..

Но она никогда не прогоняла его насовсем. Случалось, что он обижался, уходил, день-другой (больше не выдерживал) не показывался, тогда она звонила ему и говорила в трубку: «Ну что ты, душа моя, разобиделся, ведь я только тебя по-настоящему люблю. Приходи, без тебя скучно...»

Он приходил, и она при нем собиралась на свидание с Димкой (а еще у нее были ухажеры запасные — Вовчик с механического завода и Гришка из Куреней), утюжила юбку, кофточку, нисколько не стесняясь Матвея, надевала чулки. Он сгорал тогда от ревности и любви.

Однажды она никак не могла справиться с какой-то застежкой, попросила Матвея помочь; он возился, как ему показалось, полчаса — и его бросало то в холод, то в жар. Кончилось тем, что она сама справилась с застежкой, сказала:

— Не печалься, душа моя, опыт по отмыканию этих запоров у тебя появится раньше, чем ты думаешь, красавчик.

И она обняла его и поцеловала в губы, и еще, и еще... Прошептала:

— Не торопись, я буду твоей...

И оттолкнула его.

Первый раз она потащила его за собой в сиреневый садик в качестве носильщика здоровенной картонной коробки. Какая-то далекая ее родственница, жившая как раз напротив садика, привезла Оле посылку откуда-то из села, и посылку надо было срочно забрать.

— Будь другом, — сказала она Матвею, — у меня с Димкой променад, а ты поднимись на третий этаж, скажи, что ты от меня, и получишь груз... Надеюсь, ты осилишь пару килограммов.

— Опять этот баловень судьбы? Любимец недалеких женщин, — сказал Матвей и послушно отправился за посылкой. Оля вслед ему сказала:

— Еще каких недалеких!..

Коробка оказалась неподъемной. Килограммов десять — пятнадцать. «Наверное, все золото ацтеков прислали», — подумал Матвей, принимая посылку.

С этим ящиком он обошел весь сиреневый садик, пока не нашел Олю и Димку.

— Для чего ты сюда принес коробку, — огорчилась Оля, — ты что, не понял, что ее ко мне в общагу надо оттаранить?

— Может, пан спортсмен озаботится этим сундуком? — сказал Матвей. — Тем более, что, судя по весу, пришло приданое?

Спортфаковец пробормотал что-то насчет растяжения какого-то важного сухожилия и отвернулся.

— Вот так! — сказала Оля. — Теперь я вижу, как вы оба ко мне относитесь.

Матвей разозлился: что он ей, носильщик? Диме достанутся поцелуи под сиренью, а ему тащить этот контейнер в общагу?

— Давайте вместе прогуляемся до общаги, — предложил он способ преодоления кризиса, — занесем посылку и пойдем на танцы в Фурмачи (так в народе называли другой городской сад — имени Фурманова)?

Дима так и взвился:

— Между прочим, Оля пришла на свидание со мной!..

— И со мной тоже, — нашел он что сказать.

— А может, в коробке есть съестное? — вовремя спросил Дима. Ради жрачки он готов был забыть разногласия.

Оля кивнула:

— Яблоки, конфеты, колбаса...

— Грех не попробовать! — облизнулся Дима. — Оля, как ты на это смотришь?.. Да и ящик станет легче...

Как бы она на это ни смотрела, но коробку открыли. Сверху лежало письмо: «Дорогая Олюшка! Во первых строках нашего с отцом письма...».

Письмо он взяла, а также что-то черное, тонкое и шелковое, засунула на дно своей сумочки.

Сказала сердито:

— Чего таращитесь, отвернитесь!..

— Что мы, лифчиков не видели? — хохотнул Дима. — Третий размер, да?..

Они уселись неподалеку от памятника утонувшему начдиву и принялись хрустеть яблоками. Попробовали и шоколадные конфеты, сжевали круг колбасы — хороший аппетит был у них, несмотря на любовные терзания. Собственно, по-настоящему терзался только Матвей...

Потом они, втроем же, отправились гулять по ночным улицам, и Матвей с Димой поочередно носили ящик, который и вправду стал легче.

На другой день Матвей пришел в садик к вечеру и не ошибся: вскоре показалась Оля, а чуть позже появился Дима.

— Что ты здесь делаешь? — спросила у Матвея Оля.

— Ну, точно не трамвая дожидаюсь, потому, что, как ты помнишь, в нашем городе вообще нет трамваев.

— Остроумие двоечника, — рассердилась она, но и в этот вечер они гуляли втроем.

На третий день Матвей опять пришел в сиреневый садик. Напрасно обошел все укромные уголки сквера, просидел два часа на скамейке около Чапаева — ни Оля, ни Дима не пришли сюда...

Он отправился к ней в общежитие, но там сказали, что она съехала на съемную квартиру, да не одна.

— Почему не одна? — принялся он произносить идиотские вопросы, в ответ услышал только усмешки:

— Потому...

Никто не узнал, а он сам поспешил забыть, как в один из тех дней, устав разыскивать Олю, он горько плакал, сидя на скамейке около изваянного начдива, и слезы лились ручьем, и в них утонула его любовь.

А потом он уехал в Алма-Ату, поступил в университет, денъки полетели быстрые, как пули, и как-то совершенно незаметно сбились в годы и десятилетия. Он виделся с Олей только раз, приехал на каникулы и встретил ее в магазине, увешанную сумками, из которых торчали батоны, куриные ноги, бутылки с кефиром. Она шумно обрадовалась, или притворилась, что обрадовалась. Но ему было все равно:

— Привет! Рада видеть тебя! Повзрослел-то как! Мужчина настоящий!.. Я часто тебя вспоминаю... Как-то неправильно мы расстались, как говорят, — по-английски, не сказав даже «до свидания».

Она затащила его к себе в квартиру на двенадцатом этаже какого-то темного дома, с заколоченными ставнями. Лифт не работал, лампочки в подъезде не горели, и они забирались на двенадцатый этаж в кромешной темноте, где на лестничных площадках тлели огоньки папирос, выхватывая из кромешной темноты лики курильщиков.

Она потчевала его чаем, говорила без умолку:

— Я в школе работаю, веду младшие классы, зарплата кот наплакал, вот однокомнатную получила,— конечно, не жилье, а каморка, но некоторые девчонки, которые вместе со мной учились, до сих пор в общагах маются... Ты пей, чай хороший — со слониками... К нам надолго?..

Ему почудилась в ее голосе какая-то мольба, хотя она изо всех сил улыбалась, была шумной и многословной.

— Значит, все хорошо? — не удержался он.

— Да, чудесно! — сказала она. — Виталик в продленке... Муж — Сергей — на футбол сегодня собирался. Вы же, мужики, даже если объявят атомную войну, пойдете на футбол или отправитесь на рыбалку!..

— Я не люблю футбол, — сказал Матвей, и заторопился:

— Мне вообще-то пора...

— Может, еще когда зайдешь? — спросила она. — Я Сергея предупрежу, он пива возьмет разливного, посидим? У нас есть что с тобой вспомнить...

Что она имела в виду?

Он пообещал зайти на неделе. А предварительно позвонить, договориться... Но, конечно же, не позвонил, не договорился. И вообще, он не любил разливное пиво.

Давно это было и давно выболело. А сиреневый садик разгородили, вытоптали траву, убрали памятник Чапаеву, и както быстро забыли, что этот сквер был на этом месте, и когда-то его называли «территорией любви»... Но вот телевизор из будущего показывает живой, восстановленный садик. И Матвей поверил в дальновизор, в прошлое и будущее. И в то, что можно отправиться туда (а зачем?), зная формулу настойки гюрзинского яда.

Дальновизор еще показывал восстановленный железнодорожный вокзал, пристань с дебаркадером, Макарову мельницу, а Матвей уже прикидывал, можно ли в этом будущем издать его последний роман и потом перебросить весь тираж в прошлое, когда люди еще читали книги?

— В будущем литературы больше нет,— рассказывала Таня. — Все уже написано. Облачная литература, конечно никуда не делась, но к ней обращаются крайне редко. Писателей-профессионалов, конечно же, нет, да и для чего они — перепевать писанное-сто раз переписанное? А книжку написать за пару дней каждый может с помощью компьютерной программы «Классик литературы»...

— Ты прямо утешила меня, да что там меня — вся наша пишущая братия несказанно обрадуется, когда узнает перспективу своих творений..., — усмехнулся Матвей. — Да, собственно, давно к этому шло...

— Теперь ты почти все знаешь обо мне, о нас,— сказала Таня, и было в ее интонации нечто такое, что заставило его насторожиться.

— Что? — спросил он ее взглядом.

Она ответила не сразу, как будто решалась на что-то. Наконец, молвила:

— Послушай... Ведь тебя здесь ничего не держит, правда? Я пришла к выводу, что тебе все равно, в каком столетии жить...Вернее, в каком веке бояться жить... Ты ведь рассказывал мне однажды, что один твой друг добровольно замуровал себя в потайной комнате, а ты ведь, признайся, такой же — ваша родина — космос, вы нигде не свои, всюду вам не хватает тепла... В общем, «Freedom Writer International» официально предлагает тебе переезд на постоянное место жительства в самое начало двадцатого века...Так сказать, на место Короленко...

Она осеклась, увидев его тяжелый взгляд.

— И многих вы уже переселили? — спросил он. — В основном классиков, или удостоили этой чести и представителей авангарда?..

Она не расслышала сарказма в его словах:

— Это секретная информация, скажу только, что ты был бы весьма удивлен, узнав какие столпы литературы согласились перебраться в будущее, а некоторые наоборот выбрали прошлое!.. Места в их временных лакунах добровольно заняли достойные люди... Поверь, не так плохо проснуться однажды, ощущая себя...

— ...полным дерьмом, — подсказал он.

— Напрасно ты так, — устала она от этого разговора, — напрасно... Ничего обидного для тебя лично я не вижу в нашем предложении... Тебе в прошлом ничего не угрожает, наши сотрудники просканировали предполагаемые реальности будущего и рассмотрели в них немало приятных для тебя моментов. В случае перехода в двадцатый век тебя ожидает знакомство с Андреем Белым, Валерианом Правдухиным, Виталием Бианки... Твоя новая книга будет сочувственно встречена в литературных кругах той эпохи...

— Погоди, — прервал он ее. — Правильно ли я понял, что ваши сотрудники интересовались моей скромной персоной еще до моего первого прихода к вам?

Она улыбнулась:

— Ты забываешь, что мы можем перемещаться во времени, и заглянуть как в прошлое, так и возможное будущее кандидата на эмиграцию...

— Выходит, ты знала, что я приду сюда в тот промозглый ноябрьский вечер?

— Конечно, — сказала она. — Мы строго отбираем кандидатов на переброску во времени, мы не можем полагаться на случайных, не проверенных людей.

— Ну что ты сердишься? — сказала она ласково. К тому времени окончательно растворился в коричневом полумраке иллюзионист со своим дальновизором, и они остались одни.

Таня обняла его, он отстранился. Нужно было хоть что-то сказать, но слов подходящих не было, неподходящих тоже. «Ноябрь так и не кончился», — подумал Матвей.

Наверное, ситуация требовала, чтобы он обиженно нахлобучил шапку, бросился надевать пальто, не попадая в руками в

рукава, и вылетел бы в самое сердце ноября? Но он никуда не ушел, и пальто осталось на вешалке, и его волчья шапка лежала на стуле, как забытая кем-то голова.

— Ну, чего ты так расстраиваешься? — сказала Таня. — Ведь тебя никто не неволит... Найдется другой кандидат...

Он не ответил. Действительно, к побегу у нас готовы едва ли не все. С подъемными, командировочными, с баулом накопленных ефимков, или совсем без копейки, мы охотно бросаем намоленные места, чтобы тосковать в новых своих городах, мечтая когда-нибудь бросить их тоже.

Наконец, он разомкнул уста:

— Нашу любовь ты тоже заказала?.. А что, пять капель гюрзинского, и готово?

— Как ты мог даже подумать об этом? — возмутилась она. — Это произошло без помощи сканеров, змеиного яда и сапог для ходьбы на месте... Любовь не подгадаешь...

— Ты извини меня, — сказал Матвей. — Но я думаю, что и Короленко не захочет бросить свое время.

— Очень печально, — сказала она. — Особенно для меня... Если ты твердо отказываешься от нашего предложения, то моя миссия здесь завершается, и я должна отправиться домой.

Он не раз представлял себе разлуку с ней. Ему время от времени чудился — и во сне, и наяву — какой-то самолет, скорее даже самолетик — не то двухместный, не то вообще одноместной, и Таня в этом видении будто бы поднималась по узенькой металлической лесенке, забиралась в тесную кабину, махала рукой, и слезы текли у нее по щекам. А потом для чего-то она выбрасывала парашют, и тот падал на пожухлую аэродромную траву, и какие-то люди суетились около самолета, спотыкались о парашют, и в голову приходило сравнение с расстрелянным диверсантом — и почему диверсантом, и за что расстрелянном?

И самолетик запускает мотор, и тот тарахтит, и всем на аэродроме хочется перекричать тарахтение и сказать Тане, что зря она улетает, что зря пренебрегла парашютом, и вообще все было зря. И Матвей тоже кричит:

— Возвращайся!

Но она качает головой в прозрачном фонаре кабины, нет, она не вернется. Никогда. Потому, что очень велик список тех, кто хочет иммигрировать в двадцать третий век — лишь бы подальше от этих бесконечных ноябрей.

— Да, — сказал он, — вы у себя в двадцать третьем веке решили за всех нас: кому в каком веке спасаться, кому и где прятаться. А как с вашим знаменитым Законом Компенсации, о

котором вы мне все уши прожужжали? Если вы смутите и по углам попрячете нестойкие души, то не окажется ли, что вы вместе с болью удалили дух? Какую компенсацию за это потребовать?..

Она ничего не ответила, отвернулась к окну, за которым догорал последний ноябрьский день.

— Ты вернешься когда-нибудь? — спросил он.

— Это невозможно, — сказала она, — разве только на свой страх и риск убежать из родного века, а это значит бросить всю свою жизнь...

— Прощай, — сказал он. — Может быть, ты и права: таланты надо защищать...

— Прощай, — сказала она.

Последний день ноября выдался на удивление теплым, наверное, к снегу и Матвей отправился домой пешком. Как будто в прочие дни его возил лимузин, за рулем которого сидел бородатый, больше похожий на кучера, чем на шофера, мужик.

Нет, он всегда ходил пешком, но уходя, придумывал: «Я поехал», «за мной машина пришла», «шофер устал сигналить»...

Он не очень любил машины, они ему не нравились, и он сам не знал почему. Ведь не потому, что у него с сегодняшнего дня начинается «гюрзинский» период, и он продлится не один день? И не потому, что в двадцать третьем веке живет женщина, которую он не сможет забыть, и от этого не спасает самый страшный змеиный яд? И уж, конечно, не потому он не любит машины, что они не уступают дороги. Он дошел до перекрестка, где огромным — на весь квартал — слоном стоял дом Карева. «Ну и строение!» — дивился он каждый раз, глядя на это старинное здание шатровая крыша которого походила на дирижабль.

Светофор малиновым огнем остановил прохожих, и опять покатились машины. За стеклом одной из них мелькнуло знакомое лицо, бородатое, в бороде серебрилась седина. «Похож на Малыгина, — подумал Матвей, — но не такой неприбранный, как знаменитый художник. Есть сходство и с командиром городской пожарной дружины, но пожарник лыс, как биллиардный шар, а у этого шевелюра густа, как у... как у...

«Как у Короленко, — подсказал кто-то голосом Тани. — Как у Владимира Галактионовича...».

Матвей рванулся было за машиной, но, конечно же, не догнал, да и если бы даже догнал, то что мог бы спросить? «Простите, вы не писатель Короленко, прибывший к нам из прошлого? Нет, а кто вы? Наборщик местной типографии? Вы как раз готовите к выходу однотомник избранных произведений

Владимира Галактионовича?.. Вот ведь как сошлось! Кто я, и по какому праву задаю вам эти вопросы? Можете считать, что — никто. Меня готовили к вам на замену в двадцатый век... Согласен, согласен, больше я похож на городского сумасшедшего...»

Зеленый глаз светофора опять открылся для пешеходов и Матвей, подчиняясь его диктату, пошел дальше. «А, может я зря отказался? — думал он. — Кто оценит эту мою голубиную верность своему времени? Хотя, в конце концов, времена не выбирают...»

И он вспомнил еще несколько строчек: «В них живут и умирают, большей пошлости на свете нет, чем клянчить и пенять. Будто можно те на эти, как на рынке, поменять...»

«Изумительные строчки, — размышлял он, — но сегодня как раз настала эпоха менял, и все им по плечу: большое — на поменьше, молодое на зрелое, вчерашний день — на грядущий. Да что там день — не приглянулся век — долой его, книги в огонь, летописцев к стенке, пастырей — в мученики...

В ноябре рано темнеет. Матвей замешкался с кодовым замком двери подъезда его дома, и в это время на немыслимой высоте холодным электрическим светом вспыхнуло бессонное окно. «Сегодня тот, кто обитает этом орлином гнезде, рано отгородился электричеством от черной пустоты за окном, — подумал Матвей. — Ночь становится все больше и больше...

И он оставил свой замок, и двинулся в подъезд под высотным электрическим окном.

На его удачу подъезд был открыт. В кромешной темноте подъезда светились кнопки лифта. Матвей прошел мимо, он почему-то знал, что в таинственную квартиру можно попасть, только поднимаясь по лестнице, сколько бы на это не потребовалось времени и сил.

На лестничной площадке третьего этажа из мрака выступили крепкие ребята.

— Мужик, табачком не богат? — спросили они.

— Нет, — ответил он. — А вообще я из ОРГБОРЧУДА, слыхали?

— Как же, слыхали, — подобрели почему-то голоса у ребят, — делом люди занимаются. Проходите, проходите... Только скажите, внизу штиль или?..

— Штиль, — сказал Матвей. Он не знал никакого ОРГБОРЧУДА, сказал первое подвернувшееся слово, когда-то он видел его, кажется, на театральной афише.

На восьмом этаже ядовитой желтизной навстречу плеснули кошачьи глаза. Кажется, черная пантера. А какие еще водятся во мраке лестничных пропастей? Пантера зашипела, но не

угрожающе, потерлась боком об ногу Матвея, на пол с треском посыпались синие искры.

— Ну, я пошел, — попрощался он с пантерой. — Мне еще карабкаться и карабкаться.

В ответ кошка лизнула ему руку.

На двадцать первом этаже его встретили музыканты, он узнал «Smoke on the water».

— Привет, лабухи!

Гитарист протянул ему руку, представился: Ричи. Коротко и ясно.

Дальше и выше пошли пустынные пространства. На тридцать восьмом этаже он устроил большой привал. Пожалел, что не зашел домой и не взял палатку и спальный мешок. Не помешало бы и одеяло. Можно было бы и вздремнуть.

На сороковом этаже чуть теплилась тусклая лампочка, освещала на стене дюжину акварелей. Матвей догадался, что это исчезающая выставка Малыгина. Уже много лет за этими шедеврами охотятся ценители, но выставка появляется и исчезает в самых неожиданных местах, и никому не дается в руки. Сам Малыгин не может объяснить феномен. Его даже вызывали, куда следует, говорили, что несанкционированные выставки сродни несанкционированным митингам и прочим подозрительным сборищам людей, но Малыгин ничего вразумительного по существу дела сообщить не смог, тем более, что был выпивши.

Матвей посмотрел акварели, ничего особенного, а коллекционеры с ума сходят... Блеклые цветочки, тусклые, размытые улицы, радуга над лесом, корзинка с грибами — брось взгляд и проходи мимо. Мимо...

И вдруг ему пришло в голову, что на всех выставленных рисунках Малыгина, известного певца дождей, романтика сентябрей и октябрей, на этот раз запечатлено лето — июнь, июль, поплавки на утренней заре, девушки в купальниках. Странно.

Добравшись до пятидесятого этажа, он остановился перед деревянной некрашеной дверью. Никакой таблички, ни номера квартиры не было на ней. Не было и кнопки звонка — колоти в дверь, сезам и откроется.

Матвей постучал. Никто не откликнулся, но тут же стал поворачиваться ключ в замке.

Щелк. Один раз. Надежный запор, а незваный гость лучше званого.

Щелк. Второй раз. Так открывают казематы с государственными врагами.

Щелк. Третий раз. Не так ли взводят курок?

Дверь открылась. На пороге стояла женщина во всем коричневом, и окружало ее все коричневое.

— Только дверь не успела выкрасить, — сказала Таня. — Здравствуй, милый. Я же тебе говорила, что точность наших переходов во времени пока еще не очень высока, так что, когда я решилась на побег, то оказалась на три года раньше нашего знакомства... Так что я давно тебя тут жду. Ты рад?

Он перешагнул порог, спросил:

— Может ли это быть правдой?

Она ответила:

— Поживем — узнаем...

— А как же с Короленко?

— А вот этого мы не узнаем никогда, я же больше не занимаюсь эмиграцией, — ответила она и счастливо засмеялась.

Астана, 2013

СВЕТ ЗЕМНОЙ

Перед тем, как таймеру отсчитать два, ударили метеориты — один вслед за другим — два раза.

— Просто куранты, — сказал Алеша. — Кремлевский бой...

Анна не откликнулась, глядя на старую ветлу, склонившуюся над яром. Над рекой бродил утренний ветер и оставлял на воде узкую светлую дорожку ряби. Лет семь назад в такой дорожке Алеша ловил жерехов, смешно называя их шересперами, как местные казаки. Каждый раз, когда он подсекал спиннингом очередного шереспера, тот едва не на метр вылетал из воды, борясь за свою серебряную жизнь. Она радовалась рыбацкой удаче Апеши, и немного жалела жерехов. Тогда в том краю еще не было заведено отпускать пойманную рыбу; она была вкусна, из жерехов получались замечательные балыки, да от ухи — с зеленым лучком, перчиком, с дымком — за уши было не оттащить.

— А вообще станция построена в таком месте, что метеориты здесь редкость, уж не знаю, как это рассчитали, — продолжил он. — За одиннадцать лет в крышу дома напрямую не ударил ни один метеорит. Но тем выше вероятность, что в один прекрасный — хм, прекрасный ли? — день станции достанется по первое число... И по второе тоже...

Она молчала.

— Сок березовый у нас еще остался? — спросил он. — Натуральный? Или только синтезированный?..

Она выключила подсветку голографического панно, и исчезли река, утренний ветер, и дорожка с рябью перестала светиться.

— Кажется, часы стали ходить медленнее, — продолжал он произносить необязательные слова. — А раньше время летело...

Анна достала из холодильника банку с соком. Натуральным. Пусть пьет, разве жалко? Налила в стакан, подала ему. Он взял стакан, зазвенел цепью.

«Совсем зарос, надо бы постричь его, — подумала она, глядя на его всклокоченную шевелюру, — но дастся ли он? Что у него на уме?»

Где-то совсем близко еще ударил метеорит. И еще один. Что-то зачастили они.

Она вошла в кабину лифта, нажала на верхнюю кнопку. Он крикнул ей вслед:

— Посмотри, какая там погода...

Лифт неспешно потащился, что-то в его механизме уже давно потрескивало, постанывало, он заметно убавил прыти; иногда она думала, что если он застрянет где-нибудь между тринадцатым и двенадцатым этажами, то на этом все и кончится. Некому будет ее вызволить. Хотя она знала, что у Алеши есть пилка для ногтей и ночами он осторожно пилит цепь, скребется неслышно, как мышь, но ему на завершение этой работы понадобится не один месяц. Она не отнимала у него пилку, пусть играется, если ему так легче. Если находит волю пилить, значит, последняя надежда все-таки не оставила его. Хотя, наверное, он знает, что ей известно про пилку, но они оба молчат об этом, как и о многом другом.

Лифт все-таки добрался до купола дома. В этот час сквозь его прозрачные броневые плиты можно было увидеть, как над горизонтом поднимается огромный шар Земли — близкий, недостижимый, страшный. Казалось, стоит только прищурить глаза, как увидишь, что на поверхности планеты пульсируют моря, клубятся облака, сверкают молнии, бьются жилки рек, — и она каждый раз обманывала себя: при виде Земли глаза закрывала совсем — и видела грозу, которая застала их с матерью давным-давно у озера, берега которого заросли тальником и терном. А как они оказались в этом отгороженном от мира зелеными зарослями краю, она уже не помнила. Они собирали терн в оцинкованные ведра, ягоды были покрыты сизым налетом, в августе до спелости им было далеко, но и дочь, и мать время от времени бросали в рот эти жесткие прохладные ягоды; знали, что оскомина будет от них жуткая, но не могли

удержаться — так освежающе терпок был сок ягод. И вообще, так чудесно было то лето, так длинен августовский знойный день, так бесконечна жизнь, что среди этого безмятежного существования казалось нелепым отказывать себе в ягодах из-за какой-то оскомины. Они набрали почти по ведру терна, когда ударила гроза. Они с матерью не могли и предположить, что белые кудрявые облачка, кружившие вокруг озера, накапливают в себе голубой небесный огонь вперемешку с градом, озерной водой. Наверное, каждый по отдельности облачка были безобидны, и когда они время от времени закрывали солнце, то приносили прохладу, облегчение, и тогда мать с дочерью вытирали вспотевшие лбы, говорили: «Хорошо-то как!»

Налетевший откуда-то ветер в минуту соединил облака в критическую массу грозовой тучи и трескучая молния, как будто кто-то у них над головой яростно разодрал огромную сухую холстину, попала в самую середину озера и тут же с противоположного берега помчалась полоса ливня, и казалось, что она торопится к середине озера, чтобы не дать загореться воде, пораженной молнией, но ливень не остановился на середине, а помчался дальше, шумя, как прибой, и они с матерью, зачарованные, смотрели, как лавина дождя наступает на них. И вот уже пригнули черные головы вековые осокори, легла прибрежная трава, заволновался тальник — и только тогда мать крикнула: «Ведра!» — и высыпала под ноги терн, и надела ведро на голову. Она вслед за матерью прикрылась своим ведром, и тут обрушилась на них заоблачная вода, и тут же смыла и унесла ягоды в озеро. В одно мгновенье они промокли до нитки. Они побежали к деревьям, но следующая молния ударила именно туда, в секунду ветки самого большого осокоря занялись оранжевым пламенем, и страшно было смотреть, как дерево пылает под проливным дождем. Они с матерью все-таки осмелились укрыться под кроной одного из деревьев, а молнии каждое мгновение почти беззвучно вспыхивали в двух шагах от них; шипение молний через минуту удивительным образом превращалось в раскаты и только тогда становилось страшным, ворчащим и угрожающим, а совсем рядом мерцающие молнии казались почти безобидными, может, потому, что дождь был теплым, с легким привкусом оскомины на губах.

— Железо притягивает электричество! — закричала мать, и отбросила ведро в сторону от себя. В минуту оно заполнилось пузырящейся водой. Анна не стала снимать ведро с головы — еще никто не угадал, куда может ударить молния. Она была, наверное, фаталисткой. Не боялась летать самолетами — будет то, что будет и не будет того, чего не будет, не пугала ее и

темнота — там все то же, что и на свету, страшилась она только одиночества, да и кто его не страшится? — и кто знал, что оно выпадет ее лютой судьбой?

А еще Анна часто представляла другое лето. В тот год все почему-то опасались, что может наступить голод; он в их краях случался нередко — то правительство чего-то не рассчитает, то нагрянет война, то навалится саранча. И все бросились разводить огороды, выращивать картошку, бороться с колорадским жуком, ставящим под угрозу картофельное благополучие. Им с Алешей каким-то таинственным образом досталось три сотки земли, а, может, и не таинственным — всем жаждущим выделяли? На участке был крохотный, с белеными стенами, домик. Эти три сотки показалось ей огромной делянкой, и она принялась рассаживать астры, гладиолусы, ромашки, посадила даже березку — ни у кого на участке не было березки, и Алеша очень гордился березкой. А под картошку она отвела только одну сотку.

— От картошки толстеют! — улыбалась она.

Еще, конечно, посадила грядку редиски, грядку морковки, не забыла и про огурцы. Лето выдалось солнечным, жарким, дождей было мало, после них земля высыхала и трескалась, становилась похожей на крокодилью кожу. На участке не было ни колодца, ни подведенной воды, и она поливала цветы и грядки водой, которую они с Алешей приносили ведрами из небольшого пруда, до которого было не меньше получаса ходьбы. Так что, на дорогу туда и обратно она затрачивала больше часа, потому, что на обратном пути несколько раз отдыхала. Алеша оборачивался с ведрами быстрее, оно и понятно — он мужчина сильный.

Цветы, как будто в благодарность за такой нелегкий уход, поднялись на загляденье. Особенно хороши были ромашки — на удивление крупные, едва заметно волнующиеся на своих высоких прочных стеблях; она уверена была, что в них крылась какая-то тайна, не та, что «любит — не любит», а какая-то другая, настоящая, волнующая. Каждая ромашка почему-то казалась ей похожей на желтый ревнивый глаз в обрамлении огромных белых ресниц — лепестков. Только к кому могли ревновать цветы? К лету? К Алеше, с которым ей нравилось заниматься любовью прямо среди бурно разросшейся зелени. У них был надувной матрасик, она бросала его между грядок и тянула мужа, а он шутливо отбивался, но не очень, так что всегда побеждала она. Стена цветов надежно закрывала от посторонних глаз, но стоны любви, наверное, слышны были далеко. Соседи с интересом поглядывали на странную пару. Але-

ша однажды спросил у нее: «Может, переместимся в домик?». Она заупрямилась: «Глупо приезжать на природу и прятаться от нее за стенами». И они продолжали заниматься любовью на надувном матрасике, окруженном ромашками, астрами...

Уродилась и картошка, они даже и не надеялись на это. Перемазавшись в земле, они выкопали, когда пришла пора, шесть огромных мешков крупных клубней.

Огурцов тоже выросло много, но все, как один, оказались кривыми.

— Какие-то огуречные бумеранги, — хохотала она, — неужели они скривились оттого, что не их я ласкала так нежно?.. А тебе это нравилось?..

Когда это было? Цел ли теперь этот домик, растет ли что-нибудь на тех трех сотках или пролегло там бетонное шоссе, или построен завод химических удобрений, или доползла до тех мест городская свалка?..

Анна с трудом отвела взгляд от диска Земли. Подошла к приборной панели. Она не поднималась сюда бесконечные десять дней, сдерживала себя в сумасшедшей надежде, что пока ее здесь не будет, все изменится, утрясется, оживет — проснутся приемники, факсимильные аппараты, спикерфоны. Она найдет здесь кучу лент с требованием немедленного ответа, сотни записанных на диски сообщений, графики посадки лунных модулей, списки очередных экипажей. Но еще в лифте — не чувство даже, не расчет, а, скорее всего, появившаяся с некоторых пор привычка к обреченности — вернула ее к действительности: конечно же, ничего наверху не изменилось: только уменьшился запас дыхательной смеси, запас продуктов... Все без отклонений.

Тридцать семь месяцев назад Анна сидела за мониторами посадочного терминала, отслеживая траекторию огромной стальной бочки — заправочной цистерны, которая должна была прилуниться через двое суток. Управляла бочкой ее давняя подруга Санни, и на самом деле рыжая, солнечная. Она, хохоча, рассказывала, что в Албене, на восхитительных пляжах которой она провела нынешним летом пару недель, познакомилась с красавцем-болгарином. Бицепсы, трицепсы, белозубая улыбка — все было при нем, а еще много обаяния, умения угадать каждое желание женщины.

Анна всегда немного подтрунивала над Санни, поэтому спросила:

— Так уж и каждое?

— Можешь даже не сомневаться, — засмеялась Санни, — и я не стеснялась в выборе желаний... Например...

И тут она исчезла с экранов. Анна, улыбаясь, — все-таки Санни бесшабашная, — переключилась на резервный канал связи. Подруги не было и там. Не удалось найти ее и на всех прочих каналах.

Пропала не только она. Онемел, ослеп и оглох весь эфир. Еще минуту назад он говорил на десятках языков, шумел, пел, грохотал барабанами, что-то требовал, доказывал — и вдруг повисла полная тишина. Полная, если не считать эфирных потрескиваний, которые заставляли Анну каждый раз вздрагивать: вот сейчас прорвется лавина радио, вот сейчас Санни доскажет о своем романе с красавцем из Албены. Не прорвалась, не досказала.

Анна сутками не отходила тогда от приборов, сканировала голубоватую поверхность Земли, пыталась достать до атмосферы внезапно утраченной планеты зондами, чтобы хотя бы попытаться понять, что же такое приключилось на ней, но все было напрасно — Земля молчала. Как будто не было ее. Но она была — огромная, тяжелая, недоступная. Не пришел корабль за сменившейся командой станции, не прибыл очередной рейсовый челнок, а главное — они так и не дождались цистерны с горючим. Не дождались Санни. На станции, рассчитанной на десять человек, собралось семнадцать. Была надежда, что по графику придут аварийные ракеты с топливом, продуктами, кислородом, приборами и оборудованием; они всегда стояли на старте и в случае непредвиденных обстоятельств были рассчитаны на автоматический запуск. Ракеты не пришли. Никто не паниковал, но никто больше и не смеялся. Тогда они уселись за расчеты: хватит ли оставшегося топлива, чтобы всем семнадцати вернуться в модуле, который доставил очередную смену на Луну? Компьютеры бесстрастно ответили: могут рассчитывать с восьмидесятипроцентной вероятностью на безаварийный старт, полет и посадку семеро человек, девятеро имеют половину шансов, если отправятся десятеро — сгорят над Землей.

Сразу родилось несколько идей. Первая: отправить женщин. Но таковых оказалось одиннадцать. Алеша мрачно пошутил: будем выбирать к отправке по релевантности или по возрасту? Или проведем конкурс «мисс Обреченность?»

Вторая: отправить только мужчин: они скорее разберутся в том, что произошло, и вернутся с помощью. Женщины не согласились: каково оставаться одним на холодной, безжизненной Луне?

— Может, на Земле-то теперь ничуть не лучше? — сказал кто-то, и возражений не было.

Третья: уходить всем. Горючего хватало для того, чтобы попытаться добраться до одной из орбитальных станций, там дозаправиться и оттуда уже добираться до Земли, или ждать помощи там. И хотя связи с орбитальными станциями тоже не было, предполагалось, что это происходит из-за неполадок на земных ретрансляторах. Но нашлись противники и у этого плана. Они говорили: случись какая-нибудь авария, и никто, даже чисто теоретически, не сможет прийти на помощь, никто и никогда не узнает, что случилось с ними.

Алеша с Анной и Лэндон с Сюзи стояли за то, чтобы никуда не лететь. «Всех запасов нам хватит примерно на четыре года, — говорили они, — за это время вполне можно попытаться наладить автономное обеспечение станции кислородом, водой... Тяжелее будет с продуктами, но в лаборатории есть семена злаковых, овощных; можно отвести под оранжерею весь верхний этаж...И вполне возможно, что к тому времени о нас на Земле все-таки вспомнят...если там есть кому вспоминать...»

Всерьез этот план не принял, кажется, никто. «Овощи-то нужно выращивать в грунте, в крайнем случае, на гидропонике... Ни того, ни другого у нас нет, да и воды для полива тоже...»

Дни шли, рождались новые варианты, тут же отвергались, в глазах у людей появилось странное выражение — так, наверное, смотрят вслед поезду, на который так торопился, но опоздал.

Модулем и его экипажем командовал Кватро, но экипаж станции возглавлял Исаков, отдельная группа ученых номинально подчинялась Лэндону, поэтому отдать хоть какой-то приказ было некому. В каждом углу станции собирались, распадались и собирались уже в иных составах нервные группы и группки совещающихся, обсуждающих, отвергающих. В коридорах и переходах станции стали появляться пустые бутылки из-под водки. Спиртное хранилось только на продуктовом складе, значит, кто-то сумел подобрать коды замков, и это было тревожным сигналом. Анна сменила коды, а на другой день обнаружила, что кто-то пытался взломать двери.

В тот же день вечером в своей комнате нашли тело оператора бурильной установки Найта; он вколотил себе в череп титановую заклепку из строительного пистолета.

И сразу на станцию вползло отчаянье; оно давно подбиралось все ближе и ближе, его пустые глаза и раньше смотрели из каждого угла, а теперь оно заняло все пространство, прилипло, как потная одежда, к телам, заморозило души. Вслед за Найтом как-то странно умер сетевой администратор Франц —

не то перебрал снотворного, не то перепутал таблетки — никто не стал вдаваться в подробности. Анна только занесла в бортовой журнал дату смерти. Скорее по инерции, чем из необходимости. Для Анны становилось все яснее, что им никогда отсюда не выбраться. Никогда. И рано или поздно в купол станции попадет крупный космический камень, и отремонтировать этот дом будет некому.

После того, как бортинженер Линор стала спрашивать у всех, где выход в сад, Кватро не выдержал:

— Завтра уходим, кто со мной — утром быть на старте!

Никто не произнес ни слова. Утром пришли все, но только девятеро облачились в скафандры. Обнялись:

— Мы вернемся! Обязательно! Дождитесь нас!

— Возвращайтесь! Прощайте!

— Прощайте!..

На второй минуте полета ракета взорвалась и распалась на тысячи сверкающих в земном свете осколков. В тот день Анна плакала в последний раз, не в силах отогнать от себя мысль, что девятеро в скафандрах просто убили сами себя.

Их осталось шестеро. Потянулись дни, недели, месяцы. В пустых коридорах и переходах станции вдруг стало жутко, все время хотелось обернуться; на дверях обитаемых отсеков Анна заметила электронные замки. Все чаще оставшиеся на лунной станции не отвечали на радиовызовы друг друга. А совсем недавно она обнаружила, что исчезли все резервные баллоны с дыхательной смесью, выкачан воздух из одного из дополнительных резервуаров. Кто-то запасался воздухом надолго. За счет других. Она не стала выяснять, кто решил прожить дольше всех, подумала: «Разве это имеет какое-то значение?» — и испугалась своей мысли. И внезапно поняла, что мысль эта — самая главная на станции. Совершенно все не имеет значения. Если оно лишено шансов на продолжение — оно бессмысленно. А бессмысленное — суть безумное... Скоро и она сойдет с ума, или?.. Или?

Что-то доселе незнакомое, щемящее-притягательное, теплое всколыхнуло ее... Неужели?..

Алеша взялся было за наладку кислородного генератора; о необходимости производства дыхательной смеси на месте говорилось давно, но пока считалось, что проще доставлять кислород с Земли, и сооружение генератора шло черепашьими шажками. Однако вскоре Алеша перестал ходить в агрегатный отсек.

— Невозможное невозможно, — сказал он. — Даже если мне удастся запустить машину, для ее работы не хватит энергии всей станции... А откуда возьмется сырье?..

Она обняла его:

— Милый, милый...

Хотела сказать «Только не падай духом!», но промолчала. Он стал много читать, потом взялся пересматривать видеотеку — ему нравились исторические ленты. На экране перед ним почти беспрерывно мелькали крестоносцы, викинги, римские патриции. С некоторых пор стал отпускать бороду, и не сразу она поняла, что ему просто не хочется бриться.

Сюзи все чаще не выходила к завтраку, а иногда и к обеду. Антон, не расставшийся прежде с портативными шахматами, забросил их.

— Попал в вечный цейтнот, — объяснил он. Его постоянному партнеру Исакову ничего не оставалось, как играть с компьютером без шансов на успех. Даже к ничьей он не сумел свести ни одной партии. Как-то, проиграв в очередной раз, он встал, откашлялся, словно собирался произнести большую речь, огляделся вокруг — все ли видят? — и ударом кулака разбил монитор. Поранил руку, кровь залила клавиатуру; он, не обратив на это никакого внимания, вторым кулаком вдребезги разнес клавиатуру. Только после этого сказал:

— Вот так!..

Как-то к ней постучался Антон, затеял разговор:

— Венец творения, созданный по образу и подобию, наступил на косточку от вишни, поскользнулся, упал и умер... Или каша пересоленная была, да не в то горло попала — и готово!

— Не хорони его так скоро! — ответила Анна. — Ты же ничего не знаешь. Может, что-то с радио?.. Мощная магнитная буря...Солнце чрезмерно активное...

Он махнул рукой:

— Ты не хуже моего знаешь, что Солнце спокойно, никаких бурь... Наша внутренняя связь работает как часы, компьютеры регулярно обыгрывают меня в шахматы... Не обманывай себя: Земли больше нет.

Она инстинктивно подняла голову к потолку:

— Как же нет, она над головой?

Он тоже посмотрел наверх:

— Это не наша Земля... Просто незнакомая планета, не подающая признаков жизни... Не знаю, что случилось, но она мертва. Все приборы просто вопят об этом. Ночью в городах нет света, в атмосфере снижается содержание углекислого газа, что вполне возможно происходит от остановки всех автомобилей, заводов, кочегарок... А визуально заметно — полюса затягивает странная зеленоватая дымка... Что это? Ты видела?

Она увидела дымку давно. Сначала не придала значения, так почти незаметна была она в переменчивых красках близкой Земли, а потом направила на нее всю мощь анализаторов станции. Даже запустила последний зонд. Приборы не отметили никаких существенных изменений. Дымка становилась все плотнее, покрывала все большие участки, ползла по шапкам полюсов, как небывалая саранча.

— Если приборы не фиксируют эту ползучую мерзость, это означает только одно — мы столкнулись с что-то неизвестным... Ни мы, ни наши приборы не знают, что это такое... И это неведомое покончило с жизнью на Земле...

— Но мы пока живы, — сказала без особой уверенности Анна.

— Пока, — сказал он, и, вдруг, наклонившись к самому ее уху, горячо зашептал:

— Доигрались!.. Все к этому шло... Когда говорят «бесконечность», то воображения не хватает объять ее, как же можно без края? Произносят «смерть», то есть конец всему в тебе, и ты тоже отказываешься принять это... Так и живем посередине между бесконечностью и смертью, обманывая себя тем, что человек конечен, а человечество будет всегда. И как червяки в яблоке пожираем свою вселенную, гадим в ней, вертим норы, тщась забраться туда, где нам кажется послаще, называем это постижением мира, придумываем небылицы о нравственности, бессмертной душе, но не останавливаемся — изо всех сил прогрызаем новые ходы, и не хотим замечать, что яблоко-то давно сгнило... И вот оно летит с ветки наземь, где на него сейчас наступит равнодушный сапог садовника — к чему ему гнилье?.. И все...

— О чем ты, Антон? — изумилась она.

— Мы сами себя убиваем, мы сами придумываем правила всех игр...

— Может быть, я позову Алешу? — предложила она. — С ним будет интереснее обсуждать эти проблемы?

— Причем тут Алеша? — закричал он. — Наконец мы готовы к постижению бесконечности... Значит, долой середину, прочь придуманную нравственность! Нас осталось четверо мужчин и две женщины...Мы можем стать прародителями нового человечества!

Она не удержалась, захохотала. Вот оно что! Такое пышное предисловие к такому простому содержанию!

Антон обнял ее, прижался губами к ее щеке:

— Давай, давай... Что еще нам остается?..

Она с силой оттолкнула его, он ударился плечом об приборную стойку и как будто пришел в себя. Потер ушиблен-

ное место, обронил «извини» и ушел. Она ничего не сказала Алеше, вообще никому, но, может быть, зря. Месяца через два к ней пришла Сюзи; перед этим она не показывалась недели три, что никого больше не удивляло: оставшиеся встречались все реже и реже, они и сами толком не могли объяснить, почему так неприятны им встречи с другими членами экипажа. Поневоле сталкиваясь иногда в длинных полутемных переходах, коридорах, они неизменно вздрагивали, как будто не предполагали, что здесь хоть кто-то еще может быть. Одиночество обволакивало их словно саваном.

Сюзи попросила спиртного. Жадно выпила полный стакан вина. Потом захотела сигарету. Сосредоточенно дымила минуты три. Потом сказала:

— Ты знаешь, у меня роман с Антоном...

Анна подняла на нее удивленные глаза:

— Что?..

— Мы полюбили друг друга, ты можешь это понять?

— Думаешь, мне непременно нужно это понимать? — разозлилась она.

— Антон сказал, что тебе будет это интересно... ведь у вас с ним тоже были определенные отношения.

— Определенные? Кем? — Казалось, что Сюзи шутила, и вот сейчас она встряхнет кудрявой головой, захохочет и, может быть, спадет давно навалившийся на душу камень.

— Что нам осталось, что? — сказала она с интонациями Антона. — Мы — последние люди...

— А как же Лэндон? — спросила Анна, не удержалась.

— Он уехал, — коротко ответила Сюзи.

— Куда? — изумилась Анна.

— Я не стала спрашивать... Но мне показалось, что он очень расстроен...

— Что ты говоришь, Сюзи? Ты слышишь свои слова? — попыталась она пробиться к ее рассудку, но должно быть последние его крупицы уже покинули ее. На губах Сюзи блуждала странная застенчивая улыбка, почему-то казалось, что она изо всех сил старается быть похожей на невесту, и ей это удается.

«Наверное, Бог лишает нас рассудка, чтобы мы не могли осознать весь ужас катастрофы, чтобы смягчить эту невыносимую боль», — подумала Анна.

— Мы хотим оформить свои отношения, — сказала Сюзи. Анна схватилась за голову и бросилась в шлюзовой отсек — как же она не догадалась заблокировать его?

Ее худшие опасения подтвердились: скафандра Лэндона на месте не оказалось. Датчик показывал, что с момента последнего шлюзования прошло двадцать часов; запаса дыха-

тельной смеси в скафандре могло хватить в лучшем случае часов на восемь... Даже если предположить, что Лэндон смог воспользоваться запасами воздуха в луноходе, то выходило, что в его распоряжении осталось не более двух часов. Она попыталась связаться с Лэндоном по видеофону, он не отвечал, она включила обычный передатчик — в нем было только привычное потрескивание.

Она не стала долго размышлять, бросилась к ячейке со своим скафандром, облачилась в серебристый защитный костюм, причем ей хватило на это пяти минут, хотя обычно на эту процедуру у нее уходило не менее получаса. Она вышла на поверхность и только тогда подумала, что не уверена в том, что никому на станции не придет в голову заблокировать шлюзы. Анна даже не испугалась, только ускорила шаг. Вызвала по видеофону Алешу, постаралась спокойно рассказать ему, зачем она вышла на поверхность. Он испугался, она этого опасалась, но вообще не поставить его в известность она не могла.

В ангаре, где стоял луноход, никого не было, но исчез из машины и запас дыхательной смеси. И это ее немного воодушевило. И тут она вспомнила о старом аварийном модуле, который с незапамятных времен стоял на заброшенном пусковом столе; там когда-то проводились какие-то испытания, кажется, пытались проверить, сколько времени заправленная ракета может простоять в полной готовности. Ракету с одноместным модулем установили на стол, заправили, и она простояла лет десять. Потом попытались ее запустить в беспилотном режиме, но ничего не вышло. Что-то там отказало. Испытания с человеком на борту несколько раз откладывали, а потом вообще отменили. А потом проект вообще закрыли, потому, что к тому времени этот тип ракет безнадежно устарел. Стартовую площадку законсервировали вместе с ракетой, пусть еще постоит пяток лет. Но консервация, думала Анна, всегда означает забвение. Так и получилось, модуль торчал в полукилометре от новых посадочных и стартовых площадок, а его как будто и не было. О нем все позабыли.

Еще не доходя до старого старта, она поняла, что Лэндон здесь: перемигивались габаритные огоньки подъемника, кабельная мачта находилась в предстартовом положении. Она попыталась вызвать Лэндона по радио, он опять не ответил. Она добралась до двери стартового бункера, дверь бесшумно открылась перед ней. «Надо же, — подумала Анна, — пятнадцать лет не открывали ее, а она как новенькая! Умели раньше космическую технику делать...» И тут же она поправила себя: «Ни тогда, ни позже не умели... Полагались на авось. Забрасывали людей на орбиты в скорлупках, величали их помпезно «кос-

мическими кораблями», годами держали космонавтов в орбитальных станциях, как узников в тесных карцерах... Впрочем, так было не только в космосе...» Анна с горькой усмешкой отметила, что она давно уже обо всем говорит и думает только в прошедшем времени. Причем, переход этот на глаголы исключительно прошедшего времени произошел в ней совершенно естественно, как само собой разумеющееся. Ну, кончится натуральный березовый сок, будем пить синтезированный, нет больше никакого будущего, будем жить в прошлом...

В бункере приборы показывали, что включен весь комплекс предстартовых проверок. Работала и громкая связь с модулем.

— Лэндон, слышишь меня? — спросила она.

Он молчал с минуту, потом ответил:

— Не слышу...

— Это безумие, — сказала она.

— Конечно, — ответил он. — Мы сумели растянуть это удовольствие на месяцы... Сходили с ума в своих каютах, выли от бессилья в подушки, безнадежность наделяли чертами надежды... ты сама все знаешь... Мы молились, мы богохульствовали, ненавидели то самих себя, то своих друзей, но ничто не могло принести утешения. Потому что утешения больше нет. Потому что мы стоим не просто на пороге гибели, мы все смертны... Мы накануне погибели. Погибели всего на свете... И мы, скорее всего, самые последние частички этого самого «всего на свете»... Поэтому нет больше никакого смысла все это продлевать...

Он помолчал с минуту, она тоже не находила слов, и он продолжил:

— А в моем случае даже какая-то надежда появляется... Вдруг все сработает, через трое суток на Земле окажусь... А там окажется все в порядке, у мамы на окошке герань цветет... Не знаешь, герань красными цветочками цветет?..

— Кажется, красными, — сказала она.

— И потом, ты знаешь, жена меня бросила, полюбила другого... Ты понимаешь, что происходит?..

Она опять промолчала.

— Я объясню, — сказал он. — Это игра в жизнь... А жизнь полна смысла, когда в ней куча глупостей, сумасшествий... Этой игрой мы пытаемся отгородиться от ада, который разверзся вокруг нас, а страшнее всего — внутри нас... Но от этого не спрячешься... Правда, ведь?.. Ты это знаешь, видишь?..

— Лэндон, мне очень жаль, — произнесла она. — Неужели нет надежды?.. Ни самой малой ее частички?

— Оставляю ее тебе, — ответил он. — Проверки завершены, стартую... Прощай!..

Она увидела, как отошла кабельная мачта, огненный смерч ударил из двигателей и ракета, набирая скорость, пошла вверх. «Пусть все удастся! Пусть все...» — повторяла Анна, и корабль легко вышел на лунную орбиту, его стальную горошину она видела на экране.

«Пусть!..»

Через час Лэндон вышел на связь:

— Это я...

— Как у тебя? — закричала Анна.

— Я хотел бы тебе соврать, — ответил он, — но твои мониторы следят за мной. Ты все равно это узнаешь. Маршевый двигатель не запускается...

— Что? Что?..

— Не запускается...

— Там должна быть дублирующая система запуска...

— Уже пробовал...

— Господи! Боже! — глухо произнесла она, он стал успокаивать:

— Через двенадцать часов попробую еще, как раз точка будет удобная для старта, а пока поковыряюсь в электронике...

Она знала, что в капсулах этого типа космонавт только статист, программа полета закладывается еще на старте и ее практически невозможно изменить. Она сказала кратко:

— Пусть все удастся...

Через двенадцать часов Лэндон сказал:

— Вот и все...

— Получилось? — закричала она.

— Нет, — ответил он. — Ничего не поделаешь...

Глупо было утешать его, предлагать попробовать включить двигатель еще раз, но еще глупее было молчать. Она же молчала, и он не окликал ее. Потом сказал:

— Я потерял спутницу, зато сам стал спутником... навечно.

Он не преувеличивал: на этой орбите его металлическая тюрьма сможет вращаться вокруг Луны столетия.

Еще он сказал:

— В сущности мы в одинаковом положении... Только я в космосе. Дыхательной смеси у меня почти на месяц, туб с едой еще больше, так что даже останется...

Она отправилась к Антону. Он долго не отзывался, потом сказал по громкой связи:

— Я занят!

— Чем? — спросила Анна.

Он молчал с минуту, наконец, произнес:

— Почему мы все сошли с ума?..

Еще через минуту:

— Нужно обязательно найти ответ на этот вопрос... Он многое поможет понять... Ты ведь тоже?..

— Что «тоже»?

— Сошла с ума?..

— Ты открыть дверь не хочешь?..

— Нет, — ответил он после раздумья. — Может, это вирус такой завелся? Сумасшествия? Я опасаюсь заразиться.

Анна хотела сказать «ты уже заразился», но пожалела его. Позвонила у двери Сюзи. Она тоже не открыла дверь, спросила:

— Кто?

Видеофон показывал ей, кто пришел, но, может быть, она уже не верила электронике.

— Анна...

— Извини, у нас не прибрано...

— Ты что, не одна?..

— Здесь я... — вместо нее откликнулся Исаков. — Прости... Мы не откроем...

— Лэндон ушел на старой ракете, — только и сказала она.

— Нам всем скоро уходить...

— Маршевые двигатели не включились, он стал спутником Луны. Запас воздуха на месяц...

Исаков вышел из отсека Сюзи, плотно прикрыл за собой дверь. Потухшим взглядом долго изучал ее, вымолвил:

— Странно даже... Ты как будто нормальна...

— Не слишком ли много говорится здесь о сумасшествии? — спросила она.

— Когда кончается страх, его место занимает безумие, — ответил он.

— Неужели ничего нельзя сделать для Лэндона? — спросила она. Исаков пожал плечами:

— А можно что-нибудь сделать для всех нас?..

Он вернулся в отсек, и Анна услышала через открывшуюся на секунду дверь, как зашлась в рыдании Сюзи.

Анна опять вызвала Лэндона:

— Захотелось услышать твой голос...

— Да?.. Тогда слушай:

О, как же я хочу,
Нечуемый никем,
Лететь вослед лучу,
Где нет меня совсем...

— Мне очень жаль, Лэндон, — сказала она.

— Ничего... — откликнулся он.

— Мне нужно понять... — начала она.

— Исчерпаны ли были все возможности жизни? — продолжил он. — И не нам ли — кому-то из нас — выпадет доля новых Адама и Евы?

— Ты научился угадывать мысли?..

— Анализировать поступки... Зачем кто-то сволакивает к себе все дополнительные запасы дыхания, еды?..

Он помолчал немного:

— Не смерти боимся мы все, не только ее... Невыносимо понимать, что после тебя ничего... НИЧЕГО больше не будет... Ледяной космос, мертвая Земля... Никому не нужны книги, написанные тобой, никто не осознает пользы твоих открытий, никто не унаследует твой дом...

И вновь теплая волна всколыхнула Анну. И она перестала сомневаться: так и есть — подает о себе знать ее ребенок. У нее будет ребенок! Она задохнулась от счастья и отчаянья.

— Лэндон, я беременна... Тебе первому говорю об этом ...

— Я никому не проболтаюсь, — мрачно пошутил он, и добавил:

— Бедная, бедная Анна...

С Алешей она пока не стала делиться новостью. Хотя он так хотел ребенка... Прежде... А теперь, когда зарос седой клочковатой бородой, не отходит от киноэкрана, почти не разговаривает с ней?.. Теперь, когда она рассказала ему о Лэндоне, а он только и заметил: «Бывает»?..

Она вспомнила те дни, когда был зачат этот волнующийся у нее в животе ребенок. Это было как раз в те дни, когда взорвалась ракета с девятерыми. Анна с Алешей яростно бросались тогда в объятья друг друга, как будто хотели в наслаждении утишить отчаянье и боль, они занимались любовью ночами и по утрам, и днем Алеша тоже желал ее. Он целовал ее так, как будто хотел прикоснуться к ее душе, она отдавалась ему с неистовством обреченного. «Мы не любили тогда, — думала она, — это называется иначе. Мы пытались задушить в объятьях свой ужас...Что же мы зачали? Что может дать страх, смешанный с отчаяньем?»

«Не думать о скверном!» — приказала она себе, и сама усмехнулась этому слову. «О скверном...» Не скверна, но пагуба...

Каждый день она разговаривала с Лэндоном и отмечала, что день ото дня слабеет его голос, словно ему тяжело произносить слова. Наверное, так это и было. А, может, просто садились аккумуляторные батареи капсулы?..

На десятый день он спросил:

— Ребеночек брыкается?

— Брыкается, еще как!.. — сказала она, хотя до брыкания было еще далеко.

— Здоровенький!..

Потом он сказал:

— На Сюзи я не держу зла... Она больна. Когда-то была моей студенткой и так влюбилась в меня, по уши! Бегала за мной всюду. Я тоже полюбил ее... Наш сын — на Земле... Передай ей, что ничего не изменилось — я люблю ее...

— Хорошо, — сказала Анна. Она поняла, что он прощается.

— А тебе хочу сказать, — продолжил он, — что жизнь каждый день грозит стать смертью, но...но жизнь... не так хрупка, какой кажется... Прощай!..

Анна услышала в динамике легкий хлопок и поняла, что он разгерметизировал капсулу.

— Прощай, — прошептала она.

Двери в отсек Сюзи на этот раз были открыты, она сидела на краешке огромного кресла, как будто ожидала Анну.

— Мне Лэндон звонил, — сказала она. — Он благополучно добрался...

— Да, — ответила Анна. — Добрался.

Сюзи поднялась, зашуршала ткань ее роскошного платья, тяжелая зелень которого была заткана ночными марсианскими цветами.

— В городе, котором я родилась, сейчас весна, — сказала она. — Ты видела, как цветут каштаны?

— Видела, — ответила Анна. — У нас по весне цветут акации — миллионы желтых цветочков, а еще сирень... Не найти было такого дома, где сирень не стояла бы охапками. Какой от нее аромат!..

— Лэндон мертв? — неожиданно спросила Сюзи, и, не дожидаясь ответа, сказала:

— Конечно... Я знаю... Скоро мы все присоединимся к нему...

Анна обняла ее за плечи, шепнула:

— Не бойся ничего... Не бойся...

Сюзи смахнула слезу, попыталась улыбнуться:

— Я еще в прошлую нашу встречу поняла, что ты беременна... Хотя пока совсем не заметно... Глаза у тебя такие стали... лучистые, что ли... Походка осторожная... Я тогда спросила себя, почему среди этого безумия ты одна не потеряла головы? И догадалась: в тебе новая жизнь... Может, и вправду новая, не такая, как наша?..

Анна запрещала себе даже думать об этом, боялась сглазить неистовую это надежду, поэтому перевела разговор на другое:

— Ты так прекрасно выглядишь... Такое чудесное платье!

Сюзи еще улыбнулась:

— У нас сегодня небольшое торжество... Соберутся самые близкие... Вас с Алешей не приглашаем, извини... Ты ведь знаешь эти старые семейные праздники, на них только родня...

— Я понимаю, понимаю... — едва скрыла свое замешательство Анна. «Чего в этом больше, — подумала она, — безумия или игры?» Она заглянула в глаза Сюзи, в их сумеречной глубине отражалась холодная металлическая искорка, не замерзшая ли капсула, в которой проносился над поверхностью Луны Лэндон?

Анна ушла, не разгадав значение этой ледяной искорки. Она вспомнила о ней только через два дня, когда, безуспешно пытаясь вызвать Сюзи по видеофону, сама отправилась в ее отсек. Она позвонила, но никто не отозвался. Дверь была открыта, и она вошла.

Мертвая Сюзи в своем роскошном платье лежала на тщательно застеленной кровати. Рядом лежал со скрещенными руками на груди Исаков. На столике валялись шприцы, ампулы. На полу белел листок. Анна подняла его: «Уходим к Лэндону, — написано было рукой Сюзи, — знаем, что в капсуле тесно, четверым будет неудобно, но потерпим — до Земли всего трое суток полета. Не печалься. Сюзи, Антон, Исаков».

«Четверо?.. — не сразу поняла она. — Почему четверо?» И только когда еще раз прочитала имя Антона, невольно стала оглядывать отсек, ища глазами его самого или его тело. Анна с Исаковым лежали так, что угадывалось между ними место еще для одного человека, но человека этого не было. «Антон сделал им смертельные инъекции, а когда дошло дело до него самого — смалодушничал?» — догадалась Анна.

Она принялась вызывать его по всем видам внутренней связи, по всем каналам. Он не откликался.

«Выйти наружу он не мог, я заблокировала шлюзы, — размышляла Анна, — значит, он на станции».

— Антон, ответь!.. Пожалуйста!..

Динамики молчали.

Тогда она начала исследовать станцию — этаж за этажом, закрывая осмотренные отсеки на кодовые замки. Антона не было нигде...Она терялась в догадках: может быть, он в технических отделениях, но там содержание кислорода понижено, долго не продержишься? Или его занесло на самые верхние этажи, где сосредоточены лаборатории, обсерватория, пульты дальней космической связи? Чем дольше она его искала, тем большая тревога овладевала ею.

После «погребения» тел Сюзи и Исакова в морозильном боксе, Алеша как будто вышел из оцепенения, перестал беспрерывно просматривать фильмы про рыцарей и королей, побрился. Иногда он даже подходил к приборам, что-то записывал в журнал наблюдений. Хотя по-прежнему он почти не разговаривал с ней, Анна стала надеяться, что кризис у него прошел. «Сказать ему о ребенке или пока не торопиться?» — размышляла она, и сама себе не могла объяснить, почему никак не решится объявить ему это. Все внутри ее противилось этому, может, теперь рядом с ней жил не тот Алеша, который когда-то радостно и увлеченно ловил в Урале шересперов?

Но однажды за обедом он спросил как бы невзначай:

— Ты коды от замков записываешь?..

— Нет, на память надеюсь, — ответила она. И насторожилась. Совсем не случайно он спросил про коды. Что у него на уме?

— Не ровен час, забудешь, замков-то вон сколько навесила, — сказал он, старательно не глядя на нее...

— Не забуду, — сказала она. — Замков много, а код один...

И не сразу Анна поняла, что как будто бросила ему вызов. Прежде она часто в качестве кода применяла какую-нибудь дату из их совместной жизни, и Алеша знал это. Долго ее персональным кодом были инициалы Алеши и день, месяц и год их свадьбы. Теперь она выбрала другую дату и другие инициалы. Должен родиться мальчик, загадала она. И получит он имя — ... Его инициалы, предполагаемый день рождения и стали кодом.

— Где же Антон? — сказал Алеша, и она удивилась его многословию. — Может, мне поискать его? Ты хорошо смотрела в заблокированных отсеках? Может, посадила беднягу под замок?..

Он даже попытался улыбнуться, но такая мука обозначилась на его губах, что она поняла — он что-то задумал. И она решилась.

— Алеша, — сказала она, — У нас будет ребенок...

Он посмотрел на нее пристально, словно хотел проникнуть взглядом туда, где находился этот ребенок, но, судя по его недоуменному взгляду, ничего не разглядел, и, задумавшись на минуту, продекламировал:

Во вселенной наш разум счастливый
Ненадежное строит жилье,
Люди, звезды и ангелы живы
Шаровым натяженьем ее.
Мы еще не зачали ребенка,
А уже у него под ногой
Никуда выгибается пленка
На орбите его круговой.

И Анна поняла, что мозг Алеши больше не может воспринимать ничего, что не относится к катастрофе. Она ужаснулась, пытаясь представить мир, в который помещает его теперешнее сознание: черное одиночество, пустота, ледяной огонь и тоска, бесконечная, как мертвый космос...

Однажды ночью она проснулась от легкого шелеста страниц. Алеша сидел за письменным столом и при свете крошечного фонарика просматривал ее личный экспедиционный дневник. Она поняла: он не поверил ей и ищет записи кодов.

— Алеша! — окликнула она его.

Он едва заметно вздрогнул, повернулся к ней.

— Пойми, — сказал он, — ведь по сути дела ты посадила меня под домашний арест. Большинство отсеков заблокировано, кругом кодовые замки... Разве тебе поручены были полицейские функции? Разве ты завхоз?.. А где тот консилиум, который вручил тебе диагноз, согласно которым ты всех нас объявила сумасшедшими?.. Всех, конечно, кроме себя... А я не хочу, не могу жить в этом ошейнике... Как не захотели все прочие — Лэндон, Сюзи, Исаков...

— Ну и что ты хочешь? — спросила она, и тогда впервые у нее промелькнула смутная мысль о титанитовой цепи, которой скрепляли контейнеры в грузовых отсеках ракет.

— Свободы выбора, — ответил он. — Это ты понять можешь?..

— Свобода в тюрьме — это свобода умереть, другой здесь не дано...

— Но ее я должен выбрать сам. Сам!.. Цепляться ли изо всех сил вместе с тобой за возможность оттянуть неизбежное, каждый день подсчитывать, сколько же осталось макарон, консервов, квашеных огурцов и замирать от ужаса, переворачивая каждый очередной листок календаря: все меньше, все меньше, все меньше остается минут и секунд, — или в одно мгновенье избавиться от этого унизительного ожидания... Вот и Антон сбежал, чтобы не жить по-твоему...

— Я найду его, — сказала она. И в ее голосе прозвучала изумившая ее саму решительность.

Она стала спать вполглаза, прислушиваясь к каждому шороху. Алеша старался не делать резких движений, ходил мягко, словно ему хотелось быть невидимым и неслышным.

Анна по-прежнему искала Антона. Однажды ей даже удалось засечь по приборам, что в одном из технических отсеков включался генератор, в другой раз в компьютерном терминале она нашла листок бумаги с какими-то вычислениями. Но, возможно, бумажка там лежала с незапамятных времен. «Он

не смог убить себя, — размышляла Анна, — вряд ли только из малодушия... Неужели и в нем жизнелюбие сильнее ужаса еще невиданного одиночества?.. Или что-то другое?..»

И она искала его.

Взрыв застал ее в библиотеке, единственном помещении, не оборудованном постами с кислородными масками. Пол вырвался у нее из-под ног, ходуном заходили стены, посыпались со стеллажей книги. Первая ее мыслью была: «метеорит!». Произойди сейчас разгерметизация станции — гибель была бы неминуемой. Она бросилась в приборный отсек на верхнем этаже станции. Лифт скрипел, стонал, еле полз. Скорее, скорее! Одного взгляда на панель было достаточно, чтобы понять — никакого метеорита не было, взрыв произошел на нижних этажах станции.

Она облачилась в легкий вакуумный костюм с маской для дыхания, подумала — и взяла пистолет, взвесила его на руке и двинулась вниз по лестнице, отказавшись от лифта. Снизу валили клубы серого дыма, выла одинокая сирена, раздавалось шипение в трубопроводах автоматического пожаротушения. Видимо, важнейшие системы жизнеобеспечения не были выведены из строя.

На третьем этаже у покореженной стены кислородохранилища лежал оглушенный взрывом Алеша. В одной руке у него был ключ от взрывателя. Анна поняла: он пытался лишить станцию самого главного — дыхания. Но слабой геологической взрывчатке оказалось это не под силу. Она приподняла его, он застонал, открыл глаза, прошептал:

— На этот раз не вышло...

— Мы будем жить, — сказала она.

Он закрыл глаза и покачал головой:

— Нет...

Он поднялся на ноги, огляделся, увидел в ее руках пистолет, сказал:

— Ого! Ты вооружена. Защитница жизни.

И, не очень твердо держась на ногах, двинулся в жилой отсек. Оглянулся на нее, помахал рукой, спросил:

— Убьешь, если что?..

И вошел в лифт. Тогда она все решила. Она не позволит ему уничтожить станцию, не даст убить ее и ребенка... И Антона, почему-то скрывающегося от всех, или только от смерти?..

Транквилизаторов, антидепрессантов, снотворных средств в аптечке было достаточно. И в докатастрофные времена они были необходимы. Космос, внеземелье — лучшее место для сумасшествия. Она выбрала самое сильное снотворное, пусть поспит всласть.

Едва вошла в отсек, как Алеша попросил свой любимый натуральный березовый сок. Она тоже его любила.

Он выпил целый стакан, отвернулся, устроился в кресле у киноэкрана, включил римскую жизнь. Легионы маршировали по направлению к Галлии.

Она оставила его, спустилась в грузовой отсек, а потом в механический. Выбрала длинную титанитовую цепь, приварила к ней согнутые полукругом металлические пластины с отверстиями для заклепок, обработала их наждаком — чтобы не натирали лодыжки.

Когда вернулась назад, Алеша спал. Она потормошила его — никакой реакции...

Когда он проснулся почти через сутки, то, как ей показалось, не очень удивился появившимся на ногах кандалам и цепи, один конец которой был намертво прикреплен к металлическим трубам отопления. Простор для передвижения его был вполне достаточным — он легко мог попасть в туалет, к телевизору, дотянуться до компьютера.

Анна боялась взглянуть ему в глаза. Но он спросил спокойно:

— Теперь сидеть мне в цепях до скончания мира — в самом прямом смысле?.. Так тебе спокойно?..

Анна подумала, что, лишив его возможности передвигаться, где ему вздумается, она положила и конец его терзаниям — выбора нет, чего теперь мучаться?.. И действительно, Алеша как будто смирился, ни разу не пожаловался на ее коварство.

Так прошло три недели.

В последнее время она все реже и реже поднималась под купол станции, а когда, наконец, собиралась, то пристально смотрела, как неярким земным свечением озаряются мрачные кратеры, у недалекой гряды черных валунов появляются длинные тени; пыталась рассмотреть в игре света хоть намек на какое-то движение; вот черный свод неба перечеркнула низкая звездочка, у нее в какой уж раз екнуло сердце: вдруг, все-таки ракета?.. Нет, траектория слишком крута — метеорит...

Она проверила и записала показания всех приборов, еще раз взглянула на земные полюса, затягивающиеся таинственной зеленой дымкой, и нажала на кнопку лифта. Однако двери лифта не открылись — кабина оказалась внизу. Кто ее вызвал?..

«Антон? — подумала она. — Наконец-то...»

На настенном табло побежали светящиеся цифры — 5, 6, 7... 11 — кабина поднималась.

Анна невольно подобралась, насторожилась. Подумала: «Хорошо, что взяла с собой пистолет! Почему хорошо?».

Дверь открылась, лифт был пуст.

Она с опаской вошла в кабину, осмотрелась — никого... Странно. Она нажала на нужную кнопку, и лифт пошел вниз. Движение его было бесконечным. Казалось, что скрипел и стонал он больше обычного.

— Давай, давай же! — шептала она. И все же то, чего она опасалась больше всего, произошло. Кабина дернулась, провалилась, но тут же замедлила падение, еще дернулась и остановилась. Табло показывало: пятый этаж. Анна испугалась, и этот испуг холодом разлился по животу.

Она попыталась руками открыть створки дверей, и это ей удалось на удивление легко. Но за створками была узкая темная бездна, где-то в глубине тлели желтые огоньки. Вниз спуститься было невозможно. Она вспомнила кинофильмы, герои которых легко выбирались из сломанных лифтов через верхние люки, посмотрела на потолок: люк был, но как добраться до него?.. Она подпрыгнула и кончиками пальцев достала до люка. Подпрыгнула сильнее, сумела ударить по люку сжатым кулаком. Люк не подался.

Раздался щелчок, включился динамик. Алеша сказал:

— Привет, это я... Удивлена? Наверху все нормально, погода не изменилась?..

— Неужели пилка? — не сдержалась, спросила она.

— Не пилка, а воля к воле... Так бы я сказал...

— Что ты собираешься делать?..

— Долго держать тебя в этой кабине не буду, но часок подождать придется... Пока я все не подготовлю...

— Не решай все один, — попросила она его. — Неужели ты не понял, что у нас будет ребенок?.. Даже если есть один шанс из миллиона, им нельзя пренебрегать...

Динамик выключился.

Она достала пистолет, прицелилась в самый центр люка, выстрелила. Люк осыпался вниз пластмассовыми осколками. Она напрягла все силы, еще раз подпрыгнула, ухватилась пальцами за кромку люка, подтянулась, но только сумела выглянуть наружу: черные тросы уходили вверх, а чуть выше кабины она заметила в шахте дверь. Но как выбраться из кабины?..

Анна подпрыгнула еще раз: нельзя ли зацепить за болты, крепящие тросы, ее одежду?..

На ней был алый комбинезон, на Луне почему-то любили все яркое...

Она сбросила комбинезон, еще подтянулась до люка, попыталась укрепить лямки одежды за болты. Ей это удалось только на пятый раз, когда она, глотая злые слезы, стонала от напряжения. Она уселась на пол кабины, закрыла глаза, произнесла негромко:

— Да, да, да!..

Она не знала, к кому обращала это свое «да!», не знала точно и что оно значит, ей было достаточно не смысла, а твердости в нем заключенного.

— Да!

Она подпрыгнула, ухватилась за комбинезон, подтянулась — и еще, и еще — и через минуту уже стояла наверху кабины. Дверь в шахте была на уровне ее пояса, она без особого труда развела ее створки, оказалась в коридоре пятого этажа.

Она медленно стала спускаться по лестнице: четвертый этаж, третий... Никого. Второй этаж... Пусто. Первый... Алеша сидел на полу у электрогенераторного отсека. «Боже, как много у станции уязвимых мест! — подумала она. — Без электричества не продержимся и пару часов».

Она навела на Алешу пистолет, сказала решительно:

— Поднимайся и медленно отходи от двери в отсек!..

Он словно ожидал ее:

— Ты в таком виде! Соблазнительно для мужчины, просидевшего почти месяц на цепи...

— Отойди от двери! — повторила она.

Он не сдвинулся с места.

— Это блеф, — сказал он. — Ты никогда не выстрелишь, не ты ли недавно говорила, что мы будем жить?..

— Ответь мне только на один вопрос: почему ты так хочешь умереть? — спросила она.

— Потому что я не могу ответить на вопрос: почему я должен жить?

— Но почему и мы должны уйти вместе с собой, почему? Неужели ты не понимаешь, что ты болен?.. Я не знаю, что это за болезнь такая навалилась на станцию, но уверена — это какое-то расстройство психики, послекатастрофный синдром... Попытайся осознать это...

Он поднял руку, и она увидела в ней серебристый пульт.

«Он успел заминировать отсек!» — мелькнуло у нее в голове. Алеша направил пульт в ее сторону, нажал на кнопку. Палец Анны на спусковом крючке отреагировал мгновенно, и грохот выстрела перешел в грохот шагов римского легиона: позади нее на стене включился телеэкран с очередной исторической картиной. Анна поняла, что в руках у Алеши был обыкновенный телевизионный пульт. Она пронзительно закричала и бросилась к нему.

— Я выздоровел, — прошептал он. — Но, кажется, поздно...

И он упал...

Как она кричала, как в кровь искусала губы, как прижимала горячий ствол пистолета к обнаженной груди и не смогла еще

раз нажать на курок, как перетаскивала тело Алеши в морозильную камеру, как мертвецки напилась коньяком — об этом она вряд ли станет рассказывать сыну, когда он родится, подрастет. Да и было ли это? Было?.. Когда?

Она перестала подниматься наверх, под купол. Лифт не работал, а пешком преодолевать лестничные марши ей становилось все тяжелее. Да и к чему? Она перестала пить натуральный березовый сок, не включала больше фотопанно с речкой, серебристой дорожкой...

Она разработала себе строгий распорядок дня — подъем, зарядка, завтрак, уборка, работа с приборами, заполнение журналов, обед... — по часам и минутам, и не разрешала себе нарушать его.

Однажды она отметила, что ребенок в ее чреве впервые пошевелился. Точно, точно! Она прислушалась к этому новому для нее ощущению, улыбнулась. Пинается, кроха! Вот еще раз, и еще!..

Тогда она вспомнила об Антоне, скрывающемся в недрах станции. И опять начала его искать. Ей даже показалось, что его обнаружение — непременное условие жизни брыкающегося в животе ребенка. И ее собственно. Найти! Найти! Пока он не натворил непоправимого!..

И она искала. Методично, не спеша... Времени у нее было много. Запасов им хватило бы еще надолго, очень надолго, ведь их так мало... так немного... не очень много...

Боже, но куда же запропастился этот человек?

Куда человек подевался?

Над прозрачным куполом станции таинственно мерцала Земля...

Астана, 1 мая 2007 г.

СТАВКА ПО МАКСИМУМУ

Как-то зашел Бокаушин в карточный домик, ему крикнули вслед: смотри, дескать, втянешься, а он только рукой махнул в ответ: за меня не боись! И, конечно, вляпался. Заболел, аж в глазах темно. Из дома, само собой, старался особенно не тащить, но каждую свободную копеечку, которая прежде на доброе дело шла — на чулки Динке, на коробки конфет «Бобруйский зефир», в крайнем случае — на портфейное, проигрывал в пух и прах каким-то электрическим колесам.

Новая, послесоветская власть чуть не на каждом углу поставила эти карточные домики; в них и рулетки были, и покерные столы, но Бокаушин пристрастился к игровым автоматам. В этих здоровенных ящиках, похожих на кассовые аппараты, было натискано огромное количество денег. С утра и до утра, без выходных дней и праздников, без всяких учетов и санитарных дней, люди приносили в эти самые кассовые аппараты свои кровные сотенки, у кого водились — то и тысячи, и аппараты без устали поглощали эти деньги, и Бокаушин думал, что потому в мире и не хватает денег, что они затрамбованы в эти автоматы. Сам он ни разу не выиграл, так, по мелочи случалось, и его знакомые не выигрывали, и его родным и подавно не фартило, тем более, что его родные изо всех сил боролись с казинами. Но вот какое дело, каждый раз проигрывая, он для чего-то записывал в растрепанной записной книжке суммы, которые просаживал автоматам, и дни недели, и даже время. Зачем ему это было нужно, он и сам объяснить не мог. «На всякую случку!», — говорил он обычно. А, может, он рассчитывал со временем посчитаться с автоматами, предъявить им свой счет? Вообще, он взял за моду записывать всякую чепуху, например, разопьет с дружками бутылочку фряжского, и сразу за карандаш: так, мол, и так, 7 ноября по новому стилю бухали. По старому тоже пропустили по рюмочке, всех с ног снесло.

Однажды Динка полистала книжку, распухшую и потрепанную. Не все поняла, потому, что все цифры, буквы, знаки препинания, если они были, перепутались, перемешались, слиплись, как остывшая вермишель в закусочной на углу улиц Фоменко и Нестеренко. Но кое-что разобрала. Долго крутила перед глазами такую запись: «Д. недолго коб.» — и дата. Она поднапрягла память: что же такое могло случиться в этот день? — и мгновенно вспомнила. Это тот самый день, когда у костра... в палатке... А надпись переводится на человеческий так: «Динка недолго кобенилась».

Вот же летописец! Сволота! Она полистала еще и нашла: «Поспорил с Артурчиком на ящик пива, что трхн. Лидку. Пили вместе». Какую такую Лидку он «трхн»? Ах да, в одно время крутилась какая-то прошмандовка, где-то по соседству жила, прибегала чуть не каждый вечер: дайте щепоточку соли, займите полбуханки хлеба, нельзя ли у вас перехватить пятерку до зарплаты? Вот что ей перехватить хотелось... И перехватила...

Паразит, просто паразит...

Володька, а Бокаушина звали Володькой, думал, что рано или поздно наступит день, когда в автоматах создастся критическая денежная масса, нужно только не проморгать этот

день, и тогда только успевай мешки подставлять, да не мешки, а пульмановские вагоны или желтые кузова знаменитых белорусских грузовиков.

В общем, когда он все-таки продал телевизор: а чего им двум стоять, все равно смотреть нечего, хватит и одного маленького на кухне, — Динка пошла в охранное бюро, где служил Володька, — сутки на дежурстве, а двое дома, но он без отсыпу тащился, как бурлак, в казино — на эти самые двое суток, отпущенные ему на ласки жене, на дачные радости с пивом и шашлыком, прополкой картофана.

В охранном бюро она дошла до начальника, которого звали Владимиром Ивановичем. «Тоже Володька, — подумала Динка, — поди, и этот каждый грош к электрическим колесам тащит». Но она спокойно изложила ему свою беду: сегодня телевизор упер, а завтра и комод уволочет, помогите, может, через профсоюз на него подействовать — выговор, или наоборот путевку в те страны, где казинов не бывает?

— Свинья грязи всегда найдет, — грубовато, но очень точно выразил смысл явления Владимир Иванович, — но мысль ваша здравая, можно попробовать вырвать человека на время из этой засасывающей среды.

«Если б он человеком был, так не пришлось бы его вырывать, сам бы понял, — подумала Динка.— Свинья, сволочь, недоделок...»

— В общем, подумаем, чем мы сможем вам помочь, — сказал начальник, мягко выпроваживая несчастную жену.

Она потащилась в свое жилище; шла медленно, еле ноги волочила — так противно ей было возвращаться домой, смотреть в бегающие глаза мужа. А вокруг все было пропитано июнем, цвело все, что могло цвести, даже редька. Молодые люди на улицах сходили с ума, раздавали первым попавшимся девушкам цветы; девушки даже и не догадывались, что цветы эти с клумбы под окнами кабинета высшего городского начальника, которого возили в длиннющем черном «мерседесе» с черными стеклами; Динке почему-то казалось, что в этой машине обязательно есть двуспальная кровать, унитаз и биде. Биде — это такая фарфоровая штуковина для баб (на самом деле, все так и было в машине, даже еще и больше — холодильник, а в холодильнике водка и банка с паюсной икрой).

Сумасшедшие ребята с цветами чуть не силком вручили и Динке букет, чуточку, конечно, примятый, но ей и таких примятых букетов отродясь не дарили.

Она так растерялась, что завернула в уличное кафе, заказала себе мороженое — пломбир с молочным шоколадом и бокал красного вина. А почему бы ей себя не побаловать? Один

раз живем! Она выпила вино залпом, заказала еще. Одним махом выпила и этот бокал, а иначе она не умела. Пусть американские или какие-нибудь мальтийские дамочки сосут через соломинку, смакуя букет, а нашим женщинам не до букета, надо за жизнью следить, ведь чуть отвернешься, как она норовит по башке дрыном врезать.

Затеплело у Динки в груди, чувства проснулись, как в молодые давнишние годы, да так проснулись, что она едва не задохнулась. Даже за сердце схватилась.

— Женщина, вам плохо? — строго спросила официантка.

— Нет, мне хорошо! — не соврала Динка. Ей было почти хорошо; она знала, что совсем хорошо не бывает. Иной раз, как будто, поблазнит золотым-серебряным-счастливым, а приглядишься — заплатка на заплатке, долги, которые еще детям достанутся, болезни — одна за другой не переводятся, как долги же, сосед за стеной, сволочь, каждую ночь над женой измывается, а она и стонет, и скулит, и причитает, а забеременеть не может; если бы над Динкой так измывались, так она залетела бы с первого разочка; но никто не измывается — ни Бокаушин, ни сосед, хотя как-то по-соседски намекал, но дальше намеков не пошло. Правда, приходил как-то, просил сотню занять, но она не дура — не дала.

* * *

Она вдруг вспомнила, как у них с Бокаушиным все началось. Он за ней еще со школы приударял, все в кино звал, брал билеты по сорок пять копеек — на последний ряд, а там старался поцеловать ее или будто бы ненароком дотронуться до груди. Она отбивалась, ей и взаправду кино хотелось посмотреть, а он приставал и приставал. Она про него всерьез даже и не думала, тоже кавалер нашелся — руки, как грабли, голова, как помидор недозрелый — с каким-то зеленоватым цветом волос, бугристая. Но однажды, уже после выпускного вечера, всем классом затеялись идти в поход, куда-то к озеру Садовскому. Набрали «танцовщиц» (на этикетках вермута картинка была с танцующими молдаванками) и добрались до озера уже веселыми, как коверные в цирке — сами чего-то кричат неразборчиво, сами же и хохочут, а то слезы фонтаном.

Динка тоже хохотала вместе со всеми над похабными анекдотами, даже сама рассказала один: «Если предположить что нормальный здоровый мужик собирает в лесу за день 5 кило черники, а нормальная здоровая женщина собирает за день 4 кило черники, то это не значит, что если они вдвоем

пойдут в лес, то соберут 9 кило черники...» В общем-то, анекдот туповатый, но Володька ржал над ним, как конь. Проржавшись, сказал:

— В наших краях черника не водится, только смородина...

— Девчата, пойдем за черникой, заодно и ягоды насобираем? — принялись шутить ребята.

— Дураки! — отбивались девчонки, но не очень строго.

Динке тогда нравился один чурбан очкастый из параллельного класса. Его, кажется, Кириллом звали, или Анатолием. Как-то так. У костра, который заполыхал на берегу реки, она сидела рядышком с ним, несмотря на тучи визжащих комаров, и подпевала ему, когда он выводил с надрывом: «...а если есть кто с тобою рядом — не стану долго мучиться, люблю тебя я до поворота, а дальше как получится...» Но чурбан не реагировал, все бренькал на гитаре, и чего они все, которые поют про поворот, про туманы и сырую тяжесть в сапогах, такие бестолковые? Она даже поцеловала его в щеку после очередной песни, дескать, так понравилось, а он потянулся к эмалированной кружке с «танцовщицами», которая ходила по кругу.

Все стали расползаться по палаткам, и вскоре она одна осталась у костра с очкастым. «Вот сейчас он отложит гитару», — мелькнуло в голове. Но тут откуда-то из темноты вынырнул Володька.

— У тебя, вижу, палатка двухместная, а ты один, — сказал он, — пустишь квартиранта? Меня то есть?

Чурбан легко согласился, милее всего ему были песни, он как раз и выводил еще одну: «Если все шагают в ногу, мост обрушивается...»

Володька принялся затаскивать в чурбанскую палатку свой спальный мешок, собирался залечь, тем более что было далеко за полночь, и лагерь давно храпел. А чурбан все пел. И такая ночная лагерная тоска схватила Динку за сердце, что ни пером описать, ни под гитару пропеть!..

— Ну, я пошла спать, — сказала Динка в полуночное пространство, — пока...

Чурбан только кивнул, спасибо, что хоть расслышал. Володька наоборот захлопал крыльями:

— Куда ты торопишься, посиди еще немного, послушай, как человек душевно поет...

И тут она не сдержалась:

— Достали уже ваши песни! Достали! Все только поете про любовь, а любить умеете ли? Умеете?..

— Умеем, еще как умеем, — ответил за себя и за очкастого чурбана Володька. А тот только усмехнулся, прервал на минуту очередной куплет, сказал непонятно:

— Просто мы на крыльях носим, то, что носят на руках...

В общем-то ничего такого он не сказал, но Динку задело.

— Да пошел ты! — сорвалась она, и потянула Володьку за собой:

— В моей палатке тоже есть место!..

Володька взвился как пружина, вытащил назад из палатки очкарика спальный мешок, как вкопанный встал рядом с ней:

— Ну что, пойдем? Поздно уже...

Сколько раз потом вспоминала она эту ночь! Она думала, что вся жизнь ее могла сложиться совсем не так, останься она тогда у костра, рядом с чурбаном. И не оказалось бы в той жизни Володьки, володькиных неудач, всего его корявого существования?

Володька тогда затащил в ее палатку свой спальный мешок, сказал с напряжением:

— Я так сегодня устал...

Она стояла у палатки, не решаясь ни вернуться назад, ни забраться в свой спальный мешок.

— Идешь? — поторопил ее Володька.

— Что ты себе вообразил! — накинулась она на него. — Я забыла совсем, что в мою палатку собиралась Надька...

— Она давно дрыхнет в палатке у Анфисы, — сказал Володька.

— Нет, она сейчас придет, — стояла на своем Динка. — Вытаскивай свой спальник, иди к гитаристу.

Она думала, что Володька примется орать, а он внезапно согласился:

— Сейчас, спальный мешок за что-то зацепился, кажется за твою сумку...

— Погоди, не ворочайся там, как слон, я тебе помогу, — и она нырнула в палатку. То, что он ее обманул, она поняла сразу, еще до того, как он навалился на нее, жадно принялся мять грудь, а зачем тогда лезла в палатку? И потом, ведь у нее никакой сумки и не было? Был рюкзак, а он сказал «сумка», а она тут же купилась? Она отбивалась, шипела:

— Сволочь, сволочь ты!..

А он только стонал от натуги, веером разлетались по палатке пуговицы с ее кофточки; он рванул с нее лифчик, она вскрикнула, попыталась прикрыть грудь рукой, но там уже давно хозяйничала рука Володьки. Она вырвалась бы, конечно, разве Володька справился бы с ней? Но вдруг она как-то странно устала, из рук, всего тела вмиг ушла сила, Динка перестала сопротивляться.

«Уступила? Поддалась? Сама захотела?» — сто раз потом задавала она себе эти, в общем-то, ничего не значащие вопросы, и не могла ответить (могла, еще как могла, но разве хотела?).

Володька аж заурчал от страсти, принялся покрывать ее тело поцелуями, ласкал умело, неожиданно нежно, и где только, стервец, научился? Она услышала как бы со стороны и свои собственные постанывания; все сладилось? А если бы осталась у костра?

Гитарист на утро не проронил ни слова, хлебал из кружки чай, и даже не смотрел в ее сторону. А Володьку просто распирало от счастья, он даже притащил ей прямо в палатку кофе, Динка чмокнула его за это в щеку — он засиял.

И началась жизнь. Она вышла за Володьку, а гитарист так и остался один, никогда не женился, и лет пятнадцать спустя прислал ей на Новый год открытку, где было всего одно предложение: «Как я тебя любил!!!» Она бы кинулась его разыскивать, встречаться, мучиться, бередить память, но непонятно было: гитарист сообщает открыткой о том, что любовь, наконец, прошла и он сожалеет об этом, или наоборот рад, освободился?

* * *

Прожили они с Володькой... а сколько лет прожили? Двадцать два? Да нет же, двадцать семь... Двадцать восемь! Она представила кучу отрывных настенных календарей: День парижской коммуны, День почтовых работников, День международной солидарности трудящихся... Одних только вторников больше полутора тысяч, и где их столько, одинаковых, набралось? А еще унылые четверги, ожидание пьяных пятниц, когда Володька отправлялся с друзьями пить пиво...

Но было, конечно, и хорошее, запоминающееся. В последний год старой власти выиграли в лотерею холодильник. Решили деньгами взять, в Сочи поехать, но тут этой старой власти не стало, а с новой за дела старой не станешь спрашивать. На поездку в Сочи взяли в долг — какие-то большие тысячи, все переживали, что не расплатятся никогда, но помогла инфляция, рассчитала их с ошалевшими кредиторами в полмесяца... В это примерно время Володька попал на защиту демократии в Москве, в августе стоял две ночи на баррикадах у Белого дома. А получилось так: его взяли на работу на какой-то новый завод, который возник на руинах старого, и зачем-то послали в Москву — то ли экономические бумаги выправлять, то ли их подделывать. Он еще не успел доехать до столицы, как новый завод прогорел, и Володька, дожидаясь обратного поезда, болтался по улицам Москвы — и естественно попал на революцию. Рассказывал сначала, что все прошло весело, какие там замечательные собрались ребята, какие стихи прямо

во время революции сложили поэты, какие замечательные девушки помогали революционерам... А потом время прошло, и он ничего не стал рассказывать про это.

Потом как-то Володька бросал пить, и сухим продержался полтора года, его даже мастером цеха поставили, но потом завод закрылся, его продали под снос, рабочих уволили, и Володька продолжил пить. А тут приспела новая зараза — карточные домики...

* * *

Она шла не торопясь, после выпитого вина приятно кружилась голова, и казалось, что все еще наладится в жизни. Да, собственно, оно все налажено, только чуть-чуть подправить надо — там причесать, там постричь, там промолчать, там поплакать тихонечко в подушку — и все станет по-другому...

Если бы она шла быстрее, то сумела бы перехватить Володьку, который как раз в это время с дружками вытаскивал тот самый комод, о котором сегодня вспомнила Динка. Комод этот, они, конечно, далеко не утащили, а загнали прямо во дворе: аптекарша с пятого этажа прикупила комодец — нынче все старинное в ход пошло. Володька с Динкой тоже на пятом жили, но в другом подъезде. Поэтому ребята еще и подзаработали малехо, подрядившись тащить комод в квартиру аптекарши.

Дружки отправились пить, а Володька сделал пару глотков и — в карточный домик.

В домике кругом зеркала, пока идешь к кассе разменивать деньги, отразишься в этих зеркалах сто раз, даже больше. Как будто в кино тебя показывают, как ты шагаешь, а в кармане у тебя сто тыщ, и через минуту хапнешь еще сто, и окружат тебя завидующие джентльмены и нетерпеливые красавицы с сигаретами в мундштуках, похожих на школьные указки.

В домике тебя встречают, как родного, как будто ты не в джинсах, а в смокинге, кричат навстречу:

— Делайте ваши ставки...

— Играйте на максимальную ставку!

— Джек-пот сегодня — сто миллионов, выиграйте сто миллионов!

Но сегодня не увидел Володька истинного радушия в глазах челеди карточного домика, а затаенную тоску. Электрические выигрывательные колеса вращались, поглощали деньги; скользили официанты, разносившие бесплатную водку — утешительную; загадочно улыбались женщины, — все было, как

всегда, но как будто больше стало обреченности в этих сверкающих залах, и как будто совсем пропала надежда, которая прежде сидела иногда неподалеку от бара за шатким, залитым вином столиком.

— Что случилось? — встревожился Володька. — Свиной грипп?..

— Хуже. Закрывают нас, — хмуро обронил некто, облаченный в золотую ливрею. Или позолоченную, но все равно красивую.

Володька поначалу не придал значения этому сообщению: ну, подумаешь, закрывают одно казино, так их ведь без счета — на каждом углу.

— Не унывай! — сказал он ливрееносцу. — Я комод сегодня продал, старинную вещь, и то держусь молодцом. Только перед Динкой неудобно немного...

— Ты, наверное, не понял, — ответил некто в ливреях, — все казино закрываются. Не будет больше рулеток, не будет покера, не будет одноруких бандитов. Вот твоя Динка-то обрадуется!..

Володьку как громом ударило, а куда же денутся деньги, которыми набиты игровые автоматы? Он подумал даже, что деньги эти теперь будут розданы всем, кто годами тащил сюда свои кровные, но поразмышлял чуток и понял, что такого никогда не было, и, наверное, не будет.

— Как же теперь быть? — растерянно спросил Володька. — Дело не в деньгах, дело в возможностях. У игрового автомата мы все равны, у зеленого стола мы как близнецы, нам всем по плечу поставить на кон последний рубль и проиграть. Мы все здесь каждый день в бою, и отступать нам всегда некуда — на нас смотрит Россия! Мы давно ни во что не верим, и только здесь нам мерещится новый свет. Я видел проигравшихся в пух и прах миллионеров и разбогатевших вмиг голодранцев, нигде счастье не бывает ближе всего к катастрофе, чем здесь. Мы привыкаем ежедневно ходить по краю бездны, над самой бездной, и удивляться, как прочен волосок, который нас удерживает от падения. И даже когда мы срываемся, то успеваем крикнуть: «зеро!» За мгновение до гибели мы верим, что следующая ставка была бы счастливой. Шарик рулетки так мал, и столь много вмещает! Астрономы ищут черные дыры на краю вселенной, а они здесь — катаются по замкнутому кругу — от надежды до надежды...

— Не убивайся так, — принялся утешать его служитель казина, сам несчастный. — Может, оно еще и к лучшему обернется? Кончится игра, начнется жизнь?..

— Ничего уже не начнется, видишь, отыграться времени не дают. Может, как раз завтра я и сорвал бы главный куш своей жизни?..

— Но ведь сегодня есть еще время, вдруг сегодня грянет удача? — спросил несчастный служитель.

Володька только рукой махнул, но к автомату подошел. Он чаще всего играл на этой умной, но уже несколько подержанной машине, в которой должны были сойтись не только семерки, вишенки и грудастые красавицы, но и сверкающие космические звезды; тогда машина должна была сыграть многоголосый марш и выдать выигрыш равный бюджету иной державы.

Завертелись колеса и комодные денежки, притянутые золотым вращением, журавлиным косяком потянулись внутрь машины.

За полчаса он проиграл все.

Не повезло и другим игрокам, пришедшим проститься с казином. Они тоже проиграли. Проиграли все.

Многие, опустив плечи, потянулись прочь из заведения. В конце концов осталось человек пять, Володька, само собой, тоже.

Больше всех горевал человек в черном костюме с бабочкой; о таком костюме очень мечтал Володька. Человек оказался хозяином заведения, и он сказал речь.

— Дамы и господа! — произнес он проникновенно. — Сегодня мы с вами прощаемся. Больше не будет вращаться эта рулетка, совершенное творение человеческой мысли, хотя если задуматься, то, может оказаться, и не человеческой совсем. Не будут сдаваться карты в покере, «блек-джеке», слоты не станут радовать вас возможностью в любую минуту сорвать джекпот... Но я скажу вам, друзья, азарт человеческий непобедим! Непобедим! Как не убита в каждом из нас надежда на чудо, я сказал бы даже — вера в чудо. Нет, не грубый материализм, не сухие цифры властвовали здесь, а живая мечта!..

— Мечта... Мечта... — эхом пронеслось по залам это слово.

— Мы рабы не денег, а романтики...

— Романтики... — опять поднялось эхо.

Кто-то смахнул со щеки скупую мужскую слезу, кто-то прижег горе рюмочкой злой водочки, у кого-то душа ухнула в холодную бездну: чем теперь утешаться? Одной только водкой и бабской жалостью?

— А сейчас, друзья, — еще проникновеннее произнес хозяин казина, — мы хотим сделать подарки вам, последним и самым верным нашим посетителям, да что там — настоящим завсегдатаям — каждый из вас получит по игровому автомату.

— По настоящему игровому автомату! — закричал хозяин в микрофон. — Никто не может вам запретить предаваться любимому занятию наедине с самим собой... Теперь вы можете обрадовать своих родных: все, что вы проиграете, останется в ваших домах...

— Так ведь в каждом аппарате набито по миллиарду, не меньше! — прошептал счастливый Володька. — Просто царский подарок, а Динка все время твердила, что в казине один обман и больше ничего нет. Ошиблась Динка, вот оно что! Бабы — что они понимают в мужских делах?

* * *

Если бы Динка в тот вечер поспешала домой, а не распивала вина в кафе, может все еще бы сложилось в их с Володькой жизни, не рухнула бы эта самая жизнь с высокого яра, не завязалась бы нераспутывательным змеиным клубком. В общем, когда Динка добралась до двери своей двухкомнатной квартирки (комнаты проходные, вагончиком, но площадь внушительная — вместе с кухней 26 квадратных метров, не шутка), на месте комода уже стоял однорукий бандит, и даже штепсель его иноземный был включен в электрическую розетку.

Увиденное так потрясло женщину, что она на минуту потеряла дар речи. Потом тихо, почти шепотом, спросила:

— Что это?

Этот доселе неслыханный от Динки шепот в свою очередь потряс Володьку. И он не придумал ничего лучше, чем спросить у нее:

— У тебя сотенка не завалялась? Для первой ставки? А?..

— Сволочь!.. Га-ди-на-а-а-а-а!.. — наконец, у нее прорвался крик. — Вот же пракудина!..

«Пракудину» она ввернула первый раз, и вряд ли сумела объяснить, кто она такая, эта «пракудина». Или кто такой?

— Попалась же мне в жизни такая мразь, не обойти ее, ни объехать, за что, Господи?

Когда она доходила до Господа, то обычно сбавляла газу. В этот раз тоже громкость в этом месте пошла на спад:

— Лучше бы ты пил! Жрал бы себе бормотуху, дешевле бы обходилось...

— Я могу и бормотуху, — сумел вставить слово Володька. Лучше бы не вставлял, потому, что голос Динки опять набрал силы:

— Насильник!.. Надо было тебя в тюрьму упечь тогда!

Однако, судя по всему, гроза уже уходила, раз она о приятном вспомнила, подумал Володька.

— Если бы ты меня не изнасиловал тогда, я могла бы выйти за порядочного человека! — совсем почти мирно произнесла Динка.

Двадцать восемь лет лежала на нем эта вина, и двадцать восемь лет он отвечал одинаково:

— Ты меня сама позвала!..

— Ты бредишь?

— А потом стонала как!..

— Была бы охота стонать!..

— Еще как стонала!..

И внезапно для самой себя, она достала из сумочки кошелек и протянула Володьке купюру — полусотку. Не стала даже спрашивать, откуда в квартире взялся этот электрический грабитель, ну появился и появился — какой только дряни не притаскивают мужья, хорошо, что хоть мотоцикл не прикатил или не на бронетранспортере приехал прямо в сени. Другие-то вон чего творят! Сосед Мишка привел в дом девицу, сказал жене, что это его сестра, пропавшая тридцать лет назад, а теперь чудесно обретенная. Шел он со смены и около скобяного магазина встретил ее. Вот, а говорят, что так только в телевизоре бывает!..

Мишкина жена, дура, поверила, постелила ей на диване, а посреди ночи проснулась и стала думать: сестра пропала тридцать лет назад, а на вид ей не больше двадцати. Мишкина жена толкнула локтем Мишку и потихонечку спросила у него:

— Сестренке твоей сколько годков было, когда она пропала? Небось большенькая уже?

Мишка зарычал спросонья, такая у него привычка была, и ответил:

— Большенькая, от второго мужа сбежала, егоза!..

— Так ей должно быть теперь за пятьдесят?..

— Ну, конечно!.. — и Мишка окончательно проснулся от мощного пинка любящей супруги.

— А ты кого в дом привел, гад? — спросила она.

— Наверное, обознался, — честно признался Мишка. — С кем не бывает?..

А другой сосед — Петро Мокроус — решил открыть сувенирную лавку, изготавливать, находить для любителей и продавать всякие там статуэтки, бюстики, значки, старинные книги и газеты, открытки с видами несуществующих городов. Решил открыть — и вскорости открыл, правда помещение для лавки пока не снял — дороговато, пока расторгуется, то да се, — а разместил магазинчик у себя на дому. Как прослышал народ, что он всякий хлам будет скупать, весь город пошел к

нему в дом. Оказалось, что хлама у людей больше, чем не хлама. Одних собраний сочинений Иванова (конечно, того самого) притащили восемьдесят три. Бюстов Сеченова (или похожего на него) — тридцать четыре, пожелтевших газетных подшивок с ятями — без счету, а битых, гнутых самоваров, похожих на панцыри псов-рыцарей после ледового побоища, принесли столько, что они не поместились в доме, лежали вокруг курганами, и чудилось, что из-под этих гор сейчас начнет выбираться сам магистр этого самоварного ордена, а за ним и копейщики, лучники, оруженосцы.

Жена Мокроуса была вынуждена уехать с детьми к маме. А продать так ничего не вышло; в городе люди умирали от смеха, прослышав, что он собирается продавать собранный хлам. Почти утиль.

«Мужики — они что малые дети, они без цацек не могут, — размышляла Динка. — Теперь-то на дому будет эта самая хреновина, может, деньги-то в доме и останутся? А как же иначе? Ведь проигрывать станешь самому себе?..

Володька сделал ставку — на всю полусотку. Сказал:

— А чего мелочиться?

Закрутились колеса, заклацала какая-то музычка, и выстроились в ряд пять вишенок.

— Что там, что? — нетерпеливо спросила Динка. — Выиграл?

— Есть немного, — побоялся спугнуть удачу Володька.

— Так бери их скорей! — не понимала она самой сути игры, в которой главным была сама игра. Не ее результат.

— Погоди! — отмахнулся Володька. — Кажись, пруха!..

Он опять запустил колеса, и выстроилось пять апельсинов.

— Пять сотен! — в голосе Володьки прозвучало удивление.

— Бери! — десятикратное умножение исходной суммы для Динки было в первую очередь сигналом к тому, что повезти может раз — другой, от силы — третий, а потом — суп с котом.

— Постой! — завелся Володька и опять нажал на кнопку автомата. Динка зажмурилась, а когда открыла глаза, то увидела, что в окошечках игровой машины выстроились пять золотых пирамидок.

— Что? — ее даже затрясло.

— Десять тысяч! — еле разомкнул губы Володька.

Динка от волнения даже промолчала. Потерла руки и как бы ощутила шершавость денег. Ей нравились новые купюры, хрустящие, аппетитные, но старые, належавшиеся в карманах, кошельках, копилках — потертые, шершавые, тертые жизнью, она, наверное, боготворила.

Их у нее никогда не было столько, чтобы боготворить. Те купюрки, которые ей доставались, мелкие, с загнутыми углами, надорванные, заклеенные, не заслуживали даже простого уважения.

А десять тысяч вполне можно любить. Взвесить на руке, аккуратно сложить — сотенка к сотенке, — перехватить аптекарской резиночкой, и положить в шкатулку, а саму шкатулку завернуть в старый кашемировый платок (почему все кашемировые платки состарились?) и положить в комод... В какой комод? Ведь его, болезного, Володька проиграл вот этому же автомату...

Ей не понравилось воспоминание, и она быстро вернулась к воображаемой пачке сотенных. Три или даже четыре таких бумажки легко можно потратить на хороший ужин... свечи, вино... Не портвейн столовый, а Мерло, а можно и по капельке бренди.

И тут Володька опять — зачем, зачем, зачем? — нажал на кнопку автомата, и снова включились колеса, завертелась безумная надежда в глазах непутевого мужа.

У Динки упало сердце, колеса еще не остановились, а она уже знала: никаких свеч ей сегодня не зажигать.

Колеса наконец перестали вертеться, и автомат заговорил на человеческом языке и по-английски пожелал удачи. Динка поняла, что удачи желают всем, кто проигрывает. Но она спросила, а вдруг:

— А вдруг?

— Пролетели мы, Динка, — скривился в улыбке Володька.

Динка подняла руки и уронила их, как будто хотела что-то взять у себя над головой, а там ничего не оказалось.

— Да, не убивайся ты! — опять попытался улыбнуться он. — Реальных-то денег мы проиграли всего ничего — полусотку.

Он достал из кармана потрепанную записную книжку — ту самую — и записал число, время и год очередного проигрыша. На всякую случку.

Динка смотрела на него, как через залитое дождем оконное стекло, он растекался, расползался по всему стеклу, и никак было не разглядеть его. Никак.

— Дина, не расстраивайся! Не бери в голову, ведь это типа шутка такая была.

— Шутка? — не поняла она.

— Ну, да, шутка. Ты что, всерьез подумала, что в казино мне подарили автомат, набитый деньгами? Он пуст, как барабан! А свою полусотку, думаю, сейчас я вытащу...

— Сволочь! — заплакала Динка. — Какие же вы все сволочи!..

— Я-то при чем?

— Ты всегда ни при чем. С той самой ночи, когда меня изнасиловал!..

— Да не насиловал я тебя, не насиловал, нечего тут придумывать!

— Насиловал, еще как насиловал! Паразит! Измывался!

— Достану сейчас твою полусотку, не ори! — сказал Володька и принялся отодвигать автомат от стены. По его мнению, все секреты автомата должны находиться у него именно сзади, подальше от посторонних глаз.

Действительно, там была пропасть всяких кнопочек, лампочек, окошечек, регуляторов. Светились электронные часы, которые должны показывать и дату, и день недели, и год. Должны были, но не показывали: на табло не было ни цифирки, ни буквочки.

«Странно, — подумал Володька, — можно подумать, что мне кто-то предлагает самому выставить время? Постой, постой!.. Я могу выставить любую дату в будущем, и любую в прошлом...

Володька наобум крутанул несколько регуляторов, на табло выставилась дата — сегодняшний день, автомат отозвался густым гудением, и тут же из монетоприемника выползла купюра — полусотка, которая, казалось, хранила еще тепло володькиных рук.

Он не удивился. И наконец понял, для чего вел запись своих проигрышей, да что там — всей своей жизни, которая уместилась в одной записной книжке. Значит, стоит только установить на этом агрегате дату своего давнишнего проигрыша, и автомат вернет деньги? Может ли такое быть? Выходит, все-таки судьба человеку заранее написана? На каком-нибудь электрическом заводе?

Не удивилась и Динка: давно пора этому электронному обдирале возвращать награбленное, хотя бы не все, а, допустим, половина наполовину. Новую мебель бы взяли... Она вспомнила о комоде, погрустнела. Теперь таких не делают; утрачены секреты комодного мастерства. Такую вещь продал, сволочь! Игрочишка! Некрасов несчастный!

А Володька тем временем — а чего тянуть кота за хвост, принялся листать свою потрепанную записную книжку: ну, Динка, подставляй карманы!

Так, что у нас в самом начале? «18.06.19...» Что за дата такая, в те поры казинов в свободном разливе, кажись, не было?.. Вот болван, ведь это день рождения для чего-то записан. Для чего? Чтобы не забыть?.. Странно... Но уж если записано, пусть останется...

А это что? «21.05...рванул с урока английского, получил по фейсу, Кот — собака!» Пятый месяц — май... Май, май...

* * *

И ему вспомнился майский солнечный денек, когда он спрятал портфель с учебниками-тетрадками в стоявшей во дворе их дома пустой ржавой бочке, и отправился гулять с барышней из параллельного класса, у которой на володькино счастье заболела учительница по математике.

Они вышли на Чагано-набережную, заросшую тополями, вязами, тальником. Все вокруг цвело и благоухало, и не было в городе лучшего места для поцелуев. Барышня из параллельного класса изо всех сил уклонялась от него, но как-то так выходило, что уклоняясь, она как раз и оказывалась в объятьях Володьки. И надо сказать целовалась она замечательно, да и кто весной целуется плохо? Он выбрал для нее самую пышную ветку сирени, и она пыталась найти на ней цветок с пятью лепестками. Известно, если цветок этот съесть, то будешь счастливым на всю жизнь.

И тут появился Кот, он был главный у чаганской шпаны. Как всегда, за ним тащились Батон и Шакал, телохранители хреновы. Троица эта верховодила в шайке босарвоты, как говорили тогда — держала мазу в этих краях, проходу от них никому не было. Они и на Бокаушина задирались, но как бы не всерьез — словечки похабные отпускали вслед, презрительно сплевывали себе под ноги при виде Володьки, но генеральной драки пока избегали — все-таки у Володьки кулаки были железные, и шпана знала об этом. Бокаушин тоже принадлежал к «чаганским», но особо дружбу с местными не водил, был сам по себе — и это злило ребят. Давным-давно повелось здесь, что мальчишки сбивались в стаи — кызылтанские, куренские, мясокомбинатские, затонские... Шайки страшно враждовали между собой, хотя повода особого не было — враждовали, и все тут! Чтобы слыть самой отчаянной, самой многочисленной, самой страшной. Находиться вне стаи было вызовом, и поэтому одиночек ненавидели больше всего.

Бокаушин давно бы набил Коту морду — просто так, чтоб тот знал, собака, кому вслед зубоскалить, — но тот один в город не выходил, а на территории чаганских стоило Коту свиснуть, как из-за каждого забора и плетня вылезли бы его кореша, и тогда только ноги уноси.

И вот Володька оказался во владениях чаганских, так неразумная барышня захотела: ах, там сирень какая густая, ах, там какой аромат! А можно было то опасное место обойти по Пролетарской, там тоже полно сирени. Но барышня заупрямилась: на Чагано-набережную, и точка!

Кот увидел его, да еще с подружкой, обрадовался, аж в ладошки заколотил. Закричал:

— Шакал, шумни-ка пацанов, а мы пока с этим шкафом потолкуем... И с чувихой его покалякаем.

— Беги! — сказал Володька негромко барышне, и той два раза повторять не пришлось — она хорошо знала местные нравы. Она сняла белые лодочки и бросилась бежать. Но, как показалось Володьке, не так проворно, как могла. Должно быть, не хотела выказать свой страх.

— Держи ее! — закричал Кот, но ноги у нее все-таки были резвые, и она в пять минут оказалась у автобусной остановки на Коммунистической. И, конечно, ушла бы она благополучно, но на остановке в этот утренний час не было ни души — должно быть, как раз случилась пересменка. Ей бы пройти еще квартал — другой, но она посчитала себя в безопасности. Но напрасно. И не заметила, как из-за старого понтона, ржавеющего на берегу, вышли двое — в кепочках-восьмиклинках, руки в карманах, в уголках губ тлеющие папиросы.

Володька крикнул:

— Берегись, Настена!

Да, ее звали Настеной.

Но владельцы кепочек уже подхватили ее под руки и поднесли к самому понтону. Об этом ржавом понтоне рассказывали всякое. Кто-то уверял, что здесь воровская малина, и милиция не раз пыталась накрыть блатных, но каждый раз заставала только чадящие керосиновые лампы — «летучие мыши», пустые бутылки из-под белого крепкого, замусоленные карты. Кто-то говорил шепотом, что понтон прикрывает вход в секретную лабораторию, где проводят опыты по созданию искусственного хлеба, причем из такого сырья, о котором даже вслух говорить противно. Но большинство даже слушать об этом понтоне не хотели — бомжатник, чего об нем слушать? Давно пора его в утиль утащить.

Тем временем шпана окружила и Володьку; на подмогу к Коту примчались с десяток чаганских урлаганов.

— Володя! — жалобно закричала барышня. Он кинулся к ней, но рухнул, налетев на подставленную ногу. И тут на него навалились. Он извернулся, сумел подняться, даже попал кулаком кому-то в челюсть, но силы были не равны, урлаганы повисли на нем, как обезьяны, прижали его к ржавому борту понтона.

— Падлы! — рычал Володька. — Попадетесь по одному!..

Кот ударил его под дых, хохотнул:

— Пока попался ты!.. И с чего ты решил, что уйдешь отсюда живой? Затащим в понтон и порежем на шнурки... Ребя, открывай люк!

— А чувиха твоя с нами останется, на хор ее поставим... Мы девушек любим, — добавил, сладко улыбаясь, Шакал. — Скажи, Батон?..

— Само собой, — ответил Батон и принялся шарить на груди барышни из параллельного класса. Та вскрикнула и стала вырываться. Тонкая ткань ее кофточки затрещала, посыпались к ногам пуговицы.

Кот оттолкнул Батона: «Я же сказал, с девушкой руки не распускать!..»

— А что, она недотрога? Да? — захохотал Батон.

— Я же сказал: убери лапы! — рассвирепел Кот.

Батон нехотя отпустил Настену, набросился на Володьку:

— А ты чего глазками сверкаешь, фраер тряпочный? Ишь, какую девку выгуливаешь... Но сегодня ты последним будешь, — сказал он. — Предупреди ребят, чтобы за тобой не занимали.

И он расплылся в улыбке, как параша.

— Ну погоди, сучара! — опять рванулся к нему Володька. Шпана держала его крепко.

— Не дергайся, — сказал Кот. — Девочка, конечно, хорошая, жалко ее, но сидеть за нее никакой охоты нет. Как думаешь, Вова?

— Отпусти ее! — предложил Володька. — У меня деньги есть...

— Откупиться хочешь, да? — вкрадчиво спросил Кот. — И во сколько же ты ее оцениваешь?

— Десятка есть у меня...

Кот захохотал:

— Слышишь, подруга, за тебя десятку предлагают. Литр без закуски! Щедрый у тебя кавалер. Где ты такого нашла, Устя?..

— Нет у меня больше! Подонки! — сказал Бокаушин, а подумал другое: откуда Кот знает, что ее так иногда зовут дома — бабушка, отец?

— Володя, прекрати этот торг! — закричала Настена.

— Я видел, как он на новеньком велосипеде гонял, — сказал Шакал. — Вот пусть пригонит велик, а мы полчасика подождем с девушкой... Пригонит — отпустим чувиху...

— А что, правильно! — согласился Кот и ухмыльнулся. — Давай велосипед! Чтоб через полчаса был здесь!..

Он резко оттолкнул Володьку, добавил:

— К мусорам, наверное, не пойдешь...

Он потянулся, произнес мечтательно:

— Давно на велике не катался!.. Иди, не тяни время... А то хуже будет.

Настена крикнула:

— Не ходи никуда! Не вздумай!..

— Поторопись! — угрожающе сказал Шакал. — Скоро стемнеет... Не мы, так комары у девчонки всю кровь выпьют. Не жидись, фраерок, велосипеды — дело наживное.

Настена всхлипнула, бросила себе под ноги свои белые лодочки, закрыла лицо руками, и так стояла у кромки воды:

— Дураки! Настоящие дураки...

— Чего топчешься, кавалер, — сказал Батон, — иди, пока ветер без сучков. Девушка ждет!..

— Не ходи... — уверенности в ней становилось все меньше.

И Володька пошел.

— Ничего они с ней не сделают! — уговаривал он себя, шагая к остановке. — Кишка у чаганских тонка...

На самом деле, пока таких дел за ними не водилось. Ну, там киоск подломить, утащить пять плиток шоколада, да водки пару литров, угнать мопед — это бывало, но чтобы брать девчонок в заложницы — такого не случалось.

— Сопли еще не обсохли у них! — говорил сам себе Володька, но прибавлял шагу, потому, что все тревожнее становилось у него на душе.

«Сейчас к Витьке подамся, — размышлял он, — ребят знакомых соберем... Настучим по сопливым мордасам!» Но он уже понимал, что придется отдать шпане велосипед. Все прошлое лето вкалывал он на асфальтовом заводе, чтобы заработать на этот велогон — «Турист» — гоночный, с никелированными ободами. Так мечтал он об этом маштаке!.. Фиг им, а не велосипед!

Но он представил Настену в окружении шпаны, и прибавил ходу.

Но, конечно же, сработал закон подлости — Витьку вызвали на работу, какая-то там авария. Володька бросился к ребятам из офицерских бараков, но почти все с утра подались на рыбалку. Но самое главное — на его «Туристе» угнал в Дарьинск Федул-губы-надул, двоюродный брательник. Володька разрешал ему брать велосипед раз в неделю; жена брательника подалась перед родами к матери в село, и Федул мотался туда почти каждый день — то на попутке, то на автобусе, то брал велосипед.

На секунду Володька даже испытал нечто, похожее на удовлетворение: ну, вот, велосипед останется у него! Но тут же вспомнил о барышне, что будет с ней? Ничего хорошего...

С барышней из параллельного класса он закрутил махабат (по-казахски «любовь») в отместку Динке, которая заглядывалась на очкастого чурбана с гитарой. Барышня была длинноногая, носила мини, а ко всему прочему была еще и умна, знала, кто такой Эжен Ионеско, и не делала ошибок в слове «экзистенциализм». Первый день Володьке было с ней интересно, на второй день он даже гордился ею, когда она на чистом английском языке подпевала чурбану «иелоу субмарин...», на третий он готов был ее задушить, когда она стала рассказывать, сколько вилок у них дома подают к обеду. Он бы не стал тратить на нее время, но пацаны, все как один, завидовали ему; на танцах ее приглашали наперебой, но, когда объявляли «белый танец», она звала только Володьку. «Какая девчонка за тобой, дуралеем, бегает!», — говорила ему мать, но он днем и ночью думал о Динке, ну почему он думал о ней?

А Динка тогда вела себя так, как будто Володьки вообще рядом не было. Если брала сигарету, то тянулась с ней к зажигалке чурбана, даже если Володька был ближе, в автобусе она всегда садилась рядом с очкариком, в кино она тоже всегда оказывалась подле этого горе-барда. Время от времени он сочинял песни — про байдарки, горы и нежных девушек, так она первая подхватывала песню, даже если она была никакущая, эта песня, и разносила ее по всему городу, как грипп; что-нибудь типа «Идем на рассвет, придем на закат...»

Володька говорил, что таких песен может написать за вечер дюжину, но Динка в ответ напевала: «Костер догорает, как жизнь догорит...»

Вот почему Володька с барышней из параллельного класса в отчаянье стал бродить по малолюдным улочкам: Чаганонабережной, Вальково-набережной, Буянной и Яикской — от неразделенной любви, от бурлящей весенней крови.

Но любовь любовью, но нужно было выручать Настену. Но как? Он забежал к тете Напие, она нередко ссужала дворовых ребят пятеркой, трешницей, а когда денег не было — поила чаем. В этот раз был именно такой случай, тетя Напия стала потчевать его чаем.

— Спасибо! — сказал Володька. — Мне некогда.

Больше идти было некуда. Оставалась призрачная надежда на копилку, глиняного кота со щербатым носом, в которую время от времени Володькина мать бросала мелочь, каждый раз удивляясь, что копилка не тяжелеет. Как она будет тяжелеть, если Володька давно уже научился с помощью стальной линейки добывать из кота полтинники, двугривенные, а когда повезет, то и рубли?

Он взвесил на руке глиняного зверя: вообще-то, увесистый кот. Орудовать линейкой было некогда, поэтому он расстелил на столе газету и одним ударом молотка разбил копилку вдребезги. Жалко животное, хоть оно и глиняное.

Он собрал деньги, меньше десятки, с такими деньгами вряд ли выкупишь барышню. Он посмотрел на часы: время, отпущенное шпаной истекало, вот уже истекло.

«Да, ничего они ей не сделают!» — уговаривал он самого себя, для чего-то перелистывая учебник по тригонометрии; когда-то между шестнадцатой и семнадцатой страницами он ныкал деньги на велосипед — лучшей копилки в доме не найдешь: тригонометрию ненавидела вся володькина семья. Но сейчас там ничего не было, кроме катангенсов, синусов, косинусов — всей ненужной для жизни чепухи.

Он для чего-то взял и учебник по литературе, в нем жили Пушкин, Лермонтов, Тургенев, Толстой и немного Леся Украинка и Якуб Колос. Денег там не было никогда, и он, конечно же, знал это.

— Сволочная шпана! — бормотал он. — Козлы вонючие!.. Пусть хоть пальцем тронут Настену! Тогда узнают!..

И уже пора ему было идти на Чагано-набережную — бежать, мчаться, лететь на помощь барышне, а по-доброму — так и уходить никуда не надо было, а драться-корябаться из последних сил — хоть до крови, хоть до смерти! А он ушел, просто удрал, уговорил себя, что принесет сюда какой-то выкуп... Нужен шпане выкуп, как зайцу пятая нога!..

Он бросил учебник с писателями, чуть не поголовно бородатыми, и бросился к Чагано-набережной. Пока бежал до понтона, все еще доказывал себе, что Настене блатные недоросли не посмеют сделать ничего плохого. Напугают, конечно, что тоже не очень хорошо, но во всем остальном... во всем остальном...

Ни в понтоне, ни рядом никого не было. Только валялась у самой воды ветка сирени.

— Настена! — крикнул он. — Ты здесь?..

В ответ что-то плеснулось в воде, должно быть, карась.

— Настена...

И тут ему стало страшно. Что случилось с барышней, где она?.. Куда бежать, у кого спрашивать? В милицию? А, может, Настена давно сидит дома и учит английский: a table, a girl, a boy?.. И о чем он поведает в милиции? Что оставил девушку на милость шпаны, а сам пошел с копилкой разбираться? А, может, сперва пойти домой к барышне?.. Он представил, какая буча поднимется, если она еще не вернулась домой... А она, вполне возможно, сидит с подругой в кино...

А, может, ничего и делать не нужно, все само собой утрясется?.. Ведь он, Володька, в общем, ни в чем не виноват. Что он мог сделать один против целой кодлы?

Он обошел всю Чагано-набережную, улицу не короткую, — в надежде встретить опять Кота и его воинство, но улица была

пуста. В отчаянье он попытался было расспрашивать редких прохожих: не видели красивую девушку в светлом таком платье, в туфельках-лодочках?

Прохожие шарахались от него, брали маленьких детей на руки, крепче сжимали в руках сумки.

— Не видели в светлом поплине?..

— Такую красивую...

Время шло, минуты ощутимо бились в часах, как будто просились наружу.

Дело шло к вечеру, когда его окликнула учительница по истории — историчка. Надежда Павловна.

— Ты, наверное, Настену ищешь? — участливо спросила она.

Сердце Володьки оторвалось и полетело куда-то вниз. Ниже низа.

— Она по Почиталинской пошла, минут пять назад я видела ее... — до Володьки не сразу дошел смысл сказанного.

— По Почиталинской? — переспросил он.

— Да, по ней самой. Наверное, в библиотеку пошла, экзамены на носу. Тебе тоже не помешало бы освежить французскую революцию... Ты ведь, кажется, схлопотал пару за восемнадцатое брюмера?

— Схлопотал, — сказал Володька, — но я освежу...

И он поплелся в библиотеку. Настены там не было. У ее подружки — Лельки — ее тоже не было. Сама подружка стирала и была зла на весь свет, а больше всего на Настену.

— Откуда я знаю, где ее носит? — закричала она. — Если бы ты не приперся, то и про тебя бы ничего не знала...

В общем, нехороший денек сложился у Володьки. Надо было не оставлять ее со шпаной, а он оставил, надо было пойти к ней домой, но он не пошел, испугавшись родителей, разговоров, разборок... В общем, завалился спать, укрылся с головой душным шерстяным одеялом, зажмурил глаза, но так и не уснул до самого утра.

Настена утром в школу не пришла.

«Бывает, она на первый урок опаздывает, — уныло надеялся Володька. — Сейчас, небось, кофе пьет, а я всю ночь глаз не сомкнул...»

Историчка вызвала его к доске, вежливо (ведь уверена была в том, что он ничего не учил, ничего не освежал, значит «валила» его прицельно) предложила поделиться своими знаниями о Великой французской революции, в частности о первом консуле республики.

— Наполеон вообще-то был корсиканец, — сообщил Володька.

— Это как-то повлияло на ход революции? — спросила Надежда Павловна. — Ты думаешь, что пресловутая шестая графа грозила немедленной реставрацией?

— Ничего я не думаю, — пробурчал он.

— Трудно тебе придется на экзаменах, — пообещала она ему. — Садись, двойка...

На первой же перемене он отправился в параллельный класс.

— Настена не приходила? — спросил он у Лельки, подружки. Та улыбнулась таинственно. Все знает, но все не расскажет, как истинно посвященная. Дура!

— Похоже, ты ее еще вчера потерял? — сказала она. — От ворот поворот получил, наконец?

— Ты ее видела сегодня? — спросил он, пропустив мимо ушей ее колкость.

— И вчера видела. Мы с мальчишками из пятой школы в «Зарю» ходили, «Анжелику и король» смотрели...

«Врет, дудорга», — понял он. «Заря» второй месяц была на ремонте. А Лелька не могла остановиться:

— Вот какие бывают мужчины, как в этом кино...

— Ну да, — не стал спорить с ней Володька. — В завитых париках, напомаженные...

— Зато культурные... Дарят своим возлюбленным бриллианты и сапфиры... замки и дворцы... А про тебя Настена даже слышать не хочет, насолил ты ей, видать, мощняцки, — Володька понял, что дудорга ни в какие подробности не посвящена, и у него отлегло от сердца.

«Ну, гаденыш, Кот, встретимся еще на узкой дорожке!» — пообещал он неопределенно.

— А чего она в школу не пришла? — все-таки спросил он.

— Говорит, горло прибаливает, вчера мальчишки нас мороженым от души угощали... В кафе «Звездочка» сидели, пару бутылок «Варны» выпили!..

— Не спейтесь! — почти совсем успокоился Володька. — И с мороженым осторожнее, не получите катар верхних дыхательных путей... А может быть, и души отморозите, коли мороженное у мальчишек «от души»...

— Ревнуешь! Ревнуешь! Ревнуешь! — протрещала Лелька и ушла в свой параллельный класс учить химию.

Назавтра Настена опять не пришла в школу. В этот день как раз была контрольная по физике, а потом всем классом переписывали вопросы для экзамена по английскому языку. Кто этот язык придумал: инфинитивы, транскрипции, совершенные времена?.. Разве не все времена совершенные, даже будущие? Будущие особенно? С английским у Володьки был полный завал...

Короче, только на четвертый день, нет, даже на пятый, пошел он к Настене, долго решался перед дверью: нажать на кнопку звонка или придти завтра, или послезавтра, или навсегда забыть свой позор? Наконец, он справился с нерешительностью, но звонок за дверью еле проблеял.

Дверь распахнулась и бабушка Настены встала на пороге.

— Ты звонишь, как интеллигент из тридцать седьмого года, — сказала она. — Я кое-как расслышала... Что ж ты вчера-позавчера не заходил, к экзаменам, что ль, готовишься? Слышала, что ты на золотую медаль идешь?..

Это она так шутила, зная, что Володька в школе не самый главный отличник. «Если люди шутят, то у них все в порядке», — подумал Бокаушин, и спросил:

— Настена поправилась? После мороженого?..

Бабушка изумилась.

— Вчера, слава Богу, была здорова. А сегодня я ее не видела, так же, как и ты, Вова. Настена вчера уехала с родителями в Тамбов, и как я их ни отговаривала накануне выпускных экзаменов не пускаться в такую даль, меня не послушали...

— А когда они возвращаются? — ошалело спросил он, хотя все уже понял. — Когда назад?..

— Они на ПМЖ уехали, слышал такую аббревиатуру? На постоянное место жительства!.. Они давно собирались, а тут как из пушки их выстрелили... Мне не все говорят, да мне все знать и не надо, к чему?.. А обживутся чуток, и я к ним поеду... А ты заходи, Вова. Адресок тебе дам, когда пришлют...

Нет, Бокаушин не огорчился. Ну, если только самую малость. Может быть, он расстроился бы больше: ну, как же так, уехала, и ни слова не обронила, вроде как презрением облила, но тут столько всего навалилось! И выпускные экзамены, и выпускной вечер, и тот памятный поход к Садовскому озеру, где у них с Динкой все завертелось. Так что некогда было особенно расстраиваться, и он все забыл. Ну, начисто все! Года три спустя он получил от Настены открытку, в которой она поздравляла его с днем рождения, так, к своему стыду, не сразу вспомнил, кто такая эта Настена. Тем более что на открытке она написала всего одно слово: «Поздравляю». И подпись. Конечно же, он быстро вспомнил, подумал: «Что же тогда на понтоне случилось? Почему шпана отпустила ее?..»

В игральном аппарате что-то потрескивало, время от времени щелкало и даже булькало, а потом что-то начинало тяжело вздыхать. Может быть, однорукий бандит предчувство-

вал, что придется расставаться с денежками, или горевал оттого, что уже расстался с ними?

Володька заглянул в свою книжку и набрал на табло дату, когда он впервые продул аппарату весь аванс, а Динке сказал, что у него бабки в автобусе вытащили. Автомат затрещал и выбросил из себя тоненькую пачку денег.

Володька даже не удивился, поднял с полу купюры, протянул жене:

— С меня должок, получи!..

В ту же секунды что-то неуловимое произошло в комнате — не то молния сверкнула, не то сосед взялся за свой перфоратор, не то произошло землетрясение, единственное за всю историю степного города — Володька с Динкой зажмурились, а когда открыли глаза, то старинный комод стоял рядом с одноруким бандитом.

— Не может быть! — прошептала Динка.

Володька ей возразил:

— Все может быть. На дивной земле живем... Этот аппарат не просто деньги возвращает, он переносит нас в тот день, когда я их проиграл. Уж не знаю, как у него это получается, может столько он зла натворил, что не выдержала его кремневая совесть, и он обрел способность перебрасывать нас в тот день и тот час, когда наши деньги на самом деле были еще в автомате, и их пока не выгребли жадные руки хозяев казино.

Володька нашел в книжке очередную дату, и опять автомат вернул деньги. Вместе с деньгами вернулись в квартиру телевизор и магнитофон, а потом любимая подольская швейная машинка, а потом ковер, как уверяли — настоящий туркменский, но Володька всегда подозревал, что подделка.

Динка собирала деньги, сваливала в угол ценные вещи: ну, теперь заживем! Оказывается, бывает и от казинов польза. Лаве хранилось, как на сберкнижке. Жалко, конечно, что инфляция солидный кусок за эти годы откусила, но не бывает в жизни совсем уж без дерьма.

И вдруг, как бы помимо воли Володьки, руки его стали набирать на табло часов игрального аппарата почти забытую дату — сиреневый месяц май, берег речки по имени Чаган, старый заржавевший понтон. Разве в тот год он что-то проигрывал? Тогда никто слыхом не слыхал об электрических бандитах. Или все-таки он и тогда умудрился проиграть?

— Что это за число? — спросила Динка, он только махнул рукой, буркнул:

— В этот раз должно повезти больше...

И опять вспыхнула молния, или тряхнула подземная стихия. Они непроизвольно зажмурились, а когда Володька открыл глаза, то Настена ему сказала:

— Наверное, дождь будет... Молнии так и полыхают...

Он посмотрел наверх: там не было ни тучки, ни облачка.

* * *

— Пойдем по Пролетарской, — сказал Володька барышне из параллельного класса. — Там сирени даже больше, чем на Чагано-набережной.

— Конечно, по Пролетарской. Я вообще не люблю гулять на набережной, — сказала она, — там столько хулиганья!

Володька презрительно хмыкнул:

— Видел я эту шпану!..

А про себя подумал: хорошо, что свернули на Пролетарскую, с чаганскими лучше не связываться.

Он обнял Настену, но та вывернулась, и все-таки непостижимым образом ее губы оказались у губ Бокаушина.

— Говорят, что ты за Динкой ухлестываешь? — спросила она.

— Еще чего! — сказал он высокомерно. — Может, она за мной?

Он знал, что Динка нечасто в его сторону смотрит, и настроение у него упало. Он сказал почти грубо:

— Мне говорили, что ты в прошлом году тоже с одним ходила?..

— Не с двумя же! — рассмеялась она.

— С кем? — заревновал Володька. — В прошлом году он мимо ушей пропустил, когда кто-то рассказывал, что она гуляет с парнем из вечерней школы — тогда ему это не интересно было, а сейчас почему-то задело.

— Да это он за мной бегал, — сказала Настена, — но я сразу ему сказала, чтобы он зря время не тратил...

— Кто он? — у Володьки даже голос сел. — Что, секрет?..

— Зачем тебе знать, если у нас ничего-ничего не было?

Он надулся. Она поцеловала его в щеку, потом в губы. Обняла его, прошептала:

— Ты лучше всех!..

Пролетарская улица, действительно так заросла сиренью, что походила на сад. Да и весь город, кажется, утонул в этом цветении, аромат сирени проникал повсюду и кружил головы. Интересное растение: чем больше ломаешь с него веток, тем пуще оно разрастается; и в этих зарослях всегда прячутся лавочки, которые на самом деле должный стоять на автобусных остановках, но почему-то стояли в кустах, почему?

Володька взял Настену за руку и потянул на одну из лавочек. Она не стала сопротивляться, пошла за ним, но в эту минуту ее окликнули:

— Устя!

Окликнул ее Кот, вожак чаганской шпаны, который шел вразвалочку посередине улицы вместе с двумя урлаганами — Батоном и Шакалом.

«Откуда он знает ее домашнее имя?» — подумал Володька, сжимая кулаки: судя по всему предстояла драка. Трое на одного. Наверняка подойдет еще и подкрепление. Блатные всегда берут числом.

И еще Бокаушин подумал: по какой улице — Чагано-набережной, Пролетарской или самому проспекту Сталина — ни пойди, обязательно нарвешься на драку.

— Устя, что же ты забыла наши края! — сказал Кот. — Гуляешь с каким-то барбосом!..

— Ну, ты! — рассвирепел Бокаушин. — Урка недоделанный! Не буди лихо, пока оно тихо!..

Кот почти вплотную подошел к Володьке, процедил сквозь зубы:

— Ты под кого клинья подбиваешь, мурло подзаборное? Горя хочешь?

Володька оттолкнул его, тот отлетел, но тут же вернулся, как мячик от стенки, ударил Бокаушина в скулу. Не очень силен был Кот, но увертлив, подвижен, закален в уличных драках — опыта в этой науке у него было хоть отбавляй. Он ударил еще раз, на этот раз попал в глаз, да так, что глаз тотчас же стал затекать. «Вот дуля будет!» — подумал Володька, и даже усмехнулся.

Но, конечно, было ему не до смеха, потому, что шпана навалилась на него не шуточно. Как и предполагал Бокаушин, ряды чаганских еще умножились. Уж куда-куда, а на драку местные собирались быстро.

Володька отмахивался недолго: заехал Коту в ухо, да так, что тот заохал, разбил нос долговязому блатному, со странной кликухой — Прозрачный, но в конце концов чаганские навалились на него, скрутили, и как он не отбивался, затолкнули его в полузатопленный понтон, что сто лет стоял на Чагано-набережной.

В понтоне гуляло многократное ржавое металлическое эхо и каждое слово и усиливалось, и повторялось, да так, что в ушах гудело.

— Ну, я тебя одного поймаю! — грозил Володька Коту.

— Ага, поймаешь! — усмехался блатной. — Я ждать буду, глаз ночами не смыкать...

— Погоди, тварь! — не унимался Володька. Наверное, жалко выглядел он: с огромным синяком под глазом, с разбитыми губами, растрепанный, в разодранной рубахе.

— Тоже мне, ловила! — сказал Батон. — Это мы тебя поймали, сучонок! Подрежем тебя, как свинью!..

— Ну, хватит уже! — подала голос Настена, которая не испугалась, не убежала, а пыталась вырвать Бокаушина из рук шпаны. — Что вам такого сделал Володя?

— Если он чего-нибудь сделал, то тогда точно порежем! — сказал Кот. — Так, вот скажи, чего он за тобой таскается?..

— Не у тебя ли разрешения спрашивать? — крикнул Володька.

— Именно у меня! — ответил Кот. — А я — не разрешаю...

— Да, кто ты такой? Хозяин дорог, машин, человеков? — насмешливо сказала Настена.

И тут, как будто это не было понятно с самого начала, до Володьки дошло: Кот — это и есть тот самый парень из вечерней школы, с которым в прошлом году гуляла Настена.

Его обожгло ревностью. Ну, пусть бы это был какой-нибудь гитарист ушастый, на которого Динка заглядывается, пусть был бы Борька Шкодин, с которым Володька в восьмом классе выходил «один на один — до первой крови» и они дрались на бывшем Столыпинском бульваре... Кто тогда победил? Кажется, они успели только по разу ударить друг друга, и сразу расквасили носы... Пусть бы это был даже лопоухий Пашин, радиолюбитель, прозванный Детектором, опутавший все крыши квартала антеннами — кто угодно, но только не этот хорек!

Кот презрительно посмотрел на Володьку, сказал весомо:

— Получил по заслугам кавалер! Смотри, следующий раз будешь знать, с кем гулять. А теперь вали отсюда, вытирай сопли... Устя, как ты думаешь, хватит ему на сегодня?..

— Какая же ты сволочь! — сказала Настена. — Десять на одного...

— Да, вот такое я дерьмо! — вдруг сорвался Кот. — Но я у него девчонку не отбивал, и не хожу с ней теперь по всему городу... назло, да?.. И ты хороша, сегодня с одним целуешься, завтра с другим... Мне мозги компостировала полгода, а другой поманил пальцем — и ты бросилась к нему!..

— Володя, он врет все, не слушай его! Не было у нас ничего..., — обернулась Настена к Бокаушину.

Кот злорадно захохотал. Отсмеявшись, сказал негромко:

— Иди, иди, Володенька! Свободен. А мы потом проводим Устю, не беспокойся!..

И опять ревность застила Бокаушину глаза. Он сказал Настене:

— Почему ты мне не сказала? Почему?..

— О чем говорить? — почти закричала она. — Ничего не было... Но даже если и было, то в прошлом году, и тебя это не касается...

Эх, зачем она произнесла эти последние слова? Володька услышал только их. Так, значит, его не касается? Вот, она какая эта Настена-Устинья-Устя! А ведь ему кто-то говорил, что она непостоянная — капризная и неверная.

И так обидно стало Володьке, так горько, а почему — он и сам не понимал.

— Понял, нет? — продолжил Кот. — Тебя это не касается, дергай отсюда, пока ветер без сучков.

— Эх, Настена! — Всю возможную горечь вложил в эти два слова Володька. Потом, спустя много лет он попытается разобраться в том, что же случилось тем майским днем, почему и днем, и ночью думая о Динке, он ревновал Настену, но объяснений так и не найдется. — Эх!..

— Знаешь что, — не выдержала она, — иди ты... иди домой... Не думала, что ты такой.

— А вот думай! — закричал он, и ржавое эхо понтона сто раз повторило: — Думай, думай, думай!..

Он оттолкнул окружавших его чаганских и выбрался из понтона, шпана вслед ему заулюлюкала. Он мгновенно осознал, что произошло нечто такое, что никогда не удастся исправить, что уже невозможно прошагать назад те пять шагов, которые отделяли его от понтона.

Вместо того, чтобы броситься назад, кулаками разбивать свой позор, может быть даже быть убитым, он прибавил шагу. Скорее, скорее!.. У автобусной остановки он обернулся и увидел, что Настена шагает вслед за ним; надежда хоть какая-то оправдаться перед ней загорелась в нем на минуту, но Настена прошла мимо, как будто его и не было тут.

Он окликнул ее, но она не отозвалась. Подошел автобус, совершенно пустой. Володька забрался в его душное нутро, оглянулся: Настена отправилась пешком. «Подумаешь! — прошептал он ей вслед. — Подумаешь...»

Автобус так и шел без пассажиров до самой володькиной остановки, и пустота салона каким-то образом дополнила другую пустоту — в его душе, и еще долго-долго он не мог избавиться от нее.

А через три дня он узнал, что она уехала. А через несколько лет получил от нее открытку с одним всего словом — «Поздравляю!»

* * *

Бокаушин снова полистал свою записную книжку, вот еще одна запись, та самая: «Д. недолго коб.» — и дата. Наверное, на самом деле она «недолго кобенилась». Волнуясь, а чего он волновался? — Володька стал набирать число, год, час.

— Ну что, будут еще деньги? — Динка устала вглядываться в мерцающие окошки автомата; похоже, что этот стальной ящик сейчас примется осыпать их с Володькой денежным дождем. Все-таки судьба улыбнется им? Судьба?..

Бокаушин щелкнул выключателем, и свет фонарика высветил строго отмеренное палаточное пространство, плотно заселенное комарами. «Загрызут! — подумал Володька. — К утру в живых останется только тот очкарик с гитарой, потому, что от его нудных песен даже комары врассыпную. Только Динка одна прилипла к нему у костра...»

Володька ушел от них, стало тошно от этого любовного елея. Его зазвали к другому костру, протянули кружку с какой-то жидкостью — что-то горько-сладкое, приторное, липкое. Он выпил залпом и втянулся в бесконечный разговор о том, есть ли жизнь в космосе. Все сходились на том, что нет, что вся жизнь сейчас, этой комариной ночью, сосредоточена около костров их лагеря, а вокруг на миллиарды километров ледяная пустота. Даже на миллиарды миллиардов.

— Все равно, рано или поздно, будет построена такая ракета, которая сможет летать так быстро, что эти миллиарды будет преодолевать за сутки, и станут люди летать к звездам, как раньше ездили в жесткой плацкарте в Саратов — меньше, чем за сутки, — сказал кто-то.

Другой подхватил разговор; самое время гнать пургу девчонкам у костра.

— Может оказаться, что тамошние цивилизации окажутся более развиты, чем люди, даже скорее всего. Мы при первом контакте можем даже не понять, что перед нами разумные существа.

— Точно! — сказал Володька. — Они — вылитые тыквы. Или — один в один — тушканчики.

— Они кусаются,— космический разговор стал уползать от этого костра, и Володьке стало неинтересно. Если честно сказать, то и про космос ему было неинтересно; все уже давно поняли, что никакого космоса нет и в помине, а есть пустота, которая становится все больше и больше. И перебраться через эту пропасть никто и никогда не сумеет. Так и будем сидеть на

своем бережку, а они, несчастные, — на своем, и никогда не узнаем, жарко ли у них горел костер, удалась ли уха, а если недосол, то он на столе... И останется для нас тайной, верны ли они в любви, смелы ли в битвах, можно ли полагаться на их честное слово...

А они, живущие в других галактиках и даже газовых туманностях, думают ли они столько о нас, сколько мы о них? Таращатся ли всеми семью глазами на звездное небо или проклинают пространство и время, в которых так малолюдно, а, может быть, мы вообще единственные, и каждому человеку на круг выходит по четыре миллиарда звезд, да еще сотен по пять черных дыр достанется, и с дюжину голубых карликов? Космос — это одиночество, космос — это когда все уже спят в палатках, а ты все про звезды, да про звезды...

— Володька!.. — позвали его из ближайшей палатки. — Ты, когда прилетишь с галактики, загляни к нам, расскажешь, чего там интересного есть? Мы будем ждать...

— А на фиг туда летать? — ответил Володька. — Чего мы там забыли в вечных льдах?

— Разве не интересно посмотреть, что там делается? Ведь в космосе миллиарды миров, в самых разных измерениях!

— А чего там делаться может? Сначала попадаешь в бесконечность, а потом видишь — забор стоит бетонный, а на нем написано «Не влезай, убьет!»...

— Какой забор? Что ты несешь?

Володька ответил:

— Ну, где-то должен быть у вселенной край. Вот забор этот и есть край... Надеюсь, вы не верите в эту шутку про бесконечность? Иначе мы вольны предположить еще чего-нибудь вечное... Например, глупость... Космосу мы разрешаем быть бесконечным, а как же со всем остальным?..

— И где же этот забор стоит? — насмешливо спросила какая-то девчонка.

— У моих предков на даче, — сказал он серьезно.

— Дурак ты! — сказала девчонка.

— Согласен, — не стал спорить он. — Еще какой!.. Но я точно знаю, что в любом измерении, на любой самой узенькой улочке — везде не миновать мне встречи с закадычными дружками — Котом и Батоном...

— Кажется, он уже заговаривается, — потеряли к нему интерес палаточные голоса, — какие-то коты у него, батоны...

«Нет, ничего не может измениться, — подумал Володька, — теперь очередь Динки...»

Он взял спальный мешок и улегся у самой воды. Слышно было, как внизу негромко плещется ночное озеро, шумит лиственной неугомонившийся степной ветер. Володька запрокинул голову: вот он космос! Прямо на него неслись десятка два астероидов, бессчетно метеоров. Скатилась с небес крупная — с кулак, не меньше — звезда. Володька подумал: «Надо бы прикрыть котелки крышками, а то такого нападает из этого космоса!». Едва слышно тренькал на своей гитарке очкарик. Обвалился и рухнул в воду кусок глинистого яра; Садовское озеро, как и близкий Урал, точили яры. Словом, свершалось все, что должно было свершаться, и вдруг у Володьки перехватило дыхание, слезы навернулись на глаза, как в детстве, когда плачешь потому, что грустинка на язык попала, потому, что ты счастлив и вовеки не умрешь. А теперь ему хотелось заплакать, должно быть, от своей малости, от того, что в мире так устроено, что он, Володька, должен всегда драться со шпаной, очкарик — играть на гитаре, а Динка — выбирать одного из них, и это нельзя никогда изменить. Будильник кем-то поставлен на семь, и каждый день он звенит в один и тот же час. Перевести стрелки на этом будильнике нельзя.

В высокой траве над яром кто-то шепотом сказал:

— Да тут голову сломаешь!..

В ответ раздалось почти шипение: «Тсссс...»

Володька не сразу узнал голос очкарика, потому что тот всегда пел, и, наверное, никто не слышал, как он говорит в жизни. Да и говорит ли он вообще? Оказывается, говорит, и очень раздраженно. Куда его несет, и кто с ним такой шипящий? Может, донки проверять пошли? Но донки стоят в другой стороне. Странно... Да и потом, кто может идти с гитаристом, еще минуту назад тренькающим на расстроенной гитаре? Динка!

— Эй, голубки! — повысил он голос, и в траве произошла какая-то возня, и кто-то шумно затопал вдоль яра.

— Стойте, зайцы, — впереди яр обвалился, как раз тропинку смыл, — сказал он. — Можете улететь вниз, мало не будет!..

Топот тут же прекратился.

— Да, я Кириллу показывала, в какой стороне Маринкин яр, — сказала из темноты Динка, — он историей интересуется...

Отсвет недалекого костра очертил ее фигуру на фоне черного неба. Не сразу заметен стал очкарик, он выглядывал из-за ее плеча.

— До Маринкина яра отсюда двести километров, — сказал Володька, хотя ему самому не доводилось бывать на месте последнего обиталища самозваной царицы.

Из одной из ближайших палаток дополнили:

— Двести пятьдесят...

— Ну и что же, все равно на берегу Урала, — Динка явно обрадовалась тому, что удалось так хитро повести разговор, что никто не подумал спросить: «А чего вы в темноте бегаете? И от кого?»

— Там огромный клад зарыт... Кому-то посчастливится найти его, — разговор у затухающего костра ненадолго ожил, и лагерь стал погружаться в сон.

— Пора и нам укладываться, — сказала Динка и посмотрела на очкарика. Очкарик посмотрел на Володьку. Володька плеснул в костер остатки давно остывшего чая, костер откликнулся шипением, но не злобным. Было четыре часа утра, и на Бухарской стороне уже угадывалась заря, и костер знал, что его время не рассвет, а ночь. Он свое еще возьмет.

Очкарик явно страдал и не знал, что ему делать. Динка заметила его нерешительность, сказала:

— Тащи свой спальник вот в эту палатку, да и рюкзак не бросай — утром может дождь грянуть. Зальет все твои вещи. Понял?

Очкарик понял, он был парень умный, недаром таскал в рюкзаке целую библиотеку — и стихи всякие, и умную прозу — Иванова, Бунегина, Денежкина, а любимая очкарикова книженция была про солдата Чонкина: днем, когда все ловили рыбу, он сидел на берегу с этим Чонкиным, и много смеялся. Если кто-нибудь спрашивал у него, дескать, чего в книжке такого смешного, если он предпочел книжку рыбалке? Он охотно отвечал:

— Сильную вещь написал писатель, исключительно правдивую и жизненную, когда комическое и трагическое органично дополняют друг друга. Книжка эта всегда со мной — в рюкзаке...

— Какой придурок!..— пробормотал Володька. — Какой я придурок!..

Он дождался, когда любитель Чонкина забрался в динкину палатку, когда сама Динка, буркнув что-то похожее на «спокночь», старательно отводя глаза, тоже залезла в палатку, и только потом он собрал свой спальный мешок, взвалил на плечи рюкзак, не тяжелый совсем, еще раз подошел к костру — последние мерцающие угольки темнели на глазах; нет, не наделает бед этот едва тлеющий огонь. И только потом он пошел в сторону Урала — там была проселочная дорога. Он не торопился, рассвет только угадывался.

Динка все-таки окликнула его:

— Уходишь? Зачем? Кому и что хочешь доказать?.. — спросила она почти равнодушно. — Впрочем, тут до города рукой подать... Пока.

— Пока, — сказал он.

— Смотри, не заблудись! — пожелала она ему

— И ты не заплутайся...

— Что ж, прощай! — последние слова она произнесла с непонятной ей самой горечью. Но он уже не расслышал.

* * *

Автомат поднатужился, и родил еще пачку денег. Впрочем, довольно жидкую. Не пачку — пачечку.

— Это за наши слезы! — не удержалась Динка, складывая потертые купюры в свою видавшие виды сумочку.

— А ты, видать, проиграл раза в три больше, чем мне сказал, да? — сказала она Кириллу. Помолчала с минуту, и добавила:

— А тебя, сколько живем мы с тобой, мне почему-то хочется называть Анатолием. Не знаешь, почему?

— Вот ведь и Володька у меня несколько раз спрашивал: почему мои родители не назвали меня Анатолием? Ему, видите ли, кажется, что я ярко выраженный Анатолий... А что, анатолии какие-то особенные?

— Успокойся! — прервала она его ономастические разглагольствования. — Тебя, во всяком случае, особенным называть не станут. Зануда...Игрочишка копеечный...

А ведь Володька был когда-то в меня влюблен... Впрочем, какой он теперь Володька — Владимир Иванович Бокаушин; к нему через охрану не пробиться!..

Она вздохнула: что было, то прошло. А Кирилл-Анатолий все пытался выудить из автомата деньги. Но больше в нем не было ничего.

Астана, 2013

ТРИЕДИНСТВО

Тайна. Шамбала Иванова. Блэк энд голд
(Черное и золотое)

Тайна

Иванов слагал стихи:

Жизнь ампутирована,
светлой ночью нет ни слова правды,

Ночью зеленой нет ни слова любви,
Ночью мертвой нет ни единой слезы...
Убегает под землю река,
ну, пока!..
Вот легкая, без жестов, рука,
на века...
Колодец тем глубже, чем надежней секрет,
Проживет ли эпоха без бед на обед?..

Он сочинял и прозу, писал от первого лица. Ему казалось, что только так можно полно и мощно выразить то, что внутри него самого. Короткое местоимение «я» всегда представлялось только началом страстного, глубокого монолога, исповеди, сжигающей душу до дна. Писать же от третьего лица — предательство по отношению к самому себе. Грамматические формы второго лица — просто ложь, ничего иного. Нет объекта интереснее «я», уж конечно не «мы».

В рукописи Иванов никогда не ставил значка начала абзаца, ведь тогда заветное местоимение оказывалось бы позади этого безликого, пустого обозначения. Он начинал свои рассказы с описания погоды: «Я всегда забываю, что на улице сентябрь, дождь. Я так свыкся с тем, что нет солнца, пыли...» Или: «Я люблю осень, холодный ветер, непроницаемую дождливую ночь... Мне кажется, что ветер обнажает не только печальные мокрые деревья и полощет выцветшие флаги над государственными домами, — осенний ветер открывает что-то и в моей памяти. Точно, точно, именно в сентябре я встретил Марию...»

По Иванову выходило, что никогда на земле не было ни лета, ни весны — только осень, ожидание зимы. Может потому, что в комнате, где сочинял он, не было окон. Этот узкий, высокий и холодный параллелепипед со скрипучим деревянным полом, был некогда частью коридора огромной старинной квартиры, ныне коммунальной. До революции в квартире жил не то инженер, не то врач, вскоре расстрелянный, и его жена — тоже расстрелянная ради социальной справедливости, и их дочь, успевшая сбежать, кажется в Китай. Во время революции и гражданской войны здесь был какой-то штаб; штабисты любили палить из наганов в высокий потолок, может от тоски, — следы пуль были заметны и теперь. Потом в квартире поселился начальник в сером кителе, с желтым портфелем, но и за ним как-то приехали. В скучные мирные времена сюда заселились четыре семьи — десяток баб в засаленных халатах, чуть меньше мужиков в пижамных штанах и растянутых майках, и не поддающееся счету количество детей — на

трехколесных велосипедах, на горшках, в люльках. Мужики пили, бабы рожали, дети орали — квартирный кризис становился все острее. И тогда пришла в чью-то распорядительную голову счастливая мысль отгородить часть коридора — получится еще одна комната.

И получилась. Площадь — десять с половиной метров, вполне подходящая для молодого пятидесятилетнего писателя, поэта осени, живописца дождей. Высота до потолка — три с половиной метра; тусклая лампочка, висящая на грязной скрученной косичке электропровода, едва освещает только потолок, а внизу всегда мрак, поэтому взгляд Иванова сам собою тянется кверху, к пыльному свету и эта постоянная задранность головы время от времени наводит на мысль о петле. Иванов пугается и успокаивает себя: «До этого потолка с веником-то — паутину обмахнуть — не доберешься, не то, что с веревкой!..» Но все равно страшно. Светлый потолок притягивает. Там смерть и жизнь, там, в засадах сидят пауки, там вращаются вокруг стеклянного светила поздние злые мухи, там кружатся головы у таинственных квартирных мотыльков.

Иванов, когда не сочинял рассказы и стихи, лежал на раскладушке, из темной глубины наблюдал за многообразными формами электрической жизни. Ему не дано было распоряжаться чередованием света и тьмы, потому, что его лампочка была только частью коридорного освещения, и выключатель был расположен где-то у общей входной двери, и каждый коммунальный жилец, вернувшись с работы или из скобяного магазина, сняв печальные октябрьские галоши, мог по инерции щелкнуть выключателем, забыв, что, экономя коридорное электричество, он погружает в непроглядную ночь обиталище Иванова. Так жильцы и делали; Иванов смирился, утомившись бороться за свет, ведь, в конце концов, думал он, ни один человек не может продлить день или остановить ночь.

Он мог бы и вообще обойтись без электричества, но ему иногда нужно было заносить на бумагу то, что собиралось у него в голове из коротких раскладушечных снов, наблюдений за пауками, обрывков соседских разговоров, воспоминаний об осени.

Он не всегда знал, какой осенний месяц на дворе — май или февраль; двенадцать часов были равны полуночи и полудню. По частоте далеких утробных рычаний унитаза он догадывался: август, овощи, желудочные расстройства; по возбужденной коридорной беготне, перетаскиванию громыхающей кастрюльной утвари знал: апрель, дачное кочевье; январь был самым тихим, придавленным — даже дети орали глуше, даже

пьяницы осторожнее звякали пустыми бутылками, собирая их в мешки для обмена на полные.

Иванов иногда покупал водку, но даже два-три глотка ее разрушали жизнь. Ему хотелось тогда покинуть раскладушку и присоединиться на кухне к мужикам, играющим в подкидного дурака без перерыва с пятого марта пятьдесят третьего года. Он так и поступал прежде, принося с собой бутылку, держа ее за горлышко как противопехотную гранату. Пижамная пехота поначалу принимала его в свои ряды, но на закуску он норовил притащить залитую дождями страничку экзистенциальной прозы или продрогший от ноябрьских сквозняков верлибр.

Шаг тяжелый неслышим. Не дышим,
не живем!..
Счет бездушный, послушный, ненужный
все ведем.
Вавилон не разрушен! Мир ветрами простужен,
мы идем и идем...
И вопросов не знаем, и ответов не ждем...

Его прогнали от карточного стола, сказали: «Забери свою водяру кислую!» Он не стал надоедать, а когда изредка случалась водка, он заворачивал бутылку на американский манер в кулек и шел в сквер имени Чапаева, садился на полосатую садовую скамейку у самого памятника герою сражений и анекдотов и, не торопясь, пил прямо из горлышка и обязательно встречал здесь замечательных собеседников. Чаще всего это были старики, глухие тетери, выгуливающие собак и правнуков. И те, и другие охотно слушали Иванова.

Но это было редко.

Еще реже случался праздник. В прошлом году областная газета под рубрикой «Для чтения на досуге» напечатала его стихотворение «Над мертвой землей», причем в заметке, рассказывающей об авторах рубрики, он был назван «нашим оригинальным писателем». Иванов хотел подарить один номер газеты Марии, постучал в дверь под номером три, но она не открыла, сказала: «Оставь меня в покое, прошу тебя!..» Он еще постучал, и тогда вышел Гришак, оттеснил его от двери большим мягким животом: «катись ты к едрене фене со своими стишками!» Но газету взял, так что неизвестно прочитала ли Мария стихотворение с тайным ей посвящением. Но все равно хорошо публиковаться.

Мария переехала из комнаты Иванова в комнату номер три, к Гришаку, не так давно, осенью. Как раз на потолке расплылось огромное рыжее дождевое пятно, самое большое из всех, похожее на контуры Великобритании с островами. Тогда же сверху упал пласт штукатурки, разбил изумрудную, бутылочного стекла, цветочную вазу на комоде, мариину любимую. Она заплакала, сказала всхлипывая:

— Не могу больше терпеть, не могу...

Он не понял, бросился утешать:

— Ну, подумаешь, какая-то вазочка!..

— При чем тут вазочка?! — страшно закричала она.

— Тебе потолок жалко?

Она огляделась вокруг: облупленные стены, прикрытые двумя одинаковыми ковриками с изображенными на них мутными замками и оленями, тяжелый, кажется, гранитный, комод — приданое Марии, шаткая железная кровать на колесиках, больше похожая на могильную ограду, чем на ложе любви и сна, платяной шкаф — деревянная Пизанская башня, два табурета с отверстиями для их переноски с места на место и дубовое канцелярское кресло — самая надежная вещь в комнате. И все. Впрочем, на самой из ободранных стен висела еще картина в некрашенной багетной раме, подаренная некогда Иванову вечно пьяным художником Малыгиным. Картина была странная, на ней ничего не было, почти ничего. Малыгин на здоровенном холсте, на котором бы уместилась и Днепрогэс, изобразил голую желтую равнину — пустую, уходящую за далекий, едва угадывающийся горизонт. На переднем плане картины ветер рябил желтую воду мелкой лужи, около нее на мокрой глине отпечатан след босой ноги.

Малыгин, даря живописное произведение, заинтриговал Иванова:

— На картине я изобразил и тебя, милый... Смотри внимательнее и обнаружишь здесь свои растопыренные уши...

Теперь, когда Мария ушла к Гришаку и перетащила в комнату номер три комод, кровать, шкаф, табуреты и коврики, у Иванова остались только картина, раскладушка и кресло. А также много времени для того чтобы попытаться понять, что же все-таки Мария не смогла больше терпеть. Он часто смотрел на пустое желтое полотно и пытался найти себя, но ничего не получалось.

Он как-то опять постучал в дверь номер три.

— Кто там еще? — спросила она, не открывая двери.

— Я!..

— О Боже!..

— Маша, ты почему ушла от меня?

Он услышал, как она всхлипнула за дверью.

— Мне неловко напоминать тебе, — продолжил он, — но мы с тобой в некотором смысле муж и жена... Наш брак зарегистрирован...

Она всхлипнула громче.

— Я люблю тебя, даже больше — я привык к тебе...

Она распахнула дверь, стала на пороге, уперев руки в бока, трефовая дама.

— Я четырнадцать лет на курорте не была! — сказала негромко, но ясно. — Почему?..

— Почему? — спросил он.

— Я девять лет ношу один плащ! Он надоел мне как хронический насморк!..

— Ты захворала?..

— Не издевайся! — закричала она и отмахнулась от возникшего было Гришака. — Я сто лет не была в театре, я никогда не пробовала черной икры, не пила «Мартини», никогда мужик не помогал мне снимать чулки, я всю жизнь раздевалась сама...

— Неужели это так сложно? — успел вставить Иванов.

Она сверкнула глазами:

— У меня не осталось ни одной подруги! Почему? Вместо детей я считаю аборты...

К интересному разговору приоткрылись двери всех комнат.

— Я написал новый рассказ, посвятил его тебе, — сказал он.

Она хлопнула дверью, и для него так и осталось тайной, почему она ушла от него. И почему оставила кресло-трон, единственное из ее приданого, что не качалось, не скрипело, не кренилось?

«Я люблю смотреть в ночное окно, когда за стеклом не видно ничего — чернота, холод, — и не нужно отвлекаться от самого стекла: дождь каждую минуту меняет на нем свой рисунок; то несутся по нему реки, тонкие и скрученные, как узбекские косички, то медленной волной проплывает розовая лава, раскаленная моим взглядом... Хорошо, что так тихо, пусто... А вот целое чудо: по всей ледяной площади стекла, как по зеркалу, катится единственная капля. Дождь не кончится никогда, и капля растворится в целом море воды... Нужен ли человеку кто-то, чтобы раствориться в нем?..» — Иванов откладывал ручку, смотрел на освещенный потолок, на желтую картину: может этот след на мокрой глине оставила его нога? А сам он уже за горизонтом? Может его портрет должен составиться из каких-то отдельных линий, мазков, штрихов? Хитер, хоть и

пьян всегда, художник Малыгин!.. Или портрет Иванова нужно собирать как мозаику из редких шаров перекати-поле, плоских унылых камней, желтой ряби на воде?..

Он не находил себя.

А неделю назад картина рухнула. Глиняной тяжести желтой равнины не выдержал ржавый гвоздь, разогнулся. И мир изменился. В одну секунду равнина стала отвесной скалой, лужа — водопадом, перекати-поле обернулись первыми глыбами начинающегося камнепада. Но и здесь Иванова не было.

Он попытался водрузить картину на место, но слабый от старости гвоздь тут же сломался. Иванов с трудом придвинул кресло к стене, взобрался на него, как на сторожевую вышку, попытался вытащить обломок гвоздя. Но ржавый металл упорно сопротивлялся. Иванов ободрал до крови пальцы. Перепачкал вельветовую писательскую куртку красной кирпичной трухой, но гвоздь не поддался.

Иванов постучал в дверь номер три.

Гришак вышел, как Челубей на битву.

— Вася, дай плоскогубцы на минутку, — попросил Иванов.

Вася молча вернулся в свою комнату и принес плоскогубцы.

— И еще молоток, — дополнил Иванов, — и гвоздь побольше...

Гришак не отказал ни в молотке, ни в гвозде, вопросительно уставился на Иванова: что еще?

— Может тебе и бетономешалку подать? — закричала откуда-то из глубины комнаты номер три Мария.

— Пока не нужна, — сказал Иванов и вернулся в свою комнату, пятую.

Против плоскогубцев обезглавленный гвоздь не устоял, был вытащен как гнилой зуб, вместе с деревянной пробкой, в которой собственно и держался в стене.

И в это время (судьбу караулит случай) в очередной раз кто-то щелкнул выключателем у входной двери и комната погрузилась в кромешный мрак. И тут же черноту насквозь прокололa светящаяся спица.

Иванов оторопел: откуда здесь взялся солнечный луч? Он потянулся к нему рукой и на ладони возник оранжевый кружок, золотая копеечка.

Он взгромоздился на кресло и убедился, что свет исходит из крошечного отверстия в стене, возникшего в результате операции по удалению гвоздя. Иванов приник к нему, как к окуляру, но ничего не рассмотрел, пучок света был горяч и ярок, слепил глаза.

Он снова отправился к двери номер три.

— Вася, дай, пожалуйста, отвертку, — спросил он у Гришака, — самую большую!..

— Может, ты гарнитур мебельный купил? — высунулась из-за спины Гришака голова Марии, вся в бигуди, похожая на голову той самой медузы.

Гришак подал ему отвертку и в гришаковских влажных глазах промелькнула тусклая искра: Вася уважал мастеровщину; люди с коловоротами, ломами, паяльниками, рулонами обоев были ему очень дороги, потому, что от них было много всякой пользы.

Иванов взял отвертку и вернулся в свою комнату.

Особых усилий не потребовалось. Наверное, торопливые каменщики в свое время переборщили в растворе с песком, а может вообще обошлись без цемента, потому что едва он приступил к стене с отверткой, как посыпалась на пол строительная труха и первый кирпич оказался у него в руках. За ним второй, третий, четвертый...

В комнату номер пять вошли лето, солнце, зной: в проеме небрежно сложенной стены Иванов увидел небольшую комнатку — три метра на три, а может и меньше, но в комнатке этой было окно — совсем небольшое, под самым потолком, с занесенным пылью стеклом, но через стекло было видно голубое — без облаков, без туч, без дождя — небо.

Должно быть, строители, выгораживая из обширного коммунального коридора келью номер пять, решили не возиться с подсобной комнаткой, просто заложили ее, как не было этих квадратных метров общей квартирной площади. А может здесь водилось вредное привидение и каменщики поставили на его пути кирпичную стену, ненадежную, однако.

Чуть не половину комнатки занимал узкий деревянный топчан, рядом с ним стоял исправный с виду велосипед. А на полу горбился пропыленный ворох журналов, газет, серых коленкоровых книг. Иванов напряг зрение и прочитал название одной из них: «Устав караульной службы». «Полезная книга, прямая и правдивая, — подумал он. — На велосипеде я тоже давно не катался...»

В углу комнаты желтела раковина умывальника, а над ней почерневший водопроводный кран, из которого равномерно срывались тяжелые капли воды. Рядом с раковиной над полом возвышался, как плаха, унитаз. «Тут что-то вроде бытовки было», — догадался Иванов.

И все-таки главным в комнате было окно. Когда успел кончиться дождь за ним? Откуда взялось солнце?

Иванов легко спрыгнул с кресла, вышел в коридор, осторожно притворил за собой дверь. Из комнаты номер четыре навстречу ему вышел суровый партийный алкоголик Иван Павлович, марксист, закаленный борец с троцкизмом и оппортунизмом.

— Завтра в десять! — сказал он, распространяя летучий аромат разливного азербайджанского вина. — Без опозданий!..

— Конечно! — Иванов не умел отказывать, но ему хотелось хотя бы намека на то, что произойдет завтра.

— Не забудь награды! — строго приказал Иван Павлович.

— У меня нет наград, только памятная медаль «30 лет освоения целины»...

— Очень хорошо! — похвалил старый партиец. — Медаль за бой, медаль за труд — из одного металла льют!..

— Из латуни, — подсказал Иванов.

Иван Павлович внимательно посмотрел на него, как бы издалека, вздохнул:

— Эх, молодежь!.. Ничего не знаете, но не ваша вина... Тебя Родина наградила, а ты говоришь «латунь. Эта латунь дороже золота!..

— Наверное, — сказал Иванов.

— Примешь немного? — спросил ветеран, таинственно улыбаясь.

— Водки? Вина?..

— Вино кончилось, оно всегда быстро кончается. Осталась пролетарская! За наш праздничек!

— А! — вспомнил Иванов. — Завтра и демонстрация будет?..

Про себя подумал: «Откуда солнце и зной в окне таинственной комнатки, на дворе-то, оказывается, ноябрь?»

— Будет, будет демонстрация! — сказал Иван Павлович и увлек писателя в свою, набитую добром, как сундук, комнату, усадил на пузатый диван под портрет Феликса Эдмундовича Дзержинского, налил по стаканчику пролетарской, вытащил из пожелтевшего от скуки холодильника полкруга засохшей колбасы, предложил:

— За партию, а? За Ленина, а?.. За Сталина, а? За товарища Кржижановского? А?..

— Иван Павлович, хотите купить мою комнату?..

— Купить?! — едва не подавился водкой партиец.

— Ну да...

— Шутишь?

— Я, может быть, уеду скоро...

— Вера! — зычно гаркнул марксист. — Вера! Нинка! Петька!..

Выкликнутые немедленно появились рядом с диваном. Иванов оторопел: где же были они секунду назад? Может, болта-

лись на вешалках в необъятном шифоньере? Или лежали, как стопка белья, в похожем на пиратский галеон комоде? Или маялись невидимыми в глубине трельяжей, трюмо — десятке зеркал и зеркалец, развешанных в обиталище Ивана Павловича?

— А Колька где? — спросил он.

— За горохом поехал, забыл что ли? — ответила Вера, жена и соратница. Если бы она не была заключена в синий габардиновый сарафан с помидорной кофточкой, а в мужской костюм из этой же благородной материи, то отличить ее от мужа было бы невозможно. И лицом, и фигурой — всей крупной статью, сверкающим взором — она была точной копией Ивана Павловича. И запах азербайджанского портвейна был тот же.

Детишки — Нинка, девушка с веслом, Петька, неисправимый комсомолец, борец вольного стиля, интеллигент — тоже были срублены по тому же образцу.

— А Вовка?

— Гуляет он, известно...

— Вот гаденыш, пропивает денежки!.. Ну а Василий где болтается?

«Господи, сколько же их здесь живет?» — с ужасом подумал Иванов.

— Витька, котяра, у Зойки...

— Вот это хорошо! — одобрил Иван Павлович. — Может, женится...

— Ага! — неопределенно сказала девушка с веслом.

— Молчи, бестолочь! — приказал отец. — В общем, дело такое: человек комнату уступить хочет... недорого...

— Какой человек? — спросил Петька.

— Вот человек, раскрой глаза! — Иван Павлович жестом пролетарского вождя указал на Иванова.

Удовлетворение и понимание легко прочитались в глазах дружной семьи. В самом деле, для чего одному малополезному члену общества занимать столько жилплощади? Хорошо, что он сам понял.

— Покидаешь нас? — спросила Вера.

— В некотором роде, — ответил Иванов.

— Да что там! — помог ему Иван Павлович. — Надоела ему наша коммунальная кислятина! Он человек молодой, умный, ему перемена мест полезна. А мы поможем... в меру сил и средств... Он, глядишь, чего-нибудь хорошее про нас в журнальчик тиснет. Тиснешь?..

— Само собой! — пообещал Иванов.

Иван Павлович махнул рукой на жену и детишек; те снова пропали в тяжелых пыльных коврах, высоких, как эшафоты, кроватях, пирамидах подушек, частоколе стульев и этажерок.

— Сколько ты хочешь? — спросил Иван Павлович. — Пятьсот американских зелененьких могу дать... И телевизор черно-белый, «Рекорд» называется...

— Не нужен мне телевизор.

— И литр столичной разопьем с моей закусью...

— Я подумаю до завтра, — сказал Иванов и стал выбираться из комнаты ветерана.

— Не передумаешь? — спросил вслед Иван Павлович.

— Вряд ли! — пообещал писатель осени.

Он вернулся в свою посветлевшую комнату, уселся в кресло, задумался. «Чем жив человек? — размышлял он. — Всем известно, что надеждами. Самый серый, самый маленький, самый больной — все вокруг чего-то ждут. Кто телевизионной мексиканской любви, кто выдачи жалованья на родном кожевенном заводе, кто мечтает хоть раз в жизни выиграть в лотерее — цветастый китайский термос или лопоухий вентилятор... Надежда — лекарство для ходячих больных. А если нет мочи встать?..»

Он снова вышел в коридор и остановился у двери номер три.

— Мария! — позвал он.

Щелкнул замок, и дверь приоткрылась, придерживаемая стальной собачьей цепью.

— Ну! — сказала почти невидимая Мария.

— Я уехать собираюсь, Маша, — сказал Иванов.

— На Северный полюс, что ли?..

— Ближе...

— К брату в Сыктывкар?.. Нужен ты ему, как заноза в заднице...

— Я и здесь никому не нужен...

— Не скули!.. — чуть пошире приоткрыла дверь она. — Не разжалобишь! Найди себе бабу хорошую и живи как человек. Под ноги больше смотри, а не на потолок. На потолке пауки живут, а люди внизу, понял?..

— Да, — ответил он. — Хочешь, я тебе стихи последние прочитаю?

— Вот этого не надо, без стихов тошно...

— Согласен, что без стихов тошно, — сказал он и добавил:

— Ну ладно. Пока!

— Пока! — ответила она и прикрыла дверь.

Ночью он начал новый рассказ, скорее даже эссе об осеннем одиночестве, неприкаянности человека, необъяснимости жизни и бесконечности холодного равнодушного времени. Он написал несколько страниц, перечитал: недлинно, ясно,

по-русски — что еще нужно для приличной прозы? Рассказ начинался словами: «Я думал, что дождь — навсегда...»

Наутро он не стал даже бриться, зачем, если все равно бороду отращивать? — и отправился по магазинам. Товар выбирал скромный — по деньгам, — но питательный: вермишелевые супы в пакетах, бульонные кубики, консервированные кильки в томате, рожки и простую серую вермишель. Купил сухого молока, тушенки, консервированных субпродуктов — еле дотащил до дома.

Постучался к Ивану Павловичу:

— Гони пятьсот долларов!

— Хитер, бродяга! — засмеялся борец за светлое коммунистическое будущее. — Сначала бумаги надо оформить!

Иванов ужаснулся:

— Это же на годы растянется!

— Плохо ты знаешь нас, ветеранов!

И действительно, пришлось всего полдня мотаться по конторам и кабинетам, стучаться в двери и скрестись в окошечки. К вечеру были поставлены все печати, штампы и подписи на ворохе разноцветных бумажек. Иван Павлович протянул писателю, ставшему бездомным, четыре стодолларовых купюры.

— Где еще сотня? — спросил обескураженный Иванов.

— Ты думаешь, документы задарма оформляются? — ответил Иван Павлович.

— А телевизор как же? А литр водки?

— Это будет.

— Телевизор можете себе оставить. За это у меня одна просьба. Когда я уеду, повесьте на прежнее место картину... На той картине где-то есть я... Где, не знаю, художник не сказал.

— Картина не помешает, — сказал новый хозяин комнаты номер пять, — пусть стены ободранные пока прикрывает...

На следующий день Иванов купил еще тушенки, вермишели, бульонных кубиков. И целый куль развесного грузинского чая. Обзавелся электроплиткой, кастрюлей, чайником. В писчебумажном магазине купил три сотни школьных тетрадей — чуть не полпуда. Дождался вечера и отправился на прогулку. Как всегда моросил дождь, на улицах было безлюдно, темно, тревожно. Светофоры на пустынных перекрестках не давали забыть о покинутости и обреченности города. Редкие машины проносились на огромной скорости, спасаясь от одиночества.

«Вряд ли я вернусь когда-нибудь сюда», — без грусти подумал Иванов. Он давно не любил этот город — с той же силой, что прежде любил. Он ненавидел натянутые струны троллейбусных проводов — они казались проволокой, вдоль которой

бегают на цепи собаки и люди. Он ненавидел вагоновожатых, которые всю жизнь притворяются, что управляют трамваями, а трамваи послушны только судьбе, которая называется у них рельсами. Он содрогался при виде памятников — конные и пешие, неулыбчивые, затекшие в напряженных позах, они строго следили бронзовыми глазами за оставшимися в живых, как стервятники. Он не мог смотреть на горящие, как камины, витрины магазинов; особенно пугали его манекены, нарядные глиняные вампиры — они давно уже высосали всю кровь из блудливых продавщиц и прикованных к кассовым аппаратам кассирш и уже подбирались к редким прохожим, тянули к улицам холодные, жесткие руки. Он не любил почтамты и телеграфы — там было больше вранья, чем в газетах, а в телефонных будках висели черные тяжелые трубки, норовившие вцепиться пластмассовыми зубами прямо в сердце. Однажды, когда у Иванова случился небольшой гонорар, он пришел к междугородному телефону и, сам не зная, почему, позвонил по давнишнему номеру в далекий город, прилепившийся сейсмоустойчивыми фундаментами к отрогам Тянь-Шаня, и ему ответил молодой, как тридцать лет назад, голос Марии.

— Але, але! — закричал Иванов.

— Да! Да! — ответил голос.

— Это я! — сошел с ума Иванов.

— Слышу, я слышу!.. Почему так долго не звонил?..

— Не мог, — пробормотал он. — Жизнь заела...

Она засмеялась звонко, весело:

— Что заело?..

Давным-давно он увез Марию из этого города, они никогда больше туда не возвращались, но голос ее, оказывается, остался там. А может быть не только голос?

— Мария? — спросил он по телефону.

— Ну а кто же еще? — откликнулась она. — Ты какой-то странный...

— Какое сегодня число? — спросил он.

— Конечно же, тридцатое, вот чудак!

Он взглянул на календарик наручных часов, он показывал двадцать девятое февраля.

— А год какой?

Она помолчала немного, произнесла негромко:

— Это точно ты?.. Впрочем, кому еще придет в голову использовать междугородную связь для идиотских вопросов?.. Скоро приедешь?..

— Скоро, совсем скоро! — пообещал он и повесил трубку.

Месяца через два он снова набрал знакомый номер. Мария ответила:

— Слушаю! Это снова ты?..

Он долго молчал, слушал ее голос:

— Говори же, говори!.. Пожалуйста, не молчи... Что случилось у тебя, что?..

Он больше не звонил туда, размышлял: может, осталась в том городе у Марии племянница или младшая сестра? Или дальняя родственница? А может... Все может быть...

Иванов не любил театр. Там все было похоже на правду, но не было правдой: парики, грим, закулисный сумрак, притворство, быстрая и легкая с виду любовь, бутафорские пистолеты и пузырек валерьянки рядом с тюбиком вазелина...

Он давно не мог заставить себя пойти в кино. Он не хотел смириться с тем, что как ни крути, ни верти, а на экране все плоско.

Он боялся милиционеров. Ему мнилось, что вместе с пистолетами они получают путевки на отстрел двух-трех неудачников.

Он презирал дворников, своими жесткими метлами они сдирали с асфальта вчерашний день и загружали его в мусоровозы.

Он опасался ночи, темноты, не доверял дневному свету.

Иванов не любил в этом городе все.

На центральной площади города затеяно было строительство очередного фонтана, символизирующего безграничную власть народных вождей над стихией, когда любая струя бьет только в указанном направлении. Днем у фонтана возились зодчие в оранжевых касках, вели наступленье, а по вечерам над пустынным объектом болталась слабосильная лампочка, и каждый мог подойти ближе, проникнуться величием замысла. Иванов подошел, извлек из кармана целлофановый пакет, осмотрелся, обнаружил металлический короб с цементом и насыпал в пакет тяжелого серого порошка. Туда же набросал пригоршнями песка. Сверху куча песка была влажна, холодна, но стоило копнуть немного — и песок внутри оказался почти горячим, как в Сахаре.

Иванов вернулся в свою комнату, стал укладывать вещи. Набралось почти две сумки: рукописи, теплая и выходная рубахи, костюм-тройка с атласным жилетом, зимние ботинки, одеяло, домашние тапочки, немного белья, самопишущие ручки с пузырьками фиолетовых чернил, аспирин, валерьянка...

Он вытащил из стены еще несколько кирпичей и легко перелез в таинственную, забытую всеми комнатку. Перенес туда

сумки с вещами, коробки с провизией, посуду, стопки тетрадей, пакет с цементом и песком, вынутые из стены кирпичи.

Он смахнул с топчана пыльное барахло, расстелил одеяло и лег, закрыл глаза. «Вот так, — подумал он, — я еще жив... впрочем, временно...» И вдруг ему вспомнилась давнишняя детская считалка. Много лет назад он стоял лицом к стене дровяного сарая и произносил ее слова, пока его голоногие друзья — Колька, Вадька, Наташка и Серега — прятались от него в тайные местечки огромного, захламленного городского двора. Никому не хотелось водить в этой игре, всем хотелось прятаться — чтоб тебя искали. А считалка была странная: «Раз, два, три, четыре... десять — царь велел меня повесить. Я висел, висел, висел, ветер дунул — я слетел. Раз, два, три, четыре, пять — я иду искать! Кто не спрятался — я не виноват!..»

Не все успевали укрыться от зорких глаз водящего — и он не был виноват перед ними, кричал, что было сил: «Вижу! Вижу! Выходи! Я тебя застукал!..»

Иванов усмехнулся и произнес негромко:

— Ну что, кто тут еще не спрятался?..

Никто ему не ответил.

Строгий марксист Иван Павлович два дня и две ночи с нетерпением ожидал, когда же придет прощаться и передавать ключи от комнаты номер пять мелкотравчатый писатель Иванов, но напрасно.

Утром третьего дня Иван Павлович решительно постучал в дверь напротив. В ответ ни звука. Он постучал еще решительней, и дверь отворилась. В комнате с ободранными, грязными стенами никого не было. Провисшая унылая раскладушка, засыпанное штукатуркой, заляпанное цементным раствором кресло и непонятная картина с желтой страшной пустыней — вот и все, что здесь было. Мерзость, беспорядок, неодушевленность.

— Вера! Нинка! Петька!.. — позвал Иван Павлович, и дружная семья выросла у него за спиной.

— Всю эту дрянь, — обвел он рукой комнату, — на свалку! Хотя картину можно оставить, вдруг дорогая? И сегодня же начнем штукатурить, белить, красить!.. Тут работы на год, сделаем не комнату — конфетку!..

Но Иван Павлович ошибся, ремонт был закончен в считанные дни. Сказались пролетарские навыки, дисциплина и целеустремленность. Комната засияла чистотой и уютом. Из нее исчезли мохнатые пауки, бледные электрические бабочки, раздраженные осенние мухи, — в комнату вместе с диваном, телевизором, торшером, журнальным столиком, трельяжем и вазой с восковыми цветами пришло лето.

Иван Павлович был доволен, еще бы! Но иногда он смотрел на пустыню, заключенную в багет, и странное тревожное чувство посещало его, как будто на самом деле где-то на картине находился писатель Иванов и прекрасно знал, что происходит в комнате номер пять.

Иван Павлович отгонял наваждение стаканом портвейна; портвейн и от других болезней помогал.

А Мария об Иванове не вспомнила ни разу.

Шамбала Иванова

Жизнь быстро проходит, думал Толик. Добываешь деньги, бьешься за существование, время от времени обжимаешь девочку, пьешь пиво, опять добываешь деньги, а она знай себе проходит. Просто обрушивается, обваливается, утекает. Иногда кажется, что сорвался с верхней перекладины приставной лестницы, летишь вниз, лихорадочно пытаясь ухватиться за другие перекладины, а они оказываются трухлявыми, разлетаются в сухие корябистые щепки при одном к ним прикосновении, и ты несешься к земле, круша все перекладины, задохнувшись от ужаса — этакий ксилофонный молоточек, выбивающий гаммы. В самом деле, вчера только было семнадцать, выпускной вечер, пароход до утра, таинственный свет в темной воде Урала, а сегодня уже двадцать девять — из училища, где он пытался превратиться в ученого сантехника, давно выгнали за какую-то мелочь, жена вышла как-то вечером в хлебный кисок за углом и не вернулась, деньги, вырученные от продажи квартиры деда, несгибаемого партийца Ивана Павловича, кончились пару лет назад, а такое ощущение, что и не начинались.

Он примерился было продать оставшуюся комнату — темную, без единого окошка, с тусклой лампочкой под потолком, но в родной стране разразился очередной кризис, интерес к покупке жилья у населения понизился; прибегал какой-то тип в кожаном пальто, в кожаной фуражке — смотрел, нельзя ли комнату перестроить в общественный сортир, уж очень теперь прибылен сортирный бизнес. В принципе ему помещение понравилось — и этаж невысокий, и потолки выше трех метров, и площадь подходящая — народ бы косяком пошел справлять нужду, но мужик предложил смехотворные деньги, можно сказать, оскорбительные. В свое время дед Иван Павлович, занозистый и ухватливый старик, ничего, что редко трезвый, выкупил эту комнату у одного дурика, кажется, его фамилия была

Иванов, за четыреста баксов. По тем временам деньги были немалые, ящиков двадцать бормотухи можно было взять, но даже тогда не каждый день комнаты обменивались на портвешок. Хотя в те поры и «Агдам», и «Талас», и славные номерные портвейны — двенадцатый, пятьдесят второй, знаменитые «три семерки» — были чисты, крепки, ароматны, как молодость, но все же немногие решались, хотя, конечно, были герои, отдать квартиру за двадцать ящиков. Даже за двадцать пять.

Так этот в кожаном пальто предложил три тыщи. По нынешним временам — мизер, но соблазн все-таки был большой. Он даже позвонил Алику, тот подпольно жил в общаге мясокомбината, поинтересовался — нельзя ли и ему перейти там на подпольное положение, а три тысячи прогулять — надолго хватит, года на полтора, ну не меньше, чем недели на две, если экономить; а там война план покажет. Но Алик закричал, что за ним самим давно уже охотится комендант — не только из-за того, что он не прописан в общаге, а потому что якобы украл две сковородки у этой выдры Лельки из шестьдесят восьмой комнаты, у которой и ночевал прежде, прячась в женском туалете от облав. Теперь Алик обитает в прачечной в полуподвальном этаже, там сныкаться негде, и думает, что со дня на день его вышибут на улицу, а на дворе октябрь. Придется зимой морозить жопу где-нибудь в теплотрассе, как бомж поганый. И еще хорошо, если на улице окажешься, а то заметут в миграционку, паспортов-то, само собой, на всех не хватает, и вывезут в какое-нибудь дружеское государство, где и самим жрать нечего. С Вадиком Мохнатым так и вышло: вычислили его ментозавры на подловке, где он жил в тепле у отопительной трубы — горя не знал. Скрутили его, спрашивают документы, а откуда они у него, от сырости? Кто таков, откуда и зачем? — спросили у него, а он возьми и брякни:

— Из Гондураса я...

Или какую-то похожую страну назвал, не в этом дело. А в том, что погрузили его сначала в машину, а потом в самолет и отправили куда-то очень далеко. Мохнатый, конечно, вернется, плохо его ловилы знают. Мохнатого, как лосося, на место рождения тянет, но времени ему понадобится немало, все-таки Америка, она где? Не каждый и знает где. Если Гондурас, конечно, в Америке, а не еще дальше — может, в Антарктиде? Говорят, там потеплело, и земля антарктическая дорожает, может, поэтому и мотанул туда любознательный Мохнатый?

— Так что до лета потерпи, — сказал Алик Толику, — а там продадим твой склеп, еще и цены вырастут, сами палатку китайскую купим, закатимся куда-нибудь на Урал, бухать будем, как белые люди.

— А сейчас мы что ли, черные?..

— А то какие же? Кости, может, и белые, но их пока не видно... А все остальное у нас черное... Даже под ногтями...

— Да ладно тебе чернить все... Если бабла нет, то это не значит, что у меня под ногтями черно...

Алик захохотал в трубку и спросил:

— А что — чисто, что ли? Только не ври!..

Толик посмотрел на черный окоем ногтей и не соврал:

— Да уж почище, чем у тебя...

Известно было, что Алик три года не умывался, может, два. А уж ногти...

В общем, комнату он свою пока не продал, но надеялся, что кожаный еще передумает — даст хорошую цену, не поскупится ради прибыльного сортира.

Но это были перспективы, а пить и даже есть хотелось сейчас. Почти всегда.

В комнате его на стене висела странная картина, на которой простиралась вдаль желтая мокрая равнина, а на самом переднем плане отпечаток босой ноги, может, мужской, а, может, женской, а может, чем черт не шутит, обезьяньей. Но откуда в наших краях обезьяны? Хотя как посмотреть... Вон в третьем подъезде живет образина, чистый орангутанг, хотя и зовут по человечески — Евлампий...

Внизу картины подпись — Малыгин. Это художника фамилия, а того дурика — Иванов, точно. Он и картину эту впридачу к комнате оставил, а сам пропал куда-то. Дед Иван Павлович рассказывал, что Иванов спрятан где-то на этой картине, не сам, конечно, а его изображение — и так секретно замаскирован, что с первого взгляда не обнаружишь его. Во всяком случае, сам дурик так говорил, дескать, гадом буду, если вру — ищите меня здесь.

Толик много времени провел, разглядывая равнину, как будто ему было мало бесконечной желтой степи, взявшей город в осаду, но ничего не обнаружил. Но он верил, что Иванов каким-то хитроумным способом спрятан именно здесь; ему часто казалось, что с картины за ним следят внимательные глаза, но только где они?

Дед Иван Павлович уверял, что картина может стоить больших денег, потому что она — самая настоящая абстракция, а абстракция сейчас в цене. Дело все в том, что люди рисовать разучились давно, но изо всех сил скрывают это — и те, кто мажет эти полотна, и особенно те, кто покупает, ведь они денежки свои вкладывают, думают, как в советскую сберкассу, что столько лет прожила без кризисов. А чтобы все понятно и узнаваемо было — домик под красной, как закат, черепицей, синее-синее озеро, в которое смотрятся лебеди, пестрая акварельная красавица с веером — так уже не умеют, искусство высокое умерло. Поэтому, может, и вправду за картину денежки-то немалые положат? Толик, само собой, не очень верил поддатому пращуру, но сейчас, когда особенно приперло, задумался серьезно. Еще раз посмотрел на желтую пустыню — тоска, похмелье, скоро зима... Продать, конечно, продать вместе с нерасшифрованным Ивановым, дуриком жизни!

Толик примерился, картина большая, веса в ней немало, килограммов десять потянет, но ради высокой цели можно поднатужиться. Он забрался на стул, приподнял картину — тяжеленная, правда! — попытался снять ее со стены. Но не тутто было. Тараканы, отдыхавшие под живописной сенью, недовольно разбежались, а картина не поддалась, висела на здоровенном ржавом гвозде, как ни в чем не бывало. Но Толик умел добиваться своего, особенно когда дело касалось выпить-и-закусить. Он рванул сильнее — и гвоздь вылетел из стены, долгожданная картина оказалась в руках.

А, вдруг ей цена мильен? Или хотя бы сто тыщ? На крайний случай — тыща?

Он завернул драгоценность в газеты, укутал в холщовый мешок — все-таки в осеннем, дождливом городе выпало проживать — и отправился на улицу имени Зузанова, где, прикрывшись от дождей полосатыми пляжными зонтами, свили себе гнезда художники-побирушки, пристающие к прохожим: «Барышня, за пятнадцать минут высокохудожественный портрет!.. Мужчина, купите пейзаж!.. Женщина, проходите, на загораживайте клиента!»

Толик подошел к первому, дремлющему под капюшоном выцветшего брезентового плаща. Все на нем было старое, седое, обтрепанное, даже огромная неопрятная бородища. Тот, не открывая глаз, сказал:

— Мужчина, купите пейзаж!..

Потом открыл глаза, произнес:

— Проваливай!..

— Картину продаю, — сказал Толик.

— Какую? — равнодушно спросил художник.

— Хорошую! — честно сказал Толик. — Абстракция... Дорогая, но за пару сотен отдам...

— Покажи, — едва-едва проявил интерес художник. К нему подтянулись и остальные обитатели полосатых зонтов.

Толик развернул мешковину, содрал газеты:

— Налетай!..

Страшный хохот потряс улицу имени Зузанова. Громче всех ржал бородатый.

— Ой, не могу! — ревел он. — Щас помру, абстракция!..

Толик сумел все-таки вставить слово:

— Ладно, сто пятьдесят!.. Сто...

Бородатый пересилил хохот:

— Чудо в перьях! Видишь здесь подпись — «Малыгин»? Так вот, будем знакомы, Малыгин — это я...Мне же впариваешь мою картину... И ваще, нашел кому продавать картины — художникам, они сами не знают, куда их девать...

— Пятьдесят! — не растерялся Толик.

— Уговорил, — вдруг согласился Малыгин. — На бутылку я тебе дам...

Художник повернул к себе картину, погрустнел:

— Сколько лет прошло, однако? Годищев пролетело немерено... Сто лет назад эту картину я подарил другу — Иванову... Он вскорости после этого и пропал. У тебя она откуда?

— Мой дед ее купил у вашего Иванова вместе с комнатой...

— Не слышно о нем ничего? Может, весточку какую прислал?..

— Не знаю, как будто не присылал... Да и кому? Народ в квартире поменялся давно, теперь это не коммуналка, а типа общежитие... Жена его бывшая — Мария со своим новым мужиком — Гришаком — подались в Хохляндию, дом там срубили, живут толсто и тепло.

— Странно... Пропадают люди. То ли их инопланетяне крадут, то ли сами от жизни убегают. А куда? — вот вопрос. Куда можно убежать из этого города в песках, от этого дождя, от этих картин? Можешь сказать?..

— Не знаю, — сказал Толик. — Зачем убегать?..

— Ты про царство Беловодское слышал? — спросил Малыгин.

— Алик, кажется, про чего-то такое говорил, — соврал на всякий случай Толик. — Да и сам я вроде читал — в «Комсомольской правде»... Оттуда тоже бегут?..

— Туда бегут, читатель... Говорят, там самое счастливое место на всей Земле... Все надорвавшиеся души туда стремятся...

— Аааа... Понятно... А чего, там демократия тоже? Или царизм?..

— Мало кто из Беловодии возвращается, еще меньше рассказывают. Но, должно быть, царизм, если царством зовется... Время от времени объявляются люди, как будто оттуда, но путано рассказывают, может, подписку при выезде давали?..

— Ты про Шамбалу говоришь? — встрял один из художников. — Она в Гималаях находится, всем известно. Вот мой дедушка в двадцать первом году был там в составе дружеской делегации, ему не понравилось, воздух там сильно разряженный... И питание неважное, мучного мало...

— Он твою бабушку с собой брал? — спросил Малыгин встрявшего.

— Зачем? — удивился тот. — Там же чистый экстрим в горах, камнепады, медведи и наскальные козлы...Бабушка бы не прошла...

— Вот поэтому ему и не понравилось, что бабушка не прошла. А прошла бы, то пекла бы ему пироги с мясом наскальных козлов... И ему бы понравилось...

— Место это называется Белый Остров и находится оно в пустыне Гоби, — встрял другой. — Уверяют, что это город богов... Но его увидеть нельзя, потому, что он существует только в эфирной материи, и когда род людской на Земле разовьет эфирное зрение, город счастья будет найден. К слову сказать, эфирное зрение уже развито кое у кого из людей... Вот взять тех, кто смотрит на мои картины...

— Послушай, Анвар, к тебе клиентка — хочет в анфас портрет, — позвали художника к станку, и Толику с Малыгиным не удалось дослушать, что же случается с теми, кто смотрит на его картины.

— Эх, нет заказов, — сокрушился Малыгин, и предложил:

— Может, вместе скрасим этот осенний денек?

— У меня денег нет, — быстро сказал Толик.

— Да это я давно понял... Пойдем, посидим где-нибудь.

— В кабак? Чего деньги тратить зря! Знаю я эти обжираловки-надираловки — не накормят досыта, не напоят допьяна, а обдерут, как липку!.. Может, ко мне закатимся, у меня комната, в ней как раз и жил раньше ваш Иванов?..

— Твое бескорыстное предложение я принимаю, — сказал Малыгин, — потому что некогда мы с Ивановым славно выпивали под его тусклой лампочкой, и это было чудесно, он прочитал мне тогда только что завершенное свое стихотворение. Помнишь, «Осенняя жизнь, любовь в октябре...»? Не помнишь?.. Ну да, что вы, молодые, помните?.. Хорошо, хорошо, пойдем!.. Хотя, признаться, я не очень люблю закатываться пить в берлоги, потому, что они засасывают надолго. Путь в берлогу — это кратчайший путь к запою. Кстати, феномен, не объясненный современной наукой. Однажды в одной уютной кочегарке мне удалось переждать зиму; я в конце листопада, зашел туда с бутылочкой к одному хорошему другу, он, кстати, гроссмейстер по шахматам, а удалось выбраться только в славную пору цветения акаций. Так что в прожитых мною го-

дах одной зимы не хватает. Но какие мы вели там споры! Какие идеи рождались! Что может быть плодотворнее многомесячных дискуссий, перемежаемых чарой доброго вина и здоровым, беззаботным сном?..

Они пришли в обиталище Толика, не забыв перед этим заглянуть в магазин, где на вынос и на розлив торговали утешением. Было бы желание утешаться.

Малыгин оглядел комнату, сказал:

— Ничего не изменилось...

— Мы ремонт делали, побелку, — обиделся Толик.

— Да я не это имею в виду, атмосфера как будто та же...

— А что с ней, атмосферой, сделается? Она всегда одинаковая: денег не хватает, зато говна выше крыши...

— Тогда наливай! — скомандовал художник новому другу.

Выпили, потом еще. Поговорили о жизни, как-то все в ней не клеится. Выпили еще. Во весь рост поднялись творческие проблемы. Васька Подорожный, собака, перехватил клиента, а заказ был — мечта — художественно облагородить один банчик, короче, написать десяток портретов ихних воротил: кого с книжкой в руке, кого на коне, кого с тростью, чтобы личину бандитскую прикрыть; заплатить обещали сказочно.

Выпили еще. Вспомнили жен.

— Ты женат? — спросил Малыгин.

— Ага, — ответил Толик. — Кажется...

— Она не заявится? — встревожился художник. — Кайф не обломает?

— Не должна вообще. Два года не заявлялась, а чего ей сегодня нарисоваться?

— Резонно, — похвалил его за сообразительность Малыгин. — А я не женат больше... Раньше раза три был, но не вынес... Мы художники — свободу превыше всего ценим...

Выпили, чуток закусили. Задумались надолго. Стало как будто смеркаться. Малыгин прервал молчание:

— Хотел бы ты попасть в Беловодье? В Шамбалу?..

Видимо, не давал покоя ему этот вопрос, бередил душу.

— Чего я там забыл? — чистосердечно признался Толик. — Были бы деньги, так я дальше гастронома вообще не ходил бы...

— Мракобес ты, — беззлобно сказал художник. — А я хотел бы... Там происходит накопление и объединение энергий искупления. Там все греховодники помилованы будут. Вот что написано про нее...

Он достал из кармана старую, истрепанную вырезку из газеты, прочитал: «Это таинственная страна, жители которой знают законы управления природой и человечеством...»

— Зачем управлять-то тебе человечеством и природой?.. Живи, рисуй... И зачем тебе помилование, ты, что ль, убил кого-то?

— Убил... Еще как больно угробил!..

— Жену? Тещу? Человека какого?

— Человека. Себя...

— Шутишь, шутник, — сказал Толик и потянулся за стаканом. — Давай лучше за друга твоего выпьем, Иванова. Кстати, на этой стене висела твоя картина, вон гвоздь из стены вылетел.

— Оттуда как будто свет идет, — заметил Малыгин, — смотри, лучик закатный пробивается сквозь стену. Там что, квартира соседская?..

— Нет там никакой квартиры! Да и никакой лучик не пробивается. Тебе показалось. Лучше вздрогнем.

— Это мы успеем. Все-таки пробивается!..

Малыгин подошел к стене, поднял ладонь к тому месту, откуда вылетел гвоздь. И на нее лег крошечный световой зайчик. Художник подтащил стул, поднялся на него и прильнул глазом к отверстию в стене.

— Ничего не разглядишь, но какое-то помещение там определенно есть. Давай дырочку расковыряем побольше, может, там клад какой... Здание-то еще какого века, все может статься!..

— Давай, — нехотя согласился Толик, он не верил в клады, Шамбалу и даже в снижение цен на водку, о которой ему не уставал твердить Алик, дескать, государство богатеет и должно пойти навстречу народу, снизить цены на товары массового спроса.

Малыгин принялся столовым ножом расковыривать дырку в стене, посыпались штукатурка, кирпичное крошево, цементная пыль. Он снова заглянул в расширившееся отверстие и тут же отпрянул:

— Боже!..

— Что там? — спросил Толик. — Деньги?..

— Посмотри сам!

Толик с опаской заглянул в отверстие. И едва удержался, чтобы не закричать. В крошечной комнате на узеньком топчане лежал мужчина в костюме-тройке, атласном жилете. Рядом, склонившись над ним, сидела женщина, ее рыжие осенние волосы были рассыпаны на груди мужчины. Толик хотел окликнуть их, но присмотрелся, и слова застряли в глотке: и мужчина, и женщина были мертвы.

— Мертвецы? — шепотом спросил он художника.

— На живых не похожи... Но и на мертвых не очень...Как будто спят, но не дышат...

— Э-э-э-й-й! — едва слышно все-таки подал голос Толик.

Никто не откликнулся, кроме художника.

— Вот это клад! — сказал на глазах трезвеющий Малыгин. — Что делать-то будем?..

— По ментам теперь затаскают, по судам и комиссиям, — сориентировался Толик. — Замуровать опять все надо, и дело с концом...

— Замуровать-то просто... А как потом ты жить здесь будешь?..

— Нет, нет, страшно, боже! — Толик вспомнил, что крещен, перекрестился.

— Надо все равно посмотреть, что там к чему, — сказал художник. — Кто знает, что там найти можно...

Толик боялся мертвецов, но еще больше боялся, что чего-нибудь найдут без него.

— Давай, — сказал он не без внутреннего содрогания, — залезем...

Кроме кухонного ножа, в хозяйстве Толика нашлось не то долото, не то стамеска, они оба с художником не знали, чем эти благородные инструменты могут отличаться друг от друга. Но как бы ни называлась эта полоска стали, она помогла друзьям справиться с кирпичной кладкой; не прошло и часа, как они стояли у проема в стене, размер которого вполне позволял им обоим попасть в таинственную комнату. Но они не торопились, потрясенные открывшейся картиной.

Мужчина и женщина в комнатушке как будто играли в «замри», да так искусно, что ни дыхания, ни малейшего движения не было заметно. Но вот сейчас они поднимут головы, улыбнутся, скажут: «Вот как мы вас разыграли!..» Но они были недвижимы... Малыгину даже показалось, что они попали в музей восковых фигур — где еще такое можно увидеть? Через минуту войдет снулая служительница и потребует предъявить билеты. Но служительница не вошла.

Так нереально было нечаянное открытие, что друзья все не решались перебраться в комнату.

— Как же они сюда попали? — прошептал Малыгин. — Загадка...

— Может, они еще с позапрошлого века тут сидят? — предположил Толик — От революции спрятались?..

— Думай, когда говоришь, посмотри, как они выглядят... одеты современно... А тут ведь даже дверей нет... Сюда ни зайти нельзя, ни выйти... Они замурованы, понимаешь?!.. Жуть!

— А вдруг здесь вход в другой мир? — выказал Толик знакомство с фантастикой.— Вон посмотри, в оконце солнечный

свет пробивается, а мы сюда шли — дождь шпандырил?.. Да и вечер уже...

— Дожди приходят и уходят, — ответил художник. — Давай все-таки заберемся в эту комнату — и быстро перелез через проем в стене. Толик с опаской последовал за ним.

Малыгин осторожно подошел к мертвецу, присмотрелся, ахнул:

— Так это Иванов!.. Точно он! Бедняга!.. Что же здесь произошло?.. Они просто живые... Может, летаргия?.. Да нет, не дышат...

Друзья огляделись. Несколько книг, бумага, ручки, карандаши, велосипед, пакеты с супами быстрого приготовления, консервные банки, ложка и нож, — и больше ничего. И разбросанные по комнате школьные тетрадки; они валялись на полу, лежали на топчане, даже в раковине — распухшие от влаги, даже на подоконнике крошечного окошка.

— Не могли же они жить здесь, — сказал Толик. — В пустоте такой...

— Ты сам-то почти в такой обитаешь...человек привыкает...

— Так у меня дверь есть, могу встать и уйти...

— Легко уйти, — раздумчиво произнес художник. — А вот ты попробуй не уходить...

— Чего ради? — ответил Толик. — Человек — существо передвижное, и даже придумал для убыстрения своего движения паровозы, самолеты и пароходы, вон велосипед — тоже для убыстрения, — и зачем человеку сидеть в четырех стенах?.. Если, конечно, тебя не заперли...

— Наверное, в детстве тебя в чулане не раз закрывали, признайся!.. Наверное, прокудил немало?.. Закрывали?..

— Нет! Никогда, — соврал Толик и покраснел, вспомнил, как суровый дедушка Иван Павлович застал его однажды за одним не очень приличным занятием и за ухо потащил в кладовку, приговаривая:

— Не рукоблудствуй, мал еще! Не балуй! Вот посиди теперь на губе...

Толику было стыдно и обидно. Обидно потому, что он знал, что и дедушка нет-нет, да достает тайком спрятанную под матрацем кровати, на которой он спал, секретную книгу «Акушерство», и тогда было слышно через тонкую стенку квартиры, как кряхтит и вздыхает старый партиец.

— Говоришь, продал он свою комнату вам? — прервал его воспоминания о золотом детстве Малыгин. — А сам уехал?..

— Продал...

— Да никуда он не уезжал, — сказал Малыгин, — просто переселился сюда...

— Сам себя замуровал?.. Вместе с бабой?..

— Боже праведный, как должно было все здесь осточертеть! — ошарашенно сказал художник. — Чтобы добровольно заточить себя!.. Как нужно, чтобы все опротивело, набило оскомину, приелось до тошноты, до блевотины!.. Я многое могу понять, но представить такую степень тоски, чтобы живым залезть в склеп, выше моих сил!..

— Может, они испугались чего-нибудь? — предположил Толик. — Некоторые от долгов прячутся...

— Может, и испугались, — согласился Малыгин. — Мне самому иногда страшно просыпаться... Жутко на улицу выходить... У меня друг был, тоже поэт, так тот мечтал за границу уехать, говорил, что там свобода творчества, там охраняются права человека... Просто бредил заграницей, язык учил, документы подавал — ему отказывали, а он снова подавал. Наконец, его отпустили, он вырвался и помчался, как с горы на лыжах. Так года не прошло, как стал канючить, дескать, попал он в общество бездуховное, потребительское, равнодушное к маленькому человеку. Страшно там ему. Теперь просится назад, тоскливые стихи пишет. А приедет, и здесь ему неуютно будет. Впору замуроваться где-нибудь в подвале...

— Человеку не угодишь, — отозвался Толик.

— Человек сам себе угодить не может, — заметил художник.

Толик взял одну из тетрадок, перелистал. Мелким, неразборчивым почерком были исписаны ее страницы. Толик поднял другую тетрадь — те же неровные строчки. Третья, четвертая тетрадь, и еще с десяток были покрыты этими записями.

— Роман они, что ли, писали? — сказал Толик и попытался прочитать написанное в одной из тетрадей: «...сплошная суббота, когда не надо, проснувшись до света, тревожно ожидать звонка будильника и потом тащиться на остановку автобуса, где уже поджидают тебя две сотни локтей, изготовившихся для атаки. Отгул навсегда, отпуск без границ, жизнь без обязательств...и в общем, без обстоятельств... Триумф воли... Или безволия? Впрочем, сейчас для меня это одно и то же...»

— Это не роман, — сказал художник. — Это высший из жанров — голая правда... Дай-ка мне тетрадку...

И он продолжил читать: «...понял не сразу, что бумага и перо — не для пересказа придуманных или приукрашенных историй; не для этого изобретены эти инструменты познания. Может, для того, чтобы объяснить себя себе?.. Я уверен был, что здесь стихи будут рождаться во мне какие-то особенно неистовые, сокровенные, но в первые дни после переселения сюда сумел написать только несколько вялых строк... И все. Я не сразу понял, в чем тут дело. Думал, что нужно еще привыкнуть к тишине, пустоте, свободе, словом, ко всему тому, что дает полное одиночество. Надеялся, что вот однажды рухнет плотина прошлой жизни, растворятся воспоминания и надежды, и мне только придется успевать записывать строчки на бумаге, но этого не произошло. И не потому, что утрачена чисто декоративная сторона версификации — никто не услышит и не прочитает эти строки, не потому... Я долго размышлял над этим, благо времени было достаточно, или его не было совсем, ведь я не считал больше его, не вел ему учет — и пришел к выводу, не сразу, а, точнее сказать, просто почувствовал однажды это: теперь я сам стихотворение, не больше и не меньше. Все во мне — и ритм, и рифма, и настроение...Так отчетливо все слышно... Сегодня ночью опять снилась Мария...»

— Постой, постой, — прервал чтение Малыгин,— он пишет только о себе — о полной тишине, пустоте, свободе, нет даже намека на то, что их здесь двое...

— Точно! — подтвердил Толик. — Я и смотрю, что топчанчик здесь такой, что не уляжешься вдвоем. Может, они по очереди спали?..

— Да, тайна...Читаем дальше.

«...почему-то вспоминается давно прошедшее, а не то, что было не так давно. Странно и то, что люди как бы раздвоились в сознании, я никак не могу соединить тех давнишних с теперешними — они не просто изменились — постарели, поседели, похудели или стали тучнее. Это другие люди. Другие, вот в чем дело. Те, прежние, живут где-то своей тогдашней, не изменившейся жизнью, и, наверное, среди них есть и я, тот самый, которого так любила одна девочка из города Чимкента, и который так и не понял этого; там люди никогда не изменяют, не изменяются, и им никто не изменяет. В этих местах всегда тепло и солнечно, на речках сумасшедший клев, дни бесконечны, ночи обжигающе коротки... В новой жизни все иначе: солнце только иногда показывается в просветах октябрьских туч, в мутных реках давно нет рыбы, дни проносятся, как стрижи над водой, ночи никогда не кончаются... Мне кажется, что прежние, они тоже стареют, их одолевают хвори, с ними приключаются неприятности, а изредка выпадают и счастливые деньки, но они, как тридцать лет назад, как двадцать, как всегда, готовы выбежать из дома к вам навстречу, отправиться куда угодно, не задавая дурацких вопросов и не поглядывая беспрестанно на часы, они все так же не обращают внимание на ваши истрепанные брюки, не спрашивают, есть ли у вас деньги, они ржут до упада над анекдотами, которые вы

им рассказываете в десятый раз, они через пламя костра смотрят на вас глазами, в которых пляшут язычки огня, и им три ваших минорных аккорда на расстроенной гитаре заменяют оркестр, и они подпевают: “Надоело говорить и спорить, и любить усталые глаза...” Но им, конечно, не надоело любить эти глаза; они всегда и безнадежно влюблены, и рифмованной грустью полны их сердца...»

— Пока не очень понятно, — прервался на минуту Малыгин, хлебнул винца, продолжил: «Как-то очень давно проходил я мимо междугородного телефона, и меня вдруг как будто ударило: “Позвони, позвони, там ждут...” А куда “позвони” и где “ждут”? Но рука сама собой набрала телефон Марии, тот самый, давнишний, когда мы вместе жили в Алма-Ате на улице имени Фурманова, и по вечерам, и она звонила матери и говорила, что нужно выгулять собаку, брала свою неугомонную колли, как же звали ее? — и выгуливала по ночному городу и меня тоже, а как раз начиналась осень — сентябрило — и брызги фонтанов казались дождем, а желтой листвы почти еще не было... С тех пор прошло тридцать лет, и я позвонил. Почему-то я был уверен, что мне ответят, хотя и дом тот давно снесен, и номера телефонов стали семизначными... И она ответила, спросила, почему я так долго не звонил.

— Не мог раньше, — ответил я, — дела по рукам и ногам повязали...

Она рассмеялась молодо, звонко, как раньше.

Я переспросил:

— Мария, это ты?..

— Конечно, кто же еще? — откликнулась она. — Ты какой-то странный...

Да, я был странный, потому, что не поверил этому юному голосу Марии. Не могло быть, чтобы она разговаривала со мной сквозь бетонную толщину тридцати лет, не может быть, чтобы ее смех жил отдельно от нее, чтобы она прежняя существовала отдельно от нынешней, живущей с работящим, надежным Гришаком. Не могло быть, но было.

Целых два месяца прошло, пока я опять решился набрать номер. И Мария снова ответила мне.

— Что случилось у тебя? — спросила она. — Что?..

Я положил трубку и больше никогда не звонил, потому что поверил. Но как ей объяснить, что же случилось со мной?.. Что случилось и случается со всеми нами?..

Но сегодня я мог бы позвонить... Очень отчетливо представляю Марию. Вот ее тонкая рука, на безымянном пальце которой тускло посверкивает скромное колечко со знаками

Зодиака, мы его вместе покупали — это было тоже в начале осени. Когда она примерила колечко, то сказала “какое холодное!”, но потом оно прижилось, стало теплым, как ее ладонь. Этой рукой она подпирает щеку, когда читает книгу, и виден ее знак Зодиака — скорпион... Другой рукой она часто поправляет осенние свои волосы...

Каждую ночь снится Мария, наверное, это от свалившейся тишины...»

— Погоди, погоди! — художник отложил тетрадку и присмотрелся к таинственной женщине, застывшей в скорбной позе над трупом. — Точно, посмотри!.. Кольцо на пальце...

Толик осторожно подошел к женщине и тоже рассмотрел на ее руке колечко со знаками Зодиака:

— Это она... она... О которой он пишет. Что же это, а?..

— Не знаю... Читаем дальше.

«Однажды меня, и еще тысячу студентов, отправили на помощь тем, кто выращивает хлеб, и мы оказались в далеком степном селе... А перед этим мы двое с лишним суток ехали на поезде, орали песни, терзали гитару, пили самое дешевое красное вино. А перед этим на вокзале я увидел ее... И влюбился навсегда.

Меня провожала в путь та самая девочка из Чимкента.

Марию тоже кто-то провожал.

Наши места оказались в одном купе, и я пел: “...к ненаглядным своим горам не пора ли нам возвращаться?” Она только изредка поглядывала на меня, занятая интересным разговором о квантовой механике или физике с третьекурсником какого-то механического или физического института, также посланного бороться за урожай. Третьекурсник был рослый, бородатый, красивый, и мои песни пропадали зря. Вечером, когда песенная атака достигла плотности артиллерийской подготовки, Мария попросила у третьекурсника сигарету и вышла из купе, он за ней. Гитара потеряла голос, когда стало понятно, что скоро эта парочка из тамбура не вернется. Я пытался прибавить громкости: “...и лотошник на углу продает апельсины цвета беж...”, но Мария и физик явно меня не расслышали, а не поняли — это уж точно. Колеса стучали, за окном вагона пролетали синие огоньки, иногда в темноте вскрикивал неугомонный тепловоз, а ребята, набившиеся в наше купе, принялись разговаривать со мной, как с тяжело раненым: “Ничего, старик, не унывай, старик, давай выпьем, старик!..” Я улыбался, выпивал, даже закусывал какими-то невероятно огромными зелеными помидорами, которые брызгали во все стороны огородной зеленью, но был я не в купе, нет, не в купе... А где же я был?..

— Сигареты есть? — спросил я у кого-то, и тут же ко мне протянулись руки с пачками, я взял одну и вышел в коридор, и двинулся дальше к тамбуру. Вслед кто-то удивленно сказал:

— Так ведь он не курит...

Я открыл дверь в тамбур. Третьекурсник целовал Марию, она отвечала ему, закрыв глаза. Одна рука физика была где-то в вырезе халата Марии, вторая обнимала за талию.

— Вот вы где! — сказал я остроумно.

Они не прекратили целоваться, даже когда увидели меня. Третьекурсник просто повернулся ко мне спиной, загородил ее от меня.

Мне ничего не оставалось, как закурить. Это была моя первая сигарета в жизни. Давясь дымом и кашлем, стоял я в тамбуре, где двое никак не могли разомкнуть объятий. Наконец, они разлепились.

— А, это ты, — произнесла она. — Хорошо поешь. Твои песни?

— Нет, не мои...

— Я так и подумала, — сказала она и обернулась к физику:

— Пойдем, Жора.

Я честно выкурил сигарету и, не торопясь, вернулся в купе. Марии с третьекурсником там не было. Я залез на верхнюю полку и укрылся одеялом с головой, колеса все тарахтели и тарахтели. Откуда-то пришла в голову шальная мысль, что вот начинается новая жизнь — с Марией... Почему так подумалось?.. Почему?

Утром оказалось, что физический институт выгрузился несколько часов назад на каком-то неведомом полустанке, наверное, там выросло особенно много хлеба. Мария спала на своей полке, на столике перед ней лежал букетик каких-то пыльных степных цветов.

Нашему университету предстояло еще сутки добираться до места назначения — так далеко теперь мы будем от бородатого третьекурсника! С надеждой опять звенела гитара, такое время тогда было — гитарное, без гитары, казалось, жизнь совсем скучная пойдет. В дальнейшем это подтвердилось...

— Вообще-то я и свои песни пишу, — сказал я ей, когда она проснулась.

— Правда?.. Надеюсь, ты не с самого утра примешься их петь?..

— Не с самого...

— Не обижайся только... Я не со зла, просто голова тяжелая, вчера перегруз был. Люди хорошие попались, пришлось чуток злоупотребить за кампанию...

— Видел я вчера этих хороших людей, — сказал я.

Она посмотрела на меня внимательно, в глазах мелькнуло подобие усмешки.

— Понятно, — протянула она, — понятно...

Неужели уже тогда ей все было понятно?

Вечером она попросила:

— Спой... Что-нибудь свое...

Я тронул струны:

— Не медь, не золото, не ржавчину принес октябрь... — мне казалось, что про осень сказано еще не все.

— Ты — почти Фет, — улыбнулась она, но больше не перебивала. Не помню, чтобы когда-нибудь потом она дослушивала до конца мои стихи. И не только мои. В ней было всегда очень много земного; рифмы почему-то пробуждали иронию. “Если ты добиваешься благосклонности дамы, то при чем здесь птички, ландыши и облака? — говорила она иногда. — Можно сказать об этом проще и яснее, разве не так?”

Вечером она позвала меня в тамбур.

— Смотри, как интересно, — сказала она. — На всю степь одна лампочка...

За окном было черным-черно, и только в самом центре этой непроглядной темноты мерцал крошечный огонек, причем он не смещался, как будто поезд стоял на месте, или двигался по кругу вокруг этой степной звездочки.

— Вот так всегда, — сказала она. — Мнится, как будто что-то есть в центре, и этот центр невольно притягивает. А может, там ничего нет? Пустота? Стоит какой-нибудь столб у заброшенного и разрушенного склада, а на столбе эта лампочка — неизвестно зачем и кому светит?.. А мы пялимся на нее, думаем, что кто-то живет здесь, растопил печь, варит еду, ждет кого-то... А на самом деле ничего...ничего нет...

Она и позднее жизнь воспринимала, как несбывшееся ожидание.

— Ты ведь влюбился в меня? — спросила она.

— Да что ты! — растерялся я. — С чего ты взяла?..

— Не ври, ни к чему, — не поверила она. — Наверное, ты лучше всех вокруг на тысячу километров, на пятьсот во всяком случае...

— Так далеко мы, наверное, еще не отъехали, — вспомнил я третьекурсника.

Она не услышала:

— Но что мне делать с этим?.. Ты так и будешь всю жизнь рифмовать “луна-волна-неверна”... А гвозди кто забивать будет?

— Какие гвозди? — удивился я.

— Обыкновенные. Ржавые и не очень, на которые ты будешь вешать свои кепки, куртки и пиджаки, потому что, хорошего шкафа для одежды у тебя долго не будет...

— Ты просто Кассандра...

— Да, к сожалению, — ответила она. И поцеловала меня в щеку. А потом в губы. Нет, не пропали даром мои песни...

В селе, куда мы приехали, нас разместили в только что построенном доме. Временно было отложено новоселье, которого с нетерпением ожидали несколько сельских семей. Они все время приходили посмотреть на свое будущее жилище, фантазировали, куда поставят сундуки и комоды, строго предупреждали нас «не свиничать, не писать на стенах матерщинных слов».

Мария отвоевала отдельное помещение — кухню. Мы затащили туда два матраса, две подушки, одеяло нам досталось одно, да нам и не нужно было два. Мы и одним не пользовались — дни стояли теплые, солнечные, а ночью нам тоже не было зябко. На двери кухни какой-то остряк написал "Киргуду — королевство на двоих, остальным вход запрещен", и мы с Марией поселились в этом королевстве. Запрет на вход никто не соблюдал, и по вечерам на этой кухне было тесно, и струны на гитаре рвались на самом интересном месте: "А если есть кто с тобою рядом, не стану долго мучиться, люблю тебя я до поворота, а дальше как получится..." А потом ребята уходили, уносили покалеченную гитару, а я целовал Марию; она откидывалась на подушку, но никогда не закрывала глаз, смотрела не то удивленно, не то настороженно, и тогда я целовал ее глаза, и она, наконец, закрывала их... Шептала при этом: "Люби крепко..." Этот шепот я не забыл... Но не могу вспомнить, чтобы она хоть когда-нибудь сказала мне "люблю тебя". Но время от времени она говорила: "Ты думаешь, любовь без боли бывает?.." И непонятно было: уверена ли она в этом? Но иногда она добавляла: "Если без боли, то какая должна быть сумасшедшая анестезия!"

— Тут просто исповедь какая-то, каждая секунда жизни, что ли, описана? — сказал Толик. — Но откуда все-таки взялась здесь эта рыжая?..

— Посмотри внимательнее, — предложил Малыгин, — ты ведь в одной квартире с ней жил. Похожа она на Марию?

— Какую? Гришаковскую?..

Толик уже менее опасливо взглянул на склонившуюся над Ивановым женщину, отступил на шаг, прищурился:

— Нет, это не она... Та не такая была, ниже ростом, круглее... Да и старше намного. И лицо у той другое... Хотя, хотя...сходство есть...

— Ты обратил внимание, что у этой глаза открытые? — спросил художник.

— Ага... Он же пишет, что она глаза не закрывала... Читай, чего там дальше?..

«Мы вернулись в Алма-Ату в удивительный сентябрьский день. Утром в скверике около главпочтамта появилась желтая цистерна с пивом и около нее тут же образовалась очередь томимых жаждой; было жарко и удивительно тихо, как перед землетрясением, на цветочном базарчике возле стен консерватории горели на солнце букеты роскошных георгинов. Землетрясения в этот день, слава Богу, не произошло, но вдруг пошел снег. Огромные белые хлопья внезапно засыпали весь город — еще цветущие клумбы, бьющие фонтаны, яблоневые сады. Лебедь, плавающий в бассейне кафе "Акку", стал казаться слепленным из снега. Портвейн двенадцатый номер в кафе обрел еще большую свежесть, а снег все валил и валил. Из бара "Каламгер", что свил себе гнездышко в Союзе писателей, вышли поэты и прозаики, даже некоторые драматурги, и удивленно смотрели на стихию, троллейбусы застыли у обочин, девушка в летних туфельках стояла на остановке у "Детского мира", прикрываясь газетой "Дружные ребята", и какой-то мужчина предлагал ей свои огромные ботинки — и она, кажется, была готова принять его щедрый дар. Но тут вышло солнце. И снег на глазах стал исчезать. И девушка отказалась от ботинок, и писатели вернулись в бар, и троллейбусы, зябко подрожав корпусами, тронулись в путь... Через час как будто и не засыпало город огромными белыми хлопьями, и к вечеру метеорологический курьез забылся. Но мы с Марией почему-то надолго запомнили этот сентябрьский снегопад... Может, она потом и позабыла, но я помню...В этот день, в этот вечер, в эту ночь мы пили шампанское, а потом коньяк, и опьянели, и беспрерывно целовались — в кафе, на улице, в подземном переходе, и надо было идти домой, в крошечную комнатку, которую мы сняли на Малой Станице — там целоваться было удобнее, но мы не торопились, сидели в холодном сквере у Дома Правительства — и целовались в двух шагах от хмурых охранников. Потом все-таки мы отправились домой, и Мария достала из чемодана бумажку с надписью "Киргуду — королевство на двоих" и прикрепила ее на стене, и мы стали жить в этой комнате...

Иногда наваливается странная слабость; не слабость — болезнь, а слабость — усталость... И опять снилась она. Может быть, мы теперь нерасторжимы с ней?

...На левом колене у нее был едва заметный шрамик, но я рассмотрел его. "На байдарке перевернулась во время похода

по Сакмаре", — рассказала она, и так я узнал, что она была на сплаве в Южном Урале; там шли тем летом затяжные дожди, речки вспухли, кипели водоворотами, стремительно несущаяся вода почернела, как будто впитала в себя весь страх, притаившийся в непролазных лесах и осыпающихся ярах этих мест, впору было отказаться от сплава, но ребята в команде подобрались серьезные, не привыкшие отказываться от задуманного, и они пошли. И на первом же пороге у большого серого камня она перевернулась. "Спасибо Сереге, спас. — сказала Мария, — Если бы не он... А так только колено разбила..." Так я узнал и о Сереге, который не дал ей утонуть, а потом нес ее на руках в сельский медпункт, и потом вернулся с ней в город, оставив команду — так дорога она ему была. Но они расстались... Любовь не бывает без боли?..

В последние дни у меня в глазах словно двоится, фокус не наводится. Особенно на расстоянии свыше метра. Но на бумаге буквы не двоятся. Наверное, что-то со зрением. Сегодня впервые не стал готовить горячую еду, обошелся килькой в томате...»

— Вот где он нашел свою Шамбалу, — сказал художник, оторвавшись от тетради.

— Здесь, что ли, в комнатушке этой? — спросил Толик.

— Можно, наверное, и так сказать, — ответил Малыгин.— В этой комнате, в этой женщине...

— Так откуда она взялась?

— Думаю, что... Нет, давай читать дальше.

«Сегодня обошелся скумбрией в масле, хорошая, все-таки, еда: даже голодный из осажденной крепости не съест за один присест больше половины содержимого банки. Наверное, ученые специально разрабатывали вкус этого продукта, чтобы его нельзя было много съесть. И вместе с тем, чтобы создавался эффект насыщения. Вот я совершенно не голоден... Мария говорит, что нужно больше есть, но я посмотрел — она и сама ничего не ест... Странно... Прежде она очень любила жареную утку. Иногда мы в "Центральном гастрономе" — ЦеГе — покупали утку, и Мария жарила ее целиком. К утке я покупал бутылку портвейна, собственно в магазинах Алма-Аты тогда ничего другого не было — вино и замороженные утки. Ах, да, еще пакетики с лавровым листом, которые продавцы настойчиво рекомендовали в "нагрузку" к уткам. Мы покупали и эти пакетики, Мария смеялась: "Если так дело пойдет, то скоро соберем на лавровый венок!" Но денег у нас часто не было совсем, поэтому мы так и не собрали на венок.

Время от времени Мария ходила занимать деньги к какой-то своей дальней родственнице, которая часто — уж не помню по какой надобности — бывала в Венеции. Деньги — пять, а то и десять рублей — она почти всегда давала, но при этом нужно было смотреть альбомы с венецианскими фотографиями, на которых была сама Венеция, а на ее фоне родственница. Обычно я ждал Марию на скамеечке неподалеку от кинотеатра "Алатау", потому, что когда мы приходили вдвоем, то к фотографиям прибавлялись воспоминания о каналах, карнавалах и гондольерах.

Заняв деньги, мы мчались к ЦеГе — утка, портвейн и лаврушка, Мария хохотала и говорила: "У меня была хорошая фигура, но есть риск, что она станет идеальной в день моей голодной смерти". И еще она тогда шутила, что в жизни, как в космической орбите, есть апогей и перигей. Перигей — это совсем невысокий полет, и важно не пропустить, когда начнется апогей... Она смеялась: "Надо вырваться из притяжения земли..." "Как же совсем без земли?" — спрашивал я, а она только махала рукой.

В то время я намеревался приняться за большой исповедальный роман о молодежи, по сути дела весь роман — его герои, коллизии, фабула — был у меня в голове. Нужно было просто сесть и записать его на бумагу. Иначе говоря, требовалась чисто механическая работа, потому, что творческая была завершена в голове. Название роману я придумал вполне в духе времени — "Октябрьская канонада". Первая строчка задавала настроение всей вещи: "Я живу осенью, я прописан в осенней стране..." Несколько раз я принимался за работу. Ломались карандаши, из ручки вытекали чернила и заливали бумагу, сосед за стеной включал электродрель, едва я садился за стол, и дальше первой строчки не шло. Не сразу я понял, что совершенно не подхожу для механической работы. Мария предложила, чтобы я диктовал ей, но я отказался. Она и так сильно уставала, тем более, что устроилась ночным сторожем в детском садике через дорогу... У нее даже было ружье с одним патроном. Я иногда приходил к ней ночью, и мы занимались любовью на диване в директорском кабинете, повесив ружье на вешалку. Однажды ружье упало и выстрелило, и заряд попал в плащ, оставленный на вешалке директором. Мне пришлось уносить ноги, потому, что посторонним на охраняемый объект вход был строжайше запрещен. Приехала милиция, и Марию заставили писать объяснительную, а потом обязали выплатить директору за нанесенный ущерб...

...Мария прочитала до этого места и рассмеялась, так много я напутал. Во-первых, не плащ, а пальто было поражено той давней ночью, во-вторых, любовью мы занимались не только

на директорском диване, но и в спортивном зале, где на полу лежали гимнастические маты... Где только не любили мы друг друга!.. Однажды...»

— Он пишет, что Мария читает его писанину, а откуда она появилась здесь, эта Мария? — в очередной раз спросил Толик.

— Да, странно, — согласился Малыгин. Он поднял с пола еще несколько тетрадок, полистал: «...чувствую себя неплохо, только со зрением что-то непонятное происходит; хорошо, что Мария здесь... В Алма-Ате мы снимали углы в чужих квартирах, жили за занавесками, ширмами, однажды хозяйка, пустившая нас пожить в большом доме в Тастаке, предложила нам спать на огромной русской печке. На этой печке мы прожили недели две. Мария хохотала: "Илья-Муромец и Баба Яга — странная парочка на печке..." Мне казалось, что она любила меня. Во всяком случае, во время наших полетов на печи... Денег не было даже заплатить за это обиталище, и пришлось перебираться в другое жилье. Потом мы жили в полуподвале старинного дома, из крошечного и мутного оконца которого была видна только обувь проходящих мимо людей, и мы по обуви, даже самой поступи, учились угадывать характеры прохожих, как они выглядят. Для того чтобы убедиться в правильности наших предположений, мы иногда выбегали на улицу по осклизлым ступенькам каменной лестницы. Это развлекало нас, тем более что угадывали мы часто, и чем дальше, тем больше. Мы научились — не могу объяснить по каким признакам — почти не ошибаться. Появлялись перед оконцем светлые туфельки — "лодочки", и я говорил: "Студентка, двадцать лет..." Мария добавляла: "Цветастая поплиновая юбочка, трикотажный свитерок..." Я продолжал: "Марина, очки..." Мария хохотала: "Короткая стрижка, шатенка..." Сломя голову, я мчался наверх по лестнице, догонял «туфельки» и убеждался, что мы не ошиблись. Иной раз, под разными дурацкими поводами, я выспрашивал имена прохожих, выведывал их занятия, и почти никогда мы не ошибались. Однажды мимо оконца проследовали черные остроносые туфли с металлическими набойками. "Борис, замдиректора, тридцать четыре года, брюнет..." Я подхватил: "Пижон, бабник, кандидат наук, обручальное кольцо..." Мы как будто не угадывали, а заказывали... Она выбежала убедиться, что в очередной раз мы не промахнулись, и пропала больше, чем на месяц. Впрочем, часа через два позвонила хозяину дома, просила передать мне, что задерживается, скоро приедет и все объяснит, но еще через два часа опять позвонила хозяину, и он, злой, как барсук (вовремя не платят, еще и звонят бесконечно), притащился из своего надземелья и хмуро сообщил, что она умоляет не беспокоиться,

что все нормально — утром она будет «в нашем смешном полуподвале», не нужно думать ничего худого. Утром она не появилась, и следующим утром тоже... Ничего худого я не думал, я знал, что она жива и здорова, и даже весела, и что любви без боли не бывает. Я ждал, когда ее сапожки прошагают перед оконцем: "Мария, двадцать четыре, рыжеволосая..." В тот год хорошо писалось, я закончил несколько осенних рассказов, как мне показалось — неплохих. Октябрьская грусть удавалась мне всегда, теперь — особенно. Я думал: "Мария, ну почему все так выходит?" и писал: "Мария везде, где осень, а осень повсюду...Не бывает Марии без боли..."

Когда ей исполнилось двадцать пять, она вернулась в полуподвал. Сказала:

— Это я...

— Здравствуй, — поздоровался я.

— Прости...так вышло...

— Да...

— Мир?.. Точно?..

Она выглядела растерянной, удрученной. Может быть, потому, что не получилось вырваться из притяжения земли?

У нее нашлось пять рублей, и я сбегал в ЦеГе за уткой, портвейном и лаврушкой. Выпили, и она сказала:

— Мы с тобой тогда угадали, на самом деле кандидат наук, пижон и обручальное кольцо... И он — Борис...

— А то, что брюнет — угадали?..

— Нет, — ответила она. — Обещай, что больше никогда не спросишь меня о нем... И не попрекнешь... Иначе смысла оставаться здесь у меня нет...

Она осталась, повторила давние свои слова:

— Наверное, ты и на самом деле самый лучший вокруг на тысячу километров...

— Неужели брюнет так теперь далеко? — не удержался я.

Она нахмурилась, и больше никогда об этом мы не говорили. Бывает ли без боли молчание?

Из полуподвала мы переехали на чердак дома, стоявшего в черешневом саду. Говорят, что по весне там бывало чудесно — люди вообще любят, когда цветут сады, летают бабочки и гудят шмели, но осенью среди голых деревьев было особенно грустно; крошечный холодный ручеек петлял среди стволов и как будто распределял опавшие листья по всей территории сада; Мария иногда гуляла по саду, перепрыгивала через ручеек, но я видел — она тосковала по весне. Она не любила осень. Поэтому мы опять перебрались на новое место.

Когда в очередной раз мы собирали свои пожитки, она сказала: "Я поняла, почему происходит это постоянное коче-

вье. Ты — потомок Чингисхана. У тебя ведь в роду были татары, были? Ты наследник номадов, в тебе есть неистребимый кочевой ген. Тебе, в общем-то, не нужен дом, ты будешь вечно бездомным...” Она ошиблась, дом для меня нашелся... И для нее тоже... Так реально, как сегодня, она мне не снилась никогда...»

— Кажется, я понимаю, что произошло, — сказал художник. — В это невозможно поверить... Вот читай дальше: «Это просто наваждение. Я думаю только о ней, я пишу о ней, она снится мне каждую ночь... Я готов не просыпаться, чтобы оставаться с ней... пусть этот сон длится...»

— Это его сон, понимаешь? — отложил тетрадки Малыгин.

— Нет! Не понимаю! — мотнул головой Толик.

— Мы попали в сон Иванова, — продолжил Малыгин. — Влезли с тобой в самую сердцевину сновидения. Уж не знаю, каким образом материализовалось то, что ему снилось... С такой силой он представлял себе свою Марию, что она уже не могла больше покинуть его... То, что мы видим сейчас — застывший сон... В этой комнатушке сконцентрировались все мечты Иванова, все его сны, и достигли критической массы...

Толик почесал затылок:

— Если это сон... Постой-ка...

Он подошел к женщине и прикоснулся к ней рукой. Рука не встретила сопротивления и как бы растворилась в рыжих волосах. И в то же мгновение очертания Марии на секунду потеряли резкость и яркость.

Толик отдернул руку:

— Ничего там нет, только как будто теплота какая-то...

— Еще какая теплота, — сказал художник. — Очень большая теплота...

— Но если мы видим его сон, — наконец, завершил свою мысль Толик, — то где же он сейчас сам?..

— Кто же это может знать, кто? — ответил Малыгин. — Но надеюсь, что ему там хорошо...

Они выбрались из комнатки и принялись замуровывать стену.

А старую картину Малыгина они повесили на место.

Блэк энд голд (Черное и золотое)

Николай пришел в магазин и прочитал вслух по бумажке:

— Есть ли у вас в продаже сверлильная машина, в которой используется электромагнитный или пневматический принцип формирования удара?

Продавщица за прилавком даже не пошевелилась. Устала за день вертеться.

Эту бумажку он вырвал из какой-то строительной книги, прочитал как будто правильно. Так и есть: «Сверлильная машина...»

Он кашлянул, потом еще раз погромче, чтобы привлечь внимание уставшей продавщицы, и продолжил читать, на всякий случай по слогам:

— Ма-ши-на эта на-зы-ва-ет-ся пер-фо-ра-тор... Перфоратором называется.

— По мне хоть сепаратором, — наконец заметила Николая продавщица. — Хоть самим кухонным комбайном называй, хоть посудомоечной машиной. Мне — по барабану! До лампочки! До лампады!..

Николай удивился грубости продавщицы, но продолжил по бумажке:

— Действие перфоратора схоже с дрелью...

Продавщица потеряла терпение:

— Что ты мне лепишь, дядя! — закричала она. — У нас галантерейный магазин! Понимаешь, галантерейный!..

Николай непонимающе смотрел на нее.

— Пуговицы тебе нужны, дядя? — чуть успокоившись, спросила она. — Могу предложить сто пятнадцать разновидностей и восемнадцати цветов... Перламутровые нужны? Вот перламутровые. Цвета морских огурцов нужны? Вот они, огурцы... А дрели и сверла продаются в специальных магазинах для строительных инструментов, ты что, не знаешь этого? Дядя!..

— Вообще-то знаю, — сказал немного огорченный Николай.

— Вот-вот, — совсем уже мирно произнесла продавщица. — В соседний магазин тоже не ходи, там парфюмерия. Духи тебе нужны? Или ты только одеколон тройной употребляешь?

Николай попытался ей объяснить:

— Я думал, что существует корпоративное торговое братство... Одни торгуют перфораторами, другие — губной помадой, но по большому счету они заняты одним делом, и им не может быть «до лампады», когда приходит потенциальный покупатель... Разве я не прав?

Продавщица от возмущения потеряла дар речи.

— Вот если бы я обратился по своему вопросу в баню или, скажем, цирк, то это могло вызвать улыбку, — продолжил он. — Но если разобраться, то ничего комичного я не вижу в том, когда один человек помогает другому...

И он вышел из магазина, направился на рынок, где, вспомнилось ему, он видел когда-то магазин «Для новоселов», а в

нем всяческие снаряды, как для разрушения стен, так и для их возведения.

Ему не требовалось пока ничего возводить, но разрушить кое-что он намеревался. В одной книжке он вычитал, что некий чудак, писатель-неудачник, замуровал себя в потайной комнате. Опостылела ему действительность, надоели соседи, — и он ничего лучшего не придумал, как запастись консервами, макаронами и подсолнечным маслом, и чернилами с бумагой, и замуровать себя навек.

В книжке была такая деталь, она показалась важной: в городе, в котором все это происходило, круглый год шли дожди, иногда пополам со снегом, всегда было сумрачно, да вдобавок ко всему часто отключалось электричество. Так и говорили: отключилось электричество! Как будто оно обладало такой таинственной способностью — выключаться само по себе, по своему собственному желанию. А вот чтобы включить его, требовались монтеры, которые всегда находились на экстренном вызове, и приходилось ждать их в темноте неделями. Однажды электричества не было полгода; в этом мраке развелись пауки, мохнатые, беспощадные, а также больше стало крыс.

Так вот, в потайной комнате, которую случайно у себя за стеной обнаружил чудак, всегда светило солнце — через крошечное окошко под потолком. Конечно, по законам природы так быть не могло: если во всем городе промозглый дождь и тучи почти лежат на крышах, то откуда возьмется солнце в потайной комнате? Откуда? Наверное, это какая-то писательская аллегория, метафора или просто неумная придумка затосковавшего сочинителя, но Николай поверил, что так и было.

— На каждой дождливой планете (а Земля представлялась ему именно такой) есть солнечные уголки, есть теплые края... Я в какой-то газете вычитал, что есть края, в которых солнечных дней в году больше, чем всех остальных. Больше остальных дней!

Все это говорил он сам себе, потому, что разговаривать ему было совершенно не с кем, и он легко убеждал своего собеседника в чем угодно.

Так вот, он во что бы то не стало захотел найти эту потайную комнату, по его подсчетам замуровавшему себя чудаку продуктов должно хватить лет на двадцать, а чернил и бумаги — на сто тридцать пять лет, а прошло с момента, когда Иванов (замуровавшийся) спрятался от мира, лет пятнадцать.

— Представляю, сколько он там книг написал, — разговаривал Николай сам с собой. — Они непременно должны пополнить собой сокровищницу мировой литературы. Я берусь

уговорить этого нашего великого современника-затворника покинуть хотя бы на время место его добровольного заточения, чтобы мы все получили возможность ознакомиться с его выдающимися произведениями...

И он принялся искать. Сначала позвонил по телефону писателю, который сочинил этот рассказ, но тот ничего внятного сказать не смог, потому, что у него как раз случился вечер встречи с портвейном. Седьмой или восьмой вечер. Подряд.

— Кого вам надо? — кричал в трубку писатель. — Вы ошиблись. Это не я был... Честное слово, я в запое пятый день, и из дома выхожу только в киоск... Условно говоря, выхожу... выползаю...

Поняв, что от автора в ближайшие дни ничего не добьешься, Николай принялся изучать само произведение, считается, что это много может дать для расшифровки личности автора, его творческой жизни. В рассказе было написано: «...в комнате, где сочинял он, не было окон. Этот узкий, высокий и холодный параллелепипед с деревянным скрипучим полом был некогда частью коридора огромной старинной квартиры, ныне коммунальной. До революции в квартире жил не то инженер, не то врач, вскоре расстрелянный, и его жена — тоже расстрелянная ради социальной справедливости, и их дочь, успевшая сбежать, кажется, в Китай. Во время революции и гражданской войны здесь был какой-то штаб; штабисты любили палить из наганов в высокий потолок, может от тоски, — следы пуль были заметны и теперь».

Кое-что понятно: скрипучий пол, следы пуль на потолке. Но мало ли у нас помещений со следами пуль на штукатурке?.. Николай на всякий случай взглянул на потолок своей комнаты, ну, точно: следы от пуль складывались в народное слово — «Бл...!»

«Хорошо стреляют, собаки! — позавидовал он метким стрелкам. — Они вполне могут настрелять хоть «Три богатыря», хоть «Завтрак на траве», если им дать вволю патронов. Только когда у нас патронов хватает?»

Николай стал методично обходить старинные дома, в современных не было потолков выше трех метров, да и вряд ли в этих домах с их ясной младенческой архитектурой, можно скрыть хоть самую крошечную потайную комнату. Да и указано было в рассказе, что дело происходило в «старинной квартире», если только у писателя в то время не случилась неделя дружбы с настойками и наливками.

Он смело входил в дома с колоннами, не смущали его ни старинные пилястры, ни лепнина фризов, оставленные предками, боровшимися не только за социальные вольности, но и

за красоту. Он поднимался по парадным лестницам, боясь запутаться в паутине бельевых веревок, обходя подвешенные на стенах велосипеды со спущенными шинами, жестяные оцинкованные ушаты, схороненные в темных углах до лучших времен ламповые радиоприемники «Родина», пружинные патефоны и стопочки тяжеленных пластинок, выпущенных фирмой «Мелодия»: «Огонек», «Мишка», «Рио-Рита», «Ту-Степ», «Марина» и «Пичирильо».

Кого только не встречал он в этих коридорах. Однажды вышел на старика, дремавшего в плетеном кресле с небольшой книжкой в руках. На старике была защитного цвета гимнастёрка и уланские рейтузы, офицерские кавалерийские сапоги. Рядом со стариком, на втором кресле, лежали револьвер и шашка. В коридоре было почти темно, но Николай сумел заметить, что на плечах старика не было ни погон, ни эполет. На рукаве белела повязка. Несмотря на отсутствие знаков различия, старик походил на генерала.

— Здравствуйте! — ошарашенно сказал Николай, и неожиданно для самого себя отдал старику честь.

Тот кивнул в ответ, спросил:

— Ищешь чего? Или кого?..

— Да, ищу. Комнату ищу потайную...

— Да тут что ни комната, то тайна.

— В ней еще писатель жил, которого жена бросила...

— Эх, милок! — вздохнул генерал.

— У него в комнате была интересная картина, — не унимался Николай, — на ней желтая равнина и след от ноги человека...

— Человека? — уточнил генерал. — Нет, такой картины не видел...

— Извините, что побеспокоил, — сказал Николай. И вдруг, сам не зная почему, спросил:

— А вас не Владимиром Оскаровичем зовут?

— Эх, милок! — опять вздохнул старик. — Кто сейчас держит в памяти имена? Да и нужны ли они? Я в этом не уверен... А ты вот эту книжку читал?

И он показал книжку, на обложке которой было напечатано: «Чапаев».

— Нет, — честно признался Николай. — Я кино смотрел... раза три... а книгу не читал...

В другой раз во дворе старинного трехэтажного дома с колоннами он услышал, как кто-то окликнул женщину:

— Мария!

Женщина вывешивала на веревки мокрое сиреневое белье, и он уставился на нее, да так, что она вспыхнула, отвернулась. Потом спросила: — Чего глазенки выкатил? Мокрых лифчиков не видел?..

— Не знаю... видел, кажется... А вы не знаете, в этом доме проживает Иванов? Писатель?.. У него в комнате картина странная висит — вся желтая... От него еще жена ушла — к Гришаку... Это не вы будете?.. Я слышал, вас Марией зовут. У Иванова тоже жена была Мария...

— У меня, правда, три мужа было, — сказала Мария, — но Господь миловал — все три нормальные, не писатели.

— Извините, — сказал Николай. — Оказывается, нелегко найти человека...

И он двинулся дальше. Но тут она его окликнула:

— Постойте, постойте...

Он вернулся.

— Кажется, я знаю этого Гришака. Он мастер — золотые руки, да?

— Кажется, — вспоминал Николай рассказ.

— Он и утюг починить может, и самолет. За таким баба, как за каменной стеной, — сказала она.

— Точно! — поддакнул Николай.

— Из того старинного дома Гришаки давно съехали, получили отдельную благоустроенную квартиру... Одно время я тоже жила в этом новом доме, этажом выше. Так что иногда мне приходилось слышать, как плакала Мария, негромко, но безутешно...

— Отчего она плакала?..

— Кто же знает, она мне ничего не рассказывала... Люди болтали, что ее муж бесследно исчез, и она винит себя в этом. Правда, другие говорили, что она о своем писателе ни разу и не вспомнила, а плакала оттого, что этот мастеровой — Гришак — поколачивал ее...

— А вы случайно не знаете, где находится тот старый дом, в котором они все вместе жили?

Она взглянула на него пристально, решаясь — можно ли доверить ему это. Потом сказала, понизив голос, как будто вручая немыслимую тайну:

— Есть такой город. Наверное, где-то на западе...

И замолчала надолго. Николай решил, что это и вся ее тайна, но вдруг она продолжила:

— Уже на вокзале ты понимаешь почему-то, что это именно тот самый, нужный тебе город. Там еще на перроне забегаловка есть, «Голубой Дунай» называется, и мост есть переходной через железнодорожные пути...

— На каком вокзале нет «Голубого Дуная?» — был поражен Николай услышанным. Просто исчерпывающие сведения! И спросил у женщины:

— А вы откуда знаете про перрон и все такое? Про забегаловку?..

— Сам же говорил, на каком вокзале нет забегаловок?

— Постойте, постойте..., — сказал Николай вглядываясь в женщину. — Так вас Марией зовут?

— И мою мать Марией зовут, и еще сорок баб, проживающих только в этом коридоре, — ответила она. — И кто из нас нутром не чует беду, не ведется на призрак любви, не мечтает о счастье? Поэтому и «Голубой Дунай», как родной; кажется, что там хоть кого-то поблазнило другой жизнью, в которой солнце — не только для сушки белья.

— Извините! — сказал Николай и продолжил свои хождения по коридорам и лестницам, чувствуя, что круг поиска неумолимо сужается.

И однажды он сел на поезд и поехал на запад. Но потом поезд повернул на север, а потом — восток, так что, точно сказать, куда же он поехал, невозможно. Железная дорога сцепила чугунными рельсами все города, все местности, притянула их друг к другу; до какого-нибудь Сихоте-Алиня прежде путник тащился два года, питаясь в пути олениной и лососями, то теперь он рискует совсем пропасть в паутине полустанков, разъездов, и никогда не найти свой поворот. Многие так и не нашли, не сделали нужной пересадки, и уже не первый век маются на жесткой плацкарте, с тоской прислушиваясь к объявлениям сонных проводников: «Граждане и гражданочки, поезд идет с опозданием на шашнадцать часов, платформа справа».

Николай не стал рисковать и вышел на первой попавшейся станции, спросив на перроне: «У вас “Голубой Дунай” есть?»

Ему ответили: «Никакого «Дуная» у нас нет, его давно переименовали в «Кафе национальных блюд».

Он толкнул скрипящую дощатую дверь и вдохнул забытый запах привокзальной чайханы. Прокисшее пиво, тухлая селедка, пригоревшее еще до революции масло, пережаренный лук, густой запах мочи точнее всяких часов показывали, что на дворе ночь, и вот-вот шалман прикроется до утра. Но стакан портвейна под соленый огурец еще можно успеть выпить, и поговорить с хорошими людьми. Николай и спросил портвейна. Стакан.

— На разлив вино не отпускаем, — на всякий случай соврала официантка, и у нее прокатило: он заказал всю бутылку. Тут же к нему подошел дремучий, заросший бородой, как леший, человек, никогда не чесанный, давно не мытый.

— Здорово! — сказал он. — Тут слух прокатился, что ты ищешь желтую картину?

Николай пожал плечами, никому в этом городе он о желтой картине не говорил.

— Картина знаменитая, — продолжил между тем леший. — Сам Малыгин написал, а он художник знатный!..

— Знаю, знаю, что сам Малыгин, — для чего-то поддакнул Николай, — иначе бы не интересовался... Мы в искусстве тоже кое-чего понимаем.

— Вы? — заглянул за спину Николаю бородатый.

— Ну, в смысле — я, — смешался тот.

— Конечно, конечно! — широко улыбнулся незнакомец, хотя трудно было понять — широко он улыбнулся или не очень широко — бородища все закрывала. — Выпивать-то будем?

— Будем, — не отказал Николай страждущему.

Они быстро распили бутылку. Да и чего там пить-то — поллитра ароматной жидкости, которая просто сама просилась в рот, а оттуда в желудок, а уже оттуда прямо в мозги.

— Я смотрю, ты знаток живописи, товарищ! — сказал нечесаный. — У тебя просто серебряный глаз, тебе бы в международные эксперты податься, говорят, они большие бабки имеют через эту работу.

— Это, конечно, можно, — не стал отбиваться Николай. — Деньги мне нужны.

— А уж как они, проклятые, нужны мне — словами не передать, — поделился сокровенным бородатый.

Подошла официантка, спросила:

— Заказывать еще чего будете, или просто так место занимаете?

— У вас, наверное, наценка большая? — поинтересовался Николай.

— Так ты в ресторан приперся! — сказала официантка. — Не в забегаловку. Скатерть вам постелена крахмальная, бокалы хрустальные поданы. А вам халяву подавай! Да?

— Придется чего-нибудь заказать, — разъяснил бородатый, — иначе попрут. У тебя деньги-то есть?

Николай покопался в карманах, набрал еще на бутылку. Его новый товарищ добавил несколько монеток, правда, часть из них забрал назад — на автобус.

Вторая бутылка закончилась быстрее первой. Николай давно подметил эту странность. Что-то неведомое таило в себе вино, ведь с молоком, например, ничего подобного не происходило. Даже наоборот: чем больше его, молока, пьешь, тем меньше его хочется. А портфейным напиться невозмож-

но, вермутом — тоже. А вот розовое игристое иногда не лезет, фыркает назад, особенно когда употребляешь его из горла.

Третья бутылка закончилась, кажется, еще до того, как ее принесла официантка. И тут Николая осенило, и он прямо спросил у нового друга:

— А ты сам, случаем, не из художников? Уж очень у тебя борода художественная, я сказал бы — сюрреалистическая.

Собутыльник загадочно улыбнулся, приятно, когда тебя узнают встречные-поперечные. А уж знатоки — само собой знают...

— А фамилие твое какое будет? — продолжил допрос Николай. За три бутылки портфейного он вполне имел на это право. — Не сам товарищ Малыгин, случаем?

Малыгин не стал скрывать, что он Малыгин. Да и трудно было скрыть это, талант светился в его глазах.

— Да, я и есть Малыгин. Тот самый.

Но чтобы в этом не осталось у собеседника никаких сомнений, он показал удостоверение члена садового товарищества «Мир искусства» и добавил:

— Мои работы есть в запасниках лучших музеев мира, в первую очередь в музее «Старый Уральск»...

— Рад, очень рад нашему знакомству, — сказал Николай.

— Я тоже рад, — ответил знаменитый художник, — но картину я не продаю, а если честно — ее у меня на руках нет...

— Где же она?

— Да там же и осталась, в том проклятом доме...

— Значит, вы знаете, что Иванов там себя заточил?..

— Знаю... Но сразу скажу, я туда даже за ящик портфейного не пойду.

— Что, так страшно?

— Даже страшнее — непонятно.

— Да, непонятное страшнее всего, — начал Николай. — У нас лет десять назад случай был, а, может быть, все двадцать годков уже пролетели...

— Время летит, — согласился Малыгин.

— Время стоит на месте, оно давно остановилось, это мы иногда проносимся мимо него, — сказал Николай. — Случай, о котором хочу рассказать, как раз и связан с замерзшими временами...

— Ну?..

— Есть места, где почти незаметно, что время замерзло. Нужно хорошенько приглядеться, чтобы понять это. Или увидеть внезапно то, что видел полвека назад, или встретиться с человеком, про которого давно забыл, а оказывается, ты ему десятку должен, и он это прекрасно помнит, и ждет, когда ты

вернешь денежку эту, ведь на неделю брал, а прошло сколько? В других местах наоборот: настолько замерзло все, что часы почти не идут, а кое-где даже вспять стрелки крутятся — там лед времен очень прочный... Однажды хороший мой приятель — Шуриком его зовут — отправился на рыбалку. Только что лед на пруду стал, еще опасный, хрусткий, как оконное стекло. Снег еще не выпал. День солнечный, морозный — рыбакам раздолье, кто на уду ловит, а кто деревянной колотушкой бьет прямо через это ледяное стекло, оглушает рыбу, приметную через перволед.

Шурик же поставил жерлицы, до десятка. Живцы у него бойкие, не покупные — сам ловил карасиков, а они, шельмецы, живучие, на них что голавль, что щука — дуром прут. Из первой же лунки выхватил приличную щуку, килограмма три будет. Такая светлая, молодая щука. Но присмотрелся к ней рыбак и прифигел. На плавнике у рыбы медное кольцо, а на кольце год выбит, в котором окольцована была хищница — 1448.

— Такая старая была щука? — перебил рассказчика Малыгин.

Николай выдержал паузу и продолжил:

— Не такая уж старая...

И тогда Шурик вспомнил, что где-то он уже читал про окольцованную щуку. Точно, в книге знаменитого ихтиолога Леонида Сабанеева! Он еле дождался конца рыбалки. Он был в тот день единственным в мире рыбаком, который торопил время. Щуку, конечно, он отпустил в пруд.

Дома он сразу взялся за книгу — «Рыбы России». И буквально через пять минут нашел искомую строчку: «...в 1610 году была поймана... огромная щука с медным кольцом, на котором был обозначен 1448 год».

— Так мне попалась та же самая щука! Судя по всему, так оно и есть, — размышлял Шурик. — Если это так, то ей должно быть не менее пятисот шестидесяти лет, да еще нужно учитывать, что окольцевали ее не щуренком.

— Постой, постой! — поразился он. — Мне-то ведь попалась никак не вековая рыбина. В чем же дело?

И вдруг его осенило: в том месте, где он рыбачил, время как раз сковано морозом, и там идет 1448 год?

Тогда он поехал на этот пруд опять. Взял с собой отрывной календарь, фотоаппарат, хронометр и даже барометр.

Снимки получились отличные: на них хорошо вышла плотина пруда и сам Шурик со своим научным оборудованием. Он потом рассказывал, что стрелки хронометра сразу пошли в обратную сторону, причем крутились с такой скоростью,

что их не было заметно. А барометр стал показывать ясную погоду, тридцать с плюсом по Цельсию, хотя валил снег и было двадцать пять мороза. Жуть, просто жуть! В общем, Шурик практически доказал существование замороженного времени. И клевало там всегда хорошо — прежние времена они и есть прежние времена — все в них было лучше, чем теперь. Но на этом пруду люди долго не сидели, даже если клев хороший был — жуть охватывала рыбаков и путников, которые случались иногда в этих краях.

— Чистая правда! — подтвердил Малыгин. — Раньше было лучше, даже голова с похмелья не болела...

И добавил:

— Ты что, намекаешь, что Иванов замерз в этих самых льдах времен? Скажу тебе еще раз, пока мы не пьяные — где бы он ни замерз, где бы не заледенел, я все равно туда ни ногой.

— Я сам пойду... Говори адрес, не тяни...

И художник растворился в пространствах «Голубого Дуная». Больше его никто и никогда не видел. Пропал великий живописец.

Николай быстро нашел дом, он стоял, окруженный забором, приготовленный к сносу — пустой, холодный и темный. Разбитые стекла хрустели под ногами, как снег в морозный день, двери и рамы хлопали на ветру, старая бурая дранка выпирала из потолков и стен, как поломанные ребра. Хотя дом был еще крепкий и простоял бы еще век-другой, его решили убрать. Уж очень не современная была архитектура с разными излишествами: колонны, парадный вход, крыльцо с затейливой чугунной решеткой. Все это раздражало отцов города. Они бились над современным обликом города, строили стеклянные дома с примесью стали и бериллия. А эти вековые строения, серые, бурые, с облупившейся штукатуркой, с надписями густого эротического содержания прилепились к новым улицам и проспектам, как грибы-паразиты.

И вообще здесь была такая мода — ломать мрачные старинные дома, а на их местах подолгу ничего не строить, пусть будет больше простора и света. Ну а когда горожане свыкнутся с пустотой, полюбят ее, власти внезапно могли поставить здесь жилую крупнопанельную коробку на пятьсот квартир — из очень прочного серого пористого бетона с металлическим каркасом внутри — изобретателю этого бетона собирались дать Нобелевскую премию, но почему-то не дали. Этот дом был рассчитан на полторы тысячи лет, а после капитального ремонта он мог простоять еще семьсот пятьдесят лет. Таких домов возникло множество на пустырях, где когда-то стояли

дома с колоннами, и люди не помнили, что тут было раньше, говорили:

— Страшная какая коробка, как будто в серой шинели стоит... но это все-таки лучше, чем был здесь пустырь и на нем стая бездомных собак людям проходу не давала.

Так вот, дом этот с желтой картиной и писателем Ивановым, замуровавшим себя в тайной комнате, был как раз в той стадии, когда во дворе завелись бездомные собаки. Да не одна стая, а две. В одну сбились огромные мохнатые собаки, в другую — небольшие псы, они непримиримо враждовали, их обоюдная ненависть была больше собачьей, наверное, — волчьей, или еще больше, еще ненавистнее. Чуть стоило зазеваться собаке из первой стаи, как мелкие собаки нападали на нее, и пощады от них не было, лютой ненавистью пылали глаза нападавших. Но если мохнатым гигантам попадалась мелкая собака, то они просто разрывали ее на куски.

Но все-таки наибольшая злоба была у них на людей. Сколько народу пропало в доме, во дворе — никто не считал, может, кто-то и был растерзан злобными собачьими стаями?

Поговаривали, что в доме завелась и страшная шайка бандитов, которая не брезгует никакой добычей. Попадется ей мосластая городская курица — шайка хвать ее — и в котел, попадется беззащитный коммерческий банк — тотчас налет, со стрельбой в потолок, с черными чулками на скуластых мордах, с матом-перематом. Кстати, насчет черных чулок. Их в шайке было много, потому, что бандиты были бандитками; все красавицы, как на подбор: с крепкими грудями, тонкими, просто ивовыми, талиями, точеными ножками. И все эти бедовые девчата имели разряды по стрельбе, побеждали на городской и даже областной спартакиадах. В народе шел слух, что в шайку пошло разорившееся модельное агентство, потому и название шайки было такое — «Жадо». Правда, никто не знал, что это такое, поэтому чаще говорили:

— Это наши жабы почтовый поезд ограбили! Представляете, в составе поезда ездил потерявшийся в четырнадцатом году почтовый вагон с рождественскими поздравительными открытками и подарками! Уж, как только его обнаружили? Вот кто-то обрадовался, когда спустя век получил поздравление или плитку окаменевшего шоколада!..

Короче говоря, опасно было на этой территории. Очень опасно.

Николай ступил во двор, как солдат в кабинет генерала. Для смелости он мурлыкал себе под нос «Smoke on the Water», плечо оттягивала сумка с инструментами. «В случае чего, — подумал он, — буду отбиваться молотком и монтировкой».

И только он это подумал, как раздалось грозное рычание, и откуда-то сбоку выбежала огромная лохматая собака. Николай похолодел, этот пес разделается с ним за минуту; он представил, как желтые клыки впиваются ему в горло.

В это время с другой стороны двора показалось несколько собак поменьше, их рычание было еще грознее, чем у лохматого пса.

«Ну, все, — мелькнуло в голове Николая, — быть мне сожранным бродячими собаками!» Однако несмотря на парализующий страх, он отметил про себя, что особого огорчения при этом не испытал, только, может быть, легкое сожаление. Наверное, сказывалась усталость, накопившаяся в теле за долгие годы поисков этого таинственного дома, а, может, ему уже надоело бояться — всего на свете?

Собаки неспешно приближались к нему, прибавляя грозности в рычании.

«Сначала они со мной разберутся, а потом уже между собой, — подумал он. — Наверное, у собак это имеет значение — первостепенность разрывания на лоскуты; я для них важнее их собственной вражды. Это можно считать уважением...»

Собаки остановились в трех шагах от Николая, припали на передние лапы, их рычание перешло в хрип.

Николай зажмурил глаза.

И тут прозвенела команда:

— Назад! К ноге!

И тотчас злобное хрипение стихло, вдруг перешло на нестрашное повизгивание.

Николай открыл глаза. У подъезда дома стояла красавица — длинноногая блондинка, фотомодель, золотое сечение 80—60—80, на высоко вздымающейся груди значок «Ворошиловский стрелок».

Собаки легли у ее ног.

«У этих ног любой бы прилег!» — подумал Николай, а вслух сказал:

— Здравствуйте! Просто не знаю, что без вас со мной сталось бы... Покусали бы, наверняка покусали...

Красавица засмеялась прокуренным голосом:

— Испугался!

Он тоже засмеялся, но так хрипло, как у нее, у него не получилось. Он бросил курить пять лет назад. Как пропала в киосках его любимая «Прима», так он и бросил. «Прима» была ему и по вкусу, и по карману.

— Любой бы испугался, — признался он.

Она оценила его прямодушие:

— Честный!..

Он подошел к ней, собаки забеспокоились, но она успокоила их:

— Лежать!

Николай протянул красавице руку, представился:

— Коля... Вообще-то все зовут Николаем, но мне нравится, чтобы звали Колей... Как-то мягче звучит, не находите?

— Конечно, мягче, просто как пух, — сказала она, и тоже назвала свое имя:

— Коза... Ой, извините... Меня подруги в шутку называют Козанострой — за веселый нрав, а вообще-то я — Катерина, Катя...

— Очень приятно! — сказал Коля-Николай. — Вы, должно быть, хозяйка этих песиков? На прогулку их вывели?..

— Да, хозяйка. Конечно, на прогулку, — согласилась она. — Люблю животных, никуда не денешься от этой слабости. У меня их сорок восемь в двух... коллективах, что ли, в двух бригадах. Пришлось взять шефство над ними.

— Хлопотно, наверное? — предположил Коля. — Да еще с вашей внешностью...

— Что-нибудь не в порядке с внешностью? — всполошилась она, достала из сумочки зеркальце.

— Все в порядке с вашей внешностью, я хотел сказать — вашей красотой, — бросился он убеждать ее.

— Вы мне льстите, — не без кокетства сказала она, — но, тем не менее, приятно слышать...

— А мне приятно это говорить, — обмен любезностями грозил затянуться надолго, поэтому Коля-Николай прервал сам себя и спросил:

— Вы здесь живете?

И не дождавшись ответа, продолжил:

— Если это так, то вы должны знать, где находится комната, в которой...

— В которой брошенная библиотека! — перебила она его. — Тыщи книг, жуть! Чудно!.. Чудно не потому, что бросили книги, а потому, что все они или без первых страниц, или без последних, во многих из них вырваны самые интересные места...Комната эта находится в подземном этаже дома, его раньше называли «электрическим»...

— Нет, не библиотеку я ищу, — ответил Николай, — хотя это тоже очень интересно; я где-то читал об этих книгах, даже фамилию запомнил владельца — Бочаров. Но ищу я комнату, в которой на стене...

— На стене осень, — опять перебила она его. — Картина такая желтая...

— Здесь, здесь она? — загорелись у него глаза.

— Здесь, — разочарованно произнесла повелительница собак, — но ничего в этой картине интересного нет — только пустота, только скука. Я не понимаю, зачем художник истратил столько красок, израсходовал столько времени, мучился, поджидая вдохновенье, — и все для того, чтобы написать ничто, нарисовать никого?

— Может, Малыгин — певец незагроможденных пространств? — вставил слово Коля-Николай. — Поэт пустынь, акын желтых песков?.. Кто-то ведь должен изображать то, чего нет на свете, но может быть... Не для того ли мы живем, чтобы все придумывать и все разгадывать? И потом — так ли пуста пустота, так ли абсурден абсурд?..

Катерина махнула рукой, дескать, все это безнадега. Художник должен свой бесконечный мир раскрывать нам, у нас дух должно захватывать — вот она какая бесконечная вселенная! Это ведь большое счастье — уметь поделиться счастьем, и мы ждем и надеемся хоть одним только глазком взглянуть на чужое счастье, замаскированное под наше собственное, а вместо этого нам суют под нос жуткую желтую пустоту, и мы понимаем — это одиночество... это распад, это даже не проигранное сражение, не капитуляция в войне — это проигранная жизнь, причем на всех фронтах.

Коля-Николай прищурился:

— Вы, я вижу, оптимистка...

— Я сказала бы иначе: позитивистка...

— Чем вы занимаетесь? — спросил он.

— Как и вы, я занята поиском, и тоже часто поиском того, что мне не принадлежит...

— Боюсь вас неверно понять, но, кажется, догадываюсь, какое ремесло вы избрали...

— Да, я главарь разбойной шайки! — произнесла она с нажимом.

Он непроизвольно сделал шаг назад:

— Вряд ли вы позаритесь на мое имущество...

— Да уж! — оглядела она его с ног до головы: грязная мятая кепка, обвислое пальто цвета старой медведицы, разбитые летние туфли — явно не по сезону, потрескавшиеся черные перчатки, издалека напоминавшие обожженные, обуглившиеся ладони. — Не позарюсь!..

Она задумалась на секунду, сказала:

— У нас первая в мире степная женская шайка, и все, так сказать, творческие работники — девушки, притом — красавицы. А вот среди технического персонала есть и мужчины,

прошедшие строгий контроль... Так вот, технического персонала нам не хватает. Хотите, примем вас на должность заведующим отделом стрелкового оружия? Или зам. атамана по хозяйственной части?

Он покачал головой:

— У меня таланта нет к этой безусловно интересной профессии... И потом разбой — это чаще всего коллективный труд, он требует слаженности, дисциплины, строгого соблюдения законов шайки, а я шатун-одиночка... Боюсь, не сумею оправдать ваших надежд, и тогда вам придется как-то избавляться от меня...

Красавица холодно улыбнулась:

— Вы правы, тогда выход один. Мы застрелим вас!..

Пока они вели содержательную дискуссию, из подъезда обреченного дома вышло с десяток блондинок, ярких, как новые заплатки на старом сером плаще. Золотистые тона разбавили сумрак векового двора, ароматы шанелей напомнили, что до парижей, венеций, ахтубинсков совсем недалеко. Выкатились из дома непримиримые огромные псы и злобные маленькие собачки, забывшие ради общего дела на минуту свою ужасную вражду.

А какое общее дело им сейчас предстояло?

«Какое?» — спросил у себя Коля-Николай, и почувствовал, как испарина покрыла его высокий лоб.

— Вообще-то я не думаю, что мы можем вас отпустить и сейчас, — сказала предводительница банды «Жадо» и собачьих стай.

Блондинки сомкнули ряды, в руках сверкнули ножи.

Собаки грозно зарычали.

«Даже если они носят лифчики и употребляют одеколоны наружно, — подумал Коля-Николай, — бандиты они есть бандиты, ни милосердия у них, ни простой человечности». И он закрыл глаза, готовясь к самому худшему.

«Вот же, стоило родиться, учиться (правда, на тройки), служить в ракетных войсках, все время борясь с искушением запустить ракету куда-нибудь на Луну или на Марс, — размышлял он, — а в итоге — отправиться на корм собакам и собачкам...»

— Однако, — перебила его невеселые мысли начальница над разбойницами и одичавшими псами, — ничто человеческое нам не чуждо, почему это самое человеческое нам должно быть чуждым? Почему?..

— Вот вы, по случаю, женаты?.. — спросила она, чуть-чуть поразмышляв.

— Нет, по случаю не женат, ни капельки не женат, — надежда вползла ему в душу. Наверное, не зря спросила красавица,

может быть, хочет выдать за него одну из своих подручных? Закатить пир на весь мир? А когда будет догорать на этом пиру последняя свеча, девушки раскаются в содеянных злодеяниях, поклянутся, что свернут с кривой дорожки и ступят на путь добра. Позже, закончив профессионально-техническое училище, они станут помощницами машинистов электровозов или заведующими салонов красоты, и все до единой выйдут замуж за олигархов, само собой кроме той, что полюбит Колю-Николая, и уедут в счастливую страну Финляндию или Норвегию, тоже счастливую страну?

— Женихов становится все меньше, — атаманша как будто услышала его мысли, — а богатых тем более...

Коля-Николай не очень вежливо прервал ее:

— Если в ваши планы сегодня не входит убийство, то не могли бы вы проводить меня к той самой комнате, где на стене желтая картина?..

— Конечно, — грустно ответила предводительница первой в мире степной женской банды. Грустно ей стало от того, что женщине, даже такой могущественной, трудно добиться, чтобы ее выслушали.

И они пошли с ней по коридорам заброшенного дома, только раз она оглянулась, приказала банде:

— Сегодня берем ликерку! Работайте без меня!

И негромко сказала, обращаясь к Коле-Николаю:

— Третий налет на ликеро-водочный завод за последние два месяца... Удобно — завод неподалеку, да и продукция у него — выше всяких похвал, у нас она не залеживается... Брать деньги в банках дело и опасное, и хлопотное: цены растут, инфляция давит, народ полюбил золото, драгоценности. Вот мы и берем готовым товаром. На той неделе семь самосвалов с зубным эликсиром отбили у благотворительного каравана ЮНЕСКО... или нет-нет — у экспедиторов ОРГБОРЧУДа...(Для тех, кто не знает — ОРГБОРЧУД — организация по борьбе с чудовищами).

Коридор, по которому они шли, казался бесконечным, а, может, он таковым был на самом деле. Они поворачивали то налево, то направо, то опять налево, а иногда подолгу шли все прямо, прямо и прямо.

— А снаружи дом не кажется таким большим, — сказал Коля-Николай.

— Он совсем небольшой, это коридор такой огромный, а дом — всего ничего, — ответила она.

— Этот коридор похож на одиночество, — сказал он.— Темный и пустой... И бесконечный...

— Я могла бы выйти за вас, — негромко произнесла атаманша. Но Коля-Николай не услышал ее, или сделал вид, что не услышал. Он заглянул в ее глубокие, пылающие кошачьим огнем глаза (конечно, конечно, повелевать собаками может только кошка), и ему показалось, что в них мелькнула затаенная грусть.

— Странный у вас город, — сказал он, — такое ощущение, что его нет. Наверное, он был здесь когда-то, но исчез. Засосали его желтые пространства, засыпали зыбучие пески. И это хорошо... Пропал город-абсурд.

— Он есть, — возразила ему она. — Он будет всегда... Вы ведь знакомы с философией существования... экзист?..

— Не знаю я никакой философии, — почти грубо ответил он. — Я простой путешественник...

— Не археолог? — спросила она. — Это так заманчиво — вызволять из-под земли прошлое...

— Нет, я не археолог, — ответил он, — я просто хожу, смотрю...

— Какая интересная жизнь — ходить и смотреть, — задумчиво сказала она. Казалось, ей все было в нем интересно. А ведь полчаса назад она готова была зарезать его.

Под ногами зашуршал песок, наверное, через разбитые окна нанесло, и она остановилась у заколоченной двери:

— Все, пришли... Вот эта комната... А заколотили ее мои девчата, мало ли что!.. Неизвестно кто может со временем проснуться у этой двери, крику потом не оберешься: «здесь жил гений!», «здесь бывал другой гений!», «здесь гениев не счесть!»... Открывайте смелее!

Коля-Николай вытащил из сумки с инструментами молоток, примерился и ударил по одной из досок, крест-накрест закрывающих дверь. Доска завибрировала, сосновый стон пошел по коридору. Он ударил еще раз, и доска опять откликнулась стоном. Как будто сожалела о том, что может случиться, поддайся она.

— Нужна монтировка, — со знанием дела сказала предводительница Катерина. — Молотком не возьмешь...

Была припасена и монтировка. Но хотя силы были укреплены портфейным — с Малыгиным в «Голубом Дунае», переименованном в «Кафе национальных блюд» — настырное дерево опять не поддалось. Коля-Николай нажимал изо всех сил, но доски стояли насмерть, как преторианцы.

— Плоскогубцы! — скомандовала атаманша, как хирург в операционной.

Но и они не справились с заколоченной дверью.

— Лом!..

Лома не нашлось в сумке с инструментами.

— Дрель!..

Дрели тоже не было.

— Чем сильнее запор, тем пустячнее тайна, которую он охраняет, — сказала Катерина. — Это закон природы...

— Пустячных тайн не бывает, — ответил Коля-Николай. — Законы врут. И мы все время убеждаемся в этом. Верна только «Теория пыли», сформулированная некогда великим путешественником Александром...

Она хмыкнула, сказала:

— Теоретики с рюкзаками, да? Блуждающие теоретики?..

— Он путешествует налегке, без рюкзака, — ответил он. — А если быть точным, то полностью голый...

— Понятно, — сказала она, но было заметно, что ей как раз не очень понятно.

Он еще раз-другой ударил по двери молотком, она была прочнее крепостных ворот.

— Оставь ты этот штурм! — незаметно они перешли на «ты». — Зачем тебе эта никчемная картина?

Коля-Николай ударил еще раз: нет, он не отступится.

— Вы, бандиты, чисто конкретные люди, — сказал он, — вам надо точно знать, в каком сундуке что лежит, в какой банк привезли сегодня выручку. Вы глаз не сводите с ювелирного магазина, заранее рассчитываете каждый свой шаг, по минутам расписываете свои налеты. А я не знаю, для чего мне этот желтый пейзаж, почему именно я хочу добраться до него. Скажешь, в этом нет логики, но она мне противна, логика... Мы только и делаем, что ищем логику — во всем — хотя чаще всего нам попадается именно то, в чем логики никакой и не ночевало. Мы и ищем всегда не то, и находим всегда не то. Иначе нам нечего было бы объяснять.

— Да, бандитам этого не понять, — сказала Катерина грустно, — мы всегда идем за тем, что нам нужно. А здесь без перфоратора не обойтись...

— Перфоратора?

— Ну, да, это такая мощная сверлильная машина, я могу на бумажке написать: пер-фо-ра-тор... А можно вырвать страницу из специальной строительной книги; нам повезло, что книг тут полно... Да, Бочаров оставил...

С этой страницей он отправился в магазин, Катерина осталась его ждать у заколоченной двери.

Дом был наполнен неясными звуками. Сначала ей показалось, что кто-то совсем рядом негромко поет, да так ясно, что

можно было разобрать все слова: «Смело мы в бой пойдем за суп с картошкой, и повара убьем...». Но как только она поняла, что именно эту песню она любила петь в детстве, пение стихло, растворилось в других звуках. Начали скрипеть половицы, как будто по коридору грузно шагали невидимые люди, причем они далеко не уходили, разворачивались и скрипели в обратном направлении. А потом и скрип пропал, и раздался детский плач. Кто-то рыдал тоненьким голоском, да так горько, как будто заранее оплакивал свою непутевую жизнь.

«А ведь это я плачу», — догадалась предводительница собачьих стай и банды «Жадо», и тут же плач стих.

«Наверное, по дому скитаются остатки прежних жизней, крошево из несчастий, забытые привычки, брошенные привязанности — думала она, — а куда они денутся, когда дом убьют? Может, они поселятся в бывшем “Голубом Дунае”, а не в “Кафе национальных блюд”, ведь там самая высокая концентрация выплаканных слез?»

Коля — Николай пришел с перфоратором наперевес. Предвкушение светилось в его пытливых глазах.

— Кое-как нашел эту технику, — сказал он. — Должно быть, все что-то ломают... Верно говорят, что ломать — не строить. Как ты думаешь, все ли крушащие знают, что они делают?

Не дождавшись ответа, он включил перфоратор и тот загрохотал, как пулемет. Кажется, даже запахло порохом.

Упрямое дверное дерево дрогнуло, полетели щепки. Минута, и пневматическое сверло прошло сквозь сосновую толщу дверной филенки. Коля-Николай вытащил инструмент и в образовавшееся отверстие хлынул песок.

— Странно, — сказал он, — у меня такое ощущение, что мы находимся внутри огромных песчаных часов.

И он опять включил перфоратор, и через десять минут все было кончено — дверь упала под ноги, как подъемный мост в сдавшемся замке.

— Вот это да! — сказала Катерина.

— Ни фига себе! — выразил так удивление Коля-Николай.

Никакой картины в комнате не было. От самой двери глазам открывалось бескрайнее желтое пространство: где-то далеко рычал невидимый грузовик, забуксовавший в этой глиняной и песчаной пустоте, холодный ветер пронизывал насквозь, швырял в лицо пригоршни снега. Полыхнула желтая молния, и гром покатился к черному горизонту. Не то весна, не то осень, не то зима — не поймешь. И лето такое бывает.

— Где же комната? — прошептала пораженная Катерина. — Я же сама ее видела в прошлый вторник, она была здесь, и картина висела на стене...

— Пришел другой вторник, — сказал Коля-Николай.

— Мы попали внутрь этой картины! — догадалась предводительница собачьих стай и банды «Жадо». — Ужас! А небо здесь какое низкое и тоже желтое!..

— А, может, оно золотое? — предположил он, и в ответ вспыхнула еще одна золотая молния. И ударил гром.

— Пойдем? — сказал он и сделал шаг в сторону пустыни. — Посмотрим, что тут есть...

— Да ты что! — опасливо посмотрела на небо атаманша. — Пойти сюда — значит пропасть навеки в этой бескрайности и электрической жути!..

— Как хочешь, — сказал он с сожалением, — вдвоем было бы не так скучно... Думаешь, что собаки без тебя пропадут?.. Девушки твои одичают? Да ничего с ними не станет. Собак разберут дачи охранять, девушки замуж повыскакивают... А здесь чистый голд...

— Хочешь, я тебя буду ждать? — спросила она и положила ему руки на плечи.

— Жди, — коротко сказал он, и она поняла, что он не вернется. Никто и никогда не возвращается... Кто бы и куда бы ни отправлялся, норовит не возвращаться; и что у людей за дурная привычка такая? Пропал в тайной комнате, которая сама пропала, Иванов, исчез художник Малыгин, и вот еще один бедолага отправляется в мутное необъясненное пространство.

Неужели никто так и не скажет, куда все уходят, и даже толком попрощаться не могут? И зачем уходят?

Может, все-таки ученые возьмутся за исследование этого, до конца не исследованного, явления? Может, они успокоят человечество, или хотя бы сумеют правдоподобно соврать? Дескать, нечего тревожиться, там в желтой дали ничего страшного нет, живут такие же, как мы, люди, даже, пожалуй, получше нас, и пенсии у них побольше, и пиво дешевле, а летом грохочут грозы, а зимой докучают метели... Скучновато там, а так вообще-то терпимо... Заходите, если что?

— Ну, я пошел, — сказал он. — До встречи...

Катерина поняла: не хочется ему туда. Но он пойдет.

Она не сдержалась, всхлипнула, на глаза навернулись слезы, и в этих слезах растворился, пропал последний человек, который ищет неизвестно что.

— Я буду ждать! — сказала она.

Холодная зимняя молния прошипела над ее головой.

06.02.2012

ЗА ПОДКЛАДКОЙ

Случайно на ноже карманном
Найди пылинку дальних стран...
А. Блок

Ночью в мире опять что-то случилось, и под самое утро, часов в пять, с гвоздя, вбитого в стену еще до миллениума, свалился пиджак. Не должен был свалиться, а свалился. Как известно, сами по себе пиджаки не падают. Определенно что-то произошло. Вот бывает, что опрокинешь чашку с кофе на скатерть времен бабушки Гугнихи, посадишь безобразную кофейную кляксу на старинный мадеполам, а уж навстречу кричат с готовностью: мы давно выбросить эту тряпку хотели, очень давно хотели, да руки не поднимались, а сейчас как раз случай такой выпал, ура-ура-ура! И тут же на ваших глазах скатерть ту — в грязный мешок и в мусорный бак — на верную смерть в зубьях мусороперемалывательной машины. А, может, скатерть та своей мадеполамовой броней защищала нас от потустороннего электричества, фокусировала на себя его подземные лучи — и вот теперь уже нет защиты... Или на скатерти этой девочка Лизавета невидимыми чернилами начертала когда-то послание всем идущим по ее пятам в заветное царство-государство на белой воде, и никто теперь не узнает прямого и короткого пути в Беловодье...

А бывает, что, прикуривая утром, сжигаешь в пламени спички три галактики... Их, конечно, много, все не спалишь, но как же быть с надеждами на счастье, как же быть с высокими духовными устремлениями, которыми были битком набиты эти несчастные галактики? Еще тот вопрос...

Так что ничего случайного не бывает.

Перед самым рассветом Теме приснилось что-то очень хорошее, он давно хотел увидеть хорошее, но никак не выходило. И вот, наконец, вышло. Но не запомнилось. Он открыл глаза и долго вспоминал — что же это такое было, что? Ясно, что хорошее, а что именно — из памяти не выплывало. Память берегла хорошее, самой мало было.

Он опять уснул, и тотчас ему приснился потоп. Жуткий, ревущий вал... Волна огромная, как дом Карева в Уральске, перла по Уралу — и почему-то против течения. Этот гигантский вал с корнями вырывал деревья, швырял на берег прогулочные пароходы, разбивал вдребезги дома...Мелькнул какой-то обелиск в лесу, на сером бетоне которого было написано уг-

лем: «Дурак, буду ждать тебя...» — и тотчас обелиск скрылся под водой, на гребне черной волны с минуту или больше балансировала огромная стометровая ржавая баржа, и, наконец, сорвалась вниз, в бездну... Жуткая реальность сна заставила Тему проснуться. Было уже светло.

Поднявшись, он обнаружил, что перетерлась сатиновая петелька, пришитая изнутри к вороту пиджака, поэтому он и упал. Каждой ткани — свое время. А сатин — материя непрочная. Поэтому пиджак и свалился. Рано или поздно это должно было произойти. И вот произошло. А висел себе пиджак не год, не два, давно вместо него Тема надевал замшевую куртку, цеховой наряд. Но упал — и пришла его очередь.

Фаня сказала:

— Оставь, я сейчас пришью вешалку...

Но он заторопился, ему некогда было ждать, когда новая сатиновая полоска займет свое место на вороте пиджака. Изнутри ворота.

Он поднял пиджак — тонкий вельвет, рукава обшиты коричневой кожей — неизносимая, практичная вещь, напрасно забытая. Сколько хочешь, упирайся локтями в письменный стол, елозь на нем пузом, как солдат под обстрелом, — пиджак этот выстоит, отобьется. А вот сатиновая петелька подвела.

Он надел пиджак, и в то же мгновенье нащупал под подкладкой плотный прямоугольник, может быть, фотографию.

— Вот это фокус! — произнес он, но тут же почему-то понял, что показывать Фане то, что может обнаружиться под подкладкой пиджака, пока не стоит. Мало ли что может там найтись. Все, что угодно.

— Что? — откликнулась жена.

— Да ничего, шнурок на ботинке затянулся, — нашелся он, — уже все в порядке.

— Беда с этими шнурками, — согласилась она. — Качество никуда не годное, то рвутся, то затягиваются насмерть...

— Насмерть? — переспросил он, но она не ответила, налаживая к работе швейную машинку.

— Как солдаты? — спросил он еще.

— Что солдаты? — не поняла Фаня. — Демобилизация?..

— Насмерть, как солдаты?..

— Какие такие солдаты? — потеряла она терпение. — Что ты к ним привязался?.. Войны нет, время мирное, а ты про солдат талдычишь!.. Тема ты и есть Тема...

— Но все-таки могут они стоять насмерть, хотя бы чисто теоретически, или это только качество шнурков? — решился он выяснять до конца.

— Могут, могут! — закричала она. — Они такие же кретины, как и ты, они держатся до последнего. Другие бы отступили, совершили обходной маневр, подтянули бы резервы, попросили поддержку артиллерии, а эти с места не тронутся, пока их не передушат всех до одного... Потому, что они долбоюноши! Бронеподростки! Кретины, как на подбор. А ты у них во главе!..

В общем-то, она ругалась беззлобно, почти не обидно, но как-то однообразно. Все время выходило, что Тема — кретин. Не дурак, не болван, а именно кретин. Но какой же он кретин, если является членом союза писателей, книжек сочинил едва не дюжину, награжден дипломом краевого конкурса прозаиков?..

Прежде она его так не ругала, впервые это случилось лет пять назад, когда он перепутал годовщину их свадьбы с днем рождения своего приятеля — Шурика; она ждала его, натянув на себя — умудрилась же — свое свадебное платьице, а со свадьбы лет пролетело около двадцати, нет больше — двадцать три, или двадцать четыре. И как только это платье полезло на нее, или она и тогда была такая? Большая?.. В общем, она ждала его тем вечером, а он в это время поздравлял Шурика, который сильно удивлялся, уверяя, что рожден в другой день, но выпить не отказывался.

Потом Тема все-таки вспомнил, какой это знаменательный день, извинился перед ней и она сказала, что простила, но ругать кретином не перестала. Он, конечно, подозревал, что у нее кто-то есть, точно есть, но, как говорится, не пойман — не вор, а если честно — он и не хотел, чтобы этот кто-то был пойман; кому нужна эта головная боль?.. Юные годы прошли давно, а с ними и все эти любови-разлюбови, страдания-переживания...

Наконец Фаня включила швейную машинку; она брала работу на фабрике надомного труда — «подрубала» простыни, наволочки, пододеяльники. Выходило не густо, но на хлеб хватало. Он всегда удивлялся: как много она успевала сделать, пока он утром ходил в магазин. Когда он дома закрывал за собой дверь, Фаня только бралась за первую простынь, а когда он возвращался — вокруг Фани были горы белья. Она пожимала плечами:

— Ты бы сутки болтался, так я бы весь город обшила...

Он смотрел на часы: кажется, быстро управился. Не угодишь ей...

В магазине был отдел с разноцветными лакированными коробками с порошками, которые приторно пахли тайгой, степью, сиреневой весной. Стиральные порошки, мыло, дезодоранты, шарики от пота — все это дарило обонянию настоящий праздник. Иногда он подолгу задерживался в отделе.

Не забывал он покупать кефир и хлеб. Эта ответственность давно лежала на нем. Иногда он покупал и соленые огурцы,

картошку. Были там и свежие огурцы, но соленые были дешевле. Раза в два дешевле. Даже в три.

Но если честно сказать, не только хлеб и огурцы занимали его; он изо дня в день после магазина уходил в ежедневный поход в поисках случая, которого не хватало в его рассказе, который он сочинял уже почти тридцать лет. Прежде он написал много рассказов, и они уютно разместились в книгах, которые он дарил знакомым и не очень знакомым, родственникам Фани и своим родственникам тоже — с разными пожеланиями. Он старательно сочинял дарственные надписи, но все, кому он дарил свои книги, никогда потом не говорили о том, понравились или не понравились им эти рассказы. Он знал — прекрасно знал! — что никто из них не читал, иначе они обязательно что-нибудь сказали бы.

Он догадался, что его прежним рассказам не хватало случая, слова. Особенно не доставало случая. Слова не хватало еще больше... Он бился над ними с ручкой в руках, но быстро понял, что случай не рождается пером. Слово еще меньше подчинялось ручке... Иногда казалось, что вот оно, вот нужное слово, и он бросался переносить его на бумагу, но предательская бумага умертвляла его, душила в придаточных, ловила в капканы предлогов, заставляла спотыкаться в приставках. Иногда приходил и случай — единственный, неповторимый, живой, но и он не выдерживал испытания бумагой. Тема безжалостно вырывал страницы из своей тетрадки, сжигал их в печи, и душа его корчилась так же, как пылающая бумага.

Он не отчаивался, потому что знал — и слово, и случай рядом, нужно только найти. Жалко, что Фаня не понимала его, произносила свой приговор: «Кретин!..»

И так сложилось, что он по утрам стал уходить из дома. Считалось, что он шел в магазин, но все — и Фаня, и Володька, и все-все — знали, что он уходил бродить по городу. Болтаться по улицам, пока жена «подрубает» пододеяльники, шляться в поисках какого-то случая, которого, наверное, и нет нигде — не тот Уральск город, где хоть какие-нибудь случаи происходят прямо на улице.

Еще страннее выглядели поиски слова... Слов вокруг было столько! Столько всяких слов!.. Бери пригоршнями... А он все жег и жег бумагу...

Однажды Фаня сказала ему, что он перпетуум мобиле абсурда.

— Ты волчок, запущенный во все стороны сразу, — говорила она. — Тебе знать не дано, куда понесет тебя сегодня, и ты никогда не помнишь, где был вчера... Перпетум...

Даже она не знала, что он всегда ходил по одним и тем же улицам. По Коммунистической, по Почиталинской, по Советской, по... Еще он каждый день проходил через маленькую калитку в длинном деревянном заборе на улице Маметовой, а затем через просторный двор, заросший старыми яблонями, а в тени яблонь кривился старинный деревянный сарай, большущий, с грязными стеклами вместо кровли — не то оранжерея, не то заброшенная лаборатория давно забытого химика-самоучки — и пройдя под деревянной аркой каких-то покосившихся ворот попадал почти на самую Фурмановскую... Затем он добирался до Театральной, по ней поворачивал налево и опять выходил на Советскую, а оттуда десять минут хода до дома, где Фаня уже справилась с лавиной пододеяльников. Тема не мог объяснить, почему он выбрал эти улицы и эту калитку — может, осенью на этих улицах ржавчина наравне с золотом; может, тротуары здесь выложены из красного кирпича, добытого на развалинах взорванного храма святого Александра Невского — и, ступая по стенам поверженного исполина, можно все-таки найти заповедное слово; а, может, и здесь замешаны галактики и созвездия, и вообще нам выпадает только тот путь, который выпадает?..

Перед самым выходом к нему привязался Володька.

— Пап, как пишется — «ча» — «ща» — через «а» или через «я»?

— Конечно, через «а», вы это еще в первом классе, по-моему, проходили...

— А вот в новом учебнике написано, что через «я» надо писать. И «кофе» теперь среднего рода, а полдник называется «файфоклоком».

Он взял у Володьки учебник, заглянул, действительно: «чя» — «щя» — пиши через «я»! И про кофе все верно. Апсурд. Нет, не абсурд. Апсурд.

— Значит, пиши через «я» — тебе не все равно? Как в учебнике написано — так и пиши...

Володька что-то пробурчал — «козлы», кажется, и отстал. Ну, надо же, чящя...файфоклок...

— Фань, деньжонок не подкинешь? — спросил Тема. Она нахмурилась, но подкинула, сказала, чтобы он не забыл аспирину купить — башка с самого утра раскалывается. Протягивая ему деньги, она всегда хмурилась, как бы давая понять, что нелегко эти денежки достаются, ох нелегко!.. Посиди целый день, не разгибаясь, за машинкой, а перед этим раненько утром притащи с фабрики тяжеленные кипы белья, а вечером оттащи готовую работу на фабрику! И еще она, наверное, подчеркивала, что его писательство, писанина, как и прочие

его занятия — дела пустые, ничтожные, если не могут прокормить. Искусство, словесность, поэзия... Никчемные слова. Вот она знала одного скульптора, так тот дом себе построил в окрестностях Минска — двухэтажный, с добротной черепичной кровлей; одних окон и дверей в доме было тридцать шесть. А скульптуры он высекал самые простые — львов сидящих и львов стоящих, и львов лежащих; этих царей с тяжелыми гривами охотно раскупали для того, чтобы они украшали собой такие же загородные дома с тридцатью шестью дверями и окнами у тех людей, у которых были такие дома, и были деньги на львов. А еще скульптор высекал покойников из мрамора и другого благородного материала, и за покойников платили еще лучше. И вот на эти денежки он купил американский автомобиль и намеревался выкопать у себя во дворе бассейн, чтобы плавать в нем в свободное от высекания львов и покойников время. Вот это искусство! А Тема тридцатый год сочиняет какой-то рассказик — пишет и переписывает, пишет и переписывает — и никак дописать не может... Горе луковое!..

Да, а почему именно оно луковое, это горе? Потому что слезу вышибает? Так наше горе не слезу вышибает — сопли; так и живем, соплями умытые...

Тема сунул деньги в задний карман брюк и перед тем, как выйти из дома, завернул в уборную, помочиться про запас; на уборной тоже приходится экономить — сортиры нынче сплошь платные, если нет десятки, то можешь прямо в штаны отливать — никто и глазом не поведет! Хоть уделайся посреди площади имени Юрия Фоменко — твое дело, твои проблемы, даже полицейский отвернется, не станет о тебя руки марать.

Тема, как каждый нормальный человек, любил уборные — эти кабинки уединения, эти убежища, хоть на минуту защищающие от суеты, но с тех пор, как за них стали требовать уплаты живыми деньгами, он изменил свое отношение к ним, хотя продолжал говорить, что если где человеку и думается легко — так это в уборных. Он развивал свою мысль: сортир приземляет человека, не принижает, а именно приземляет, в сортире трудно соврать, да и в общем некому... А самому себе хорошо заливать на миру... На миру, как известно, брехня красна...

В уборной можно переждать бомбежку, пересчитать деньги, достать завалившуюся за подкладку фотокарточку... В уборной ты принадлежишь только самому себе...

В детстве деревянные туалеты казались ему игрушечными домиками, сквозь щели в досках он мог видеть многое и многих, а его не видел никто; ну чем не снайперская позиция?..

Нынче многое изменилось...

Он поднял голову — в маленькое окошечко домашнего туалета был виден крошечный кусочек утреннего неба, с небольшим облачком, с яркой хвостатой звездочкой, несущейся справа налево — не то метеоритом, не то кометой, которая, врали ученые, пройдет от Земли на расстоянии шестнадцати миллионов километров. Тема почему-то думал, что метеорит обязательно влепится в Землю — где-нибудь у речки Тунгуски или в лесах Амазонки, где все они обычно и падают, и поэтому тамошние люди — горячи и темпераментны — спешат жить, торопятся наслаждаться, пока на головы не рухнул очередной космический булыжник в тысячу тонн. И они придумали себе в утешение кетовую икру, карнавалы, самбу и текилу...

Тема нащупал прямоугольник за подкладкой пиджака и попытался извлечь его оттуда через прореху в кармане — не тут-то было. Прореха оказалась совсем небольшой, прямоугольник не пролезал в нее. Он покрутил пиджак — и так, и эдак — вытащить завалившуюся карточку (карточку ли?) было невозможно, не разодрав подкладку. Но как же тогда она попала туда?.. Точно-точно, в мире что-то случилось этой ночью!.. Может, всего-то один-единственный атом где-нибудь переместился, изменилась какая-нибудь самая фиговая валентность — и вот результат: пиджаки падают, за подкладку к ним попадает всякая всячина!

Фаня как будто почувствовала что-то, закричала от швейной машины:

— У тебя опять понос? А?..

И когда у него был понос, когда? Не обидный у Фани юмор, нет, не обидный, но какой-то тяжеловатый... Что, у нее все его поносы на учете?..

— Да, понос, — сказал он, чтобы не молчать. — Опять...

Он рванул подкладку, она затрещала, подалась, в руках у него оказалась фотография — все-таки фотография. На ней женщина, сидящая в плетеном кресле: прямая спина, руки на сведенных коленях, кружевной воротник, носок начищенной черной туфельки, едва заметный из-под длинного, тяжелого, расшитого мелким речным жемчугом платья. На рукавах — у самых запястий — платье было отделано крупными жемчужинами: на правом рукаве пять жемчужин, на левом — четыре. Тема пересчитал — на самом деле на разных руках — разное число перламутровых шариков — пять и четыре. Может быть, одна жемчужина оторвалась только что, в фотографии, и этого никто не заметил?.. И только потом, когда проявили пленку, напечатали фотографию, обнаружили пропажу?..

Кресло стояло на фоне рисованного задника, на котором была изображена широкая река или большое озеро, в общем, большая вода, а посередине остров, а к острову через эту большую воду проложен мост... А на острове — и высоченные пальмы, и вековые дубы, и красавицы на тонконогих скакунах... Наивная и полная очарования картина. Так снимались давным-давно...

Тема пригляделся: в лице женщины было что-то неуловимо знакомое, может, похожа на знаменитую артистку или на родную сестру, умершую еще во время войны... А, может, когда-то встречал ее на выставке Николая Микушкина?.. Кто знает?.. Так иногда в толпе отличаешь человека, совершенно постороннего, впервые увиденного — и долго гадаешь — чем же собственно привлек он, что в нем, совершенно обыкновенном, заставило выделить его из тысяч других?.. Думаешь: может, духовное какое-то родство? Но никогда больше не придется встретить этого человека, не узнать о нем ничего — какое такое родство?..

Нет, нет, откуда Теме знать ее, ведь карточке этой полтора века!.. Откуда может быть знакома ему жительница позапрошлого века? Давно нет ее на земле... И кресла этого плетеного нет, и задника с живописным островом, и тяжелого, расшитого жемчугом, платья тоже нет... Впрочем, бывают лица, поразительно похожие на знакомых, родичей, на тебя самого... Но эта не из их числа. Он никогда не видел даже отдаленно похожих на нее.

На обороте надпись: «Тима, милый, на забывай все хорошее! Твоя Граня».

— Ты приклеился к унитазу? — закричала Фаня. — Может, помочь?.. Кретин...

— Помоги! — сказал Тема, сунул фотографию в карман брюк и вышел из уборной.

— С облегчением! — сказала жена. — День начинается удачно...

— День как день, да год не тот, — ответил он ей своей любимой поговоркой-отговоркой, как показалось ему — ответил метко, даже остроумно. Она вслед ему крикнула еще раз про аспирин и больную голову, но он уже закрыл за собой дверь. Неспешно направился к стеклянной громаде универмага, все время ощущая в кармане брюк плотный прямоугольник фотографии. Кто такая эта Граня, и как очутилась ее карточка за подкладкой его пиджака?

Он осторожно извлек из кармана фото, пригляделся. Лицо женщины казалось грустным. «Наверное, снималась на расставание, — придумал он, — Тима этот, может, на войну уезжал, или в Америку на год, а оказалось насовсем? — и она понимала, что насовсем — женщины это чувствуют. А вдруг он уходил на поиски этой ненайденной пока страны — царства Беловодского?.. Вернулся он или сгинул в дороге?..

«Она как будто смотрит на меня, — привиделось ему. — Словно ждет какого-то вопроса... И обязательно на него ответит...»

Чем дольше он смотрел на нее, тем таинственнее казалась она, тем притягательнее.

— Что ты знаешь? — негромко спросил он у нее, и сам поразился тому, что разговаривает с куском картона. Ему померещилось, что напряженная фигура Грани дрогнула.

— Не молчи! — шепнул он ей. Она не ответила.

— Я схожу с ума? — произнес он еле слышно. Она улыбнулась одними губами. Он понял: кто может сказать, что не сходит с ума?..

— Сошел? Двинулся? Окончательно и бесповоротно?..

Граня чуть-чуть нахмурилась.

Он кивнул ей, чящя — пиши через «я»!

И тут только он понял (а ведь точно не скажешь, что он скородум?): Тима — это уменьшенное от Тимофея, Тема — тоже от него же, от Тимофея!.. Они тезки с этим далеким счастливчиком, которого Граня просит не забывать о хорошем. Интересно, он не забыл?..

Тема купил хлеба, огурцов, а про аспирин, конечно, и не вспомнил, прошел с чистым сердцем мимо аптеки и свернул за угол — там начиналась Коммунистическая. Давным-давно в детстве он жил на этой улице, во дворе типографии, неподалеку от которой была большая канава — целый овраг в центре города, в этом овраге он добывал дождевых червей, на этих выползков отлично клевали сазанчики в Чагане, а на Ревунке он ловил и красноперок, и язей, и чебаков... Коммунистическую пересекала Почиталинская, и здесь он сворачивал налево — мимо детского сада, приютившегося в старинном особняке, мимо конторы книготорга, где сквозь стекло были видны огромные стопы книг на подоконниках; здесь всегда ему кричал из форточки товаровед Яков Иосифович: «Тема, когда, наконец, ты допишешь свой рассказ, и твоя новая книга поступит к нам?..» Вот и нынче товаровед подал голос: «Тема, ты “Уленшпигеля” читал?.. Помнишь про пепел Клааса?»

— Помню, к чему это вы?.. — ответил он.

— Надо помнить... Нельзя ничего забывать...

Рядом с конторой стоял дом тети Лиды Глуховой, все ее так звали, а возраста ее никто не знал.

— Здравствуй, милок! — поздоровалась она из-за невысокого покосившегося забора. — Свадьба-то скоро?..

Она всегда спрашивала насчет Володькиной свадьбы, имела немалый интерес, потому, что была мастерицей играть на саратовской гармонике, никакое веселье на Почиталинской, да и Коммунистической тоже, не обходилось без нее.

— Мал еще Володька, в школе пока учится, — сказал Тема, вспомнив про новый учебник и про «чящя».

— Вот оно как! — в который уж раз огорчилась тетя Лида Глухова. — Пусть подрастает скорее, пока не померла я...

Поворот направо — и Тема вышел на Маметовскую. Отсюда всего квартал — и Советская.

— Не видел тебя со вчерашнего дня, — на углу остановил его Нерадигонорара — девяностолетний журналист из «Приуральской правды», имя которого забылось еще в прошлом веке. — Случилось чего? День удачный?..

— Как будто все нормально, — ответил не очень уверенно Тема. — День как день, да год не тот...

— Вот и я чувствую: приключилось что-то неладное...

— Где приключилось? — не мог не спросить Тема.

— Если бы знать... В том-то и беда наша, что никто ничего не знает и не помнит... Вот в одна тысяча девятьсот сорок девятом году в кинотеатре «Летний» показывали «Тарзана»... Впрочем, это неважно... Перед началом фильма я зашел в фотографию «Модерн»... На улице Крестовоздвиженской была эта фотография... Так вот, улицу-то эту переименовали еще раньше...

— И как она стала называться? — Теме почему-то стало это интересным. Почему это заинтересовало его, он понять пока не мог.

— Вот и я говорю! — вздохнул Нерадигонорара. — Никто ничего не помнит... Но есть места, где ничего не забывается, ничего...

И он неспешно, шаркая ногами, потащился по Маметовской, свернул на Почиталинскую. Тема хотел окрикнуть его:

— Э-э-э...

Как окликнешь старика, если имя его потерялось давным-давно?

Тема подумал, что нечто странное было сегодня в поведении корреспондента «Приуральской правды», газеты, которая так же, как ее журналист, позабыла свое имя. Но что?.. Что?..

Он даже остановился на минуту, стараясь понять, что же поразило его в старом писаке, изведшем не одно ведро чернил на газетное вранье. Ну, конечно же, как Тема сразу не обратил на это внимание! Ведь Нерадигонорара всегда встречался ему на углу Почиталинской, а сегодня почти у самой Советской! Кроме того, прежде он рассказывал только о «Тарзане»... А сегодня, сегодня... появился «Модерн». «Модерн»...

Он перешел Советскую, помахал рукой Поле — продавщице мороженого, спросил:

— Как всегда, пломбир в стаканчиках?..

Ответ немного обескуражил:

— Нет, Тимофей Максимович, сегодня эскимо...

Тридцать лет не было в этом киоске эскимо. И не только в этом. И потом — откуда Поля знает, как его зовут?.. После этого разве возьмешься утверждать, что в мире не произошло ничего особенного?.. А этот самый «Модерн» — почему он застрял в мозгах? Откуда он? Откуда?..

И память тут же подсказала ответ. Случается иногда, что она выталкивает на поверхность не только события времен Рыжечки, но и то, что случилось утром, час назад, за пять минут до этого. Тема достал из кармана фотографию, женщина улыбнулась ему с картона, как старому знакомому. Внизу снимка, в самом уголке стоял штамп: «Фотоателье “Модерн”, ул. Крестовоздвиженская, 38». Вот оно что!.. Вот оно... Но почему Нерадигонорара вспомнил об этом ателье? И почему именно сегодня?.. Странно...

Вообще, в этих обширных краях бывает немало странного, необъяснимого. Как-то случилось ему выехать на машине из города — в степь, в заросшие весенней травой барханы — без малого тысячу километров пришлось отмахать по безлюдным местам, и однажды ночью он заметил светящуюся точку. Он так устал бороться с дорогой, усталостью и сном, что решил завернуть на огонек, попросить чашку спасительного казахского чая, а к чаю обязательно приложится и ночлег на прохладных корпешках. Он поехал на огонек, который по степным неведомым законам сначала отодвигался от него едва не целый час, а потом быстро двинулся навстречу, и Тема затормозил у одинокого столба, на котором на ветерке раскачивалась горящая лампочка. Током ее питал небольшой электрогенератор, который трещал у самого столба. И больше ничего не было вокруг на сто километров. Если не считать длинной деревянной скамьи, такие любят устанавливать в провинциальных парках рядом с гипсовыми статуями горнистов и футболистов с отбитыми головами.

Тема вышел из машины, крикнул:

— Ау!.. Аааааууууу!..

Никто не откликнулся. Тогда он достал из машины спальный мешок, расположился на скамье и заснул под гортанные

крики каких-то невидимых птиц. Засыпая, он благодушно подумал, что, может быть, здесь гнездилище волшебных птиц Самрук и что к утру они растерзают его усталое тело, и ему больше не суждено проснуться. Но он проснулся от солнечного света, бившего прямо в глаза. Птиц Самрук не было видно, но лампочка на столбе была выключена, как был выключен и генератор.

— Ауууу! — опять завопил Тема, но, само собой, никто не откликнулся. — Аааааууууу!..

Он походил вокруг столба, осмотрел местность: спрятаться в этой ровной, как крышка стола, степи было некуда. Кто включал и выключал эту одинокую лампочку — так и осталось навсегда для Темы загадкой. Еще большей загадкой для него было и то, зачем включали эту лампочку. Зачем?..

Задумавшись, Тема едва не угодил в яму. Путь преградила глубокая траншея, как окоп с бруствером. Ни мостков, ни хотя бы завалящей хлипкой доски не было переброшено через бездну. Вчера этой линии обороны не было, сегодня она надежно перекрыла путь к маленькой калиточке в длинном деревянном заборе. Пришлось обходить целый квартал, пока, наконец, он не оказался у того места, куда приходил каждый день, срезая дорогу при помощи незаметной калиточки; сегодня впервые он пришел сюда не с тыла, а с фронта. На воротах висела ржавая жестянка с едва заметным номером — 38. Тема поднял глаза — чуть выше была вторая жестяная табличка с полузатертой надписью: «ул. Крестовоздвиженская».

— Так я и знал, так и знал! — вздохнул Тема, хотя, конечно, ничего этого он не знал и даже не предчувствовал. Но ведь он искал случай...

Он впервые вошел во двор через ворота, и ему навстречу из-под яблонь выкатилась черная звонкая собачонка и бесстрашно атаковала одну из штанин Темы. Он всегда боялся собак, даже таких крошечных. Кошек, впрочем, тоже боялся.

Собак поощряет страх, и звонкая черная словно собиралась разорвать его, и, наверное, разорвала бы, не появись вслед за собачонкой седоусый садовник, во всяком случае, так он выглядел — в выцветшем брезентовом плаще, такой же потерявшей цвет шляпе, в огромных, просто необъятных, резиновых галошах на босу ногу. Он зашикал на собачонку, отогнал ее от Темы:

— Прочь, Троглодит, прочь!..

— Здравствуйте! — сказал Тема и спросил:

— Как собачку зовут?.. Троглодит, что ли?..

— Конечно, Троглодит... Тима, так ты сам ей такую кличку придумал...

— Что? — растерялся Тема. — Я придумал?..

— Я об чем и говорю! — порадовался его памятливости садовник. — Как только нам его подарили, так он сразу принялся на тебя шуметь, и по сей день, как увидит тебя, так заливается... Почему-то не признает за своего...

— Своего?.. — растерянно переспросил Тема.

— Вот ты его и наградил имечком, — сказал садовник.

— Вы, должно быть, ошибаетесь... Мы с вами не знакомы... Да, я бываю здесь частенько — мимоходом, — но с вами не встречался... Не доводилось...

Садовник улыбнулся молодой улыбкой, дескать, и мы ценим шутку:

— Ну, ты даешь Тима!..

— И, кроме того, я не Тима, а Тема!..

— Да ладно тебе!..

Садовник вытащил из кармана румяное яблоко, обтер полой плаща, протянул:

— Вот попробуй, это как раз с той самой яблони...

Тема взял яблоко, крепкое, прохладное, спросил:

— С той самой?..

— Ну, да, которую вы вместе с Граней посадили... Вот она, щедрая...

Тема посмотрел: дерево как дерево. Он надкусил яблоко, сладкое. Что-то нужно было сказать, но что?

— Так, может быть, и фотография «Модерн» еще существует? — придумал он вопрос с заковыркой. А что, пусть не разыгрывает его!

— А куда же она денется? Ты стоишь перед ней...

Тема огляделся, как же он прежде не замечал на деревянном сарае со стеклянной крышей надписи — «Модерн»?..

Все меньше происходящее походило на розыгрыш.

Тема задрал голову: яркая хвостатая звездочка кометы была над головой. Он вздохнул облегченно: мир на месте. Но тут же колючая льдинка страха заползла в душу: комета катилась по небосклону слева направо — с прицелом на Землю, а не справа налево — мимо, мимо, мимо Земли, и этого законами природы невозможно было объяснить. Если здесь не придуманы другие законы. Он закрыл глаза и тут же открыл их: комета держала путь направо.

— Вот и звезда наша «Полынь» на месте, — сказал садовник и тяжело вздохнул. — Привыкаем постепенно к ней... Учимся не повторять двадцать раз на дню, что осталось шестнадцать лет...

— Чего осталось? — жутко стало Теме от собственной догадки.

— Не притворяйся, Тима, — с некоторым нажимом сказал садовник. — Не шути этим... Больно невеселая шутка получается...

— Ты хочешь сказать, что эта космическая скала врежется в Землю?..

— Первым эту новость принес ты, помнишь? Пришел утром, потерянный, тихий, одним словом, в воду опущенный, и говоришь: «Сейчас по радио передавали, что комета, получившая название «Полынь», не пройдет мимо Земли в шестнадцати миллионах километров, как предполагалось прежде, а врежется в нашу несчастную планету ровно через шестнадцать лет; скорее всего, погибнет все живое на Земле!..» И ты еще тогда засмеялся, дескать, отмерено всем-всем до полного совершеннолетия... А потом уже выяснилось, что это какие-то условные научные годы, а на самом деле намного меньше... Вон как она разгорается с каждым днем на небе, даже в самый солнечный день видно...

— Не может быть! — сказал потрясенный Тема, все еще не желая поверить в реальность происходящего. И тогда он решился на еще одно испытание:

— Через какую букву пишется «ча» — «ща»?..

— Ну что вы, Тимофей Максимович, в самом деле!.. Все знают, что через «а». Как раз недавно выпустили новые учебники, так в них это правило, конечно же, подтверждено...

— А «кофе» среднего рода?.. — не сдавался Тема

— Да нет же, мужского...

— Не может быть! — сказал он. — Какой на дворе год?..

— Это уже слишком, Тима! — начал сердиться дворник. — Тот же самый, что был сегодня с утра, когда мы виделись с тобой — шестнадцатый...

— Девятьсот шестнадцатый, то есть одна тысяча девятьсот шестнадцатый?..

— Ну, все, надоело! — отвернулся садовод и направился к деревянному сараю, сказал через плечо:

— Шестнадцатый... Просто шестнадцатый... А прошлый год был семнадцатый, позапрошлый — восемнадцатый. А будущий будет пятнадцатый...

Он остановился у двери, спросил негромко:

— Так ты идешь? Или продолжишь придуриваться?..

И Тема пошел за ним, волнуясь: неужели, неужели?.. Неужели так бывает?.. И убедился, что бывает, еще не дойдя до распахнутой садовником двери. Низкий, чуть хрипловатый женский голос, позвал его:

— Тима, милый!..

Нагнув голову перед невысокой притолокой, он шагнул через порог, в неожиданно светлое обширное помещение, в центре которого сидела в плетеном кресле женщина: прямая спина, руки на сведенных коленях, кружевной воротник, носок начищенной черной туфельки, едва заметный из-под длинного, тяжелого, расшитого мелким речным жемчугом платья. На рукавах у самых запястий платье отделано крупными жемчужинами: на правом рукаве пять жемчужин, на левом — четыре...

Тема открыл рот, чтобы сказать «Здравствуйте!», а почему-то получилось «Вот и я...»

— Все хорошо, милый? — спросила Граня.

— Ничего, — промямлил он. — Эта Крестовоздвиженская улица теперь Коммунистической называется, да?

— С чего ты взял? — внимательно посмотрела на него она. — Как была Крестовоздвиженской, так и остается ею...

— А параллельная с ней — Форштадтская, — напомнил садовник.

— Маметовская? — растерянно спросил Тема.

— А еще дальше — Мостовая, а пересекает ее Большая Михайловская, ты запамятовал, что ли?..

— Помню, помню, — сказал он. — Все помню...

И внезапно понял, о чем сегодня говорил старый газетчик. Все очень просто: есть миры, где никто ничего не забывает...

— Граня... — начал он и сбился. Что он хотел сказать ей? Что под утро со стены упал пиджак, что комета пролетает мимо, что с сегодняшнего дня «чя» — «щя» нужно писать через «я»?.. Что стоит только свернуть в незнакомый переулок, как окажешься в незнакомой вселенной?.. Что никакой он не Тима, а стареющий неудачник из соседнего мира? Что, что...

— Да, милый!.. — повернулась она к нему, и он подумал, что не нужно ничего говорить. Ни к чему. Она знала все — об этом обреченном городе и мире, о нем самом, почти все о себе самой... И еще ее глазах было все то, что снилось ему сегодня под утро, и что он не мог никак вспомнить, а, оказывается, сон был прост и ясен. Как будто он из счастливого далекого далека? Долгий тягучий рассвет над старым городом, первые лучи солнца, отраженные в водах июньской речки, которая всегда называется Чаган, внезапный утренний дождь, который проходит за три минуты и запоминается навсегда, ее ладонь, в которой перемешались вкус дождя со вкусом поцелуев, любовь, которой не страшны ни кометы, ни изменения в грамматике...

Он подумал: «А вдруг здесь мир, в котором любят, в том числе и меня? Пространство любви?..»

И тут же он вспомнил: обреченное пространство!..

— Что ж ты молчишь, дорогой? — переспросила она.

— Я не молчу, — хрипло произнес он. — Я говорю... Я думаю, что пятая жемчужина с рукава платья закатилась под кресло... Нужно поискать...

— Да нет же, нет... Хоть это и скатный жемчуг, но он никуда не закатывался... Он просто так называется... Говорят, что это застывшие слезы, скатившиеся на зеркало из девичьих глаз. Кто говорит, что это были слезы счастья, другие — слезы беды... Ты никогда не верил в эту историю, ты всегда говорил, что жемчуг — это зрачки рек и морей... С тех пор, когда ты растворил эту жемчужину в вине и выпил это вино, ты почему-то время от времени спрашиваешь о ней, тебе кажется, что стоит ее поискать хорошенько — и она найдется... А она не находится...Ты тогда был не так уж и пьян... Помнишь, тогда еще гроза налетела и порыв ветра распахнул все ставни в доме... Не думаю, что ты забыл...

Он промолчал. Не говорить же ей, что никогда не растворял он в вине жемчуг, никогда не пил это вино, что в паре кварталов отсюда его ждет Фаня, пытающаяся на швейной машинке уехать от нужды и скуки. Что он вообще может сказать Гране, живущей в странном убывающем мире?..

— Вспомнил? — настойчиво спросила Граня. — Не можешь это забыть!..

И он вспомнил.

...И откуда только взялся на его голову этот тип в пыльной фетровой шляпе? Может, пришел сфотографироваться, может, поглазеть на фотовитрину «Модерна», где дамы застыли в кисее, шляпках, нитяных перчатках, а мужчины с шашками — казаки, офицерье, заступники, а кому шашка не по чину — тот держит книгу в золоченом переплете — «Историю» Йегера. Если приглядеться, то и шашка, и «История» — одна на всех сфотографированных. Как будто снималась родня... Большая родня. Выбрала время и снялась, и навек осталась на фотографическом картоне.

Он, кажется, тогда так и спросил:

— Что, они все родственники?.. Сабля прицеплена одна и та же?..

— Шашка, — поправила его Граня. — Не сабля, а шашка...

— Да какая разница, чем голову снесут — саблей ли, шашкой ли...

— Все равно — «шашка», — вставил слово садовник, который всегда поспевал к любому разговору, а если уж где-то пахло выпивкой — он попадал туда первым, иногда еще задолго до того, как кому-то приходила в голову счастливая мысль —

сбегать за бутылкой. В некоторых кампаниях появление садовника стали воспринимать верным сигналом к началу пьянки... Вообще, об этом садовнике ничего не было известно, никто не знал — садовник ли он вообще — и где живет, и сколько ему лет, и почему все называют его садовником? А, может, он был сторожем в саду, а может, он был известен Гране, как составитель фотографических растворов и особенно силен был в закрепителях? Хороши были и его проявители, но фиксажи — просто превосходные, и он по праву гордился ими?

Тип в пыльной шляпе спросил у Грани:

— Ваше фотоателье специализируется исключительно на портретах, потому что пейзажная съемка особенно хлопотна?..

— Ну отчего же, — сказала Граня. — В прошлые годы мы сняли несколько пейзажных серий...

Он почему-то ей понравился. Очень. И это сразу у нее было заметно. Это всегда у нее было заметно, она никогда не могла этого скрыть — не умела, а, в общем-то, и не хотела. Года три назад она с первого взгляда влюбилась в студентика, который случайно зашел в «Модерн» — перепутал ателье с харчевней, наговорил кучу дерзостей, наврал с три короба, а она влюбилась в него, как заразилась — скоротечно, тяжело — и мучалась она, и Тиму мучила, и ничего не скрывала, и порывалась выпить уксус. Студентик каждый день приходил в ателье, притаскивал букеты, которые воровал с клумб на Столыпинском бульваре. Он говорил, что увезет ее в Бобруйск, где у него жила мама, и что он поступит в службу, что проживут как-нибудь, она сможет играть в тамошнем театре — внешность у нее очень артистическая, — наплел и много другого вздора... Тогда она сумела выздороветь, а студентик уехал, наверное, в Бобруйск. Она сказала Тиме:

— Прости, но я не виновата, что влюбчива... Это, наверное, дар такой, как ты думаешь? Но помни — тебя я буду любить всегда...

Он утешился, но время от времени рана давала о себе знать. И вот этот тип в пыльной шляпе...

— К вечеру быть дождю, — заметил Тима, — нужно бы закрепить ставни, да и жалюзи закрыть. В последнюю грозу разбило в павильоне три стекла...

— Меня зовут Вальдемар, — представился тип. — Путешественник, действительный член географического общества, автор книжки — она довольно известна и в ваших краях — «Земля рассветная»...

— Конечно, конечно, — сказала Граня, — читали ваш труд с восхищением! Довольно оригинальный взгляд!..

Тима увидел, как загорелись ее глаза.

— Наверное, и гроза будет, тучи наползают свинцовые, — попытался он вернуть ее в павильон. Но она не слышала его.

— Мы могли бы показать вам наши скромные пейзажные работы, — сказала она Вальдемару. — При условии, что вы не очень торопитесь...

Тот, конечно, никуда не спешил.

— Однажды на реке Псоу, — начал он какой-то рассказ, — нас застал ливень, не дождь, а настоящий потоп... Вот тогда действительно пришлось торопиться, еще как!..

— Дорогой, — повернулась Граня к Тиме, — может быть, вы с садовником сходите за вином?.. Выбери лучшее, он один, боюсь, отдаст предпочтение только крепким напиткам... Нам ведь не жемчуг растворять, нам жажду утолять, правда?

— Можно и жемчуг растворять, — буркнул он.

— Милый, ты, кажется, сердишься? — спросила она. — Думаю, причин для этого нет.

Низкий хрипловатый ее голос стал как будто мягче, вкрадчивее, Тима знал, в каких случаях он становится таким, и ревность царапнула сердце.

Вино хранилось в кладовой на краю сада, и когда они с садовником отправились туда, уже накрапывал дождь. Они нашли в кладовой плетеную корзину, выбрали с дюжину бутылок, покрытых пылью — «Каберне», «Салхино», «Фетяска»... Садовод настоял, чтобы взяли и пару бутылок малоизвестного пока портвейна «Talass».

Когда они вернулись с вином, то Граня с гостем сидели в креслах бок о бок, и она показывала гостю большой альбом с фотографиями. На Тиму с садовником они даже и не посмотрели.

— А вот снимки самого первого года этой экспедиции... Какой незабываемой она оказалась, какой чудесной!.. Это Александр Мамин, а это Алексей Аблаев — путешественники божьей милостью... В каких только походах они не были!.. Это Лариса Санникова... А это виды Урала... Вот Жемчужный яр, вот яр Маринкин... А это Сауркин утес... Посмотрите, как красиво!..

— А кто эти бородачи?..

— Это Александр Зузанов, а это Геннадий...

— Может, все-таки выпьем? — решился подать голос садовник. — За фотоискусство, за знакомство?..

Возражать никто не стал.

Садовник ловко откупорил первую бутылку, наполнил бокалы, не пролив не капли. Это большое искусство — не пролить. За это искусство подняли второй тост. Третий — за путешественников, которые домом считают старую палатку на яру. Четвертый — за степь, пятый — за лес, шестой — за Урал, седьмой — за дожди... И в это время сыпанул за окнами ливень. Тогда стали пить за женщин, за мужчин, за любовь...

— За любовь мужчины пьют стоя! — предложил Вальдемар.

— Женщины тоже пьют за любовь стоя! — поддержала его тост Граня.

После тоста за родину последовал тост за родное правительство, после этого Тима предложил заканчивать пьянку. Граня легкомысленно махнула рукой, а Вальдемар принялся рассказывать, как однажды он, вместе с другими сумасшедшими, искал (да, да, а кто его не ищет?) Беловодское царство:

— То, что оно, царство, существует — сомнений ни у кого нет. Я имею ввиду — серьезных сомнений... Не буду сейчас приводить какие-то доказательства, цитаты из старинных мудрых книг, свидетельства тех, кто клянется, что побывал там — и, естественно, мед там пил, и женился там, и прописан был там, и еле ноги оттуда унес; меня убеждает в существовании этого царства справедливости одно: если есть сотни царств, где все так плохо, то почему не быть хотя бы одному, где все хорошо?..

— Я — согласна полностью! — поддержала его Граня.

— А я — не согласен категорически! — сказал Тима. Он так не думал, он спорил от ревности. — Нет ничего такого, что невозможно было бы найти... А вашу Шамбалу уже ищут сотни лет. И самолетами, и спутниками из космоса, и электрические сигналы посылают — все напрасно...

— Не открывается этот остров, кому ни попадя!.. Ведь натащат скверны, не отмоешься потом, ни очистишься! — подал голос садовод.

— В своих скитаниях мне однажды встретилась странная девочка — Лизавета, — продолжил Вальдемар, — она тоже искала Беловодье...

— И что же странного в этой искательнице? — спросил Тима. — Наверное, их тысячи бродят по земле... Все сегодня бросились на поиски счастья, которое ждет их в счастливой стране, как будто это туго набитый кошелек...

— Так эта девочка путешествует на кресле-каталке, она инвалид. Она не просто верит в эту страну, она видит ее наяву — такой у нее дар...

— Я тоже слышал об этой самой Лизавете, — сказал садовник. — В соседнем саду говорили, что по ней очень скучает кактус, зеленый, как динозавр, что живет на подоконнике в брошенной ею квартире...и давно он бросился бы вслед за

ней, да не решается динозавр оставить совершенно одну бабушку Лизаветы... Но я слышал, что как будто они втроем все-таки отправились вслед за девочкой...

— Ведь их с бабушкой только двое... так вы говорили, — напомнил Тима, снедаемый ревностью.

— Кто говорил — двое? — удивился садовник. — А домового куда дели? Домовой наверняка с ними пошел... Был еще и кенар, желтый, как пустыня, но он умер однажды утром... Яркие уходят рано...

— Ну и каковы результаты этих поисков? — спросил с иронией Тима. — Налажены ли дипломатические связи, произошел ли обмен послами, вручены ли верительные грамоты, открыто ли уже регулярное самолетное сообщение с этой заповедной страной?..

Знатный путешественник выразительно посмотрел на Тиму. Взгляд Грани был также полон сожаления.

— Разве находить уже стало важнее, чем искать? — спросил Вальдемар.

Тима хотел сказать «Дурак ты заповедный», но не сказал, потому, что даже после седьмого тоста оставался культурным человеком. Он сказал другое:

— А я предлагаю выпить!.. За Граню...

Все его поддержали.

— Но я буду пить за нее вино жемчужное...

Он подошел к Гране, она с улыбкой протянула ему руку — посмотрим, каких пределов достигает мужское безумство! — и он оторвал одну жемчужину с рукава ее любимого (и его любимого — оно так шло к ней!) платья. Жемчуг этот назывался скатный, он как раз и приносит счастье. Тима бросил жемчужину в бокал с вином, кажется, это был «Talass», посмотрел бордовый хрусталь на свет — и в это время на дворе разорвалась ослепительная шрапнель молнии, сухой треск разряда превратился в оглушающий грохот, порывом ветра распахнуло несколько ставен, посыпалось битое стекло. Все кинулись закрывать ставни, за окном полыхнуло и ударило еще раз.

— Как будто в нас метит! — закричала Граня.

Ударило и в третий раз, да так, что дрогнула земля. Путешественник и действительный член географического общества побледнел, попятился от распахнувшегося окна и осенил себя крестным знаменем; перекрестился и садовник.

Тима указательным пальцем нащупал в своем бокале жемчужину, вытащил ее. Никто не увидел этого. Он положил жемчужину в карман, сказал громко:

— Я же говорил, что гроза идет...

— Да! — сказал садовник. — Электричество блуждает по миру. Оно повсюду. Говорят, что даже в океанах завелась электрическая рыба — и светло ей от себя самой в сумрачных глубинах, и охотится она при помощи электричества, и оборону тоже электрическую держит... В Америке, слыхал я, завели даже электрическое искусство... электроарт — большущее будущее у него... Полное отражение действительности и одновременно — управление действительностью на расстоянии — по специальным проводам. Невероятной эмоциональной силы искусство, колоссальной силы... Это как динамит с электрическим запалом... Нажимаешь на кнопку — и взрыв в сознании!.. Революционное искусство, иначе не скажу...

— Сколько уж можно взрывы устраивать? — сказал Тима. — Хоть в сознании, хоть без сознания?..

— А вы, как будто, боитесь грозы? — повернулся он к знаменитому путешественнику. — Разве не бессмысленно опасаться того, что невозможно предугадать? Неизвестности?..

— Вот неизвестности как раз и следует бояться, — ответил Вальдемар, — она страшнее всего...

Тима отметил про себя, что трусоватость действительного члена географического общества заметила и Граня. Заметила и усмехнулась. Теперь нужно было закрепить успех.

— Итак, пью здоровье Грани! — сказал он, переждав раскаты грома. — С жемчужиной!..

И он выпил вино до капли, перевернул бокал, и все увидели, что в нем жемчужины нет.

— Ты просто сумасшедший! — с восхищением произнесла Граня. — Откуда у тебя эти гусарские замашки?..

Он промолчал, скромный герой. Безрассудный. Отчаянный. Влюбленный.

Граня потеряла интерес к путешественнику...

Как Тима мог забыть этот случай?.. Может, его забыл Тема?

— Да, я вспомнил! — сказал он ей, и для чего-то посмотрел вверх — через стеклянную крышу на комету. Павлиний хвост ее разгорался слева направо: по-прежнему Тема в мире, взятом под прицелом звездой «Полынь».

— Вот, видишь, — улыбнулась Граня, — вообще, в последнее время ты какой-то странный. Впрочем, все мы теперь странные... Сегодня утром я читала книгу известного футуролога Фоменко...

— Того самого? — спросил садовник.

— Ну, да, Юрия Фоменко... Он утверждает, что уже через двадцать лет человечество сможет решить многие проблемы — экономические, социальные...в общем, наступит золотой век благоденствия — ни эпидемий, ни революций, ни...

— А когда была написана эта книженция, — спросил Тима-Тема.

— После...после того, как о комете объявили, — сказал садовник. — А что это меняет?.. Книжки теперь не писать? Дома не строить?..

— Детей не рожать?.. — спросил Тема, и вопрос получился с непонятной издевкой, и он сам это понял.

Граня взяла его за руку:

— И детей будут рожать до последнего часа... Милый, как же иначе? Неужели весь мир должен заняться приготовлением савана?.. До последней минуты будут любить, сочинять стихи, строить планы на отпуск. Мы же не боги — мы люди, мы знаем, что не вечны, но это не мешает нам ржать над анекдотами...

«Наверное, она права, — подумал Тема, — но ведь страшно, еще как страшно видеть над головой этот растущий и растущий с каждым днем кометный шлейф!..» И вдруг, как в школьной арифметике — «один пишем, а пять в уме» — из памяти вынырнуло, что ему-то, Тиме, опасаться совершенно нечего, он из другого мира, совсем из другого. Не из этого, где его любят, где он угощается яблоками с яблони, которую, оказывается, он посадил когда-то вместе с Граней, а из того, где никто его не любит, может, только Володька, но и он навряд ли... Не любят, но зато комета там пролетает мимо, и там еще долго можно искать необходимый случай и нужное слово. И ничего, что пока не нашлось ни того, ни другого — в том мире можно не торопиться... Там никто поминутно не смотрит в небо... Там у всех времени сколько угодно! Вот сейчас Тема вежливо откланяется, выйдет через калиточку и пойдет домой к Фане... домой... домой?..»

Он оглянулся на дверь, да, наверное, так выразительно, что садовник похлопал его по плечу, сказал:

— Засыпают, уже засыпают эту траншею, десятка полтора землекопов прислали, скоро снова можно будет через калитку ходить...

Тема смешался:

— Да я, собственно, не поэтому...

Садовник засмеялся:

— Я все понимаю... Запасной выход должен быть... Плохо, когда у человека всего одна дорога, скверно... Вот тогда за подкладкой рано или поздно находится карточка...

— Откуда вы про карточку узнали... Я вам ее показывал?..

Садовник не ответил, наверное, не услышал вопроса.

Зато Граня услышала.

— Что, нашлась та фотография? — спросила она.

— Где на одном рукаве четыре жемчужины, на втором пять?.. — переспросил Тема.

— Ну, да, на которой я снята в тот день, когда ты вино с жемчугом пил... Я тебе подарила ее, а ты умудрился потерять ее уже на другой же день. Почти семь — да, семь лет с тех пор прошло. Где же она нашлась?..

— За подкладку завалилась, — ответил Тема.

Граня поднялась со своего ротангового кресла, протянула руку к Теме:

— Давай!.. Оторвавшуюся подкладку нужно сразу пришивать, иначе есть риск потерять больше, чем фотокарточку. В добрую прореху и судьба может провалиться, правда, ведь, Тема?

Ему показалось, что она назвала его Темой, но она могла и оговориться. Он снял пиджак и отдал его ей.

— Пойдемте в дом, сегодня что-то нет желающих запечатлеть себя, — предложила она.

— Наверное, в последнее время люди снимаются реже? — спросил он.

— Нет, отчего же. Пожалуй, даже чаще...Значительно чаще...

Они вышли в сад и двинулись к одноэтажному деревянному особняку, скрытому от посторонних глаз за развесистыми яблонями, сливами, ранетками.

— Старый сад, — сказал Тема.

— Немолодой, — ответил садовник.

— Здесь все старое, — с сожалением в голосе произнесла Граня.

«Да, я могу уйти отсюда в любую минуту, — вдруг пришло в голову Теме, — а он, он... Тима может уйти?..»

— А вот яблоня, которую мы посадили вместе с тобой четвертого апреля, — сказала Граня.

— А в каком году? — спросил он. Она промолчала, вздохнула, потом сказала негромко:

— Неплохие на ней яблоки... Только кислят чуть-чуть...

Они зашли в дом, в котором было прохладно, полутемно, солнечные лучики, пробившиеся сквозь белые тюлевые занавески на окнах, были рассыпаны по полу, как битое стекло. С одной стены смотрели фотографические портреты усатых, бородатых бравых мужчин; дамы бросали на них взгляды с противоположной стены, казалось, что все пространство дома взято под прицел.

— Это мой дядя, — показал садовник на господина с дюжиной медалей на молодецкой груди, держащего фуражку с малиновым околышем, как арбуз на согнутой руке. — В войну показал себя отменным храбрецом!..

Тема не стал спрашивать, в какую войну. Войн так много, что дяде-храбрецу есть где заработать медали.

— Сейчас будем пить чай, — сказала Граня. — Вот только подкладку починю...

— Спасибо, мне пора... Занят... Жара-то, жара-то стоит какая! — садовник не пояснил, как зной влияет на его занятость, скорее всего, он понял, что никакой выпивки не намечается, и ушел, потоптавшись с минуту у двери: может, окликнут? Может, поймут, что в зной хорошо пьется кисловатое каберне, не помешает и прозрачный прохладный рислинг... Даже портвейны годятся в такую погоду, если они не теплые... А они не теплые!.. Некоторые борются с жарой даже капелькой водки, а если она со льда, то можно и больше...

Но никто его не окликнул, не позвал, и он ушел.

Граня взяла с тумбочки небольшой сундучок, открыла, в нем оказались иголки, нитки, пуговицы.

— Помнишь, мы купили его с тобой в Альбене? — спросила она.

— Конечно, помню, — сказал он, но не вспомнил. В памяти возникло только море, замок, где давным-давно коротала дни какая-то королева, аллея над морем, водопад — и больше ничего...

Граня вдела нитку в иголку, взялась за коварную подкладку. Сделала несколько стежков, остановилась.

— Здесь еще что-то есть, — сказала она, — сейчас достану...

Тему кольнуло предчувствие.

Граня извлекла на свет жемчужину — ту самую.

Тема готов был сквозь землю провалиться.

— Конечно же, — начал он, — это шутка...

Граня вздохнула:

— Хорошо, что она нашлась, теперь на обоих рукавах будет жемчужин поровну...

— Извини, что так вышло, — Тема все старался объяснить необъяснимое, но она, казалось, не слышала его.

— Я тогда так переживала, думала, не будет ли это вредно для твоего здоровья, — сказала она. — А теперь вот все прояснилось.

«Но ведь это не я, это Тима такой финт выкинул, — вспомнил он. — Я не испугался бы выпить с жемчужиной, и не такое приходилось пить...»

И тут же выплыло другое: «А разве Тима — это не я?.. Другой?.. Но кто?..»

— Вот, готово! — протянула она ему пиджак. — Намертво пришито, больше ничего не завалится.

Он хотел сказать «Хорошо ли это, что не завалится?», но промолчал.

Она подошла к нему, положила руки на плечи, проговорила негромко:

— Знаешь, у меня иногда такое чувство, что все мы живем еще где-то... Что всем нам дано несметное количество жизней, и мы переносимся из одной в другую, не зная об этом. Скажем, днем находимся здесь, а ночью совсем в другом месте. Или наоборот, днем там, а ночью здесь... И для нас реальна только та жизнь, в которой мы находимся в этот момент, а уже через секунду станет реальностью другая жизнь, а предыдущая будет забыта... У тебя так не бывает?..

Он промолчал, поцеловал ее в щеку. Под кометой, летящей слева направо, он имел на это право.

— Но иногда эти никогда не соприкасающиеся наши жизни сближаются, и мы ощущаем странную раздвоенность, растроенность...

— Расчетверенность, — пошутил он.

— Не смейся, я серьезно...

— И я всерьез, — сказал он. — Не могу отделаться от ощущения, что многое в моей жизни было не со мной, или я — это совсем не я... Но кто же тогда я?.. В общем, подсознательные фантазии на тему «а что бы случилось, если бы я вчера сел не на третий трамвай, а на пятый?»

— Вот-вот! — подхватила она. — Я где-то слышала, что иногда нас одолевают воспоминания о непрожитых жизнях... Только, думаю, что это все-таки воспоминания о жизнях проживаемых, но не здесь...

Она умолкла на минуту, потом продолжила:

— Сегодня утром разговорилась с женщиной в автобусе, имя у нее запоминающееся — Фаня — и она рассказала, что ее муж работает в универсальном магазине, в отделе моющих средств, но иногда по утрам представляет себя писателем, считает, что он автор многих книг, и тогда уходит бродить по городу якобы в поисках новых образов, не затертых слов, не приевшихся сюжетов... Он и правда иногда что-то пишет в общую ученическую тетрадку, но за тридцать последних лет он вырвал из нее больше страниц, чем написал слов... Она потихоньку от него обращалась к специалистам, но они не нашли у него отклонений...в общем, сказали, что лекарств ему не надо.

— Как ее зовут? — деревянным языком спросил Тема.

— Фаня...

— Она белье везла?..

— Да, точно... Я обратила внимание, что у нее кипы пододеяльников, простыни, наволочки... Она сказала, что на фабрике надомного труда работает... Ты тоже ее видел?..

— Сегодня... сегодня видел утром, — сказал он. — А насчет лекарств она не права — нам всем не обойтись без лекарств...

И в эту самую секунду Тема вспомнил, что Фаня поручила ему купить аспирину, а он прошел беспечно мимо аптеки, не вспомнил о ее просьбе... Не сойдет ему это с рук!

И тут же на глаза попалась картонная коробка, в которой ворохом лежали пирамидоны, бинты, лейкопластыри. Граня перехватила его взгляд:

— Тебе аспирину нужно? У меня тоже голова сегодня плохая... Дай и мне таблетку...

Он принес ей таблетку, налил в стакан воды из графина, а оставшуюся пачку аспирина сунул в карман пиджака — теперь за подкладку ничего не завалится.

Она поцеловала его, произнесла негромко:

— Лето такое короткое в нынешнем году... А дни тянутся долго... долго...

— Да, я заметил, — сказал он, томясь; за подкладкой нашлась не жемчужина, его собственная неизвестная жизнь.

— Такое же было в восемьдесят первом году, — продолжила она. — Лето просто промелькнуло, а дни наоборот казались бесконечными... Так бывает в особенно счастливые годы. Или в особенно несчастливые. В один из дней... кажется в июле...

— День как день, да год не тот, — перебил он ее.

— Точно, это было в июле, — пропустила она мимо ушей его любимую поговорку. — Каждый день тогда полыхали короткие грозы, после которых поднимались разноцветные арки радуг, и ребятня выбегала из домов, носилась по теплым лужам, поднимая брызги выше головы. Погода стояла необыкновенно теплая, тихая, безветренная. После полудня чуть не весь город тянулся к реке — купаться, загорать. А мы жили тогда неподалеку от Ханской рощи... Я тебе никогда не рассказывала об этом...

— Не рассказывала..., — как эхо повторил он.

— Там на обрывистом берегу Чагана рос огромный осокорь, — продолжила она, и непонятно было — решила она просто напомнить ему давнюю историю или добавить к ней нечто, еще неизвестное ему, что она сама только сейчас вспомнила. — Этому черному тополю, наверное, сто лет было, и он протягивал свои огромные ветки чуть не до середины речки. Мы привязывали к этим ветвям длинные качели, очень длинные, и только самые отважные решались промчаться на них над самой водой, а потом подняться на двадцатиметровую высоту, а потом опять к реке, и опять вверх — над берегом... И так несколько раз — пять, десять... Дух захватывало от этого сумасшедшего маятника.

Компания собиралась большая — девчонки, мальчишки... Даже взрослые приходили посмотреть на смельчаков, раскачивавшихся на гигантских качелях. Если начиналась гроза, то все разбегались, но стоило дождю кончиться, как опять собирались любители острых ощущений. Потом стали притаскивать магнитофон, загромыхали рок-н-роллы, девчонки постарше придумали танцевать, мальчишки иногда решались их приглашать, в общем, организовался целый клуб «У черного тополя». Мальчишки, как водится, выделывались друг перед дружкой, девчонки восторгались теми, кто выше всех взлетал на качелях — к самой кроне осокоря, влюблялись, вздыхали, писали записочки; тогда принято было писать анонимные записочки с назначением свиданий. На свидания девчонки не ходили, посылали подружек посмотреть — пришел ли мальчишка. Если пришел, то победа, праздник, торжество, если не пришел — дурак, урод жизни, не очень-то и хотелось.

Был там тогда один, которого прозвали Чемпионом. Мне он очень нравился. Высокий, стройный, загорелый. А еще быстрый, смелый, грубоватый. Он был лучше всех! Кто из девчонок не грезил о таком в пятнадцать лет?.. Когда он заговаривал со мной, у меня начинала кружиться голова. А когда он взлетал на качелях над Чаганом, мне хотелось стать его парашютом, если он вдруг сорвется, — и спасти его. Многие девчонки сохли по нему тем летом, а он, неприступный, упивался своим превосходством. Мне иногда казалось, что он влюблен в меня, а иногда, что он не сводит глаз с Лизки, которую все звали Лохматой, потому, что ее рыжие вихры всегда находились в диком беспорядке. С Чемпионом мы целовались по вечерам все в той же Ханской роще, с Лохматой же он ходил на последний сеанс в кинотеатр «Летний».

В меня были влюблены тогда несколько мальчишек. Это приятно, когда тебя любят, или хотя бы думают, что любят. Время было такое, лето такое, такой июль, что все были влюблены, все. Среди них самым смешным мне казался белобрысый лопоухий парнишка, уши которого на солнце наливались всеми оттенками малинового цвета. Он был неуклюж, ненаходчив, да еще и трусоват к тому же. Он ни разу не решился забраться на деревянное сидение качелей, хотя должно быть очень хотел попасть в число презревших опасность сорваться и разбиться в дребезги, но страх был сильнее этого желания. Однажды я видела, как во время грозы, когда у осокоря никого не было, он, мокрый до нитки, подтянул качели к себе, натянул веревки, как вожжи, дернул несколько раз, словно погоняя старый тополь, или испытывая веревки на прочность, но так и не решился отправиться в полет над речкой. Видно было,

что он расстроился, пнул ногой ствол, бросил качели и понуро ушел прочь. Вспышки молний на мгновение превращали его алые уши в сиреневые, и это было похоже на мигание светофора, и я невольно рассмеялась...

— Да, смешно, — согласился Тема.

— В детстве мы все жестоки, — продолжила она, — а потом это чаще всего проходит... Мне этот мальчишка даже нравился. Может быть, больше, чем нравился...

Она вздохнула:

— В тот злополучный день Чемпион творил качельные чудеса, взлетал к самым грозовым тучам. Я смотрела на него с восхищением. Белобрысый тоже был там, поглядывал настороженно. Какая-то борьба происходила в нем. И тогда меня как будто кто-то подтолкнул.

«А тебе слабо так? — крикнула я ему. — Попробуй хоть разочек!.. Не дрейфь!..»

Чемпион захохотал откуда-то из поднебесья...

— А ты награду назначь! — предложил он. — Поцелуй за смелость!..

Кто-то управлял в тот день моими поступками, и я крикнула на всю рощу:

— Ну, давай, покажи, на что способен!.. Обещаю — поцелую тебя!.. Трусишь?..

— Я? — тихо спросил он. — Я — трушу?..

— Не я же! — на лету обронил Чемпион.

Белобрысый шагнул вперед, к самому обрыву, встал, как на расстрел.

Чемпион слез с качелей, протянул ему деревянное сидение. Тот взял, поправил веревки, посмотрел на узлы, прищурился, как будто прицелился.

«Время тянешь? — поторопила его я. — Мне что-то целоваться хочется...»

Он еще раз посмотрел на узлы.

«Ну? — сказала я. — Труса празднуешь!..»

Он словно окаменел.

«Ну! Ну!» — кричала я.

Он оттолкнул от себя качели, повернулся ко мне, сказал с надрывом:

— Дура ты! Не дешево ли просишь за поцелуи?..

Он, наверное, хотел еще что-то сказать, но все закричали: «Слабак!.. Обделался!.. Поджилки затряслись!..» Кричали громче всех те, кто и сам ни разу не решился на полет над Чаганом.

Он побледнел, сжал кулаки, словно собираясь драться с нами всеми. Мне стало нестерпимо жалко его, жалко до слез. Но было поздно...

У него на глаза тоже навернулись слезы, он отвернулся и побежал в рощу... Побежал, не разбирая дороги, словно хотел убежать от нас навсегда... Хотел он этого или нет, но вышло именно так — больше никогда в жизни я не видела его. Говорили, что он перевелся в другую школу, или даже уехал из города... Но мои приключения в этот день только начинались... начинались... Я навсегда запомнила этот день...

Тема потрясенно смотрел на нее. Она, точно она!.. Столько лет он рядом с ней, но не смог узнать в ней ту жестокую девочку...

«Как ветки хлестали меня по лицу, как петляла тропинка в роще! — подсказала память. — Несколько раз, поскользнувшись на влажной траве, я падал, едва не сорвался с обрыва в реку... Ударила очередная гроза. Я ходил по лесу от дерева к дереву, сам не зная зачем. Злые слезы смешивались с дождевой водой, все было утрачено. Именно все — и первая любовь тоже.

Как я любил ее! Если она улыбалась — я хохотал. Если она хмурилась — я готов был заплакать. Однажды мы с ней переплыли Чаган, чтобы на бахчах полакомиться цветами тыквы — медовый вкус был у этих ярко-желтых цветов, но и достаться за них могло от сторожа по первое число. На той стороне реки было много паслена, подсолнухов, даже малина водилась, и время от времени чаганские мальчишки, да и девчонки от них не отставали, совершали на бахчи набеги. В этот раз мы отправились вдвоем. Сторож, наверное, спал в своем шалаше, потому, что мы набрали и гороха, и вороняшки, и даже малины.

— Мы — пираты! Страшные пираты! — тихо смеялась она. — Гроза морей, бахчей и рек!..

И вдруг появился сторож, грозный цербер зеленых грядок. Мы нырнули в заросли подсолнухов. Цербер с берданкой наперевес шел на нас, как в знаменитой «психической» атаке из кино про Чапая. Мы бросились наутек, но он нас, кажется, не заметил. Пока он обходил дозором бахчи, мы боялись дышать — мало ли чего у него на уме? Он ушел, и мы перевели дух. Тут я взглянул на свою сообщницу по набегу на горох и вороняшку. Он стояла рядом с подсолнухом — всклокоченная, с поцарапанными коленками, но с сияющими глазами, улыбкой — от уха до уха, и сама казалось большим подсолнухом — в ярко-желтой, цветущей короне.

— Чего ты? — перехватила она мой взгляд.

Я не умел тогда говорить про любовь и промолчал. Но такую ее — полуденную, подсолнечную, золотую, — я запомнил навсегда...

И вот все прошло... Я не очень хорошо помню, что было дальше... Кажется, гроза в этот день была просто ужасной,

молнии сверкали беспрестанно. А дождя почти не было. Мое бесцельное и отчаянное кружение вынесло меня к памятнику, установленному на месте первомайской революционной маевки 1905 года; молнии электрическими змеями обвивали обелиск и шипели. Серый бетон памятника был расписан разноцветными строчками, типа «Я здесь был», «Люся + Еся», «Любовь без радости была...» Я почему-то подумал, что, может быть, через тридцать лет, или полвека, или век, — только этот памятник и будет напоминать о моей любви, а не о революционных событиях. Или вообще о любви, не обязательно моей. Это меня почему-то немного успокоило. Я нашел уголек и добавил свою надпись: «Ехал Грека через реку...», — какой Грека, через какую реку? — мне это было безразлично. Написал первое, что пришло в голову, не думая, что уже следующий дождь смоет моего Греку. А, может, и не смоет.

Наконец я решил отправиться домой — мокрый и несчастный.

Я вышел на обрыв, где высился черный тополь. Ни души не было здесь. В эту секунду молния ударила в самую макушку осокоря. Вспыхнула и тут же погасла влажная листва, вспыхнули и веревки качелей, и тоже погасли с шипением, только черная опалина осталась на стволе дерева. И тотчас гроза стала стихать, откатываться к Уралу — к самому Жемчужному яру. Я подумал, что теперь, должно быть, еще опаснее раскачиваться на подгорелой веревке, что нужно предупредить об этом ребят... Но злорадно представил, как сорвется в воду Чемпион, как будет похож на мокрую курицу — и пошел дальше. Пусть он грохнется! Пусть!..

И тут же в зарослях тальника мелькнула коричневая курточка. Ее курточка.

— Ау-у-у-у-у! — кричала она. — Не дури! Я знаю, что ты здесь!.. Тут дорога одна, ты не проходил по ней назад... Не дури!.. Выходи!..

Я замер, спрятался за стволом старой липы. Теперь ничто на свете не заставило бы меня показаться ей на глаза.

— Ну, извини!.. — кричала она на всю рощу, и эхо носило между деревьев:

— ...вини, вини...вини...

Она пошла на поляну, где стоял обелиск, обошла памятник вокруг, как будто я скрывался за ним, и двинулась к берегу Урала, туда, где в него впадает Чаган. Крадучись, я двинулся за ней.

— Ну, покажись! — закричала она. — Хватит уже прятаться... Не будь же ребенком!..

Я молчал.

Дождь кончился, она вернулась к обелиску, нашла кусок угля и написала что-то на памятнике. Когда она ушла, я прочитал написанное: «Дурак, буду ждать тебя вечером в 8 часов у “Летнего”, обязательно приходи!»

...Я приходил и в восемь, и в десять вечера. Приходил и на другой день, и на третий... Напрасно... А потом наша семья переехала в Саратов... Я вернулся назад только через двенадцать лет. Искал ее, но не нашел...

— Что же было дальше? — Тема очнулся от воспоминаний. — Ты прервала свой рассказ, сказав, что на этом твои приключения не закончились...

— Нет, не закончились, — продолжила она. — Еще не кончился дождь, а я уже вернулась в Ханскую рощу... Я кричала, звала его, но он не откликнулся... Тогда я оставила ему записку на монументе, вернулась к обрыву. Когда гроза кончилась, наша компания опять собралась у качелей. Не было только его...

И куда-то пропало обычное бесшабашное настроение, никто не смеялся, никто не танцевал. Никто не качался на качелях.

— Чего приуныли? — спросила я. Мне и самой почему-то было не до веселья.

Все промолчали.

Я подошла к качелям, уселась на сиденье:

— Что, желающих нет?..

Ребята что-то промямлили. Тогда я решилась:

— Ну, ладно, подтолкните!..

Никто даже не пошевелился.

Я оттолкнулась от земли, и огромный маятник понес меня над лесом, водой, потом — к небу, где ветер разгонял остатки грозовых туч, и снова вниз — над водой, над поляной...

Веревка оборвалась, когда я в третий или четвертый раз проносилась над поляной. Меня швырнуло в заросли тальника, и, наверное, это спасло мне жизнь. Но удар был страшный, я сразу потеряла сознание. В памяти осталась только разноголосица друзей, вдруг слившаяся в единый пронзительный вскрик.

Я очнулась в больничной палате спустя двое суток... Но потом еще три бесконечных года я была прикована к постели, да вот к этому креслу... Я училась заново стоять, ходить... Помнишь, Тима, когда мы познакомились с тобой, ты удивлялся моей чрезвычайно ровной походке, спрашивал, в какой балетной школе я училась?..

— Да, — промямлил Тема, — прямая спина, строгий взгляд...

— Так вот, я училась в третьей травматологии... А учили меня хирурги, санитарки, да еще гипсовые корсеты, всевозможные приспособления...

— А я ничего этого не знал, — сказал Тема. — Ничего...

Она взглянула на него, продолжила:

— Мне потом пришлось заново учиться жить. Вот выбрала себе занятие по возможностям — фотографию...

— Ничего... ничего, — повторял Тема.

— Ну, что ты, милый, заладил? — улыбнулась она. — Совсем ни к чему это было знать тебе... Все было давным-давно, и все прошло...

— Ничего не прошло! — закричал он. — Я знал про веревки... Но не сказал... Я виноват... Это же я!.. Это я!.. Посмотри на меня!..

— Успокойся, милый! — подошла она к нему, прикоснулась к его руке. — Никто не виноват больше меня самой...

— Я виноват!..

Она поцеловала его:

— Как ты можешь быть виноватым в том, что произошло за много лет до нашего с тобой знакомства?.. Не нервничай, не кричи — тебе это совсем не идет...

— Так посмотри внимательнее на меня!.. Вот мои уши, они на солнце всегда красные...

Она засмеялась:

— При чем тут уши? У всех людей, по-моему, уши на солнце, как красные сигналы светофоров...

— Это мне ты написала послание на памятнике... — Тема начал было объяснять ей, что это именно он несколько вечеров ждал ее у «Летнего», что он отказался от полета на качелях, но замолк на полуслове — разве он Тима? Не Тема?.. И это тоже нужно ей объяснить?..

Он понял, что она не впустит к себе эту правду, да и правда ли это?

— Успокоился? Вот и чудесно!.. — Граня опустилась в свое ротанговое кресло. — Скоро землемеры должны прийти. У них какой-то землемерный конгресс или симпозиум, и они хотят сняться на память...

— Разве еще не все обмеряли? — спросил он.

— Ты сегодня такой странный, — улыбнулась она. — Как в тот день, когда впервые пришел сюда...

— Я тогда заблудился, кажется, — память опять вытолкнула на поверхность то, что с ним никогда не происходило.

— Точно заблудился! — подсказала она. — Искал аптеку... А нашел фотографию... Нашел меня... Тебя жена тогда послала за аспирином — у нее голова болела, а ты пришел сюда... Странно, странно в жизни устроено все. Но как все-таки хорошо!.. Правда?..

— Да, — сказал он. — Вот и сегодня я прошел мимо аптеки...

В дверь осторожно постучали.

— Садовник таким деликатным делается, когда ты бываешь здесь, — сказала она. — Наверное, землемеры пришли... Ты, дорогой, сегодня останешься, или тебе пора?..

— Пора... сегодня.... Задержался, — кое-как повернулся сухой язык. — Граня...

— Я понимаю все, понимаю... Пока, милый!..

— Как раз траншею закопали, — сказал садовник, просунув голову в дверь. — Можно пройти через калитку...

— Я пошел? — спросил Тема.

— Конечно, — откликнулась она. — Конечно...

— Я вернусь, — сказал он. Дал обещание.

— Да... — подняла она на прощанье руку; по пять жемчужин матово светились на рукавах ее платья.

Он вышел из дома, двинулся к выходу из сада; ему показалось, что яблони ветвями потянулись к нему. А больше всех та, которую они посадили вместе с Граней. Когда посадили, зачем? «Так и не расспросил, что там связано с посадкой этой яблони, — мелькнуло в голове, — ну, ничего, в следующий раз узнаю».

Он никогда не верил этим «следующим разам», чаще всего их не случалось, но иначе успокоить свою совесть не мог.

Он вышел из сада, пройдя под деревянной аркой покосившихся ворот и как обычно попал почти на самую Фурмановскую... До Театральной он шел и не разу не оглянулся, потом посмотрел назад коротко, через плечо. Солнечные блики стеклянной крыши «Модерна» ослепили его, и он не сумел рассмотреть, как чья-то рука у старых ворот перекрестила его. Затем он свернул налево и опять вышел на Советскую, и через десять минут был дома.

Фаня утопала в лавине пододеяльников, труженица.

— Это я, — сказал он.

— Правда? Важная новость. А мы думали, что сегодня не ты, а сивый мерин придет...

Нет, не любила она его...

Она выключила машинку, повернулась к нему.

— Пока ты шлялся где-то, Земле нашей кашпец пришел, полная амба! — сказала она злорадно, как будто на этой Земле жил он один, и вот теперь вместе с этой одинокой Землей и ему наконец наступит крышка. — Ученые все время по теле-

ку выступают, рассказывают, что после уточнения траектории движения кометы оказалось, что она, комета эта, встретится с Землей через 16 лет... Как говорится, бах — трарарах!..

Он подошел к форточке: так и есть, хвост небесной скалы указывал справа налево.

— Но ведь еще сегодня утром хвост указывал направо, — сказал он Фане растерянно, — а теперь наоборот... Разве кометы могут поворачивать назад?..

Она вытерла кулаком непрошенную слезу:

— Вот они-то, оказывается, могут. Мы — нет...

Она включила телевизор, и тут же на экране появился какой-то встревоженный очкарик:

— Скорее всего, Землю ожидает нелегкое испытание...некоторые ученые считают, что... мощные наводнения, землетрясения...двадцатиметровые волны...

Тема вспомнил сон про потоп, обелиск с надписью «Дурак, буду ждать тебя...», — и похолодел.

Он еще раз — осторожно, не спеша, — а вдруг все изменится? — взглянул на небо: хвостатая звездочка упорно склонялась слева направо.

— Что же теперь будет? — спросила у него Фаня. — Конец света, что ли? Конец?..

И впервые она выглядела растерянной

Он пожал плечами: наверное, конец...

— Наверное, наверное! — закричала она. — Хоть что-нибудь ты можешь знать точно?.. Ах, как болит голова!..

Она, вдруг, вспомнила что-то, сказала почти спокойно:

— Аспирин принес?..

Он пошарил в кармане и протянул ей пачку. Лекарство из другого мира...

Поможет?..

15. 10. 2009—2010—2015
Минск—Астана

ИГРА НА ИНТЕРЕС

Ехали как-то по степи, резались в дурака. Ни деревца, ни кустика за вагонным окном, только буксующие грузовики на разбитых дорогах, только мокнущие под бесконечным дождем люди в брезентовых плащах. На полустанках только холодная вареная картошка, только соленые огурцы, желтые и

сморщенные, чем-то похожие на эти края; наверное, никто не удивился бы, если бы в этих местах ордена и медали были бы в виде соленых огурцов. А, может, так оно и есть.

Фиолетовый с утра проиграл пять раз подряд, и шестерки ему повесили на погоны, и семерки — еще тот игруля!

Тогда мужик с заскорузлым, как пятка, лицом предложил:

— Давайте хоть на щелбаны играть, хоть на кукареку, хоть на стишок прочитать — а так просто тошно уже играть!

Как не тошно — третий год в пути. Семьдесят две колоды карт измочалили, все анекдоты по сто двадцать два раза вспомнили, а тот, где муж из командировки раньше положенного возвращается, а у жены... в общем, известно кто у жены — Изя Соломонович — так вот этот анекдот рассказывали сто двадцать три раза — просто в душу вьелся анекдотец.

Фиолетовый сразу согласился: давайте на деньги! В очко. Или преферанс, распишем пулю.

Заскорузлый посмотрел на него, как на тимуровца прошедших времен, которые любили старушкам дров наколоть, воды принести, в магазин за селедкой сбегать, а откуда что берется, они не знали.

Старик сказал:

— Ты что, опупел? Какие деньги? Ты спроси у меня, помню ли я, как они выглядят, деньги эти?.. А ты сам помнишь?

Фиолетовый засмеялся:

— Когда я в деле был, мне платили хорошо... А потом с деньгами полная жопа произошла... Я просто так про деньги сказал, как бы фигурально выражаясь... Чего вы сразу ощерились?..

Охоты пререкаться с ним ни у кого не было, все помнили, кем он работал, в каком таком деле состоял. Киллером-бродягой — вот кем он был, а они, киллера, ребята суровые, в случае чего и пырнуть могут, а уж после заплечных трудов своих играют по-крупному, один так однажды наган рабочий проиграл, пришлось ему потом на своем производстве применять кинжал, да и кинжал он потом просадил, так что на дело ходил с газовым ключом — ничего, и ключом справлялся неплохо. А фиолетовый как раз не отличился особо в своей профессии, хотя славную винтовку Сергея Мосина сумел сохранить — не пропил, не проиграл, не забыл под столом в забегаловке. Вон она стоит в углу купе с примкнутым штыком, грозная все-таки железенция! Так что чего там пререкаться-препираться, все равно денег нет, даже огурцов купить не на что.

Мимо окон проплывала желтая равнина, сырая, холодная, ветер рвал из желтого суглинка перекрученные, жилистые стебли степных растений, но не было у него такой силы, что-

бы вырвать хоть что-то из этой волглой земли. Дождь вперемешку со снегом и снег пополам с дождем засыпали эти места во все времена года; из желтой грязи не могли выбраться ни люди, ни телеги, ни грузовики. Грузовики рычали, чадили, сдирали колесами земную кору, но тронуться с места не могли.

Старик пытался представить, откуда выехали эти безнадежные грузовики и куда они не доехали, и судя по всему никогда не доедут, так и состарятся в этой желтизне, — может, посланы они властителями этих просторов за нарядным и долгожданным фейерверком, которым можно раскрасить невысокие небеса над этими землями. Люди испокон веков мечтали о таком празднике, когда над их головами загорятся тысячи разноцветных огней, и этот праздник был им обещан мудрыми властителями, и снаряжены могучие машины, но все они застряли в непролазной грязи, провалились, как в пропасти, в бездонные колеи, и, наверное, заряды отсырели, испортились — не годны больше на веселую пальбу, а только на печальное шипение.

Решили все-таки играть на щелбаны. И опять продул фиолетовый, не идет ему карта. Заскорузлый отсчитал ему заводных, звучных, полновесных щелбанов.

— Лупишь ты от души! — скривился от боли фиолетовый.

— А как же! — согласился тот. — Надо все делать основательно.

В следующей игре не повезло старику, не пришло ни одного козыря. Он подставил голову под удары: раз, два, три... десять... Больно как!.. Лучше кукарекать или стишки читать... Он помнил один с самого детства:

Эники, Беники, ели вареники,
Эники, Беники клец —
Вышел советский матрос!

Впрочем, это считалка, но очень хорошая, похожая на стихи. В детстве он произносил ее на дню десять раз, потому, что любимой игрой у них тогда были прятки... кулюкушки... Точно-точно, с самого детства хотелось спрятаться, так чтобы тебя никто не видел, а ты всех-всех, и в любую минуту мог выскочить с торжествующим ревом: чур, чур меня!.. Куда только он не забирался — и в кусты у типографской сторожки, и за огромные кучи антрацита, привезенного к зиме, и на чердак — и всегда его находили, и всегда ему потом приходилось водить, но он как раз никогда не находил своих дорогих друзей — ни Вадьку, ни Олежку, ни Наташку — девчонку-задиру с горохо-

выми бантами, — всех-всех, так хорошо они умели прятаться. И пока они сами не открывались ему, он ходил по двору с потерянным лицом, а друзья в своих тайных укрытиях весело хохотали над ним.

Однажды они надумали играть в самый разгар июньского дня. Кажется, было восемнадцатое число... Точно, восемнадцатое. Тогда у старика как раз был день рождения. Вечером мать обещала испечь торт «Наполеон», а днем они все угощались «сливочным» из киоска, что у КРаМа. Им бы потом отправиться в жару купаться на Урал или Деркул, а они надумаю ли прятаться друг от друга.

— Эники, Беники... — завел он считалку, стоя лицом к деревянной стене сторожки, — ...клец... советский матрос!

Он нарочно протараторил скороговоркой, чтобы они не успели спрятаться, но они успели. Он оглянулся — типографский двор, где они играли, был пуст, только у проходной дремала на табуретке сторожиха тетя Маруся, только рыжий котище Васька сладко потягивался со сна, только летний городской ветер лениво ворошил брошенные кем-то две газеты. Старик (неужели и тогда его так называли?) двинулся к арке, ведущей во второй типографский двор, именуемый не иначе как «тем двором», но он знал, что стоит ему скрыться в том дворое, как один из тех, кого он ищет, пулей вылетит откуда-нибудь из кустов и помчится к сторожке: «Чур, чур, чур!!!» Поэтому он, не доходя до арки, резко повернул назад — и вовремя: из-за склада, где царила тетя Напия, выскочил Олежка и бросился к сторожке. Но старик в этот раз был быстрее, и раньше Олежки коснулся рукой сторожки — «Сгорел!..»

В этой игре он успел и быстрее Вадьки, и даже Наташки — первый случай. И тогда Наташка принялась клянчить, за ней это водилось:

— Да ты до конца не досчитал! — закричала она. — Мы и спрятаться не успели... Давай, води заново! Если по-честному, то ты нас ни в жизнь не найдешь!..

— Найду! — сказал он опрометчиво. — За пять минут!..

И отвернулся к сторожке:

— ...раз, два, три, четыре, пять — я иду искать! Кто не спрятался — я не виноват!..

Но они в этот раз успели спрятаться. Ни в зарослях акации, ни в сиреневых кустах, ни между дверями склада тети Напии никого не было. Старик заглянул в саму сторожку — даже тетя Маруся куда-то пропала. Он, готовый мчаться назад, опасливо заглянул за бумажные газетные рулоны — никого. Глянул в сторону старого линотипа, ржавевшего какой год посреди ти-

пографского двора — за ним как будто тоже никого. Не забыл посмотреть в тамбуре печатного цеха — ни души. Пришлось забираться на чердак, где жестяную темноту прокалывали ослепительные иглы солнечного света, пробивавшиеся через прорехи кровли. Бывало, он находил здесь патронные гильзы, даже обломок казачьей шашки — зданию едва не полтора века, однажды как бы сама собой выползла на свет книжка с «ятями» — «История Урало-Каспийского края» с какими-то схемами и подсчетами — он без сожаления снес ее в ларек для приема макулатуры, где за нее получил отличную расческу — гребешок, хотя никогда не причесывал белесые лохмы на голове. Много чего он находил на этом таинственном чердаке, но в этот раз не нашел ничего, своих друзей тоже.

Он выбрался с чердака, закричал:

— Если вы на улице спрятались — это не считается! Это не счетово! Договор — только в типографском дворе!..

Никто ему не ответил. Тут его осенило — конечно же, они в подвале у Бочаровых, где еще можно так надежно спрятаться, как не в подвале, где живут Бочаровы — тетя Маруся, Юрка и тетя Тамара? Подвал огромный, темный, круглые сутки в нем горит электричество, а если тетя Маруся его выключает, подвал погружается в страшный мрак. Подвал проходит чуть не под всем домом Мизиновых (говорят, там какая-то знаменитая Лика когда-то жила) — иногда и сам старик прятался здесь. Но в этот раз в подвале горел свет, и было пусто и гулко. Старик не решился даже голос здесь подать; и что за Лика жила в этом доме?

Он выбрался из подвала, крикнул:

— Ладно, ваша взяла, выходите!

Ни звука в ответ.

— Вы что, оглохли? — завопил он. — Я так не играю!..

Ни звука.

Тогда он вышел на улицу, она называлась в ту пору Коммунистической. Почему она так называлась — никто не знал, потому, что давным-давно она именовалась Крестовоздвиженской и в самом ее конце стояла большая красивая церковь. Церковь снесли, но от этого на улице не прибавилось коммунизма, но ее все равно назвали Коммунистической.

Рядом с типографским двором был детский сад, иногда ребята прятались в его дворе, но это было против правил. Он заглянул туда скорее для порядка, но никого не обнаружил. Оставался двор тети Лиды Глуховой, он примыкал к детскому саду, но в нем они никогда не прятались, только забирались иногда, чтобы нарвать медовых ранеток или надрать густой

махровой сирени — двор Глуховой был огромен, запущен, в нем жила еще яицкая старина, иногда казалось, что под каждой яблоней, ранетом, акацией притаились водовороты-воронки, попав в которые легко провалиться в прошлое. Они всегда приходили сюда вчетвером, сначала лежали в высоченном бурьяне, дожидаясь, когда тетя Лида — маленькая, сухонькая, подвижная уйдет куда-нибудь или отправиться поспать часочек после обеда. Они смотрели, как она кружится вокруг дома, открывает и закрывает двери многочисленных сараев и сарайчиков, котушков и курятников, и думали иногда: вот сейчас она выведет из этого сарая ступу с помелом. И только убедившись, что Глухова им не помешает, набрасывались они на яблони и ранеты — ох, и вкусны были их плоды!

А тогда он впервые заглянул во двор один.

— Вадька! Наташка! Олежка! — позвал он. Ответом ему было молчание. Только огромный злобный петух повернул в его сторону голову, и старик понял — здесь их нет. Наташка панически боялась этого противного петуха. Старик тоже оттуда убрался. Он вернулся в типографский двор, крикнул негромко:

— Дураки!.. Я с вами больше не вожусь!..

Так и вышло.

— О-а-о-б-е-е-е-да-а-а-а-ть! — позвала его мать, и он, огорченный, отправился есть холодную пшенную кашу с молоком, запеченную в духовке тыкву, пить клюквенный кисель. Почему-то в те времена много было клюквенного — морс, кисель, даже зубная паста, кажется...

— Радуйся, прыгай! — сказала мать. — Все-таки в профкоме мне навстречу пошли, поедешь в лагерь водников — самый лучший пионерлагерь в области! Всего за двадцать процентов полной стоимости! Там питание четырехразовое, как на убой!.. Не тыквенник будешь есть, а котлеты натуральные...

— Я не хочу, чтобы на убой, — сказал он, и хотел добавить, что не нашел еще Вадьку, Олежку и Наташку, вдруг они до сих пор сидят в тайных местах, о которых никто не знает, но промолчал. Разве он мог знать, что они спрятались от него навсегда?

Месяц в лагере пролетел быстро, весело, завелись и новые друзья. А старых он больше не видел. То ли они разъехались в другие города, то ли на соседние улицы, то ли провалились в водовороты под сахарными ранетами. А правда, где они?

— ...Давайте, все-таки на стишки играть? — предложил заскорузлый, боясь щелбанов.

— Ага, — нехотя согласился фиолетовый, горя местью и потирая затылок. — Только пара на пару интереснее играть. Может тот, который наверху, слезет?..

В самом деле, сколько можно дрыхнуть? Двенадцать дней не слезает он с верхней полки, думали, что умер — толкнули, он принялся материться: моп вашу ять, дайте поспать! Странный такой человек, неизвестно откуда появился, неизвестно как зовут, неизвестно куда едет. С самого начала его в купе, как будто, и не было. Однажды старик полез наверх за одеялом — зябко стало — и увидел неизвестного. В серой какой-то одежде, серых валенках — прямо в валенках, груздь этакий, залез на полку — наверное, ночью проводник его подсадил. А, может, они его просто не замечали?.. Несколько раз он слезал сверху — хмурый, всклокоченный, доставал бутыль с самогоном, никому не предлагал, сам выпивал два-три стакана, опять заваливался. Спрашивал только: «Сколько времени?», но ответа не дожидался, начинал храпеть. Да и на кой ему это время? Торопится он что ли куда-то?

— Эй, мужик, хватит спать! — принялся тормошить его фиолетовый. — Составь компанию в карты... Только на стишки играем... Знаешь хоть один стишок?..

— Знаю, — ответил неизвестный, и взял в руки карты. И сразу к нему пришла козырная шестерка. Значит, его ход. Он и зашел с бубнового туза, экий заход! Задумался фиолетовый: бить или брать? Самое начало партии, а неизвестный тузами швыряется, видать, картищи у него небывалые — козырье, короли-дамы. Но побил фиолетовый туза, а у неизвестного сони подбросить нечего, без парных играет... Странно. Или играть не умеет. Это и выяснилось, когда ход под него перешел. Он даже шестерки-семерки стал принимать, тундра! В пять минут в дураках остался, давай, тащи из-за пазухи свой стишок. Хохма, да и только!

Соня посмотрел в окно на желтый дождь, вздохнул и прочитал:

— Эники, Беники ели вареники,

Эники, Беники клец...

И дальше про советского матроса. Нет, никуда не скроешься от этой считалки! Будто в мире вся поэзия кончилась, или не начиналась?

— Не пойдет! — выговорил едва старик. — Считалка не годится, нужен стишок...

Ему представилось вдруг что эта считалка написана про всю его жизнь, так емко и образно, так грустно и одновременно жизнеутверждающе! Прекрасные Эники, чудные Беники угощались варениками, наслаждались покоем... Он знал их, когда-то дружил с ними, клецал в свободное от учебы и работы время, наблюдал, как из кокона поэтических строчек выходит бравый советский матрос — и тоже клецает, а вокруг строгая,

но справедливая действительность, бытие, пронизанное солнечным клецаньем.

— Не пойдет! — твердо повторил он. — Давай другой стишок!..

— Да, пожалуйста! — сказал неизвестный. — Мне не жалко...

И начал читать:

— Шел трамвай десятый номер, на площадке кто-то помер, тянут-тянут мертвеца — ламцадрица...

— Это тоже считалка, кажется, — сказал заскорузлый.

— Да будут вам стихи! — обозлился соня. — Пожалуйста... Куда течет река Ишим, вопрос пока неразрешим...

— И это считалка! — завопил фиолетовый. — Я ее знал еще в раннем детстве!..

— Ну, хорошо, хорошо! — замахал руками неизвестный и принялся читать: «Я красивых таких не видел...только, знаешь, в душе затаю — не в плохой, а хорошей обиде повторяешь ты юность мою. Ты мое васильковое лето, я навеки люблю тебя, как живет теперь наша корова, грусть соломенную теребя?..»

— Вот это другое дело! — сказал старик. — Это, кажется, Юрий Фоменко?..

Соня кивнул головой, может он сам только что сочинил эти строчки.

— Кто сдает карты? — спросил заскорузлый.

Но сдавать пока не пришлось, потому, что поезд остановился. Кто-то закричал в коридоре:

— Конотоп, что ли?

Ему ответили:

— Седьмой аул не хочешь?..

Старик выглянул в окно: желтая равнина, дождь вперемешку со снегом, ветер. Рядом с вагоном натужно выли моторами сразу три буксующих грузовика, в каждом кузове понуро сидело по человеку — в брезентовых плащах с промокшими капюшонами. Старику они почему-то показались странствующими монахами, почему?

— Может, подтолкнем чуток грузовики? — предложил он. — Пусть хоть кто-то выберется отсюда...

— А что, можно, — откликнулся фиолетовый. — Разомнемся немного...

— Я не против, — сказал заскорузлый.

Неизвестный встал, налил всем самогона из своей бездонной бутыли. И они вышли под снег и дождь, в желтое пространство.

Хмурый шофер первой машины не вышел даже из кабины, но от помощи не отказался:

— Толкайте, если силы есть!.. Только вряд ли эту телегу можно сдвинуть с места... Раз-два-три!..

Старик, фиолетовый, заскорузлый и соня навалились плечами на борта машины, мотор завыл еще надсаднее, грузовик задергался, его забила крупная дрожь, но он медленно пополз по желтой жиже.

— Выбрался! — не поверил шофер. — Ну надо же, я уже и надеяться перестал!.. Спасибо, люди добрые!..

— А вы откуда? — спросил старик. — Акцент у вас какой-то нездешний...

— Ваш говор тоже немного странный, — сказал шофер. — Вроде все правильно говорите, а как будто на иностранном языке...

— Мы издалека, — ответил фиолетовый, — да и едем давно... А какой нынче день, пятница или суббота?..

Странно посмотрел на них шофер, крякнул, произнес с сомнением:

— Вы что, не знаете, что пятницы и субботы, как воскресенья, среды и четверги давно отменены? В неделе всего два дня — понедельник и вторник...

— Что-то не слышал я о таком нововведении, — сказал заскорузлый, хотя мне иногда кажется, что вся жизнь — один сплошной вторник...

— Еще в двадцать втором веке отменили, — сказал шофер. — Не все и помнят об этих субботах-воскресеньях...

— В двадцать втором веке? — переспросил старик. — Дела... А сейчас на дворе двадцать первый, ну, плюс — минус два-три года...

— Вот так и думала я, что мы опять в прошлое заехали! — подал голос поссажир кузова и откинул с головы капюшон.

— Боже! — воскликнул старик. В кузове сидела девчонка — та самая Наташка, не найденная пятьдесят лет назад. Сколько же лет ей сейчас должно быть?.. Так, пятьдесят плюс двенадцать, а может ей тогда всего десять было?.. Все равно шестьдесят... Но разве печальная старуха сидит в кузове? Разве утомленная болезнями и несчастьями, потускневшая от потерь и ожиданий женщина смотрит на него?.. Да нет, все та же девчонка-задира с гороховыми бантами. Она ли это?..

— Наташка?.. Ты?.. — спросил он нерешительно.

Она махнула рукой, ах, все равно узнал:

— Я это, я...

— Как же так вышло, почему?..

— Так произошло, — ответила она. — Это случайность... Если бы ты лучше поискал нас, то нашел бы... А тебя тыквенник есть позвали... Годы не очень сытные тогда были...

— Не пойму, — сказал он. — Почему ты не изменилась, ведь столько лет прошло?.. Ты — девочка... а я — старик

— Тебя стариком с детства называли, — вспомнила она и засмеялась. — Ты такой смешной был, лопоухий, вихрастый... Неуклюжий, никогда не мог спрятаться так, чтобы тебя тут же не нашли...

— А странно, что во всех наших тогдашних играх нужно было или самим прятаться, или прятать что-то... Почему?..

— Потому, что в каждой игре очень большая тайна есть, — ответила она, — но это долго объяснять... Некоторые думают, что игра — черновик жизни, тренировка такая... И мало кто думает, что все совсем наоборот...

— Как так? — удивился он. — Жизнь — тренировка к игре?..

— Что-то в этом роде, — уклончиво ответила она.

— Ну, мы едем?— спросил шофер. — Теперь придется такой круг давать!..

— Так откуда и куда вы едете? — спросил старик. — И теперь надолго?..

Он почему-то догадывался, что вряд ли получит все ответы на свои вопросы, да и сами эти вопросы казались ему будничными, даже равнодушными какими-то, скучными, но другие слова не шли ему на ум:

— Это как будто сон... Мы еще когда-нибудь встретимся?..

Она засмеялась звонко и весело, а как еще хохочут двенадцатилетние девчонки?

— Конечно... Через пятьдесят лет назад...

Мотор взревел и грузовк пополз по желтой дороге. Наташка, девчонка-задира, Наталья... Натали..., а как ее звать на самом деле? — бросила ему что-то в упаковке из серебряной фольги. Крикнула и ветер донес обрывки ее слов:

— Это таблетка будущего... выпьешь, окажешься в ...веке... встретимся...

— Что это было?— спросил фиолетовый. Вопросительно смотрели на старика и заскорузлый, и неизвестный.

— Не знаю, — честно признался он. — Может быть грузовик из будущего... Боюсь, что я знаю, откуда вторая машина...

— Откуда? — проявил любознательность соня. Старик промолчал.

Они навалились плечами на кузов второго грузовика, и через минуту тот выполз из скользкой лужи.

Старик крикнул человеку, сидящему в кузове:

— Простите, мы с вами прежде не встречались? Пятьдесят лет назад?..

— С тех пор прошли пятьдесят один год и четыре месяца, — ответил человек, укутанный в плащ, и его подростковый баритон не удивил старика.

— Вадька? Ты? — закричал старик.

Тот откинул капюшон: точно, Вадька. Веснушчатый, долговязый, вечно лыбящийся...

И сейчас он улыбался.

— Думали, что навсегда тут останемся, — сказал он, не поздоровавшись. — Почва как мыло, скользкая, какие здесь моторы нужны!.. Самые мощные, и те не тянут...

Старик с ужасом смотрел на улыбающегося мальчишку, о чем он говорит? Почему не бросается в расспросы: а, помнишь, помнишь, помнишь?.. Почему сам ничего не рассказывает: а, вот в шестьдесят седьмом было, а вот в семидесятом случилось, в семьдесят пятом произошло?..

— Ты меня не узнаешь? — спросил с надеждой — вдруг на самом деле не узнает?

— Да ты не очень изменился, — сказал мальчишка. — Мы все не очень изменились... А куда ты тогда 18 июня пропал? Просто исчез — и никто тебя больше не видел... Торт зажал... А как Наташка убивалась, наверное...

«Вот в чем все дело, — догадался старик, — он всегда ревновал ее, и по сей день ревнует».

— Это я пропал? — удивился старик. — Я искал вас повсюду...

— Со временем ты мог бы жениться на ней, — продолжил Вадька, пропустив мимо слова старика. — Она интересная, и с детства в тебя влюблена.

Старик представил их совместную жизнь; она, наверное, прошла бы вся в кузове буксующей машины. Он хотел закричать «Так вы детьми и остались, откуда эти дурацкие рассуждения?», но не закричал, просто спросил:

— Ты тоже весь в будущем?.. В двадцать четвертом веке или еще дальше?.. Перемещаешься во времени, как вечный турист?..

— Нет, нет! — замахал руками Вадька. — Какое будущее! Будущего нет, его еще выстрадать нужно. Вся жизнь находится в прошлом, горячая, яркая, свершившаяся... Мне, например, нравятся сороковые годы — самый их конец... Жив еще вождь, на весь город три проститутки, ежегодно первого марта снижение цен... Ситец дешевеет, водка недорогая, с хлебом пока трудно, но скоро уже на целину поедем, накормим страну...

— А в каком городе такое происходит? — вставил слово заскорузлый.

— В Уральске происходит, как и во всех городах, — ответил ему Вадька. — А вообще в прошлом везде хорошо, в прошлом

стабильности много, в прошлом я уверен больше, чем в самом себе... Если что, давай к нам!..

И он протянул старику еще одну таблетку — для перемещения в прошлое. Пригодится.

— Какую таблетку в третьей машине дадут? — принялся вслух рассуждать фиолетовый.

— Вообще-то мы сами выбрались из колеи, — сказал шофер третьего грузовика. — Так что, никакой платы вам не полагается... никакого бонуса...

— Нам и не надо, — сказал старик, — мы просто узнать хотели нет ли у вас в кузове мальчишки по имени Олег?

— Есть такой мальчишка, — откликнулся Олег, выбираясь из-под брезентового плаща — седой шестидесятилетний старик — лысоватый, тусклый, в общем, со всем набором «опознавательных» знаков.

— Ты вырос? — растерялся старик. — То есть повзрослел?..

— Не то, чтобы сильно повзрослел, а вот постарел порядочно, — откликнулся Олег. — Ты тоже далеко не первой молодости...

— Точно, — согласился старик. — Хлебнуть пришлось прямо через край...

— И не говори, — подхватил Олег, — то интернациональный долг, то денежная реформа, то зубы выпадают, то развод и алименты, то всенародный референдум...

— А двухсторонняя пневмония, а картофельный недород, — вспомнил старик, — а курсы повышения квалификации... Кстати, куда ты тогда подевался?..

— 18 июня? — переспросил Олег. — Никуда... Ты сам ушел, а я тогда за ржавым линотипом сидел... Ты не заметил меня...

— Как же так, как же так? — сказал старик. — А потом что случилось?

— А ничего, — равнодушно ответил Олег. — Мы учились с тобой в одной школе, в одном классе, одно время даже за одной партой сидели, но ты не замечал меня. Ничего страшного, так часто бывает... Вот я, например, даже не могу вспомнить, как выглядела моя первая жена...

— Неужели? — поразился фиолетовый, внимательно прислушивающийся к разговору.

— А вот случай был, — вспомнил заскорузлый. — Один мужик пошел в аптеку, кажется, за касторкой. Стало ему одиноко, как-то не по себе — и он решил: а не сходить ли мне за касторкой, развеяться? И пошел, купил, потом отправился домой. По дороге, конечно, пивка выпил пару кружечек — с килечкой, догнался соточкой охотничьей настойки, шкалик которой они с друзьями взяли в пивнушке на троих, — и вот он,

порог родного дома. Перешагнул он через этот порог, глянул и тут же от ужаса зажмурился: в его доме на кухне гремит кастрюлями огромная, просто необъятная бабища.

— Нажрался опять? — спросила бабища. — На минуту тебя выпустить нельзя, тут же обговняешься!.. Не зря сказано, что свинья грязи всегда найдет!

— А вы кто? — кое-как выговорил он. — Извините, может, я не туда попал?

— Ах ты, паскуда! — завопила бабища. — Я тебе покажу «не туда попал», я тебе память освежу, гадина!.. Допился, паразит! Жену родную не узнает!..

— Я не женат, я холостой! — сказал он чистую правду, но бабища изо всех своих необъятных сил огрела его веником по голове, потом добавила кулаком — мужик бросился бежать, она за ним следом. И, конечно, догнала, скрутила.

— Двадцать лет живем, двоих детей прижили, а он, видишь ли, не женат! Сволочь!

Несмотря на побои, мужик продолжал твердить, что видит ее в первый раз, всю свою сознательную жизнь был холостяком. Из задних комнат появились дети — две прыщавые девки трудноопределимого возраста, заныли:

— Пап, ты чего, пап?..

— До белой горячки допился ваш папа, — пояснила ситуацию бабища. — От родных дочерей отказывается.

— Нет у меня никаких дочерей, — упорствовал мужик. — И тем более жены нет такой громобойной... Свободен я...

И что вы думаете? Дело до суда дошло. Он как раз отпускные на валяльно-войлочной фабрике получил, нанял адвоката — те за деньги любого холостым признают. Но судья попался несгибаемый, обнаружил-таки документы о бракосочетании, рождении детей. Выходит, мужик двадцать лет с женой жил, но не замечал ее, даже детей родил, а не видел их... По-научному это называется несовместимость-непереносимость-неузнаваемость...

— Вот дела! — сказал старик. — А сейчас ты где?.. В прошлом? Будущем?

— С чего ты взял? Мы все всегда в настоящем... Приезжай как-нибудь в Уральск, легко найдешь меня, если захочешь. А сейчас мне пора... набуксовались здесь, пора ехать...

— Да, пора, — сказал старик и все они долго смотрели вслед медленно ползущим грузовикам. А тут их позвал проводник:

— Поезд отправляется! Провожающие, покиньте вагон!

«Какие провожающие на безымянном полустанке?» — подумал старик. Но скоро обнаружилось, что пропал соня, и вместе с ним его бутыль самогона.

— Так он и был провожающим? — спросил фиолетовый. — Жалко, что самогон с собой прихватил, скряга.

Желтая бесконечность окутала поезд.

— Может, продолжим в картишки? — некоторое время спустя предложил заскорузлый. — Развлечемся малеха?..

— Можно таблетки разыграть, — вспомнил старик. — Получится, на интерес играем — кому в будущее, кому в прошлое отправляться, а кому оставаться здесь...

— Тоже мне, жребий — оставаться здесь, — сказал фиолетовый. — Мы и без игры здесь останемся... Я лучше бы в будущее двинул... Представляешь, там полный коммунизм — все бесплатно, всего навалом, девки голые ходят.

— Ну, а я бы в прошлое дернул, — мечтательно протянул заскорузлый. — Например, на поле Куликово... Только с пулеметом крупнокалиберным... Меня бы тогда Донским назвали, слава какая, а? Или прошмыгнул бы в семидесятый год, на чемпионат мира по футболу... Победителя-то там пока никто не знает, только догадываются, а я бы верные ставки делал... нарубил бы валюты!

— А ты куда хочешь? — спросил заскорузлый старика.

— Домой, — ответил тот.

— Ага, понятно, — сказал заскорузлый, хотя ровно ничего ему не было понятно.

Сдали карты, на кон поставили таблетку в будущее. Фиолетовому привалило козырей — полные руки. Заскорузлому поперла парная карта. Старику насыпало мелочи — семерки, восьмерки — пики, трефы — одна чернота. Ходить выпало под него, и он сразу принял, карты еле в руках помещались, рассыпались по столику. На втором круге он снова принял, но приглядеся — карты ровнее пошли, стали соединяться в пары, образовывать марьяжи; он быстро сбросил мелочь, отбился на третьем круге, взял из колоды две карты — туз и король — козырные. Фиолетовый волновался, растратил козырей, отбиваясь от мелочи, а к концу игры пришли к нему невыразительные девятки, бесполезные против дам и королей валеты. Он решил схитрить, зашел с козырей, но номер не удался, козырной туз сделал свое дело.

— Дураком ты остался! — сказал фиолетовому заскорузлый. — Теперь мы со стариком таблетку эту разыграем...

И он сдал карты. Старик, едва взглянув в них, понял, что его дело — табак. С такими картами играть было можно, выиграть — никогда. Восьмерки, семерки, дама и валет разной масти, ни одного козыря.

— Может, без розыгрыша заберешь таблетку? — спросил он у заскорузлого. — Чего время тянуть?..

— Нет, мне подачки не нужны, я в честном бою выиграю! — ответил тот.

— Ну, давай в честном бою, — согласился старик, и заскорузлый зашел с козырной шестерки. Бить ее старику было нечем. Потом он принял двух дам, потом трех королей — и откуда столько коронованных особ в этих желтых пустынных краях? Следующий ход он сумел отбить, но самому ходить было нечем, он сбросил две восьмерки — и это было все, что ему удалось. Заскорузлый задавил его — сначала четырьмя десятками, потом четырьмя дамами... И в конце — четыре шестерки — позорные погоны.

— Значит, мне отправляться в будущее! — захохотал он. — Не удивлюсь, если это окажется таблетка слабительного.

Он взял таблетку, освободил ее от серебряной обертки, покрутил перед глазами и бросил в рот. И тут же исчез.

— Подействовало! — закричал фиолетовый. — Признаться, я думал, что эти таблетки какой-то розыгрыш, прикол, а выходит — все правда?..

— Остается разыграть вторую таблетку, — сказал старик и взял колоду, и почему-то он знал, что сейчас выиграет. Так и случилось, карты пришли ему небывалые — одни козыри, как будто где-то прорвало карточную удачу. Пять минут — и он получил таблетку.

— Запить есть чем? — спросил он у фиолетового. Тот, огорченный проигрышем, мотнул головой: «Нет. Глотай всухую». Старик осторожно проглотил довольно большую таблетку, чуть сладковатую на вкус. Хотел сказать, что ничего, бывает и горше лекарство, но внезапно померкла необъятная желтизна, в которой пробирался какой уж год этот поезд, как будто кто-то выкрутил старую лампочку в подъезде, и стало темно и страшно, но всего на секунду. Вспыхнул солнечный свет и восемнадцатое июня разлилось над землей, и старик оказался у стены типографской сторожки:

— Эники, Беники... Кто не спрятался — я не виноват!

Не был ни в чем виноват он в этот золотой летний день, поэтому повернулся и пошел искать своих верных друзей. Он помнил, что за ржавым линотипом, кривившимся у кучи с углем, должен прятаться Олежка.

— Олег! — закричал он. — Выходи!.. Знаю, где ты!..

— Меня не так зовут, по-другому! — хмуро сказал фиолетовый, выглянув из-за старой наборной машины.

— Ты? — закричал старик. — Ты ведь в настоящем остался. Как ты сюда попал, как? Неужели с этими таблетками все-таки обман?

— Не знаю, — сказал фиолетовый. — Поезд остановился на станции, я и вышел. Пошел по улице, и вот дошел сюда, смотрю на старинные дома... Говорят, что в том доме жила Лика Мизинова...

— Кто такая? — спросил старик, но фиолетовый только пожал плечами. — Кто знает, может, артистка?..

— Не артистка она, — сказал заскорузлый, выходя из сторожки и на всякий случай прикоснувшись к деревянной ее стене — «Чур меня!»

— Так ты ведь в будущее отправился? — устал удивляться старик. — А я в прошлое, как мы могли встретиться?

— А что здесь удивительного? — сказал заскорузлый. — Вон две газеты валяются, посмотрим число... Он поднял одну:

— Так, восемнадцатое июня две тысячи триста пятьдесят третий год...

— А на моих часах — нынешний год! — сказал фиолетовый. — Я же в настоящем остался...

Старик поднял вторую газету, так и есть — восемнадцатое июня тысяча девятьсот сорок седьмого года — незамутненное прошлое.

Он потер лоб и сказал тихо:

— Выходит, двор этот существует и в прошлом, и настоящем, и будущем?.. Вечный такой двор?.. И в нем может найтись все, что было когда-то не найдено...

— Вообще-то, так не бывает, — сказал с сомнением фиолетовый.

— Это обман зрения, — поддержал его заскорузлый. — По-научному — галлюцинация... Опасная, доложу вам, штука. Вот случай был, друг один мой, кореш хороший пошел премию получать. Было время, когда работяги премии получали — не только на бутылку. Приходит в кассу, а ему говорят: вы с мешком пришли или на грузовике? Потому что причитающуюся сумму, причем в американской всемирной валюте, один человек может унести с большим трудом, так огромна эта сумма. Друг, конечно, вернулся домой за мешком, такси нанял. Говорит жене: Нюся, дескать, давай самый здоровенный мешок — премию туда буду складывать. Нюся отвечает вежливо: вам что, премию картошкой выдавать будут? Или свеклой? А он: дура несусветная, долларами нынче будем получать, причем буквально мешками. Хватит, настрадались последнее копье считать. Теперь заживем как все люди — гейтсы или морганы, каждый день будем сосиски свиные жрать. А Нюся не сдается: какую такую премию тебе дадут, если у тебя прогул на прогуле, запой на запое?..

— Галлюцинация это! — сказала она. И оказалась права: не только долларов в итоге не дали, а чуть с работы не поперли...

— Так и с этим прошлым-будущим-настоящим может получиться, — продолжил заскорузлый, — все это того и гляди обернется обманом. Иллюзионом...

— Иллюзией! — поправил его фиолетовый. — Нет и не бывает ни прошлого, ни будущего, никакие таблетки не могут перенести туда; настоящее — и то под сомением... Верь нам!..

И он поверил. Может, и на самом деле время — обманная придумка, и часы ничего не отсчитывают? Нечего им отсчитывать? В какую сторону не шагни — окажешься у этой деревянной сторожки, в типографском дворе, рядом с кинотеатром КРаМ... Календари наврут про годы, десятилетия, миллениумы, а приглядись — на дворе все тот же день 18 июня...

— Скоро наш поезд отходит, — сказал заскорузлый. — Точно...

И они отправились на вокзал.

— Только не оборачивайся! — сказал фиолетовый. Но он оглянулся. И увидел, что у подвала дома неизвестной Лики Мизиновой стоит Наташка, девчонка-задира с гороховыми бантами, и машет ему рукой.

19.07.2008, дача под Бобруйском

БУТЫЛОЧКА

Сидели как-то, крутили бутылочку, целовались с теми, на кого показывало узкое зеленое горлышко. Семен целовал Нинку. Потом Нинка Семена. Потом Нинка Федора. После Федора ей достался Михаил, а потом опять Федор. Елене все время выпадал Колька — Николай Петрович. Катька всего обмусолила Витьку Иванова. А мужик с фиолетовым лицом, наверное, от самогона свекольного, сидел один-одинешенек, на него горлышко ни разу не показало. Он курил какие-то удивительно вонючие папиросы, и где он их только брал, разве папиросы теперь выпускают? Может, только специально для анашистов, чтобы им удобнее было забивать косяки? Фиолетового все подначивали, спрашивали, куда он подевал своих друзей — заскорузлого, с лицом, как старая пятка, и мужика без всяких примет? Да, были у него такие приятели закадычные, но откуда он мог знать, куда они теперь запропастились, может, их волной смыло?..

Когда бутылочка показывала, что мужику выпало целовать мужика, то мужики с мужиками не целовались — не хватало

только такого гадства в кампании, а если женщине выпадало целовать другую женщину, то мужики ревели: «Давай, давай, в губы давай!..» — и бабы, хмельно улыбаясь, целовались, и если мужикам казалось, что они делали это только для того, чтобы мужики отвязались, то те орали еще громче «Давай, давай!!!» — и бабы давали...

А началось с премиальных. С них, точно. Были бы деньги приличные, ну хоть бы по паре тысяч на брата дали, так, может, домой бы их потащили, ну распили бы бутылку-другую и домой поволокли оставшееся, а эти как будто специально на пропой дали. Точно — на разбулдыженье. Чтобы поскорее бабки в кассу вернулись, такая, наверное, задумка у начальства была.

Вышли из кассы, посмотрели друг на друга: ну что, к Марусе? Куда же еще? Маруся — это, в общем-то, кабачок такой в укромном местечке. В нем бандерша одна банковала — закваски старой, надежной, — вот ее и звали Марусей, а по ее имени и все заведение. Хотя фиолетовый говорил, что Марусю звать вовсе и не Марусей, а как будто Лариской — Ларисой Федоровной, хотя в отчестве он был не очень уверен.

С ними были и жены, и пара баб, конторских, кажется. Да точняк, конторские, их развести проще. Поначалу закатывали глаза, хохотали, отбивались: только по ресторанам не ходили, чай, не пропойцы, не летучего поведения. То есть не легкого, в общем, не разберешься без выпивона. Потом бабы козюлиться бросили: ну если по рюмочке, если на часок, если под хорошую закуску!.. Если мужичье, напившись, не станет руки распускать, если...

«Если бы да кабы!» — захохотали мужики и стали ловить такси. В одну машину не поместились, да и в две набились выше крыши. Женщины мужикам на коленки залезли, кто-то, кажется, Нинка, закричала:

— Это коленки у вас торчат, или чего другое? Если коленки, то уж больно костлявые, а если другое, то впечатляет... Точно, женщины?

Те в ответ завизжали.

У Маруси сначала заказали водки, а бабам красного взяли, ликер называется. Попробовали это красное, так чуть жопы не склеились — сладкое, приторное, тягучее. Поэтому и бабы перешли на водку, и дело пошло веселее. Сначала тосты говорили: за премию, за здоровье, за родину, за милых дам стоя, за то, чтобы не в последний раз... Выпили даже за тех, кто в море, наверное за пропавших заскорузлого и мужика без примет; с ними в кампании всегда весело, заводилы они. Потом заказали

коньяк и пили без тостов, сосредоточенно, очень современно. Вспомнили про оркестр, потребовали «Журавли»: «Здесь под небом чужим я как гость нежеланный... из какого же вы неприветного края прилетели сюда на ночлег, журавли?..»

— Эту песню пел Лещенко, только другой Лещенко, — объяснял фиолетовый Нинке, но она воротила от него морду — не нравился он ей. Тем более она уже нацеловалась вволю с Семеном — при живом-то муже.

— Лещенко, он и есть Лещенко, — отвечала она фиолетовому. Дескать, чего пристал? И неизвестно чем бы все кончилось, но с грохотом распахнулись двери и объявились пропащие — тот, у которого фейс заскорузлый, как пятка, и мужик без всяких примет. Без них ни одна пьянка не проходит, они выпивку чуют за сто верст, прямо-таки рудознатцы. Иногда сам с утра не знаешь, где пить будешь, кто будет расплачиваться, и одним вечером обойдешься или в запой недели на две уйдешь, а они — заскорузлый и без примет — уже все просчитали с упреждением, с поправкой на вращение Земли и скорость ветра — и нарисуются не позже, чем после второй рюмки, и выпьют, сожрут на тысячу, а у самих в кармане и целкового никогда не водилось. Но без них в кампании скучно, или драка обязательно, или кто-то к чужой бабе под подол нырнет; а это опять же драка...

— Что ж вы не танцуете, киснете? — спросил который без примет, опрокинув пару стаканчиков. — Выпивки, как воды в Байкале, оркестр старается изо всех сил, прекрасные дамы с пылающими очами ждут только приглашения, а вас как будто гвоздями к стульям прибили...

Конечно, не все были прибиты гвоздями, например, Витька Иванов сидел вплотную к Катьке, и рук его не было видно под скатертью. Раскрасневшаяся Катька изо всех сил хмурила брови, чтобы ее муж, сидевший напротив Витьки, ничего такого не подумал. Он и не думал, пытаясь пальцем подманить к себе кильку, маринованную в собственном соку, плавающую в здоровущей железной банке, похожей на сковороду. Вольная килька даже не смотрела на него.

Вообще, наверное, каждый замечал, что после седьмой рюмки начинают происходить странные метаморфозы. После шестой мир, безусловно, наполняется новыми красками, но, в общем-то, остается неизменным — и свекольная морда фиолетового остается свекольной, и размазанная по подбородку и щекам Нинки губная помада — все та же китайская помада, и захочешь запомнить мужика без всяких примет — ни за что не запомнишь. А после седьмой все по-другому. Даже неодушевленные животные — килька, селедка, а особенно холодец, как жирный мозг гулянки, начинают показывать характер. Килька плещется и косым плавником режет пространство залива Маринад (есть в ней что-то акулье, хищное, вечное), норовит забрызгать рассолом тонкую мадеполамовую манишку; селедке вообще палец в рот не клади — столько в ней агрессии, холодной злобы на весь мир, что страшно делается за этот мир, попади он в соленые селедочные лапы (которые с лапами — самые хищные); вдруг, припоминается мужик без всяких примет — так ведь он норовил вчера занять у тебя сотню — хитер, собака, как потом узнать с кого требовать долг?..

После седьмой перестают жечь комары, до этого жравшие человечество поедом, выкатывается незапланированное полнолуние, начинают плескаться волны далекого океана — прямо за сортиром, да что там — в сортире. Вечный салат «оливье» начинает распадаться на атомы — колбасные, майонезные, яичные — и атомы эти норовят составить критическую массу. Если не сблюешь — можно смело браться за восьмую. Если сблюешь — тоже мимо рта не пронесешь.

Седьмая рюмка — пограничная, после нее хоть потоп, хоть встреча Нового года в июне — по-индейски или по-туркски? Хоть глобальное потепление!..

Ближе к двенадцати в кабаке орать стали, что, дескать, закрываются, завтра у них санитарный день или еще чего-то, в общем, вываливаться надо. Да уж сами собирались, только думали, куда закатиться. Не по домам же расходиться в самом разгаре чувств и побуждений?

Заскорузлый вспомнил, что у него жена на деревню подалась — за картошкой, что ли? — и дом, значит, свободен. Только закуси никакой. Все захохотали — тоже причина! Взяли селедку, ту, которая с лапами, курицу холодную, но жареную, взяли халвы и быстрорастворимый суп, хотя кто на пьянке суп ест, это каким жлобом надо быть, чтобы жрать суп? — и покатились к заскорузлому. А он жил в каком-то загородном поселке, у нечистого на куличках... По пути двоих или троих потеряли, оно и понятно — ночь, темнота, дождь — не каждый дорогу перед собой ясно видит. Утром они нашлись, правда, в разных вытрезвителях, но живые.

А все не потерявшиеся люди доехали до дома, где обитал заскорузлый, человек душевно щедрый, да еще заводной — перепить его трудно, ох как трудно. Но кое-кому удавалось. Тому же фиолетовому, но в ранней молодости.

Дом у заскорузлого был просторный, гулкий, он должен был уйти под снос еще до миллениума, но то ли строители за-

пили, то ли бумажки еще не все выправлены на снос, но дом устоял, почти без стекол, без лишних дверей, но крыша была надежная, жестяная, еще при Советском Союзе делали крышу. Мужик без примет рассказал, что среди людей, обитающих на крышах, дом заскорузлого ценится. Чердачные люди тоже не брезговали здесь селиться.

— Мировой у меня дом! — подтвердил заскорузлый. — И жена моя, Наталья Николаевна, которая сейчас в деревне, тоже так считает, а она толк в капитальных строениях знает...

— Не пора ли освежиться? — предложил фиолетовый, едва зашли в дом. И в самом деле, за время переезда из ресторана градус возбуждения порядком спал. Открыли водку, дружно выпили. Вот тогда и пришла кому-то в голову идея крутить бутылочку. Народную эту игру, оказалось, любят все, хоть, признались некоторые, не часто приходится предаваться этой самобытной забаве. Недосуг, как говорится. Да и условия не всегда подходящие. На совещании в каком-нибудь холдинге не станешь крутить бутылку, хотя именно там очень хочется. Девушек у них нарядных всегда много.

Уселись в круг, кто на стульях, а кто и прямо на полу разместился. Стали перечислять условия: первое — целоваться по-настоящему, по-взрослому, не ломаться; второе — мужьям не устраивать сцен; третье — женам не вредничать, иначе не интересно.

Все дружно согласились. Первой крутила Нинка и тут же горлышко указало на Семена. Все загоготали, потому, что все, само собой, кроме ее мужа, знали об отношениях Нинки и Семена. Но муж тоже орал, хотя ничего не знал, или делал вид, что не знает. Нинка впилась в губы Семена, прямо-таки расплющила их, как соленый помидор.

И пошло-поехало. Нинка со всеми интересными мужчинами перецеловалась. Только фиолетового счастье обходило стороной. Она и Федора целовала, и Михаила, а на фиолетового бутылка, как заколдованная, не показывала. Может, мухлеж был какой? Скорее всего. Без мухлежа не обошлось. Катька прямо висела на Витьке Иванове, Ленка облизывала Кольку — Николая Петровича. Между прочим, Колька был замом, но свойским мужиком, хотя тоже пришел с женой.

Раза два Ленке выпадало целоваться с Катькой и разок с Лизкой из коммерческого отдела. С Катькой как-то кисловато получилось, а вот с Лизкой зацепило. С ней похожее однажды уже было — в поезде, в купе на двоих, одна гражданочка так нежно ее за руку держала, такие слова выговаривала ласковые, что так загорелась Ленка, что еле до дома дождалась, чуть не с

порога кинулась на мужа. И вот опять запылала душа, подогретая ликером и водкой. Ленка встала и вышла в длиннющий коридор почти заброшенного дома, оглянулась через плечо, пошла ли за ней Лизка? Пошла, ах, сучка!.. А надо сказать, что к тому времени кое-кто стал пропадать на время, благо, комнат пустых достаточно.

Ленка свернула в какую-то дверь, там, на полу, уже кто-то пыхтел, стонал и растопыривал во все стороны матово белеющие щупальца, норовил притянуть к себе. Она едва не наступила на это чудовище, но успела податься назад, предупредить Лизку, что этот номер занят. Лизка понимающе хмыкнула, шепнула:

— Я бутылку захватила, глотнем?

— Конечно!..— тихо засмеялась Ленка.

Нашли, наконец, незанятую комнатку, даже с диваном. Диван, конечно, провалившийся, как челюсть ветерана первой мировой, но лучше, чем ничего. Лизка достала бутылку, выпила сама, протянула Ленке, спросила с заметной дрожью в голосе:

— У тебя с бабой когда-нибудь было?..

Ленка подумала чуток, почти не соврала:

— Ага, один раз случилось... В поезде...

— А у меня не было, расскажи, а?..

— А почему за мной пошла?..

— Захотелось... Ты так поцеловала... На меня иногда накатывает такое — хочу, вот как в кино бабы друг друга ласкают, — красиво, нежно, аж дух захватывает! Наши-то мужики какие — дохнет перегарищем, залезет между ног, как слон, того гляди все раздавит... Расскажи, как в поезде было...

— Из Сочи я ехала, — начала Ленка, решив почти не врать. Хоть и не из Сочи, а из Кустаная, но ведь ехала...

— С билетами, как всегда напряг, вся страна с места на место переезжает. Когда, например, нога болит, то никак не уляжешься, не усядешься — места не найдешь такого, чтобы не больно было — и ворочаешься, и не спишь, так и в паровозно-самолетном движении у нас что-то больное есть... Пришлось, значит, мягкий купейный брать, двухместный. Дорогущий! И попалась попутчица — дамочка лет тридцати пяти, холеная, даже в туалет на высоких каблуках ходила, и звать мудрено — Фелиция. Может, на самом деле Фекла какая-нибудь, но по мне хоть гнидой называйся — лишь бы женщина человеческая была. А эта, видать, из таких, человеческих. Конечно, познакомились, коньячок по одной, по третьей, по пятой... Подсела она ко мне и говорит: «Вы знаете, как определя-

ется степень ласковости женских рук?» А я, конечно, никогда и не слышала про эти степени, так ей и сказала.

— Как же так! — она чуть не подпрыгнула. — Вот так и живем, с нерастраченной нежностью, женщины! Даже не знаем, способны ли на нее!.. Мужчин своих в черствости обвиняем, а разве не от нас нежность должна исходить, как сияние, как нимб!.. Так и сказала... А потом руку мою попросила, взяла ее в свои ладошки теплые, стала легонечко так поглаживать ее, пробегать пальчиками, разминать, а сама время от времени спрашивает: «Чувствуешь что-нибудь, ощущаешь теплоту?» Поначалу никакой теплоты я не чувствовала, было только щекотно, я даже пыталась вырвать руку — с детства боюсь щекотки, а потом она взяла и поцеловала мою руку, не так, как целуют наши мужики на день рождения — сухими обветренными губами прикоснутся к коже, как наждаком провели, а так поцеловала, как будто свежей розой к ладони прикоснулась... Меня аж затрясло — так это было приятно, неожиданно... словами, в общем, не передать... И тогда она сказала, что степень ласковости у меня высокая, если даже на женщину реагирую...

«А вот отсюда начну уже врать», — подумала Ленка и стала рассказывать, как стали они с соседкой по купе целоваться-миловаться, — и так до самой конечной станции. До Сочи.

— Так ты говорила, что вы из Сочи ехали, — не к месту напомнила Лизка.

— Конечно, из Сочи, на чувство было такое — как будто в Сочи приехали опять, — нашлась Ленка.

— Класс! — восхитилась Лизка. — А можешь показать, как она определяла ласковость?

— Давай глотнем еще, и тогда покажу...

Они глотнули, и Лизка протянула Ленке руку...

А игра в бутылочку все продолжалась, даже усилилась, потому что дело шло не то к полуночи, не то к утру, — и выпито было много, и жаркие поцелуи над зеленоглазой бутылочкой давно сожгли остатки благоразумия. Катька уже сидела на коленях у Витьки Иванова, Семен не отлипал от Нинки, все остальные — тоже почти вповалку, и в какую бы сторону ни показывало горлышко, целовались все. Кроме фиолетового.

Когда бутылка в очередной раз показала на Нинку, она радостно закричала:

— Есть предложение выключать свет на время поцелуя!.. Чтобы кавалеры не смущались... На жен своих не оглядывались!..

— Не очень-то они и оглядываются, — пробурчал кто-то. — Кобели они и есть кобели...

Но все-таки свет решили выключать. На пять минут. Щелкнул выключатель, и темнота скрыла все — и немногие оставшиеся полные бутылки, и грустную батарею пустых, и ту, которая так точно находила тех, с кем не противно целоваться.

Прошло пять минут, свет не включили. Через полчаса было тоже темно. Фиолетовый, когда глаза немного привыкли к темноте и стали различимы образовавшиеся в комнате пары — кряхтящие, постанывающие, чмокающие — осторожно ступая, вышел из комнаты. Оказался не то в кухоньке, не то в бытовке — с закопченным потолком, оборванными обоями, окошком, залепленным желтыми газетами. На подоконнике валялась растрепанная книжка. «Остров» — прочитал на обложке; где-то он слышал о ней, но не читал, точно не читал. Но где и когда слышал о ней?.. Фиолетовый открыл книжку наугад: «...Куда отправилась парализованная девочка в кресле-каталке?.. Да и возможно ли это вообще?.. Погибнет, пропадет, растворится без следа на огромной равнодушной земле?

... Моторчик жужжал, и коляска катилась по тротуарам, переезжала через асфальтовые полотна дорог, регулировщики движения отдавали Лизавете честь, постовые тоже козыряли, вежливо помогали преодолевать подъемы, встречные женщины грустно улыбались, а одна старушка положила на колени девочке сдобную булку, как будто знала, что путешественнице дорога предстоит нелегкая и неблизкая... И никто не спросил: далеко ли ты, милая? Так много забот несем мы в себе, так много переживаем боли, так устало смотрят наши глаза на мир, что нам нелегко, а, может быть, и невозможно уловить, утишить боль чужую...

Хватилась бабушка внучки, да поздно. Где ее искать?.. Приехали сыщики, перевернули весь дом вверх тормашками, нашли письмо Лизаветы, долго рассматривали его в увеличительное стекло, подробно допрашивали бабушку, льющую слезы, и затем бросились в погоню на рычащих автомобилях с мигающими огнями, и быстро скрылись из глаз. Но разве известна им дорога, по которой может отправиться девочка, уставшая от одиночества и неподвижности?.. Заповедная земля, где ты?..»

Фиолетовый отложил книжку, вспомнил: кажется, Иванов ему когда-то рассказывал об этой истории, уместившейся в книжку. Там девочка-инвалид находит дорогу к Беловодскому царству, к той самой Шамбале. Чистая фантастика. Но Иванов уверял, что основано все на реальных фактах, будто бы на самом деле существует это царство, и дорога к нему известна девочке Лизавете. Хотя как этому верить, Иванов трезвым-то не бывает.

В окно кто-то постучал. Фиолетовый удивился, квартира была, кажется, на третьем этаже. Он осторожно открыл фор-

точку: на толстенной ветке дерева висел, как орангутанг, и раскачивался, как орангутанг, заскорузлый. Хозяин квартиры.

— Ты чего там, на ветке делаешь? — спросил фиолетовый. — Да еще под дождем?

А как раз под утро пошел дождь. Дожди случаются под утро. Но неприятно, если ты в это время висишь на дереве, как орангутанг.

— Открой окно, чудак на букву «м»! — закричал заскорузлый. — Я щас грохнусь, как орангутанг!..

— Ха-ха-ха!.. — посмеялся точному сравнению фиолетовый, и открыл окно. Заскорузлый, кряхтя и чертыхаясь, влез в комнату, встряхнулся, под ногами у него сразу образовалась лужа дождевой воды.

— Чуть не угробился! — сказал он. — А уж промок, как аллигатор!..

Оказалось, что из деревни вернулась его жена — Наталья Николаевна. Вернулась, как водится, в неурочное время, когда заскорузлый в соседней комнате тискал Верку — учетчицу из техотдела. Ну да, ее Веркой зовут. Или все-таки Варькой? Да, да, точно! А жена Наталья Николаевна очень не любила, когда заскорузлый уделял внимание посторонним женщинам — если дарил им цветы или духи, или чулки какие-нибудь капроновые или даже нейлоновые. Хотя Верка, вполне возможно, и не была совершенно посторонней, все-таки на одном комбинате с заскорузлым работает. В общем, он запер дверь на крючок и сиганул в окно — на близкое дерево, да не очень рассчитал, чуть не расшибся на фиг. А Наталья Николаевна до сих пор бьется у закрытой двери. Нужно теперь как-то показаться ей, убедить ее в том, что она ошиблась — не он, заскорузлый, был там с Веркой. Или Варькой. Освещение очень слабое и ей, конечно же, померещилось.

Они выглянули в коридор. Действительно, жена заскорузлого стояла у соседней двери, и устало повторяла:

— Открывай, козлина противная! Лучше открывай! Хуже будет! И тебе яйца оторву, и сучке твоей глаза выцарапаю! Козлина, вот козлина!..

При этом несчастная женщина пинала дверь, после каждого удара через дверь раздавалось трусливое повизгивание Верки. Или Варьки.

— Ой-ой! Кто это? Ой-й-й-й-й-й...

Наталья Николаевна охотнее колотила бы руками, но руки у нее были заняты сетками, сумками и авоськами, в которых были сельские дары, и они были ей очень дороги, выпустить их из рук она не могла:

— Открывай!..

— Наташа! Ты уже приехала? — несмело позвал ее заскорузлый. — А чего в чужую дверь ломишься?..

Наталья Николаевна на секунду опешила, но только на секунду.

— Не имей меня за дуру! — закричала она. — Посмотри на себя, мокрый, как цуцик! На улице был? Был?..

— Конечно, за бутылкой бегал! — заскорузлый славился своей находчивостью. — Не думал, что ты так рано вернешься, а тут друзья нагрянули, не выгонять их под дождь!..

— Знаю я вас! — немного сбавила обороты Наталья Николаевна. И перестала колотить ногой в дверь. — Брехуны, пропойцы, бабники!.. А эта чего там закрылась? С кем?..

— Ната, зайди сюда, и я все объясню, — заскорузлый увлек ее из коридора. — Верка там с Николаем Петровичем — Колькой. С нашим замом... Поняла?..

— Неужели на эту тощую позарился? — удивилась Наталья Николаевна и, наконец, рассталась с сумками, свалив их на кухонный столик. Заскорузлый вздохнул: кажется, пронесло...

В это время зашел фиолетовый с неизменной вонючей папироской в углу нецелованного рта.

— А бухалово-то кончилось, — сказал он. — Конец веселью... А ведь еще не поздно...

— Конечно, — криво усмехнулась Наталья Николаевна. — Полтретьего... Ранний вечер...

Она повернулась к заскорузлому, свела сурово брови:

— Ты сказал, что в магазин сейчас бегал, так, где же выпивка?..

Тот в карман за словом не лез:

— Закрыт магазин... На учет...

— Вот и замечательно! — сказала мстительно Наталья Николаевна, как будто была президентом районного общества трезвости. — А ларек здесь откроется только в восемь!..

Новость мгновенно распространилась по дому. Уныние заполнило пространство под протекающей крышей.

— Неужели ничего нельзя достать? — подал бесцветный голос мужик без примет. — Сейчас не коммунистическое время, свобода... Хочу пью, не хочу — пью... Круглосуточный режим...

— Режим-то круглосуточный, это точно, — встряла Нинка с распухшими обсосанными губами. — Но в этом пригороде до рассвета ничего не найдешь, кроме приключений на свою жопу...

И тогда Наталья Николаевна вспомнила:

— Есть у нас заветный фаустпатрон, четыре года своей очереди дожидается... Да не простая бормотуха в нем, совсем не простая... Сегодня, кажется, самое время ему...

— Что еще за патрон такой? Интересно!.. Расскажите, пожалуйста!.. — на всякий случай интеллигентно поинтересовалась осторожно нарисовавшаяся в комнате Верка. Или Варька.

Наталья Николаевна выразила свое отношение к ней пронзительным взглядом. Дескать, сучка ты — и ничего больше, и все твои проделки известны, и никого ты не введешь в заблуждение своими вежливыми словечками. Но не удержалась, принялась рассказывать, уж больно интересный случай.

— Был у меня друг... чудила, — начала она, — мы вместе учились в школе, потом в университете, потом в аспирантуре, в один год сдавали кандидатский минимум, защищали кандидатские диссеры, работали над докторскими...

Нинка оглядела жену заскорузлого — синее потрепанное пальто, не знавшее утюга, потерявшие цвет мужские башмаки на толстой подошве, шерстяная вязаная шапочка — нет, не очень похожа на кандидата наук.

— Был человек как человек — ходил в пивную, занимал пятерку до получки, оглядывался на улице на хорошенькую попку...

— А тема его диссертации случайно не затрагивала проблем восстановления осетрового стада в Урало-Каспийском бассейне? — встрепенулся Колька. Николай Петрович. Зам.

— У него другая тема была, — сухо ответила Наталья Николаевна и продолжила: — Но однажды человек слетел, что называется, с катушек!.. Сказал: «Все, завязываю с этой растительной жизнью, в которой главное место занимает жратва, выпивка и бабы...»

— А бутылочка? — спросил кто-то.

— Что, бутылочка? — строго переспросила Наталья Николаевна.

— Игра в бутылочку занимает какое-то место в этой растительной жизни? — оказывается, это интересовалась Нинка. Вот блядища!..

— Помешались вы на своей бутылочке! — рассердилась Наталья Николаевна. — Так рассказывать дальше, или вам не интересно?

— Интересно! — заорал фиолетовый, выпуская изо рта клуб вонючего папиросного дыма. На самом деле, где он берет эти папиросы, их уже во времена фараонов бросили выпускать, отраву? — Еще как интересно!..

— ...В общем, чудила этот решил начать новую жизнь, — повела рассказ Наталья Николаевна. — Не будем сегодня говорить о причине такого непростого решения, наш мир пока несовершенен и в нем много необъясненного — и хорошо, что

это так!.. За жизнь всякого насмотришься: и женятся бесконечно люди, и идут добровольно на Северный полюс, и в монахи уходят... А некоторые, вдруг, ни с того ни с сего начинают верить правительству... Друг мой для начала решил покончить с выпивкой, а потом уж податься... Ну, куда у нас все подаются всем известно — на поиски Беловодья... И чего они все его ищут, это царство, непонятно. Но ищут и ищут, и не перестают искать, как будто там медом намазано. Как будто там лучше, чем в детстве?.. Уж как я его отговаривала, говорила: «Вань, над нами тысячи спутников вращаются, следят за Землей в свои объективы и днем и ночью, такое у них первоклассное шпионское оборудование, но и они не нашли Беловодья», — но не сумела отговорить.

— Может, это вовсе не царство — в нашем понимании..., — сказал чудила. — Ведь мы государство как понимаем? Депутаты-делегаты, полиция-амуниция, штыки-пулеметы-газеты, кремль с усиленной охраной, переговоры по разоружению, угроза продовольственной безопасности, всенародные выборы, глобальное потепление... Ну, еще олигархи, скандалы, телевидение... А там ничего этого нет...

— Как же без телевидения? — удивилась я. — Без депутатов?..

— Наверное, там даже границ никаких нет, — добил он меня. — Поэтому и обнаружить нелегко. Были бы границы, уже присосались бы к ним жирные таможни, бдительные проверяльщики паспортов, искоренители шпионов и беглецов...

В общем, собрал нехитрые пожитки — рубаху с коротким рукавом и рубаху с длинным рукавом, штаны летние и штаны на случай зимы, фотоаппарат «Любитель-2» для придания объективности научным исследованиям, тщательно зашнуровал верные кеды, присел вот на эту табуретку — на дорожку.

— Не поминайте лихом! — сказал и протянул мне фаустпатрон — здоровенную бутылку — 08 литра. Белый вермут. Помните, на этикетке две танцовщицы напечатаны? Наши так и говорили: «Возьмем плясуний для радости. Чем больше плясуний, тем больше радости». После этого вермута все кишки слипались, ну чисто канцелярский клей!.. А крепкий был, собака, с ног двумя стаканами сшибал. Сейчас такой не делают, сейчас вокруг одна кислятина, не вино — моча. Вино душу человеческую хранит и подпитывает, как электрическое зарядное устройство. Вино — живая вода Земли, источник радости... Но нынче это подзабылось в массах...

— Тут, что ли, семинар борматологов? — грубо прервал ее фиолетовый. — Нам вообще-то теория ни к чему, мы себя относим к практикам... ха-ха-ха...

Наталья Николаевна пропустила его слова мимо ушей, продолжила:

— Так вот, подает он мне этот пузырь и говорит: «Здесь за прозрачным стеклом заключено не вино. Пока не вино... Даже не пиво разбавленное...Хотя, может быть, вкус у него вполне вермутный... А вот крепости в нем пока никакой... И цвет у напитка — ты сама видишь, что никакого цвета нет — на вид простая вода. Но не вода — это уж точно. Действие напитка противоположное обычному вину. Радикально противоположное... Сейчас оно наоборот трезвит человека... Кто выпьет на заре хоть глоток этого волшебного зелья, поймет, что мир достоин того, чтобы смотреть на него ясными глазами... Секретные ученые много лет бились над созданием этого чудо-зелья...»

— Зачем нам эта пирамидоновка? — тогда спросила я у него. Он как будто не расслышал.

— Но самое главное свойство напитка, — сказал чудила, светясь от трезвости, — он должен налиться небесной крепостью, неземным вкусом именно в тот час, когда человеку откроется Шамбала. Если я найду этот чудо-остров, то вино в тот же час покраснеет — такое у него свойство. И крепость наберет невообразимую. Одного наперстка этого вина хватит, чтобы утолить любую жажду человеческую... Возьмите эту бутылку и распейте ее с товарищами в тот день, когда вино станет рубиновым!.. Это будет день моей удачи!..

— И он ушел, прихватив торбу со своим скарбом, и даже не оглянулся на прощание, рукой не помахал — так был сосредоточен, так владела им надежда, — продолжила Наталья Николаевна. — Три года от него ни слуху, ни духу не было... Однажды пришла от него, а может и не от него, открытка без подписи. «Ну, как вы? — было накалякано чернильным карандашом. — И здесь так же...» И непонятно было — так же замечательно, или так же дерьмово?..

— Мой лихач, истребитель «агдама», — она показала рукой на заскорузлого, — предлагал распить оставленный фаустпатрон в тот же день, дескать, чего ждать пока вермутина покраснеет — фигня все это, надувательство, — человеку вино любого цвета полезно, и ни к чему ему искать всякие царства—государства, везде хорошо, где нас нет, но я отняла у него бутылку, спрятала в надежном месте. Вообще-то он, если возьмется искать, — все найдет. Лазун еще тот, разведчик жизни, король подполий, в общем, кусок собачьего мяса. Но в этот раз не нашел, потому, что на виду поставила, рядом с керосиновой лампой, — как будто керосин. Прошло время, и я успела забыть об этом фаустпатроне, но вот недавно опять начались перебои с

электричеством, и мне понадобилась керосиновая лампа. Невольно попалась на глаза и бутылка этого чудика. Глянула я — и обомлела!..

— Что там, чистый спиртяга? — осклабился фиолетовый. — Спиритус вини?..

— Содержимое фаустпатрона заметно порозовело, — Наталья Николаевна не обратила никакого внимания на фиолетового. — Мне даже показалось, что вермут стал светиться... Я просто глазам своим не поверила, подумала, что это игра света и тени, но вот сегодня посмотрела — как раз электричество дали — и убедилась: покраснела жидкость эта, точно покраснела... Значит, не врал чудила...

— Выходит, что он нашел то, что искал? — спросил, кажется, Колька. Зам.

— Нам-то не все равно? — сказала Нинка. — Один богатство ищет, другому слава нужна, третий все вокруг обшарил в поисках счастья, а результат всегда один: и тот, и другой, и третий успокоиться не могут — богатому начинает требоваться счастье, счастливому — деньги, прославленный исходит завистью к чужой, еще большей, славе... Поэтому не интересуйся никогда кто и что нашел...

— Ага! — поддакнул Колька. — Он звонит по тебе...

— Что вы болтаете! — потерял терпение фиолетовый. — Какой-такой колокол? Не пора ли приступить к делу, то есть к распитию волшебного напитка?.. Где этот фаустпатрон, так заинтриговавший нас?..

— Сейчас, сейчас! — заторопилась Наталья Николаевна, нырнула в одну из многочисленных скрипучих дверей, загремела кастрюлями, кажется, что-то посыпалось ей на голову, и, наконец, она вытащила на свет огромную, толстого стекла, бутылку. — Вот...

К этому времени вся гоп-компания уже прибилась сюда, все с надеждой смотрели на фаустпатрон, только он может поддержать угасающее, да что там — уже благополучно угасшее веселье. Ведь так хорошо все начиналось!.. Так многообещающе! И бабы приехали, и затеялась тонкая игра, и крыша нашлась неплохая... Эх, разве часто удается нам отдаться игре? Очароваться недоступным, влезть в чужую судьбу, понарошку погибнуть и на самом деле воскреснуть?.. Куда там! Если режемся в карты, то уж непременно в «дурака», если добираемся до рулетки, то выигрываем на трамвайный билет, если флиртуем, то до мордобоя!.. Не дано нам почувствовать обжигающей прелести большого притворства, нет, не дано... Хотя украсть нам иногда удается много... Но истратить не удается...

Все смотрели на бутылку, старались разглядеть в ней красный пьянящий огонь.

— Говоришь, четыре года в кладовке стояла? — спросил Семен, любознательный.

— Четыре! — подтвердила Наталья Николаевна — А что?..

— Так за четыре-то года бутылка пылью бы заросла, тенетами подернулась, — сказал Семен. — А эта как будто только из магазина...

— Ну и что такого! — вступился за жену заскорузлый. — Брала ведь она бутылку в руки, когда электричества не было, вот и смахнула нечаянно пыль... с каждым может случиться... Что пристали?..

— Да вы пить будете, или выяснять подробности? — грозно спросила она. — А то ведь я могу убрать пузырь...

— Конечно, разливай! Как это не пить, настрадались уже!.. Давай, цеди скорее... Вот стаканы...

— Первую на пробу хозяину! — сказала Наталья Николаевна.

— При чем тут я? — начал отбиваться заскорузлый. — Что я вам — подопытное животное? Кролик?..

Наталья Николаевна только строго посмотрела на него, и он обреченно взял стакан с налитой жидкостью. Цвет ее действительно был насыщенно красным.

— Пей!..

Заскорузлый сморщился, закрыл глаза, шумно выдохнул и двумя глотками выпил содержимое стакана. Все напряженно смотрели на него. Повалится с ног, примется корчиться от удушья, в крайнем случае — рыгать?..

Заскорузлый открыл глаза, причмокнул сладко, проговорил, как пропел:

— Вот это кайф! Офигительно!.. Аж обжигает!.. В башку моментом шибает!

— Ну-ка плесни мне! — выговорила обсосанными губами Нинка.

— И мне! — протянул стакан Колька. Зам.

— Дай попробовать! — решился и мужик без примет.

Наталья Николаевна плеснула и в свой стакан, попробовала, прислушалась к себе, покачала головой, вымолвила, наконец:

— Да!.. Бывают чудеса!.. Сила!..

Всем досталось по паре глотков; кто цедил сквозь зубы — смаковал, кто зараз опрокинул вино в глотку, но и те и другие сошлись в том, что напиток исключительно крепок. Поднялся галдеж.

— Вот это выпивка! — сказал мужик без примет. — В башке сразу зашумело...

— По мозгам крепко бьет! — присоединился к нему Семен.

Федор просто закатил глаза — восторг, восхищение и все такое!

Михаил поднял большие пальцы рук, показывая, как ему понравилось.

— Но как это все объяснить? — спросил Витька Иванов. — Здесь не захочешь, а поверишь в чудеса!.. А если это на самом деле хоть как-то связано с Беловодским царством, то вообще выходит за рамки нашего понимания. Это просто поразительно! Если...если... Вся наука может оказаться только цепью заблуждений...

— Вся жизнь состоит из заблуждений, — строго сказала Наталья Николаевна, тоном, подходящим для вечных истин, — только одни понимают это, а другие — ни фига!.. Но тем и другим это не мешает обрастать этими заблуждениями, как днищу корабля ракушками...

— Точно! — поддакнул заскорузлый. — В одна тысяча девятьсот восемьдесят третьем году познакомился я с женщиной неземной красоты. Она была капитаном Уральского речного пароходства... Может быть, штурманом...

— Поварихой, — подсказала Нинка.

— Не знаю, как звалась ее должность, — не стал спорить заскорузлый, — но целоваться она была мастерица большая...

— Завянь, бабник! — посоветовала ему Наталья Николаевна, и он послушался, завял.

А Нинка подхватила, в ней, должно быть, кипела горячая казачья кровь, смешанная с магическим напитком.

— Так продолжим в бутылочку? Вот этим фаустпатроном, — сказала она. — Или завалимся?.. А чего уж заваливаться — скоро петухи запоют...

Решили все-таки крутить бутылочку. Фаустпатрон. Полчасика, не больше. Интересно все-таки, кого с кем сведет эта огромная, и как оказалось волшебная бутылка?.. Уселись в круг, запустили этот тяжелый стеклянный волчок...

И тут Наталья Николаевна поманила заскорузлого.

— Поди-ка сюда на минутку, — сказала она и увлекла его в соседнюю комнату. Там изо всех своих неслабых сил ударила его по уху. Потом по другому.

— Ты, сволочь, все-таки выхлебал белый вермут! — не столько спросила она у него, сколько утвердила. — Чай с вареньем налил в бутылку!.. Ну, не гадина ли?.. Ну, не паразит ли?..

Она звезданула ему кулаком в глаз, глаз моментально налился синевой; по всему видать — мастерица.

— Руки-то не распускай! — заныл заскорузлый. — Я тоже могу...

— Чего ты можешь? Скотина! Чего? — закричала бедная женщина. — А эти дураки выпили, да еще кайф словили!.. Ой, крепкое! Ой, ароматное! Ой, в башку ударило! Алкаши несчастные!..

Она засмеялась:

— Я сразу поняла, что это ты напрокудил, еще вчера... Ладно, иди...

Радуясь, что легко отделался, заскорузлый присоединился к компании, которая ближе к утру заметно потеряла вечернюю свежесть, остроту восприятия волнующей игры. Все двигались скорее по инерции, чем по зову тестостерона.

— Смотри что делается! — сказала заскорузлому Нинка. — Фаустпатрон ни на кого не показывает.

— Как это так? — спросил тот.

— Сам смотри!..

Бутылка вращалась бесшумно, как прозрачная юла, толстое стекло в неярком свете пыльной лампочки посверкивало чистым хрусталем.

— Вот уже пятнадцать минут крутится, падла! — сказал Семен. — И не похоже, что скоро остановится...

— Такого не бывает! — сказал потрясенный Колька. Зам. — Фокус какой-то... Масла, что ли, капнули подсолнечного?..

— И медом намазали! И денежкой поблазнили! — сказала Наталья Николаевна, размашисто входя в комнату. — Как говорится, концерт закончился!.. Типа факир пьян, переборщил с чудесами и от них голова кругом идет!.. Все!.. Хватит! По домам! Кто далеко живет, ночуйте здесь — разбирайте раскладушки... Через десять минут выключаю свет!.. Гулянка выдохлась!..

И никто не стал возражать. Нинка не смотрела на Семена, Колька не поднимал глаз на Елену, Катька вырвала руку из ладоней Витьки Иванова... Неужели правда, что утро вечера мудренее?..

Через полчаса все стихло. Только забытая бутылка вращалась в центре комнаты. На нее смотрел со своей раскладушки фиолетовый, одинокая, заброшенная душа. Он курил папиросу, едкий дым которой выбивал слезы. Он плакал и потому, что на свете один-одинешенек, и никому не нужен, и потому, что молодость прошла, и потому, что чудила нашел, наверное, свою заповедную страну, а он, фиолетовый, не найдет ее никогда.

28 октября 2009 года
Астана

КРЕТИН

Буратино часто называли дубом, но это не соответствовало истине. Он был из другого дерева. Но когда пытался объяснять это, углублялся в теорию, в ответ ему вежливо улыбались, дружески кивали головами, хлопали по плечу. Деревянный человек обречен всегда быть дубом. Мальвина обращалась к нему проще: «Кретин, ты мусор когда-нибудь вынесешь?..» И всем было наплевать, что в груди его билось живое сердце, страдало и корчилось, истекая благородным березовым соком. И он смирился, не надеясь доказать истину. Быть непонятым и не услышанным так же обыкновенно, как жить нелюбимым и никого не любя. И даже когда на одной из бесчисленных попоек Мальвина, пьяная и хохочущая, прокричала своим ватным собутыльникам, что неплохо бы спалить Буратино в камине, потому что дубовое полено дает чудесное целебное тепло, — он не стал ее поправлять. Ему было даже лестно, что о нем могут думать, как о горячем человеке, способном обогреть.

Мальвину он любил страстно и безнадежно. Вокруг нее все время крутились кукольные красавчики, она благоволила им. Ее роман с Арлекино продолжался век; весь этот век Арлекино был рогат, печален и неинтересен. Он спился в год, из театра его прогнали взашей, он устроился мыть пустые бутылки на крошечный пивзаводик, но там украл две бутылки «Жигулевского», был страшно бит, лишился передних зубов. Недавно приходил, облаченный в черный драный халат, под которым не было даже трусов. «Хоть чернил налейте, они на вино похожи», — попросил, униженно кланяясь.

— Вот ты, мой голубчик, до чего докатился! — всплеснула белыми руками Мальвина. Достала из горки, где рядом с книгами теснился радужный хрусталь, самый большой фужер и почти до краев налила чернилами. — Выпьешь?..

Арлекино трясущимися руками взял фужер, посмотрел сквозь него на Мальвину, обернулся к Буратино, словно собирался поделиться с ним фиолетовым напитком.

— Ну что же ты?! — сказала Мальвина. — Слабо тебе, слабо?..

Она любила говорить «Слабо тебе, слабо!»

— Не дури! — крикнул Буратино.

Арлекино откинул голову назад, поднес чернила к губам, улыбнулся и сделал глоток. Потом еще и еще. Допил, согнулся пополам, поставил фужер на пол, улыбнулся еще благодарнее. Показалось, что не черные осколки зубов у него во рту, а морские камушки.

— Спасибо! — сказал Арлекино. — Вот и руки трястись перестали!..

— Идиот несчастный! — закричала Мальвина. — Сволочь!.. А ты, дубовый, еще большая сволочь! — Она бросилась к коробке с лекарствами, которая тоже хранилась в горке, где, впрочем, у нее были только контрацептивы и таинственные кремы. Она никогда не болела, даже с похмелья. Ее ничего не могло взять, ни время, ни несчастная любовь, если бы случилась.

— Только презерватив ему не давай, — сказал ехидно Буратино, — он его тоже проглотит...

— Кретин!..

Она все-таки нашла какие-то гомеопатические шарики.

— Выпей, хуже не будет! — протянула Арлекино, но тот уже корчился на полу рядом с пустым фужером.

— Разбирайтесь сами! — сказала она и ушла.

Арлекино выжил, только наблевал во всех углах.

Жила она еще с каким-то моряком. Едва его дырявая тельняшка пропадала в океанских просторах, она пускалась во все тяжкие. Ее любили все, голубые волосы покоряли даже закоренелых женоненавистников.

Буратино ждал ее, такая ему была сочинена судьба, и он ей не противился. Еще тысячелетие назад, когда он томился в хлорофилловой точке, а потом, потеряв связь с родным деревом, был заключен в полено, он уже тогда знал, что она должна принадлежать ему. Но Мальвина этого не знала. Ватная жизнь не располагает к постоянству, все время приходится думать, как бы тебя не помяли, заботиться о надежном будущем. Нужно быть деловой и целеустремленной, иначе никак. Злобные катаклизмы, коварные полтергейсты, да и обычные, почти прирученные домовые норовят разрушить благополучие и спокойствие. Тишина и прелесть ваты нуждается в защите.

Говорят, что пудель Артемон тоже не зря крутился около нее, черная сволочь. Ну а Карабас — счет особый. Его состояние она пустила по ветру, труппа из театра разбежалась, а сам он теперь вместе с Дуремаром живет пиявками, в нынешнем году их много, и спрос на них велик; может еще поправится дело? Однажды Буратино, мучимый суровым похмельем, прибег к пиявкам, и был доволен. Особенно понравилась одна, пухленькая, с короткой стрижкой, с какими-то удивительно страдающими глазами, как будто ей самой требовалось лечение. Буратино даже привязался к ней, ходил с ней в шашлычную, и буфетчица за ее спиной показывала глазами: дескать, мужик, заказал ты себе приключение! Откуда они, эти буфетчицы, все знают и понимают, как живые?..

Года три назад (или все-таки четыре?) Мальвина, наконец, заметила Буратино. В самом деле, болтается рядом и понятно чего хочет, почему не выпить с ним бутылку-другую вина, не приютить его, неприютного, — ненадолго, на пару недель. Пусть отогреется, отмоется, в крайнем случае, хоть чаю напьется... А дальше уж как случится, как выпадут карты...

Счастливый Буратино ног под собой не чуял, читал ей стихи, даже пытался петь рассохшимся березовым голосом. И чудо, она как будто тоже его полюбила! Да и как не полюбить, безобидного, не занимающего много места, — ни в квартире, ни в сердце? И он прижился у нее, она привыкла к его негнущейся походке, его деревянному юмору. Может быть, он чем-то напоминал ей далекое грустное детство, которое бегало, носилось и кувыркалось в простом ситцевом платьишке среди вечно плачущих берез? Как раз в том незабываемом краю она научилась ловко вонзать нож в березовое тело, и потом пить ледяную древесную кровь, и хмелеть от нее, и не желать ничего, только эту прозрачную влагу, таинственными путями пришедшую из неведомых глубин земли.

Буратино пытался даже писать стихи:

Я прощаюсь с тобой...

Дальше первой строчки дело не шло, но он сам себе удивлялся: ну почему же ручка как будто сама накорябала на бумаге о прощании?.. И почему-то чудилась ему близкая разлука, дальняя дорога, холодный и полупустой вагон, сердобольная проводница-хохлушка, которая будет охотно слушать историю его разбитой любви, и даже принесет ему кусок сала, податливого, как старая баба, соленого, как слезы и как жизнь.

Однажды в своих грезах наяву он почему-то увидел себя сидящим за каким-то столом, с надвинутой на плачущие глаза кожаной кепкой. Рядом была женщина, прощаясь с которой он плакал, но слезы не мешали ему знать, что женщина не без труда сдерживает нетерпение. Ее глаза были чисты, и казалось, что через его березовую голову она смотрит сразу в свое будущее, в котором ему, увы, места не отведено. Пора и честь знать, пора обувать походные калоши, заряжать верный пистолет маринованными кильками и стрелять в онемевший от боли висок!..

Эта несчастная кожаная кепка как-то попалась ему на глаза, скомканная и забытая, она ждала своего часа в старой искалеченной временем сумке, которая наготове стояла у двери; Буратино всегда был скор на подъем, да и Мальвина не настаива-

ла на его оседлости; ветер легко уносил его, как будто он был крылат, как деревянная мельница.

Еще ему казалось, что само время — субстанция едва ли не деревянная тоже. Уж во всяком случае, легко сгорает, пепел просто смешивается с землей, — ни следа не найдешь, ни единого напоминания о том, что так жарко пылало... Пылало, да быстро сгорело... Он смотрел на часы, стрелки всегда напоминали ножницы. Каждый день, каждый час режут по живому; у любого циферблата корзины с отсеченными головами, вырванными сердцами. Однажды он снял со стены пластмассовую лепешку часов, вынес их на балкон и выбросил прочь. Лепешка кувыркнулась, сверкнула на солнце стеклом, как внимательный глаз моноклем, и растворилась в сентябрьском дне. Он вздохнул с облегчением. Он не знал, что часы, если постараться, убить можно, а время убивает само.

Вечером Мальвина принесла новые часы, пластмассовый блин.

— Вот попались, чудная штука! А ты старые уже снял? И как только догадался, следишь за мной?..

— Слежу, еще как! — ответил он.

Но чаще всего ему виделся один солнечный день, будто бесконечный. Они с Мальвиной пробирались к церкви, которая все отступала, пряталась за бесконечные заборы, выставляла перед ними кривые улочки. Отгораживается от грешников, думал он.

— Я некрещеная, — сказала Мальвина.

Церковь была пуста, с икон смотрели на них святые: с чем пожаловали, заблудились?..

Точные слова находятся в церкви. Он и прежде приходил к иконам, ему казалось, что его бедное сучковатое, занозистое сердечко может биться в унисон с этими древними досками; он никогда не умел утешиться молитвой, — боль становилась только сильнее, отчаянье безысходней, страх разрушительней. Но он молился за себя, за Мальвину, потому, что догадывался: тому, кто над ними и кто в них, нужно испытать их кукольные, управляемые души на прочность.

В тот же светлый бесконечный день им встретился человек, свободный, с душой, звенящей страданием. Он был нечесан, немыт, в драных тапках на босых ногах. Глаза его молили о милосердии. В пивных киосках он безуспешно пытался выпросить стакан пива, хоть глоток. Его гнали, и он уходил, не бежал, — врожденное достоинство делало его движения плавными, по-военному точными. «Может быть, когда-то он командовал славной пехотной дивизией, водил героев в атаки,

штурмовал города и был покрыт кровью, славой, болел сифилисом и своего первенца назвал строго и памятно — Твердый Шанкр?» — с состраданием думал Буратино. Он хотел угостить забытого полковника пивом, но замешкался, засмотрелся, как всегда, на Мальвину, и бродяга скрылся. «Как жалко, как невыносимо жалко, что страждущий не утолил жажды! — размышлял Буратино, — ведь так было просто помочь ему, так несложно!..» Ему стало холодно, потянуло ледяным февралем, заныли остатки зубов. Он перевел взгляд на ноги: так и есть — стоптанные тапки на босых ногах, отмороженные и замотанные тряпками пальцы... Трясущиеся руки никак не могут справиться со спичками; как хочется курить, просто смерть!.. Он огляделся: ни живой души вокруг, только деревянный какой-то бедолага на ниточках болтается, пытается догнать, задержать, да разве ее задержишь! — унылую свою судьбу... Бедолага затравленно посмотрел на бродягу, и встретились взгляды братьев, героев одной сцены, искателей любви и правды. Впрочем, согласных и на одну только любовь...

«А ведь он завидует мне, березовый клоун, точно!.. Я мертвый, а ему еще предстоит умереть...»

Заблудились?..

Дорога проста, но мы построим на ней шлагбаумы, расставим надежные засады, разглядим вас в прицелы и окуляры, — и не промахнемся. Убивать мы учимся раньше, чем дышать.

От этих видений его бросало в пот, он спрашивал у Мальвины:

— Ты не бросишь меня, нет?..

Зачем он спрашивал, зачем?

Она отвечала ему спокойно:

— Ты всегда будешь со мной, любимый!..

И он почему-то знал, что она не врет. Видно, так на роду написано, только кем?

Прижился он у нее надолго, так показалось. Он называл ее «моя светлая», был счастлив даже тем, что ему приходилось выносить пакеты с мусором. Для него это был не простой акт наведения порядка, в нем был заключен почти философский смысл: она доверяла ему, признавала его частью своей жизни, частью своего дома. Он мечтал, чтобы она хоть однажды попросила его купить в магазине хлеб, но она всегда покупала его сама. Приносящий в дом хлеб никогда не станет посторонним, если он понимает смысл этого простого события. Наверное, Мальвина понимала хорошо, поэтому хлеб покупала сама.

Ну а потом, как водится, все стало рушиться. Все на земле непрочно. Ее стали раздражать его глупая ревность, полная

неприспособленность к совместной жизни. Он не понимал, что два человека не могут быть единым целым, что невозможно от другого требовать того же, что и от самого себя. Он не мог надышаться ею, не мог выпустить ее руки из своей, а она думала о будущем. О прошлом тоже, но не очень, — без печали и сожаления. Будущее — это то, что идет навстречу нам, оно как мозаика, которую мы должны сложить сами, а прошлое — это то, чего уже нет и не будет никогда. Это мертвечина, плачьте над ней, кретины!..

Он стал пить. Водка — сладкое лекарство для одеревеневших душ.

Она пила вино. К ней приходили неведомые друзья, громко говорили и смеялись, подтрунивали над Буратино, впрочем, незлобно. «Дубовый ты наш», — звучало почти похвалой. Она улыбалась. А однажды как будто пошутила: дубовый — значит кретин, ведь правда?.. И он согласился. И это прижилось...

Вчера с раннего утра она затеяла приборку, гудела пылесосом, шлепала мокрой тряпкой, с ее головы опадали бигуди, валялись по квартире, как стреляные гильзы. С Буратино она была ласкова и за все утро ни разу не назвала кретином. Прибрала все свои разбросанные по креслам и кушеткам лифчики, чулки, резинки. Потом завеялась куда-то, оказалось в магазины. Принесла обновки. Примерила новую блузку, повертелась около зеркала, и вдруг решила: пожалуй, сделаю себе короткую стрижку, — и улетела в парикмахерскую. Вернулась, не похожая на себя. Голубые волосы превратились в черные, исчезли локоны, короткая мальчишеская стрижка превратила ее в странного подростка. Он не сразу понял, почему странного. И только потом разглядел страдающие, будто больные глаза. Но, впрочем, так ему показалось, или так он придумал потом.

— В общем, так, мне с тобой поговорить нужно, — сказала она. И добавила, поколебавшись:

— Начистоту...

Она никогда еще не говорила с ним начистоту.

— Не сердись! — приступила она.

— Почему я должен сердиться?..

— Ты дослушать можешь?..

Он промолчал, что означало «может».

— Жизнь идет, — продолжила она, как будто сделала открытие. — Идет проклятая! И вот я решила... Но сразу скажу тебе, что люблю тебя, только тебя, поэтому не сердись... Ты мой мужчина...

— Ты бросаешь меня? — догадался он.

— Какой ты кретин! Конечно же, нет. Просто я выхожу замуж. За надежного, верного человека, очень достойного. И он

нашего круга, пойми!.. Вы с ним наверняка подружитесь... Да, да, не таращь глаза! Ты ведь будешь здесь же, не оставишь нас...

— Вот как?..

— Конечно, будешь сидеть спокойненько, не ревновать!.. Помнишь, как я научила тебя не мешать мне, когда я работаю, сидеть и терпеливо дожидаться, пока я закончу?..

— Помню, — ответил он, и в самом деле вспомнил. Это было давно, она сочиняла какие-то репризы не то для своего театра, не то для радио, а он все крутился со своей любовью, она тоже заразилась как будто, и часто, разложив бумаги на столе, говорила вслух, даже когда его не было рядом: «Посиди в уголке тихонечко, не мешай. А потом я опять буду думать о тебе...» Господи, когда это было?.. И было ли?..

— Я тебя представлю братом, хорошо?.. Нет, пожалуй, ты все-таки на дядю тянешь. Согласен?..

— Ты всерьез?..

— Совершенно! Ну не дуйся, пойми, ты ведь перекати-поле, — сегодня здесь, а завтра где? — а мне что, всю жизнь тебя ждать, надеяться, остаться у разбитого корыта?..

«Любовь хороша, если у нее за душой ни гроша, — пришло ему в голову, — ни шиша, одна парша!..» И он принялся придумывать продолжение: «А душа живет не дыша, не греша... Или все-таки греша?..»

— Ты меня слышишь? — Деловой женщине показалось, что все ниточки от Буратино у нее в руках. Может быть, так оно и было. Заблуждения кукольного театра сильнее логики.

— Слышу...

— Раскладушку тебе поставим за креслами, чуть отгородим, ты уж пойми... Только не подсматривай! — и, вдруг он понял, что она как раз и согласна, чтобы он подсматривал, может быть, иногда даже дружески махал ей рукой! Отставной солдат. Запасной игрок. Все понимающий дядя... Он почувствовал как ладонь его левой руки, которая ближе к сердцу, стала ледяной, и холод этот стал подниматься выше.

— Венчаться в церкви будешь? — спросил почему-то он. — Так ты ведь некрещеная... Теперь самое время покреститься...

Она промолчала.

Часы на стене клацали своими лезвиями, кровь лилась рекой. Сентябрь за окном принялся издыхать, давиться снегом, стонать от ветра, обдирать догола деревья. Солнце провалилось за жирную тучу, наверное, навсегда; ему на смену из мертвой мглы вынырнула железная когтистая звезда и понеслась к Земле, ледяная пуля. Буратино вздрогнул, он знал, куда попадет она.

Ему не было страшно, обреченный торопит палача.

Он добыл из сумки ту самую кепку, примерил. Хороша, наверняка из старого негра сделана.

Мальвина обняла его. Ей тоже нелегко, еще как.

— Он у нас космонавт! — сказала грустно, но твердо. — Мужик что надо, будешь еще гордиться родством!.. Должен был еще в прошлом году лететь, но сорвалось что-то, заклинило. Теперь на Марс готовится, на красную планету... А там, говорят, пески зыбучие, куда ни глянь — каналы, и день в два раза короче нашего, а ночи темнее и страшнее, и нет им конца...

— Тогда тебе с ним надо лететь...

— Не юродствуй!..

Она вдруг улыбнулась хитро:

— Ты еще радуйся, кретин, тебе теперь мусор таскать не придется. Как в масле кататься будешь!..

Из-под кожаного козырька ему не видно было ее лица, а голос казался спокойным. Руки тоже. Свежий ровный маникюр говорил о тщательности подготовительных работ.

Он вышел из дома под лучи приближающейся железной звезды, холодная пустота улиц освежила его. На углу маячила знакомая фигура. Часовой свободы и одиночества ждал его, и они пошли вместе, шаркая тапочками.

— Вот так! — сказал один.

— А что делать! — ответил другой.

— Думаю, что мировой войны удастся избежать, — произнес полковник. — Пусть люди хоть немного в мире поживут!..

— Тепла им нужно, денег, — заметил Буратино. — Чтобы будущее обеспечить... Вот взять хотя бы Мальвину...

— Будущего не будет, — перебил его оборванец, — время, в конце концов, объединится, — не станет прошлого, не дождешься и завтрашнего дня, — и начнется настоящее, и не будет ему конца. Посуди сам, если башка не деревянная...

— Березовая, — признался Буратино.

— Все равно можешь понять. Будущее всегда обманывает, прошлое давно продано... А в настоящем жутко, как в грозу. Молнии бьют, и гадаешь, какая из них в тебя угодит. В тебя молния попадала?

— Попадала, — признался Буратино. — Сегодня попала.

— Шаровая?

— Ага!..

Они помолчали. Шарканье их тапочек отражалось от стен черных замерзших домов и возвращалось к ним усиленным пустотой и страхом. Они невольно втянули головы в плечи, прибавили шагу.

— Куда мы?..

— А откуда?..

— Ты знаешь, я никогда и никого не любил так, как ее. Святая правда!.. Это просто какое-то сумасшествие... Я думаю о ней каждую минуту, мне хочется все время произносить ее имя, дотрагиваться до нее ... Светлая моя, светлая... не моя...

— Понял! — сказал полковник. — Этиология болезни понятна... В одна тысяча девятьсот семьдесят седьмом году, когда я по бесплатной путевке отдыхал в лечебно-трудовом профилактории, то встретил женщину и полюбил. Она обмывала покойников в морге и носила белый халат, он очень шел к ней... Год пролетел, как миг, я терпел уколы, издевательства врачей, пытавшихся внушить мне отвращение даже к тройному одеколону, и, наконец, меня выпустили, правда, в мягкие части тела вшили торпеду. Попробуй выпей, и торпеда не промахнется!.. Но как же жить, как пройти мимо парфюма, где благоухает нежный шипр, изумрудом переливается тройняшка?.. А киоски, где в тяжелых бутылках таятся вермут и можжевеловое, разве они не для нас созданы гением человека?.. И тогда я пошел к Марии в морг, так ее звали, и сказал прямо: вырви из тела эту занозу, убийцу радости и счастья. Мария заплакала и сказала: ложись. Я прилег на топчан рядом с покойником, и она где ножиком, а где и зубами — вырезала, выгрызла торпеду. Но радость всегда приходит вместе с потерями. Мария сказала: убирайся, мне алкаш не нужен!.. Я ушел, страдая и любя... Теперь она живет с ...

— С космонавтом? — спросил Буратино.

— Откуда ты знаешь?.. С дублером...

— Господи, сколько космонавтов развелось! Как же нам жить, земным людям?..

— Слушай, перебирайся ко мне! — предложил герой. — У меня в этом году такая теплотрасса, закачаешься! Парная! А простор какой!.. Хоромы! По такому случаю лосьоном огуречным разживемся, выпьем, как люди... А?.. Брат?..

— Спасибо, в другой раз! — отказался Буратино. — У меня сегодня племянница замуж выходит, событие! Раз в жизни такое случается, извини! Нужно присутствовать, не пропустить все самое интересное...

— Жалко! Но ты заходи, не пропадай!..

Когда Буратино вернулся в дом, в коридоре стоял серебряный скафандр, как памятник. Прозрачный арбуз шлема катался в ногах, чудо автономной жизни, шаровая молния. Незнакомые сумки, чемоданы, мешки загромождали пространство, наверное, и время.

Ужас и жуть! Отчетливо пахло серой, да и порохом, кажется. Ужас! Этого быть не могло, но это было.

Мальвина вылетела навстречу, зашептала:

— Завтра познакомишься, он отдыхает, устал с дороги. Мы бутылочку вина с ним распили. Проходи сразу за свои кресла, ложись... Поздно уже...

Раскладушка была застелена тончайшим кипельным полотном, одеяло манило в теплый уют. Руки любимой постарались. Он лег, закрыл глаза. Мальвина подошла неслышно, жарко навалилась:

— Люблю тебя!.. Тебя... Спокойной ночи!..

— Ты теперь каждый раз, перед тем как трахаться с другим, будешь желать мне спокойной ночи? — грубо спросил он. — Очень трогательно...

— Кретин, ты ничего не понимаешь...

Он опять не сдержался:

— Зачем ты втиснула его в эту постель между мной и тобой?.. Разве ты не понимаешь, что теперь он навсегда между нами, даже если улетит на Марс?.. Навсегда!..

— Никогда не говори «навсегда», я не люблю этого слова, — счастливый огонек вдруг зажегся в ее глазах, и понять ее было несложно: наконец, устроена хоть одна судьба в этом октябрьском промозглом мире. Буратино даже устыдился: ну не сволочь ли он, не кретин ли, не собственник ли проклятый! Не радуется ее счастью, надежности выстраиваемого гнезда!..

Он отвернулся к стене. Раскладушка, колыбель одиноких и брошенных, обняла его заботливыми алюминиевыми руками, и понесла в теплые края, где живо еще солнце, где надежда не убивает, где женщины не изменяют и счастливое лето начинается в сентябре...

Ночь еще не кончилась, когда он встал. Рядом с космонавтом светилось тело Мальвины. Буратино вспомнил, что она всегда спит голой, и неизвестно чему улыбнулся, дуб дубом.

Неслышно шагая, он пробрался на кухню. Нашел вместительный желтый пакет, зашуршавший во тьме, как последний листопад.

Буратино положил в него пустую бутылку, видать, хорошее вино было, — «Дионис», смел конфетные обертки, картофельные очистки, банановую кожуру. Потом надел кожаную фуражку, всунул ноги в тапки и вышел, дверь щелкнула за ним контрольным выстрелом. Он только улыбнулся.

Огромные мусорные баки в темноте бездонного двора казались космическими капсулами, а тлевший в них огонь — дремлющим ядерным сердцем. Буратино выбрал капсулу, где

было много свободных мест для полета. Он забрался в нее вместе с желтым пакетом, закрыл крышку. Откинулся на мягкое кресло. Было уютно, тепло и немного тревожно, — не каждый день собирался он в такой далекий путь. Его обступила полная тишина, слышался только легкий треск разгорающегося под ним мусора. «Не дубовый я, а березовый!» — сказал он, обращаясь неизвестно к кому, и добавил: «Почему я раньше не знал, как тут хорошо! Здесь, здесь мое место...»

Железная звезда, наконец, долетела до цели, поползли по земле ледники, замерзли сердца, не стала помогать водка, и полынь начала прорастать даже на крышах домов; горечь и боль завладели пространствами, и нечем было согреться, потому что все, что могло сгореть, уже сгорело...

Октябрь 2000.
Пятница, 13.

ВЕЗЕНИЕ НА ВСЕ ВРЕМЕНА

Иванов вышел из подъезда и сразу вляпался в огромную коровью лепешку.

— Так и знал! — сказал он. — Дерьмо все прибывает...

Вчера на этом же месте его поджидали конские яблоки, он наступил на них, как сапер-новобранец на гранату.

В понедельник его обгадили дикие голуби, птицы мира.

«Откуда в центре города эти тучные стада и стаи? —

думал он, страдая. — Все завалено говном, будто жизнь не дает позабыть, на чем все держится...»

Он обозлился на себя, ведь все утро твердил:

«Осторожность! Внимание! Контроль!» — и все-таки коровья лепешка притянула его, как удав кролика.

«Неужели это навсегда? — обреченно прошептал он. — Неужели нельзя поменять полюса какого-нибудь магнита, щелкнуть неизвестным переключателем, пробежать на красный сигнал светофора, чтобы дерьмо перестало ползти изо всех щелей?..»

Началось это лет пятнадцать или сто пятьдесят назад. Не было ни одной свежевыкрашенной скамейки, чтобы она не вцепилась в него, не было ни одной побеленной стены, которая бы не протащила его по себе, не было ни одной птахи, чтобы она на бреющем полете не обделала ему кепку или пиджак. Если он покупал пиво, то тут же в кружку залетала изумрудная

помойная муха, в бутылке водки он всегда обнаруживал дохлую мышь или заспиртованного таракана, в колбасе его поджидала острая, как бритва, кость, редиска ему обязательно попадалась пустая, и не было случая, чтобы помидор не обрызгал его рубаху кровавым соком.

А сто пятьдесят лет назад Иванов без всякого риска пил водку и безопасно зажевывал колбасой, не боясь подавиться костями, ел рыбу, был уверен, что автобус седьмого маршрута не увезет его по восемнадцатому...

Но что-то случилось в мире. Может, в глубоком космосе вспыхнула сверхновая звезда, может, прокляла его за какой-нибудь пустяк патлатая городская ведьма, может, выпала у кого-то решка вместо орла — и все перевернулось, перекувыркнулось.

Первым взбесился дом. С потолка хлынули потопы, из подпола вышли полчища прусаков, сгорела электропроводка, а вместе с ней и телевизор. Изменились люди. Нахмурились, ссутулились, перестали давать в долг.

Надежка продержалась дольше всех. Только месяц прошел с того воскресенья, когда она отправилась поболтать к подруге и не вернулась. Позвонила:

— Виктор, давай отдохнем друг от друга?.. Разбежимся на месяц-другой? Ладно?

— Ладно, — ответил он.

— Не навек... — не то спросила, не то сообщила.

— Не навек...

— Может, еще потянет друг к другу?..

Она прибегала за пожитками, собрала чемодан, захватила пишущую машинку и диктофон. Виктор пошел провожать ее до остановки, и их обоих с ног до головы окатил грязью из лужи промчавшийся грузовик.

Надежка заплакала, а он вернулся домой. Оказалось, что свой ключ он оставил в квартире, а надежкин уехал вместе с ней в неизвестном направлении. Грязный и мокрый, он сел у порога, привалившись спиной к закрытой двери, размышлял — ломать или попытаться открыть? Так провел он всю ночь, не бесполезно. В пятом часу утра родилась теория невезухи-непрухи. Выходило так, что в мире накопилось жуткое количество невезения — за счет катаклизмов, экономических потрясений, падения нравов и просто неумения жить по-человечески. И эта масса невезухи неравномерными пластами залегает в пространстве и времени, и горе тому, кто нечаянно — неосторожным матюгом, неловким поступком или еще почему — вторгнется в этот пласт, прорвет его тончайшую

оболочку. Тогда дерьмо лавиной выходит на поверхность, как крысы во время чумы, — и прилипает к человеку.

Невезуха-непруха — это не наказание, это состояние, оно становится все более обычным.

Везение — наоборот, как кимберлитовая трубка — можно за всю жизнь не отыскать. Вот почему все мрачнее люди, все чаще водку предпочитают вину, все реже ходят в театр и, не дослушав вопроса, отвечают «нет».

Невезуха-непруха создает державы. Например, Римскую империю. Там вышло так, что волчица вскормила своим молоком двух милых ребятишек. Резвились они недолго: кровь волчицы ударяет в голову сильнее водки, и Ромул убил Рема. Успел ли Рем осознать, что это чистая невезуха?.. Точно установлено, что большинство населения древнего Рима содержалось в ошейниках. Что может воскликнуть удрученный человек, который вчера был царем, а сегодня посажен на цепь, как собака, и по его спине регулярно гуляет кнут? «Непруха!» — и на этом держалась империя.

Каждый хоть раз в жизни попадает в непруху. Кто на год, кто на всю жизнь...

«А может, все проще, — размышлял Иванов, — в человеке, как в телевизоре, должно сгореть то, что должно сгореть, а потом хоть двадцать лет торчи под высоким напряжением — и ни хрена не будет? Вот перегорит все невезение, и включится на всю катушку удача?..»

Дверь все-таки пришлось высаживать. Посочувствовали два соседа-бугая, близнецы-братья, сила народная. Одному восемнадцать, другому пятьдесят.

— Дверку отжать, что ли? — спросили братскими голосами. И отжали. Саму дверь вырвали из косяка вместе с навесами, рассыпались в щепки филенки, залился нескончаемой трелью замкнувший электрозвонок.

Дверь в конце концов удалось навесить, но она никакого препятствия больше из себя не представляла. Теперь в квартиру можно ходить не через дверь, а сквозь нее. И этим стали успешно пользоваться близнецы-братья всякий раз, когда им нужно было распить бутылочку-другую.

— Человек! — проникновенно говорили они. — Вмажем?..

И он, слабая душа, вмазывал, курил «Приму», сплевывая налипающие на губы табачные крошки, ругал затейливым матом власть, погоду, блядей и ждал, когда, наконец, отступит от него лихоманка невезухи.Он спрашивал у новых друзей:

— Вас почему близнецами зовут?

Они поясняли охотно:

— Не близнецами, а близнецами-братьями, как в поэме... Помнишь: «..кто более матери истории ценен?..» Человечеству непонятно, кто из нас более ценен — Вовчик, то есть я, или Витек, то есть он, — или наоборот?.. Мы говорим Вовчик, а подразумеваем что?..

— Круто! — восхищался Иванов.

— А как же! — улыбались они. — Везде люди умные.

А лихоманка не отступала. В квартиру проникла драная рыжая кошка со слезящимися глазами и принялась гадить в недоступных местах — под ванной, за шкафом, в самом шкафу. Он добыл себе противогаз и слонялся по квартире, как Фантомас в резиновой маске, размышляя: может, снять эту холодную резинку и свести счеты с жизнью? Но не решился...

А время шло. Подорожал хлеб и подешевела водка, пошла на убыль разразившаяся было холера, но выросла смертность от инфарктов и инсультов, захирела национальная валюта, сгустился кризис и подняли головы унылые дотоле революционеры...

Столетие шло на убыль, и на улице стало еще страшнее, чем в начале века. Иванов две недели не выходил из дома, маска противогаза приросла к лицу, но однажды решился выйти — уж больно хорош был сентябрь: чуть-чуть дождя, чуть-чуть ветра, немного солнца и сколько угодно желтых листьев. Он вышел, содрогаясь от предчувствий, но лестничная площадка сияла чистотой, у подъезда ширкал метлой много лет не появлявшийся нигде, кроме рюмочной, дворник — и тоже было чисто. Голуби куда-то пропали и не урчали утробно на карнизе, готовясь к бомбардировке. В общем, ничего на Иванова не обрушилось, никуда он не вляпался, даже наглая поливальная машина (может потому, что дождь?) притормозила перед ним, убрала сияющие струи. Он был потрясен.

Он осторожно пошел по улице, ловя на себе удивленные взгляды прохожих. Их изумление было ему понятно: за последние сто пятьдесят лет впервые Иванов не завален дерьмом.

Он забрел в какой-то сквер, развернул газету. Ну что там в мире и городе? Японцы изобрели такой крошечный телевизор, что он легко проходит в игольное ушко. Американцы запустили космический корабль для сексуальных исследований. На борту три супружеских пары и акушерка. Приземлятся через девять месяцев; бедная акушерка. Русские ушли в горы искать снежного человека и в тайгу — разгадывать тайну тунгусского метеорита... В общем, осенняя тоска.

Дождь заметно погустел, и газета стала быстро намокать, тяжелеть. На фотографию какого-то мордастого лидера сплани-

ровал желтый листок и закрыл мордастого как маской. Он стал еще больше похож на разбойника.

Иванов скомкал газету и примерился швырнуть ее в мусорную вазу, как в баскетбольную корзину. Но что-то в этой корзине было не так. Он пригляделся: поверх вороха желтых листьев зеленели прямоугольные листочки. Он подошел, собрал листочки — восемнадцать стодолларовых купюр.

Глаза на миг затянуло мелкой дождливой пеленой, в унисон сердцу задрожали пальцы. Он впервые в жизни держал в руках доллары, но сомнений не было — самые настоящие американские деньги. Тысяча восемьсот баксов. Из-за таких же бумажек уж какой год строчат из пулеметов и палят из кольтов бессмертные ковбои и копы из боевиков.

Иванов с опаской огляделся — ни души! — и сунул деньги в карман. Постоял минуту и медленно двинулся к выходу из сквера, ссутулившись, загребая ногами опавшие листья. Вот сейчас его окликнут! Или сразу выстрелят? Или набросятся со страшными зазубренными ножами?..

В сквере было тихо, дождь перестал, через поредевшие кроны пробился солнечный луч. Воздух был чист и прохладен, и почему-то пахло парным молоком.

Иванов хотел представить себе, как могла попасть такая безумная, по его представлениям, сумма в урну для мусора, но почему-то в голове стали мелькать то Бежин луг, то детство Темы, то несжатая полоска...

Может, злые рэкетиры, спасаясь от погони, швырнули доллары? Может, выронила несчастная старушка по пути в аптеку за микстурой? А может, это приманка резидента иностранной разведки и сейчас щелкнет капкан?

Иванов вышел из сквера и двинулся по пустынной улице. Сначала на восток, но слепило солнце, и он повернул на запад — так добрался он до ворот какого-то заброшенного парка, и впереди его брела длинная тень с болтающимся хоботом. Он поднял руки к лицу — так и есть! — приросший противогаз.

Вот почему удивлялись прохожие. Он с трудом содрал с лица резину и изумился: как же смог он почувствовать запах парного молока? Рядом кто-то рассмеялся, и он невольно вздрогнул. Давно не слышал он такого громкого, веселого смеха. Он оглянулся: обладательница звонкого голоса махала ему рукой откуда-то из-под самого солнца. Он прищурился и рассмотрел сапоги со шпорами, сверкающую кожу седла, конскую гриву, наборную уздечку, а выше — красный жакет, а по плечам жакета рассыпаны ржавые сентябрьские волосы.

— Вы что, на лошади? — ошарашенно спросил он.

— Ага, а вы что, в противогазе? — засмеялась она и легко спрыгнула на землю. Протянула руку: — Меня зовут Марией. А лошадь — Санни, значит солнечная... Мы с ней каждое утро здесь, в парке. Тут многие верхом ездят...

Он огляделся — ни кавалькад, ни одиноких всадников.

— А я — Иванов, — сказал он наконец.

— Вы в противогазе почему ходите? Чудите или опасаетесь химической атаки?

— Не знаю, — сказал он, — а что, сейчас война?..

— Как будто пока войну нам никто не объявил... Но для чего тогда противогаз?..

— Случайно...

— Конечно, — охотно согласилась Мария. — Все в мире происходит случайно...

— Верно, предусмотреть всего нельзя. Вот я мечтал стать летчиком, в школе мне даже прозвище дали — «пилот»... Но я не стал летчиком...

— А кем? — улыбнулась она.

— Никем, — ответил он. — Я стал просто Ивановым...

— Это немало, — поощрила она его. — Фамилия известная.

Да уж! — усмехнулся он и вдруг ясно осознал небываемость происходящего. Человек не может найти в урне для мусора почти две тысячи долларов, а через пять минут познакомиться с очаровательной всадницей. Он сунул руку в карман — доллары были на месте, он строго прищурился на Марию — она и в самом деле была красива: стройна, ясноглаза, приветлива — за приветливостью чудилась возможность большего.

«А если пригласить ее в ресторан?» — подумал он, почему-то понимая, что она согласится.

«Или в театр? — размышлял он. — А может, сначала в театр, а потом в ресторан? А после на всю ночь в казино?»

И хотя он лет десять не то что в ресторане — даже в кафе не был, а в казино вообще никогда — он чувствовал, что сегодня, а может быть теперь, всегда все будет так, как захочется ему.

— Я знаю, о чем вы думаете! — прервала она молчание и добавила: — Давай на «ты»?..

— Конечно! — сказал он и спросил: — Так о чем я думал?

Она рассмеялась и потрепала лошадь по холке, та отозвалась коротким ржанием.

— Знаешь что, Иванов? — сказала Мария. — Приглашаю тебя в театр... А потом поужинаем... Согласен?

Она вскочила в седло, повторила:

— Согласен?..

Он только кивнул в ответ.

— Жду к семи у театра, не опаздывай!..

Процокали копыта, подковы высекли из мостовой оранжевые искры, и Иванов остался один у ворот незнакомого парка, держа в одной руке лупоглазую противогазовую маску, другой сжимая в кармане стодолларовые бумажки. Минуту, а может быть час, он не двигался с места, пытаясь заставить себя хоть что-то подумать о происходящем, но в голове тренькало что-то наподобие «Ай люли, ай люли — это новый танец, ай люли, ай люли — он не иностранец» — и вокруг этого треньканья было пусто и спокойно. Каракумы. Безвоздушное пространство. Глубокий космос.

— Куплю костюм! — кто-то произнес внутри Иванова голосом Иванова. — Темно-серый с искоркой. И башмаки итальянские! И галстук английский! И серебряный портсигар! Портсигар старинный, и часы старинные, с музыкой, с цепочкой... Опять начну курить — американские сигареты или кубинские сигары, самые дорогие.

— Отличная идея! — ответил Иванов тому, кто внутри него все это придумал. — И автоматически открывающийся зонтик!..

Он огляделся: где же автобусная остановка? И тут же, едва слышно шурша шинами, рядом остановился сверкающий лаком и никелем автомобиль, из него выкатился розовый бильярдный шар — в засаленных шортах, кроссовках с болтающимися шнурками, в грошовых целлулоидных очках — вылитый американский миллионер, и принялся старательно выговаривать слова:

— Ай нид ту хелп!.. Показывать ту драйв ехать сити центр... Центр... отель... басрум... обед...

— Йес, йес! — выказал Иванов знание английского. — О'кей! Ай ноу тыз роуд... Я покажу!..

И он бесцеремонно забрался в автомобиль на переднее сидение рядом с водителем, уже нисколько не сомневаясь в том, что его не вышвырнут вон.

— Гоу! Форвард! Прямо!.. Нау ту зе райт!.. Ду ю андестенд ми?..

— Гуд! Карашо! — сказал миллионер.

В пять минут домчала роскошная машина Иванова и благодарного американца до лучшей гостиницы города.

— Стоп хиа, плииз, — сказал Иванов и спросил: — Вы турист? А ю зе туэрист?

— Ноу! Нет турист! — заверил миллионер. — Я есть эксперт... Ай эм експээт! Есть знаток!

— В какой же отрасли знаток? — поинтересовался Иванов. — Банки, инвестиции, проценты, долговые тюрьмы?..

— Нет банк, нет процент, нет тюрьма! Я есть специалист по русским много частым фамилиям...

— По распространенным фамилиям?

— Йес, да точно так! Я есть профессор ономастики Джон Болл, я написывал книгу эбаут Ивановы...

— Книгу о Ивановых?

— Точно есть! Моя книга стала бестселлер, продажа вэри гуд карашо! Я приехал пополнить нью сведений... Ваш город иметь много Ивановы...

— Сейчас уже немного... Ивановы становятся редкостью.

— Эпидемия? — всполошился профессор.

— Да нет, просто ветер попутный...

— Они есть моряк?.. Уходить в плаванье?..

— Ага, в плаванье... Разбегаются кто куда. У вас в Америке Ивановых поди больше, чем здесь...

— А!.. Андестенд!.. Иммигрейшн... Утечка мозгов.

— Правильнее сказать — течка мозгов.

— Не понимайт! — сказал американец.

— Радуйтесь, что нашли самого нужного человека. Меня зовут Иванов Виктор Иванович. А отца моего звали Иванов Иван Иванович. Ду ю андестенд?

— Йес! — выпучил глаза заокеанский ученый. — Паспорт есть?

— Какие вы все-таки, капиталисты, недоверчивые, — сказал Иванов. — Документ, конечно, имеется и даже случайно при мне...

Он вынул из кармана пиджака потрепанную книжицу с чернильными следами штампов и печатей, подтверждавших всю его жизнь — и предъявил Джону.

— Луук! Смотри!

— О-о-о-о-о! — застонал американец. — Фантастик! Фамилия — не есть мелочь! Это есть индивидуальность. Нэйм из форчун. Имя — есть судьба!.. Иванов всегда Иванов. Если дать ему фамилию Фитцджеральд — он все равно останется Иванов...

— А если дать фамилию Петров? — осторожно спросил Иванов.

Профессор не услышал. Он схватил Виктора за руку и потащил за собой в гостиницу, где в мгновенье ока получил номер «люкс», не прерывая ни на секунду взволнованной речи:

— Сайенс фикшн... Писатели придумали давать заместо имен намберс... номера... Но этого не может получаться... Имя есть характер, есть судьба... Бог будет узнавать вас по вашему имени. Не родители, а Бог дает вместе с жизнью имя.

— Номера, однако, не фантасты придумали, номера давно в ходу — и у футболистов, и в тюрьмах, в общем, везде, где порядок нужен.

— Этот порядок не должен быть! — сердито сказал американец. — Номер — не есть свобода, не есть подлинный жизнь!.. Виктор — это значит победитель. А фамилия — от Ивана, Иоанна — имени древнееврейского, которое значит «Бог смилостивился, Бог помиловал». Ты знал это?

— Нет, не знал.

— В твоем имени Бог, а ты говоришь, номер...

Иванов подошел к огромному зеркалу в багетной раме и внимательно осмотрел себя. Изрядно помятый буро-коричневый костюм, рубаха не первой свежести, стоптанные башмаки с остатками шнурков, щеки, заросшие недельной щетиной, невыразительные будничные глаза... Впрочем, в глазах зеленеют тысяча восемьсот долларов... Помилованный Богом?..

— Ай вонт ту... я хотеть предложить заключить вэри выгодный договор, — сказал иностранец, добыв из холодильника бутылку водки. — Я готов платить звонкий американский мани...

— Доллары? — перебил его Иванов.

— Йес! — обрадовался быстрой понятливости русского профессор ономастики. — Доллары! Бакс!..

— За фамилию? Не зря говорят, что у вас этой валюты, как... как... в общем, куры не клюют.

— Клюют, — разочаровал его Джон Болл. — Карошо клюют... Я платить мани не за фамилию, а за каждое... воод... слово... Много слов — много долларов... Пьем за это?

— За каждое слово? — переспросил Иванов.

— Ты должен писать хистори оф е лайф...

— Историю жизни?.. Биографию, что ли?..

— Биография — это мало. Хистори оф лайф... Как ты жил, вай... почему... Как жил твой предок... Андестенд?

Я наливаю?..

— Наливай, — задумчиво сказал Иванов. — Значит, историю жизни хочешь?

— Экзактли! Точно так! — подтвердил ученый.

Они выпили и сговорились, что за десять страничек машинописного описания своей жизни Иванов Виктор Иванович получит наличными от профессора ономастики Джона Болла пять тысяч американских долларов. После опубликования труда за океаном Иванову также будет причитаться кругленькая сумма.

Водка ударила в голову.

— А за двадцать страничек?

— Тен саузенд... десять тысяч, — быстро сосчитал американец.

— А за сто пейчжес?

— Сам считай, фифти саузенд...

— Пятьдесят тысяч?!

— Йес!

Иванов огляделся: все вокруг было зеленым, в тонах нэшнл оф банк. Отовсюду на Виктора Ивановича смотрели внимательные глаза Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона и других джентльменов, проживающих на американских купюрах.

Иванов поднял рюмку: водка плескалась в ней зеленая, как ящерица.

— К завтрашнему утру напишу, — сказал он. — Или к послезавтрашнему...

Он поразмышлял и добавил:

— В общем, через неделю, не позже...

«За семь дней я ему “Войну и мир” накатаю, не десять страничек...» — запасливо подумал он.

— Я не тороплю, я быть здесь целый месяц...

На том и расстались, довольные.

В вестибюле гостиницы Иванов нашел обменный пункт валюты и, внутренне корчась от сомнений и неясной тревоги, протянул в крошечное зарешеченное окошко две стодолларовых бумажки. Два бритоголовых биндюжника, чудом умещавшиеся в крошечной каморке за окошком, долго по очереди разглядывали купюры, теребили их, сгибали, подозрительно косились на обмиравшего от страха Иванова, но все-таки высыпали перед ним целую кучу родных, потрепанных инфляцией денег. У него едва хватило карманов, чтобы рассовать по ним пачки.

От обменного пункта до выходных дверей гостиницы он шел, только теперь превращаясь из Иванова, спасшегося от дерьма благодаря надежности отечественного противогаза, в Иванова, помилованного Богом, хозяина здешней жизни, льва отелей и магазинов. Лакей у двери едва не разбил от усердия лоб, кланяясь Виктору Ивановичу:

— Заходите еще, всегда рады!.. Благодарю!..

И таксист выскочил из желтой машины, как бес из табакерки:

— Едем, шеф!

И надменная хозяйка универмага в одну секунду обернулась угодливой крашеной бабой:

— Как влитой на вас пиджачок-то, влитой!..

Без десяти минут семь он был у театра, и ранние осенние фонари сияли на носках его штиблет. Темный костюм оттенял благородную бледность лица, на кипельной, тончайшего полотна, груди цвел чудный английский галстук, карман пиджака оттопыривал кожаный бумажник, вместительный, как саквояж, и солидный, как национальный банк. Глаза Виктора Ивановича были уберегены от вредного воздействия искусственного освещения дымчатыми очками, на безымянном пальце левой руки тускло посверкивала печатка — девяносто шестая проба, чистая как спирт; соседство с трауром под ногтями придавало золоту смысл трагический, земной и душевный. В правой руке Иванов держал три розы — белую, красную, черную — Чистоту, Надежду, Закат. Что еще нужно, чтобы навсегда разбить женское сердце?

Да, бывает и на непруху пруруха.

— Где же противогаз? — засмеялась Мария, принимая Чистоту, Надежду, Закат. — Где ты сам, рыцарь химической защиты? Откуда эта позднеримская стрижка, откуда штучный французский аромат, откуда простой спортивный взгляд?..

— Я ждал тебя!.. — смешался Иванов.

— Ты готовился, идальго?! — Она взяла его под руку и увлекла в вестибюль капища. Там в холодном светящемся тумане в ожидании начала действа двигались люди — от стены к стене, с одной лестницы на другую, от одного буфета — к следующему. Здесь век отступил, и дамы волочили по паркету шлейфы сверкающих платьев, кавалеры подтягивали животы, как новобранцы на плацу, воздушные созданья на выданье цеплялись за ридикюли мам, хлопали ресницами, засыпая тушью белоснежные гипюровые груди. В вестибюле шумел ровный прибой голосов; давали Островского, и в воздухе явно ощущался запах смазных сапог, сивухи, каторги.

— Пятнадцать лет в театре не был, — сказал Иванов. — Ничего здесь не изменилось — веера, картонные носы...

— Ты не любишь театр? — спросила Мария, а прозвучало как «ты не любишь меня?»

— Люблю! — испугался он. — Еще как!..

Она взглянула ему в глаза, загадочно улыбнулась:

— Не верю ни одному твоему слову...

— Почему? — опешил он. — Я еще не говорил ничего...

— Так говори, я послушаю.

— О чем?

— Все равно, хоть о Катерине, хоть о Кабанихе...

— Знаешь, я буду историю своей жизни писать...

— Правда? Своей?..

— Конечно, правда. Американский профессор специально для этого приехал.

— Браво! Браво! — прошептала ему на ухо Мария. — А я уж испугалась, что ты со своим противогазом навсегда покончил. Молодец!

— Да нет, пойми!.. — загорячился он. — Тут все очень просто. Я — Виктор Иванович Иванов...

— Прекрасно! — опять прошептала Мария, и шепот этот, непонятно страстный и горячий, потряс его. — Тогда я — Мария Магдалина... грешница...

Резкий, как визг пилы, звонок позвал их в зал. Померкла люстра, расступился потертый бархат, и поволжское зелье Александра Николаевича Островского плеснулось со сцены.

Пыхтел крутобокий медный самовар, скрипели под грузными телами купчишек и мещан плетеные кресла, сипел на невидимой реке пароход — драма, похожая на комедию, разворачивалась на изрытых гвоздями подмостках. Иванов смотрел во все глаза, его смущало громкое урчание суфлера из раковины, и он с самого начала спектакля не мог избавиться от ощущения, что суфлер надрывается зря — по ту сторону оркестрового ущелья никто не собьется, в зал нужно подсказывать.

— Посмотри, — наклонился он к Марии, — там вовсе не актеры...

— Кто же?

— Они — подлинные... Вон чайка прилетела...

— Как же картонные носы?

— Это в зале картонные...

Она придвинулась к нему, заглянула в глаза:

— Ты что, Пигмалион?.. Оживляешь не мертвое, а умершее?

Задрапированная чем-то тонким, черным, прозрачным, едва заметно поводя обнаженными плечами, она ждала ответа — какого? — на пустячный свой вопрос.

-— Я ничего не знаю, — сказал он.

— Хорошо, — сказала она, взяла его ладонь и опустила ее на свое теплое колено. Он едва сдержался, чтобы не отдернуть руку.

— Испугался? — ласково спросила она.

Иванов промолчал, думая: является ли рука человека проводником электричества или наоборот — диэлектриком? Если второе, то почему он не может сдержать дрожи, если проводником, то отчего так спокойна Мария? Испугался?..

За Иванова ответила на сцене Устинья Наумовна:

-— Пожалуй, уж коли тебе такой апектит, найдем тебе и благородного. Какого тебе: посолидней али поподжаристей?

Мария засмеялась, а Липочка на сцене — Олимпиада Самсоновна — только махнула рукой:

— Ничего и потолще, был бы собою не мал. Конечно, лучше уж рослого, чем какого-нибудь мухортика. И пуще всего, Устинья Наумовна, чтобы не курносого, беспременно чтобы был бы брюнет; ну, понятное дело, чтоб и одет был по-журнальному...

Мария залилась еще пуще:

— Уж ты точно не курнос в своем противогазе... И брюнет жгучий...

Устинья Наумовна выдержала многообещающую паузу и произнесла с выражением:

— А есть у меня теперь жених, вот точно такой, как ты, бралиянтовая, расписываешь: и благородный, и рослый, и брюле.

Мария перестала смеяться:

— Правда, что мы знакомы с тобой полдня? Или полгода? Но мне почему-то хорошо... Пойдем отсюда?..

— Пойдем, — легко согласился он, потому что театральный яд, смешавшись с американской водкой, все сильнее разъедал его представления о реальности, и без того непрочные.

Они пошли с ней по проходу под дружные шиканья дам и кавалеров — и вот тут допустили ошибку: им пройти бы по дальнему от сцены проходу — и они благополучно оказались бы в вестибюле, а потом и под мелким дождем, загадочно сыпавшим из пропавших в ночной черноте небес. Но они выбрали ближний проход между рядами и попали в девятнадцатый век, дикое дореформенное время.

Они проходили, чуть пригнувшись, у самой оркестровой ямы, когда Липочка подбоченилась и сказала с явным осуждением:

— Ну и ну, подумать только!..

Иванов поднял голову и ответил ей:

— Подумать всем нам не помешает!..

— Не эфтот, бралиянтовая, не эфтот! — зашипела Устинья Наумовна, но было поздно. Иванов по боковой лестничке легко поднялся на сцену, протянул руку Марии, и та, радостно засмеявшись — вот она, придурь противогазная, — взлетела на подмостки — в черном, тонком, прозрачном, с Чистотой, Надеждой, Закатом в руках.

Зал ахнул.

Липочка захлопала полными ладошками, притопнула крепкой ногой — от полноты чувств — ай да благородный, да рослый! Зачем ей приказчик, зачем Лазарь Елизарыч с незабываемой фамилией Подхалюзин?

— Ах прелесть! Восхищение!.. Одно убийственно, что сабли нет!.. Странно, ей-богу!..

Липочка закрылась веером и громко прошептала в зал:

— А ну как я перед ним сконфужусь! Ах, срам какой!..

— Не бойсь! — закричал кто-то с галерки. — У нас теперь без церемоний!..

Иванов огляделся: кисейные занавески, горка с посудой, перед образами теплится огонек-с-ноготок, за цветастой занавеской кровать с перинами под потолок — в общем, прошлый век, глушь, золотые червонцы, едва отутюженные гипюровые юбки.

Он подошел к Липочке, церемонно поклонился:

— Позвольте представиться, Иванов! — И добавил со значением: — Виктор Иванович!.. А вас как звать-величать?

— Олимпиада Самсоновна, — залилась румянцем Липочка. — Вы в наших краях по делу или любопытствуете просто так?..

— Проездом. — Иванов взглянул в сторону зала, но ничего не рассмотрел: мир кончался у оркестровой ямы, а дальше была темнота, полная неясного приглушенного шелеста — наверное, шумел прибой Каспийского моря, в которое впадает великая русская река Островского — Волга.

— Вот как замечательно! — сказала Олимпиада Самсоновна и покосилась на спутницу Иванова, на ее тонкое, прозрачное, черное.

— Это Мария, знакомьтесь! — догадался Виктор Иванович. — Наездница, нигилистка!..

— Шутить изволите? — улыбнулась Липочка, подошла к Марии, дотронулась до ее платья. — Прелесть!.. Вы к нам из Парижа?.. Там нынче черное носят? Кружевное?

— Она вам сейчас все расскажет. — Иванов озирался в поисках двери.

— Расскажу, расскажу! — засмеялась Мария и увлекла Липочку в дальний угол комнаты, помахав рукой Виктору.

Прибой за оркестровой ямой усилился. Всего пять минут назад все было ясно: Олимпиада Самсоновна выйдет за Подхалюзина, папочка-скряга Самсон Силыч Большов отпишет на зятька свое добро, а тот закатит тестя в долговую яму. В общем, мир капитала в какой уж раз покажет свою звериную суть. Но вывалился из тьмы молодец, по обличью благородный, с достатком. С ним девица — голые плечи, кожа да кости, не иначе как из варьете. И все сразу спуталось, лишилось логики, если она вообще где-нибудь есть. А если выскочит теперь Липочка за новоявленного? Если Самсон Силыч взашей погонит со двора скользкого приказчика, убережет себя? Если не предстанет перед православным народом дураком в засаленной жилетке? Если дочь не предаст отца, если Лазарю Елизарычу не доведется облапошить благодетеля, если Устинья Наумовна, пчела жизни, не соберет хмельного медка с бумажных цветов провинциальной свадьбы — что тогда будет, что? Ужас! Эдак и Волга вспять потечет, и «Аврора» через полвека не пальнет, не грянут оземь двухголовые кремлевские птахи, и не приметься душить народишко дерьмом и несчастьями коварная невезуха-непруха. Оборони бог от этого! Защити от неразберихи, всего, что нам непонятно!

Наконец появились на подмостках Большов — пузатый, огромный, мироед, одним словом, и Подхалюзин — лысоватый, согнутый — шакалье племя.

Большов поучал приказчика:

— Храбростью-то никого не удивишь, а лучше тихим-то манером дельце обделать.

Подхалюзин кивал, забегал вперед хозяина и кланялся пуще, говорил с подобострастием:

— Мне, Самсон Силыч, окромя вашего спокойствия, ничего не нужно-с. Как жимши у вас с малолетства и видемши все ваши благодеяния: можно сказать, мальчишкой взят-с лавки подметать, следовательно, должен я чувствовать...

Мария в дальнем углу комнаты над чем-то звонко рассмеялась. Липочка за ней. Захохотала и сваха Устинья Наумовна. Видать, веселы секреты тонкого, прозрачного, черного.

Самсон Силыч округлил глаза: степенство купеческого дома в сурьезности, в арифметическом, можно сказать, осмыслении, а смех — занятие пустое, вредное. Смех, как и плач, не от ума идет, а от оболочки телесной: покажи дуре мизинец — хохочет, разрежь луковицу — она уж рыдает.

Дом купца — сундук кованый, надежный, не пустой. А смех — тля, любой дом подточит.

— Кто таков? — строго спросил Самсон Силыч у Иванова, шагнувшего ему навстречу.

— Ваше степенство! То есть ваше благородие!.. Или ваше превосходительство?! — принялся петлять Иванов. — Вы должны уделить мне пару минут, вашего же благополучия ради!.. Беспременно должны-с!

— А вы, молодой человек, — обратился Виктор Иванович к пораженному его присутствием Подхалюзину, — пошепчитесь пока с дамами, сделайте милость.

Молодой человек, изрядно траченный годами и суровой прикащицкой действительностью, открыл было рот, чтобы ответить достойно, но окинул взглядом непрошеного гостя и

молча попятился в сторону смеющихся женщин. Там, увидев Марию в ее тонком, прозрачном, черном, упал на стул, божась про себя, потея.

— Ну! — произнес Самсон Силыч. — Денег клянчить пожаловал?

— Никак нет! — может быть, именно на этом языке нужно разговаривать с купцами, подумал Иванов и вытянулся во фрунт. — Деньги мне ваши ни к чему! Держите их при себе... Об этом, собственно, и речь...

Иванов усилил душевные интонации и вывалил на голову бедного купца все, что замышлялось против Большова в этой пьесе: и как приказчик ему яму готовит, и как дочь родная, Олимпиада Самсоновна, пальцем не пошевелит, чтобы вызволить отца...

-— Брешешь, не иначе? — спросил купец, но Иванов не стал рассыпать перед ним остроумных аргументов, по голосу — тяжелому, сумрачному — понял, что Самсон Силыч не одну бессонную ночь провел, терзаясь относительно моральных качеств приказчика.

— Как человека распознать? — вздохнул он. — Лазарь-то, можно сказать, вскормлен мною... Ни в ком благодарности теперь нет, вот они, нравы современные!..

— Вот-вот! — поддакнул Иванов.

— А не верится, однако, чтобы человек смог в такую низость впасть... Неужели?..

Купец уставился на Виктора Ивановича с подозрением: в самом деле, что за гусь такой объявился? Не зван, не прошен, без имени-отчества, а норовит уж в самое нутро забраться...

Иванов поклонился:

— Лэт ми интродьюс майселф... позвольте представиться: путешественник Виктор Иванов...

— Иванович по батюшке? — моментально смягчился купец, введенный в заблуждение строго английской речью. — Из далеких ли краев? Мы тоже интересуемся, не одними пирогами живем...

— Издалека, издалека... Есть дивная земля, откуда — в какую сторону ни поезжай — сорок дней пути...

— Америка? Слыхали! — кивнул понимающе Самсон Силыч. — За морем, за океаном страна... Хорошие там капиталы люди наживают!..

— Точно-с, точно-с! — поддержал Иванов нарождающуюся купеческую приязнь. — Однако и здесь, кто поумней, хороший оборот делают...

— Это конечно! — расправил плечи купец. — Хоть и балованный у нас народишко — один пропивается до креста, другой ворует без оглядки, третий — мздоимец безмерный, а все одно корень у нас ухватистый. Что нам Америка! Что ихние индейцы и жиды! Пить и бунтовать бросим, прищучим писателей и студентов — и так поднимемся, так загремим!.. Так повернемся!.. Не медные самовары будем на столы ставить — золотые!..

— При ваших способностях — это раз плюнуть! — ввернул Иванов.

— Вижу — понятие жизненное ты имеешь, хотя и путешественник, можно сказать, бродячего сословия человек, — совсем задушевно заговорил Большов. — Понятие умственное поважнее наследства мильенного будет, не каждому дается... Один всю жизнь бьется, в университетах мается, а дурак дураком, другой только родился, а уж знает, кому милостыню подать, кому поклониться, где можно сесть, а где и постоять не зазорно...

— В общем, кому — пруха, кому — невезуха, — пробормотал Виктор.

— Само собой, — расслышал что-то свое Большов. — Вот если бы ты ко мне в дело пошел?..

Иванов не нашел ответа.

Купец понизил голос, оглянулся на смеющихся женщин, одеревеневшего приказчика:

— Видать, не жулик ты, не то что Лазарь... Давно распознал я нутро его змеиное, да сомневался... Ты мне глаза открыл!.. Пойдешь в дело? Бросай свою недокормленную, вертлявую; Олимпиада — чем тебе не невеста? И по-французски говорить обучена, и фигурой хороша, и сто тысяч за ней дам!.. Двести дам!..

— Ассигнациями? — вспомнил Иванов хрестоматию русской литературы за девятый класс.

— Золотом дам! — прохрипел купец. — Оставайся, мильенщиком будешь!..

— Что-то многовато мне сегодня предложений поступило, — сказал Иванов. — Спасибо, конечно. Ценю. Но нам пора. Правда, Мария?

— Правда! — откликнулась она. — Погостили и будет...

За оркестровой пропастью нарастало ворчание: не над чем было смеяться, не над чем переживать.

— А паче всего боюсь запить от богатства. Я плохой, когда пью, — сказал Иванов. — Начальство ругаю, правительство, тем более что есть за что. Крепостное-то право до сих пор не отменили... Так что за язык свой в каземат могу загреметь, определят политкаторжанином в два счета. У нас тоже правительство такое, что с души воротит, и за лишнее слово так могут закатать, что всю оставшуюся жизнь будешь кататься, но

там у нас родина... Какая-никакая, а родина... И к моде нашей я привык, нравится мне тонкое, прозрачное, черное...

— Неволить не буду!..

— Пора, пора, Мария!

Иванов взял ее за руку, потянул за собой. Хлопнула легкая фанерная дверь, и они оказались в лабиринте портьер, занавесей, колеблющихся холстов с гуашевыми рощами, акварельными небесами, наклеенными галактиками.

— Как пыльно здесь! — сказала Мария, выпутавшись из очередной занавеси.

— Век такой пыльный был, путаный, — ответил Иванов, выдравшись наконец из закулисной темноты девятнадцатого столетия в холодный электрический коридор современности.

— Как все здесь прямо, только непонятно, в какую сторону идти, — сказала Мария. — Не заблудимся?..

Иванов пожал плечами:

— Направо пойдем?

— Не все ли равно?

Пошли налево. Пустой, узкий, застланный затертой ковровой дорожкой коридор казался бесконечным.

— Мне сегодня везет, — решил ободрить он приунывшую в неуютном коридоре Марию. — Только что предлагали в жены купеческую дочь, и двести тысяч золотом в придачу. Каково?

— Надо было соглашаться...

— Я колебался. Нравы незнакомы...

— Нравы — это то, что никогда не меняется. Период полураспада нравов больше, чем период полураспада урана... Дают — бери, бьют — беги!..

— Ага! — согласился Иванов. — Не в свои сани не садись! Бери больше — кидай дальше! Куй железо, не отходя от кассы!..

Коридор уперся в тяжелую, мореного дуба, дверь с массивным чугунным кольцом вместо ручки.

— За такой дверью хорошо хранить сундуки с золотом, — сказала Мария.

— Или томить под замком красавицу, — добавил Иванов.

И не удержался, спросил: — Ты замужем?..

Мария рассмеялась, потянула чугунное кольцо на себя:

— Проверим, что там?

Дверь подалась, завизжав петлями, за дверью открылась огромная сумрачная комната, грязная, захламленная. Под потолком едва угадывалась пыльная желтая лампочка, вторая лампочка, прикрытая металлическим колпаком, раскачивалась на скрученном проводе почти у самого пола; в светлом пятне под ней ползал человек, лохматый, черный, дикий.

— Привидение?.. — прижалась к Виктору Мария.

— Да, художник, — ответил он. — Декорации малюет...

На неопрятной зеленой холстине, брошенной прямо на пол, художник выводил со старанием желтые, бурые, черные кляксы.

— Добрый вечер! — поздоровалась Мария. — Мы заблудились...

Лохматый поднял голову, строго посмотрел на вошедших, молвил:

— Здесь болото...

— Понятно, — подключился к разговору Иванов. — Тина, застой, деградация... Так повсюду...

— Точно! — блеснул из-под век мутными отраженными лампочками художник. — Я говорил, что гуашь — не краска, а краситель, но меня никто не послушал... Разве гуашь способна передать многоцветье болота, его глубину, холод, обреченность? Гуашь должна сверкать на плакате рядом с начищенной медью оркестров! Гуашь — бабочка-однодневка, она осыпается, как поздняя листва, настоящий художник отряхивает ее с себя, как летучую пыль!.. Сумрак болота, его вековое колдовство, философию распада может отобразить только масло! Только масло!.. Гуашь, акварель — это что? Что, я вас спрашиваю?..

— Так вы здесь болото рисуете? — спросила Мария.

— Рисую?! — возопил художник. — Теперь это так называется! А между тем рисуют в Академии художеств, в лучшем случае — в детском саду. В театре творят, создают!

— Извините нас, — сказала Мария, — нам бы выбраться отсюда... Вкус гуаши, акварели, масла — только для истинных гурманов. Мы не из них...

— Вот-вот! — сказал художник. — Все норовят убраться подальше от проблем подлинного искусства! Но искусство отомстит!.. Рано или поздно оно разрушит мир, который отвергает его...

— Кажется, уже разрушило, — прервал Иванов словоохотливого художника. — Скоро мы все утонем в нарисованных болотах...

— Именно! — подтвердил художник. — Но пока мы не утонули, может быть, подкрепим себя чистым, как слеза, портвейном?..

— Портвейном? — переспросила Мария. — Бормотухой?

— Безусловно! Утонченные эстеты отвергают водку, напиток черни. Подлинные философы презирают коньяк, которым, как чернилами, скрепляют свои сговоры грубые материалисты. Поэты ненавидят шампанское, поверхностную ши-

пучку; они любят одеколон. Актеры в ужасе теряют дар речи, забывают роли при одном только упоминании ликеров, беззаветно любя крепленые вина. Живописцы с удовольствием употребляют херес, мадеру, салхино, но ни в коем случае не предлагайте им перцовку или зубровку. Эту огненную воду сонных рыболовов и угрюмых охотников пьют только те, кто пытается собственную судьбу изловить мудреными снастями. Все, кроме дураков и выскочек, отдают должное портвейну, фруктовым и ягодным винам, которые дешевы, а значит, и демократичны. Портвейн, солнцедар, белое крепкое и, конечно, розовое крепкое, яблочное, черносмородиновое, вермут — вот нектар, питающий размышления, вот живая кровь, не дающая умереть дружеской беседе, вот клей, прилепляющий души друг к другу...

— Кругом одни теоретики, — перебил художника нетерпеливый Иванов, отчаявшийся переждать алкогольный гимн. — Может, все-таки перейдем к практике?

— В самом деле! — поддержала его Мария, явно очарованная винной речью. — Где емкость?..

— Момент! — воскликнул певец мальвазии, метнулся по свежевыкрашенному болоту в темноту дальнего угла и выволок оттуда бутыль с косо наклеенной фиолетовой этикеткой. Из того же мрачного угла появились два стула и табурет; на табурете сошлись побитыми эмалированными боками тяжелые кружки.

— Присаживайтесь! — пригласил художник и в одно мгновенье наполнил кружки до краев. Смачно приложился к своей, перевел дыхание, представился:

— Художник!

— Очень приятно! — протянула ему руку Мария.

Он церемонно приложился к руке, оставив на ней портвейновый след.

— Иванов! — также протянул ему руку Виктор Иванович.

— Вот и познакомились! — обрадовался художник и вдруг расхохотался. — Ну я клоун! Шут гороховый! — выкрикивал он сквозь смех. — Ведь я же в ведьмином парике! Пульверизатором работал, подумал: не перемазаться бы с ног до головы! И надел парик... Сейчас, сейчас!..

Он стянул с головы парик, под которым оказались все те же черные ведьмины лохмы.

— У вас на голове два парика? — спросила, едва не подавившись вином, Мария.

— Один. Он из моих волос сделан, вот и осталось сходство...

— Поразительное! — сказал Иванов.

— Если присмотреться — люди похожи на многое из того, что есть на земле, — сказал художник. — А уж на парики из собственных волос и другие вещи, которые можно из нас сделать, мы похожи тем более!..

— Что же можно из нас сделать? — осведомилась Мария. — Абажуры? Хозяйственное мыло?

-— Веревки свить? — дополнил Иванов.

— Все можно, — ответил художник. — Человек — отличное сырье. Непревзойденная глина... Поэтому он и есть венец творения — в любую секунду может поменять и суть, и цвет...

— Глубокая мысль!.. — неуверенно сказал Иванов. — Мы бесцветны, безвкусны... невкусны... пусты...

— Есть три состояния материи, — вспомнила Мария, — твердое, жидкое, газообразное... В человеке объединены все три...

— Она — материалистка! — сказал Иванов, чувствуя, как портвейн наполняет каждую клетку мозга ясным пониманием смысла жизни. — Она неразлучна с Дарвином, законспектировала всего Маркса-Энгельса, а заодно Мичурина, Кафку, Фенимора Купера...

— Купера зовут Эллисом, а никак не Фенимором, — поправил его художник.

— Может быть, — согласился Иванов. — Тогда беру Купера назад. Имя — душа предмета, Эллис не может быть мичуринцем или тимуровцем. Разве что тамерлановцем?..

— Нет, я не материалистка, отнюдь! — допила свою кружку Мария. — Я тонкая, духовно наполненная женщина! Я красива, умна...

— Верно! Верно! — художник извлек из мрака еще одну бутыль, ловко избавился от пробки, разлил вино с тщательностью аптекаря. — Только не говорите об этом часто. Вы же знаете, красивой быть нескромно — это шокирует, умной опасно — это раздражает, тем более в нашей свободной стране, где каждый волен быть дураком сколько его душе угодно. А уж духовная наполненность — просто преступление. Кажется, даже закон такой вышел или вот-вот выйдет...

— Странный у нас разговор, — вставил слово Иванов, — ни о чем. — С пятого на десятое...

— Вот! — закричала Мария. — Он выдал себя, он поклоняется логике, а она чужда человеческой природе.

— Мышление ассоциативно, как абсурд...

-— Мир и есть абсурд, — заключил художник. — Настоящее болото неотличимо от нарисованного.

— Неотличимо! — сказал Иванов, стараясь удержаться за непрочную соломинку разговора, чтобы окончательно не утонуть в сладкой осенней крови портвейна. — Все вокруг на-

рисованное, тряпичное, фанерное, но кусается как живое... зубами клацает.

— Хотите, я ваши портреты набросаю? — спросил художник. — Отличным мягким карандашом? На финской бумаге?.. А?

— На финской? Хочу! — сказала Мария.

— Нас вместе! На один лист! — Иванов придвинулся к Марии, она, хохотнув, склонила голову ему на плечо, и художник принялся за дело. Он забрался в самую трясину и щурился оттуда — снайпер театра и жизни. Карандаш он держал как скальпель и с остервенением полосовал им по листу бумаги.

— Так-так! Нет, не так! Точно... Не точно!.. — приговаривал он. — Иногда я чувствую себя акушером, помогающим бумаге рожать.

— Посмотрим, какие детишки появляются на свет при вашем вмешательстве, — сказала Мария.

Художник еще минут пять терзал бумагу и ,наконец, вышел на сушу:

— Вот!

Мария посмотрела, ахнула:

— До чего похоже!.. Не ожидала! Как будто в зеркало гляжу!

Иванов взглянул на лист и тоже изумился: Мария на рисунке нисколько не походила на себя, даже отдаленного сходства не было, зато он на бумаге получился именно таким, каким привык себя представлять. Болотный художник — кто бы мог подумать! — сумел подметить в Иванове что-то такое, что и делало его Ивановым, но что?

— А вот ты, милый мой кавалер, — сказала Мария, — совершенно на себя не похож.

— И я уверен, что на рисунке вовсе не ты, неужели не видишь? — ответил Иванов. — У тебя что-то со зрением. Может, свет неверно падает?..

— Со светом все в порядке, — заметил художник. — Естественное освещение болот и чащ...

— Ча-ща — пиши через я, — сказала Мария.

— Через а, — поправил Виктор Иванович.

— Все равно не похож! Нисколько! Ты — хищник жизни, спокойный беркут небес, убийца сусликов и женщин, а здесь ты миротворец, вегетарианец, кандидат филологических наук. Не мед, но яд должны источать твои уста...

Художник хрипло расхохотался и, перепрыгивая с кочки на кочку, двинулся через самую черную топь к винным закромам. Иванов подумал, что все они сегодня утонут здесь, и сказал:

— Если комбинация из зубной боли, бессонницы и кислых воспоминаний — это ты, то я готов признать твое сходство с этим портретом.

— Ты упрям! — сказала Мария. — И нетрезв. Посмотри на едва заметные горькие линии на моем лбу, на четкий овал лица... Как переданы выпавшие на мою долю ранние страдания...

Она с нежностью дотронулась до портретной щеки Иванова, провела ладонью по бумаге, произнесла преувеличенно твердо:

— Я просто влюбилась в этот рисунок...

От удивления Иванов почти протрезвел:

— Но ты показываешь на мой портрет!.. Ты изображена слева...

Мария подняла на него портвейновые глаза:

— Боже! Через запотевшие стекла своего противогаза ты не можешь отличить мужчину от женщины!.. Я нарисована справа!

— Нет, слева!

— Справа!

Художник с молодецкой натугой вырвал из очередной бутылки пластмассовую пробку, как кольцо из гранаты, проговорил размеренно, как радиосказочник:

— Даже посреди нашего мрачного болота я сразу понял, что вы — близнецы. Так что не дурачьте меня, не спорьте!

— Близнецы?

— Будь вы даже в масках, я распознал бы вас за минуту по одинаковой походке, даже по тому, с каким уважением вы поднимаете грязные кружки... Вы однояйцевые?..

— Что за бред?! — сказал Иванов и предположил: — Может, мы одноклеточные?

Мария даже не улыбнулась неудачной шутке.

— Это серьезно! — сказала она. — Родственники повсюду!.. Нельзя прислониться к мужику, чтобы не ошпариться кипятком инцеста; все люди при ближайшем рассмотрении оказываются братьями, сестрами, отцами и детьми; Эдипы заполнили города и села; кровосмешение — пряный коктейль всех времен и народов!..

— Я у мамы — единственный ребенок, — заверил Иванов.

Она как будто не расслышала:

— Из века в век степень родства повышается. Мы перемешиваемся и скоро станем все на одно лицо.

— Может, это хорошо? — спросил хозяин нарисованного болота.

Мария строго посмотрела на него:

Чем отчетливее наше всеобщее родство, тем неотвратимее вырождение... Одинаковые лица, неотличимые мысли...

— Может быть, есть резон в унификации? — спросил художник. — Она не так плохо зарекомендовала себя в веках.

— И это говорит творец! — всплеснула руками Мария.

— Даже религия — унификация,— ответил он.

— Религия — это вера, — сказал Иванов. — Закон нас принижает, религия наоборот...

— Златоуст! Златоуст среди нас! — захлопала в ладоши Мария.

— Мы не должны выродиться! — продолжал Виктор Иванович.

— До тех пор... пока есть портвейн, — перебил его художник. — Вино — здоровая кровь земли. Пьяный — сугубо индивидуален, он легок как перо. Трезвый человек — опасен, угрюм...

В это мгновенье с грохотом распахнулась дверь и в освещенном проеме встала Олимпиада Самсоновна, купеческая дочь на выданье, уперла кулаки в крутые бока:

— Пьете, собаки?! Без меня?

— Отыграли, Липочка? — участливо спросил художник.

— Все! Разогнулись кое-как. Последний Островский в этом сезоне. Да еще с такой хохмой!

— Опять Подхалюзин в оркестровую яму упал?

— Лучше. Вот эти чудаки-иудята на сцену вывалились, — она показала на Марию и Виктора. — Я поначалу думала, что нас в клочья разорвут, но обошлось... А вас Виктором зовут?..

— Точно.

— Очень приятно!

Липочка легко преодолела болото, протянула Иванову руку. Он подержал в своей ладони ее теплую, сухую — июньскую — ладошку и тоже сказал:

— Очень приятно! — И добавил: — Хотите выпить? — и отдал ей свой стакан.

Она выпила, улыбнулась:

— Вы так похожи с Марией!.. Близнецы?..

— Вы сговорились, да?! — закричал Иванов. Ему страшно показалось превратиться из богатого кавалера очаровательной женщины в ее нудного родного брата. — Разыгрываете, да? — с надеждой обратился он к художнику.

Тот молча пожал плечами: чего тут говорить, если все понятно с первого взгляда?

Мария произнесла задумчиво:

— Я в детском доме воспитывалась... В городе Бузулуке... Говорят, что меня нашли в купе мягкого вагона скорого поезда. Мне не было тогда и трех лет. Куда и откуда и с кем я ехала в этом поезде?..

-— Бедненькая! — посочувствовала Липочка. — И ничегоничегошеньки не помнишь?

Мария улыбнулась:

— Помню... Очень смутно... Как будто видела это давным-давно во сне. Может, и правда во сне?

— Чего помнишь-то? — не терпелось Липочке.

— Человека помню бородатого, огромного... Он сидел в купе, уперевшись локтями в стол, и время от времени пил прямо из горлышка бутылки. И кажется, лил слезы...

— А мы пьем из стакана, — напомнил художник, — поэтому у нас нет причин плакать...

— Когда меня одну обнаружили в купе, — продолжила Мария, — то при мне были два здоровенных чемодана, совершенно пустых. А на столе лежала чудная фотография, на которой была я, но почему-то наряженная в мальчишеский костюм. На мне были отутюженные серые брючки и такой же пиджачок, и еще белая рубашечка, и черный галстук-бантик, и черные начищенные башмаки... Прямо-таки крошечный франт! Сама же фотография была только половиной большой фотокарточки... Что было на другой половине? Кто был?

— Я был, — тихо сказал Иванов, но все его расслышали, повернули к нему любопытные лица, разгоряченные болотным портвейном. — Вернее — ты была! Потому что на твоей половине карточки — я!

Ну вот, прозрение. Таинственный полумрак над театральными топями как будто сгустился, кто-то под далеким потолком тяжело вздохнул — и стало неуютно, тихо, страшно.

— У моей матери, — продолжал Виктор Иванов, — до самой ее смерти на тумбочке перед кроватью стояла фотография — половинка фотографии — на которой был я, но почему-то на мне была отутюженная серая юбочка, белая рубашечка, бант на голове, а на ногах крошечные туфельки — прямо-таки куколка-пупс... Я сто раз спрашивал у матери: почему нарядили меня девчонкой?..

— Что она отвечала? — прошептала Мария.

— Ничего...

— Вот так драма! — всплеснула руками Липочка. — Настоящее мексиканское кино!

— Выходит, я тоже Иванова?! — сказала Мария. — И тоже Ивановна?.. Но что же случилось? Почему мы поврозь?..

— На то и тайны, чтобы не каждую можно было разгадать, — сказал художник.

— В детстве мать говорила, что отец был летчиком, погиб, — сказал Иванов. — Потом, когда мне было семнадцать,

призналась: отец бросил нас. Кажется, он жив... Раза два в году на имя матери приходят открытки с поздравлениями к подходящему празднику — без подписи, без обратного адреса...

— Театр! — торжественно произнес пьяный художник. — Небо здесь гуашевое и осыпается, как синька, снег — чистая вата и воспламеняется от любой искры, слезы — глицериновые, а глицерин — лучшее слабительное, любовь — публичное притворство, смерть — первая примерка гроба, но может быть только в театре, где мешковина притворяется бархатом, лицедеи — героями, а вымысел — правдой, жизнь перестает быть банальностью? Здесь возможно все.

— Что возможно? — не понял его Иванов.

— Ничего не возможно! — вдруг рассвирепел художник. — Все бред! Неужели непонятно?! Жрем, пьем, размножаемся, помираем... А на самом деле только бред!..

Он замолчал на полуслове, опустился на пол, принялся тереть кулаками глаза, всхлипывать. Но слез не было.

— Дураки мы все! — выговорил с натугой сквозь всхлипывания. — Тоже мне, родня! Сиамские близнецы! «Одной судьбы двужалая стрела!..» Гага с Тегой! Иван да Марья!.. Лучше бы мы все были друг другу чужими, так враждовать легче. Родство — обуза... А мы ведь зубами готовы рвать все, что хоть чуть-чуть напоминает нам нас самих. Нет страшнее врагов, чем братья и сестры. Вспомните хотя бы милых братцев Каина и Авеля! А Клеопатру, которая оценила голову брата в трон?.. Каждый враг всему миру, а особенно своей родне!..

— Вот это да! — непонятно сказала Мария Ивановна Иванова, откликнувшись на истерику художника, предложила:

— Пора на воздух!..

— Пора, конечно, пора! — поддержала ее Липочка. — Пока мы окончательно не отравились смрадом болот...

Они поднялись и нетвердо двинулись к выходу. Летучие зеленые огоньки трясин освещали их трудный путь.

— Я здесь лягу, — сказал художник, — на сырых мхах. Здесь мое место, здесь отчизна...

Он подгреб под себя серую заскорузлую холстину, свернулся на ней, шумно вздохнул и затих, философ, живописец, певец трясин.

— Не худших теряем, — сказала Мария, и они оказались под ночным дождем.

— Куда теперь? — неясная надежда прозвучала в опечаленном вдруг голосе Липочки. — Я в общаге обретаюсь...

— Можно ко мне, — пригласил Иванов. — Да и сестрице не мешает узнать, где братец живет.

— Не мешает, — откликнулась Мария. — Но уже, кажется, полночь.

— Да! — ужаснулась Липочка. — Это рано или поздно?

— Еще один день прошел, — сказала Мария.

— Еще один день настал, — сказал Иванов.

— Грустно все-таки, не знаю, почему, — опять опечалилась Липочка.

— Один день выпал удачный, — продолжил Иванов, — может, и дальше повезет?..

— Пруха пошла, братец? — спросила Мария, пристально посмотрев на него.

— Откуда ты знаешь?

Она не ответила, обняла его и поцеловала — в одну щеку, другую и в губы — не по-сестрински, не по-братски.

— А можно мне? — спросила купеческая дочь и, не дожидаясь ответа, легко отодвинула Марию и тоже поцеловала Виктора, но жарче, дольше, чем Мария. Иванов ощутил у себя во рту ее подвижный, влажный язык и чуть не задохнулся, подумал: "Вот уж действительно наутилус!"

— Ну что, идем? — нетерпеливо потянула его за рукав Мария.

Они пошли. На одной руке у него висела Липочка, красавица, наследница волжских капиталов, на другой — обретенная сестра, или не сестра все-таки?

"Что же будет дальше? — вертелось в голове у Иванова. Надолго ли отступило дерьмо или сгинуло совсем? Или не отступило вовсе?.."

Он осторожно провел Марию и Липочку по темному подъезду своего дома, опасаясь вляпаться, теперь уже сразу втроем, в предательскую коровью лепешку, или в появившиеся таинственным образом конские яблоки, или в банальную блевотину, но все обошлось благополучно. Даже драной рыжей кошки не было видно.

Липочка, войдя в квартиру, огляделась, сказала:

— Здесь мило, только запах странный... Лаванда, да?

— Запах юности — недельный аромат нестиранных носков, — заметила Мария.

Они посидели за кухонным столом. Вина не было, чая тоже. Помолчали, посмотрели друг другу в глаза.

— Странно, — сказал Иванов.

— Ничего особенного, — сказала Липочка. — Встретились люди, разве так не бывает?

Мария нашла на подоконнике заскорузлый, сухой и твердый, как прошлогодняя вобла, окурок, с трудом раскурила его.

Спросила:

— Ты жулик или писатель?..

Иванов покачал головой:

— Я еще утром сказал тебе — я никто.

— А... Значит, все взаправду...

Они еще немного помолчали, нашелся второй окурок.

Ночь кончалась, все было сказано.

— Где та самая фотография? — спросила Мария.

Иванов покопался в картонном ящике из-под макарон, где образовался у него — так уж сложилось исторически — архив: справки, метрики, похвальные листы, фотографии, квитанции об уплате за газ... Он извлек половинку давнишней фотографии и протянул Марии.

— Знаешь, у меня ни в одном глазу. А ведь я пил с утра до полуночи...

— Теперь другой день, — ответила она, вглядываясь в карточку, — совсем другой.

— Может, близнецы-братья выручат? — предположил он и отправился к соседям.

— Сдается мне, что по близнецам перебор, да и по выпивке тоже, — сказала купеческая дочь, не в силах справиться с позевотой. — Нет ли здесь раскладушки?..

Партийные близнецы Витек и Вовчик, коротающие длинные ночи в беседах о жизни, войне и мире, и в самом деле выручили.

— Если человек пришел ко мне просить водку, я понимаю: он так же, как и я, удручен темнотой и одиночеством, — сказал Витек. — Не в забвении он нуждается — в понимании. На дворе стоит не беспросветная ночь, но беспросветный век. Мы глушим водкой не себя — черноту вокруг нас...

Вовчик добавил:

— Водка — не жидкость, не продукт, не химия презренная. В бутылки загнаны мы сами. Да, да, подлинные мы — там, за зеленым стеклом, под злыми металлическими пробками. Не утешения, не облегчения мы ищем — самих себя!

— Дерзай! — Он дал Иванову бутылку без наклейки, заткнутую куском хлебного мякиша. — Это синька, убойная утешительница, лучшее средство от бессонницы и тараканов.

— Когда уж солнце взойдет? — спросил Витек. — Как будто вечная ночь настала?..

Иванов ничего не сказал бледным, лишенным ультрафиолетовых лучей соседям, вернулся в свою квартиру. Липочка, не обнаружив раскладушки, сладко спала на кровати Виктора, укрывшись стеганым одеялом.

Мария объяснила:

— Она пробовала на диване уснуть, но там ее едва не растерзали сторожевые пружины. В итоге она решила, что мы все уместимся на этой широкой кровати. По-братски...

— Выпьем самопалу? — предложил Виктор и разлил самодельную братскую по мутным стаканам.

Мария пригубила, подняла двумя пальцами со стола старую фотографию, сказала:

— Очень милая девчушка сфотографирована, но это не я... отнюдь... Моя половина карточки цветная, а эта серо-белая, любительская. Нет, это не я...

Иванов с натугой допил до дна свой стакан, слезы навернулись на глаза, перехватило дыхание. Никогда так тяжело не шла водка. Он с нескрываемым любопытством взглянул на Марию. В самом деле, никакого сходства! Что там нагородил художник, придавленный лохматым париком?! Где его провокационный рисунок? Вот он, кусок выцветших обоев. Ну разве похожи они с Марией? Он — достоинство, доброта, она — нежность, легкость, верность. Как мог он поверить болотному живописцу?

Мария прислонила карточку к стакану с водкой, приложила свою ладонь — прохладную — к горячему лбу Виктора. Сказала:

— Не думай ни о чем, не сдирай вместе с противогазом кожу. Пойдем спать.

-— Конечно, конечно... ложись... Я пару-тройку страничек набросаю для американца... пока пруха, пока везуха...

Мария поднялась, потянулась в своем тонком, прозрачном, черном, повернулась на носках, словно танцуя, взглянула на Иванова насмешливо и отправилась к кровати, где Липочку и во сне не покидали кошмары: приказчики, свахи, векселя, театральная общага, комплексные обеды...

Иванов вытащил из архивной макаронной коробки толстенную тетрадь в ледериновой обложке; купил ее некогда, чтобы записывать коварные английские слова, заучивать которые он взялся было на курсах иностранных языков, да охладел быстро. В тетради только на первой страничке были зарубежные чернильные «этейблы», «эмэпы» и «элэмпы», а остальная площадь была белоснежной клетчатой тундрой. Он по достоинству оценил свободное пространство: было где развернуться не то что биографу, но и романисту — выписать скрупулезно характер, оживить образ, намертво затянуть узлы конфликта и мастерски преподнести развязку — неожиданную, яркую, щемящую.

«Американцы, конечно, хорошие спецы, — подумал он, — и наука, и бизнес у них хоть куда! Но чисто житейски — они шланги, готовы платить тысячи за какую-то автобиографию. Наш человек и за десятку напишет целую повесть о себе. Чего-чего, а о себе сочинять мы мастаки!..»

Иванов провел ладонью по чистому листу, словно сгоняя с бумаги тень английских слов. Достал из того же картонного ящика шариковую ручку, написал крупно:

«Автобиография». Не задумываясь ни на секунду продолжил:

«Я, Иванов Виктор Иванович, родился в...»

— Виктор, помоги, пожалуйста! — позвала его Мария с просторов кровати, как с необитаемого острова.

Он с опаской взглянул на нее: что-то не ладилось с тонким, прозрачным и черным — то ли не расстегивалось, то ли не отпускало на волю. Но того, что уже было расстегнуто и освобождено от пут, хватило, чтобы Иванов забыл о легком долларовом счастье. Автобиографическая шариковая ручка выпала из его пальцев, ноги сами двинулись — не пошли, а поползли — к Марии.

— Вот здесь застежка упрямая! — засмеялась она, и он поцеловал ее. Тонкое, прозрачное, черное легко соскользнуло к ее ногам.

Тяжело вздохнула во сне Липочка, должно быть, привиделся новый жених — и брюле, и не мухортик, и одет по-журнальному.

— ...не близнецы? — все еще с опаской прошептал Иванов.

— Не братья! — Мария потянула его на кровать, потому что земля все равно уходила из-под ног, землю дыбила, переворачивала синька-самопал, водка-сводница. И казалось, что любовь.

Купеческая дочь опять вздохнула, прошептала что-то невнятное и открыла глаза. Спросила удивленно спросонья:

— Вы что, любовью занимаетесь?

— Конечно!.. — прошептала Мария.

— Да! — закричала вместо Иванова синька-самопал и отбросила Виктора взрывной волной от широкой кровати.

Липочка и Мария рассмеялись негромко, а отсмеявшись, пожелали друг другу спокойной ночи, не забыли об Иванове:

— День хороший был, странный, — сказала Липочка. — Спектакль тоже получился странный, может, и ночь не подведет, а?.. Может, вообще теперь все хорошо станет, а?..

— Утро уже, будем спать, — зевнула Мария. — Ты идешь, Иванов?

— Я посижу еще, помаракую, — испугался он, поднял с пола ручку. Развинтил хлипкий пластмассовый корпус, посмотрел на просвет прозрачную ампулку: чернильной пасты было до краев, на сто тысяч долларов. Он придвинул к себе тетрадь и к первой строчке приписал вторую:

«Закончил среднюю школу, потом поступил в техникум. Из техникума призвали в армию... После армии...»

«А что было после армии? — подумал он. — Что-то ведь было...»

Ему вспомнился вдруг какой-то непонятный осенний вечер, выплыла из памяти продуваемая холодная улица и заброшенный серый дом с черными мертвыми окнами. Он шел куда-то по этой улице и знал, что там, куда он идет, его никто не ждет. И еще память показала ему неглубокую, неширокую речку. Она глубока была не только в тех местах, где стояли насосы, качающие теплую зеленоватую воду на бескрайние огороды, заросшие пасленом. Какой-то мальчишка утонул у одного из насосов, тело мальчишки нашли в двух шагах от берега — какая-то женщина пронзительно кричала и падала на сырой, осклизлый берег рядом с телом мальчишки. Кто утонул? Когда-то Иванов это знал. И еще он вспомнил странный автомат — железный ящик с зеркалом, который висел на стене городской бани. Если бросить в прорезь ящика пятнадцатикопеечную монету, он начинал, шипя, разбрызгивать дешевый цветочный одеколон. Алкаши приходили к бане, вставали перед зеркальным ящиком на цыпочки и ловили ртом одеколонные брызги...

Иванов отложил ручку, вылил в стакан остатки водки.

— Не пей больше, Виктор! — сказала, подойдя к нему неслышно, Мария. — Не печалься, все нормально.

— Да, — ответил он.

Она наклонилась к нему, прошептала:

— Все-таки я — твоя сестра...

Он отшатнулся. Она обняла его, продолжила:

— И артистка, Липочка эта, тоже сестра...

Иванов затравленно посмотрел на нее, перевел взгляд на Липочку. Сомнений не осталось — они были как две капли воды.

— А художник?.. — еле произнес он нелепую догадку.

— Конечно, — ответила она. — Неужели ты не разглядел?..

«Да, — подумал он. — Это на самом деле так. Все к тому шло с самого утра, даже еще раньше... С автоматического пульверизатора, с темной осенней улицы, с одиночества...»

И вдруг он отчетливо вспомнил, что это он утонул давным-давно в теплой огородной речке. Точно, точно!

Он захлопнул тетрадь, швырнул в коробку ненужную ручку. Утопленнику не пристало сочинять автобиографию. Да и писать было нечего. Нечего!..

«Все равно мне везет нынче!», — подумал он и рассмеялся.

Рассмеялась и Мария.

Тихо во сне улыбнулась Липочка.

Раскатисто заухал над своим болотом художник.

Светало.

ДЕНЬ ЛЮБВИ

Что-то человеческое, жуткое есть в железных дорогах. Рельсы, сцепившись друг с другом шпалами, никогда не сходятся вместе, но и разойтись не могут — так и тянутся вместе через бесчисленные километры, вынужденные повторять друг за другом каждый поворот. Тоска. Но еще тошнее, что дороги не могут без кривых, залитых дождями полустанков, без унылых пустынных деревень, без заплеванных, издерганных городов. Дороги так и норовят прилепиться к вокзалам, в которых напряженно сидят железнодорожные скитальцы, ожидающие сигнала тащить свои мешки и торбы в зеленые тряские вагоны и рассказывать осовелым пассажирам свои бесконечные жизни, набитые женами, болезнями и неблагодарными детьми.

Железные дороги — свалки слов. Исповедальными миазмами отравлен воздух, этот яд крепче спирта, от него не протрезвишься, он союзник железнодорожного ига — не надейся избавиться от него. Рельсы намагничены, притягивают души; кислый дух бродяжничества сильнее любви, слаще водки — в вагонах таскаются по свету многодетные, бесконечно жующие семьи, гнилозубые холостяки, просветленные онанизмом, загадочные курящие женщины — желтые и грустные, как использованные горчичники, прыщавые солдаты, пьющие без закуски, некрупные начальники, *соль земли нашей* — все, все, все.

А кто сегодня не едет, тот под ватным одеялом, придавленный рыхлой ляжкой подруги, слушает далекие паровозные гудки и знает: завтра его очередь...

А машинисты паровозов, вглядываясь в несущееся навстречу двуединство рельсов, ненавидят кажущуюся бесконечность стального полотна, она представляется им хитрой тюрьмой, из которой ни им самим, ни локомотивам выхода нет.

В душе я был согласен с машинистами, в сущности любая железная дорога только соединяет два тупика; близки мне

были и их размышления о безысходности, но вслух этого мне произнести не удавалось, для этого пришлось бы пересилить разговор о любви, да и вино бы выдохлось в пиалах, дребезжащих на пластиковом столике в купе.

— ...вот я и врезал этой бляди промеж глаз, а она хохочет — живучие они, как кошки, — вел рассказ заскорузлый какой-то мужик, с заскорузлым, как пятка, лицом, с ржавой бородой.

— Случай был, баба из самолета выпала, — перебил его другой, фиолетовый от бормотухи. — Высота — жуть, километров тридцать!..

— Не баба, а летчик выпал, — поправил его третий, мужик без всяких примет. — А у него парашют был, но он не раскрылся... За подвиг ему орден дали и сто тыщ...

— Так он уцелел? — спросил я.

— Само собой, для этого запасной парашют имелся...

— А самолет?

— Какой самолет?

— Из которого он выпал...

— Американцы его поймали специальной сеткой, секретный был самолет. Теперь не отдают, гады.

— Наши самолеты самые быстрые...

— А получка самая медленная, — сказал заскорузлый. — Ждешь ее, ждешь...

— Зато быстро кончается, — добавил мужик без примет.

— За эту скорость надо выпить, — предложил я.

Мы выпили, и я стал размышлять, как попал я на этот поезд. Может быть, кто-то командировал меня в далекий город? Но кому я нужен?

— Слушай, земляк! — обратился я к фиолетовому. — Как называется потеря памяти?

— С утра? — уточнил он.

— С позапрошлого года, — сказал я.

— Амнезия...

А может, я был пьян? Наверное... Скорее всего, но кто платил за питье? В моих карманах уже давно не было ничего похожего на деньги.

— Поезд на юг идет? — спросил я у компании.

Мужики вгляделись в меня получше, и заскорузлый ответил:

— Ага, а мы перелетные птицы... Ты что, трахнутый?..

— Не знаю, — признался я, — а Тамбов уже проехали?..

— Ты в окно посмотри, дурик, — тихо сказал фиолетовый, — какой тут тебе Тамбов?..

Я прилепился лбом к грязному стеклу: под мелким нудным дождем мокла желтая холодная равнина, и поезд, казалось, ка-

тался по кругу, как по цирковой арене, и ничего не менялось за окном — то буксовал у самых рельсов в вязкой желтой глине обшарпанный грузовик, то проплывало мимо понурое степное дерево — и опять буксовал грузовик.

— Да, не похоже на Тамбов, — сказал я. — Говно какое-то вокруг...

— А что, в Тамбове говна нет?..

— Не знаю, не был там...

— Везде одинаково, — сказал заскорузлый и добавил, ткнув мне в плечо:

— Ты куда едешь-то?..

— Я?..

— Ты... Про себя я знаю...

Врать не хотелось на пьяную голову, и я сказал:

— Не знаю...

— Во, точно! И я не знаю... Корешок один сшиб меня с понта, да уж давно сшиб, и я все катаюсь... И в Салехарде жил, и в Кзыл-Орде, в Тюмени пять лет ишачил, в Чимкенте с одной дурой три года маялся... Болтаюсь, как дерьмо в проруби, везде у меня родина...

— Верно сказано, братан! — перебил его фиолетовый. — Вот дадут завтра мне коленом под зад в моем Бишкеке — куда подамся? У нас, у русских, где родина — в Москве, что ли? В Питере? — не похоже там на родину... Ты как думаешь?

— Я?.. Я — не русский, — ответил я.

— Хохол, что ли?..

— Нет. У меня нет национальности.

— Так не бывает...

Я промолчал. За окном проплыл еще один буксующий в глине грузовик, в кузове сутулилась баба в зеленом промокшем плаще. Сколько таких грузовиков вдоль железной дороги? Сколько баб и мужиков закрываются от ветра и дождя брезентовыми плащами? Почему они не откажутся от этой собачей промозглой жизни, не уведут свои грузовики от этой глины, от этих ветров и дождей?

Может быть, выведена такая порода людей — глиняная?

Теперь, наверное, и моя жизнь пересеклась как-то с жизнью этого поезда, этой желтизны — и ничего не поделаешь, и не причем здесь водка, командировка... Не уйти мне от этого поезда...Промелькнул заброшенный станционный домик с полустертыми буквами по фасаду: «Полустанок Марии...»

— Ты кто по специальности будешь? — спросил меня фиолетовый мужик.

— Борец, — сказал я. — Борец невидимого фронта...

— Не похож ты на борца, — заметил заскорузлый. — Больно уж облезлый. А какого ты стиля: классического или вольного?

— Я вольного стиля, но борец классический, — сказал я. — А насчет прочего — сам ты облезлый. У меня костюм, посмотри, немецкий. Шевиотовый... А ботинки — подошвы звенят!..

— Звенят, звенят, — не стал он спорить. — Только вот носков нет. Но это ерунда, давай еще выпьем.

Мы выпили, и фиолетовый залез на верхнюю полку, будто умер.

— Я тоже упаду, — сказал мужик без примет. — Клонит меня... А все-таки ты, борец, кого-нибудь победил?

— Ага, — ответил я, — сам себя... А остальных-то и подавно разметаю!..

— Ты борец с дерьмом, — сказал мужик и захрапел.

— Точно! — сказал я. — А самое большое дерьмо — одиночество...

За окном проплывало еще одно дерево и виднелся вдалеке очередной барахтающийся в грязи грузовик с зеленой ссутулившейся фигурой в кузове.

Я привалился к стенке купе и зажмурил глаза, но равнина с грузовиками не исчезла, а дождь даже усилился, и засыпая, я подумал, что непогода теперь надолго, а иначе и быть не может: откуда возьмется среди этой пустоты и неуюта теплое солнце, откуда придут сюда хоть маленькая радость, хоть пустячное счастье?

Но я ошибся. Солнце обнаружилось и в этих местах. Яркие его лучи пробились через мутное от грязи стекло и разбудили меня.

Я открыл глаза. В солнечном ореоле стоял надо мной проводник.

— Все! — сказал он. — Приехали... Конечная станция...

— Да? — я встал и босыми ногами ощутил сырой холод линолеума. Поезд стоял у перрона приземистого, опирающегося на толстые лапы колонн, вокзала. Что-то знакомое было в этих колоннах, самом вокзале.

Я поискал взглядом ботинки. Их не было. Как не было на мне брюк, а на вешалке моего шевиотового пиджака.

— Что, обчистили? Попутчики?.. Они давно-о-о сошли, — обрадованно сказал проводник. — В одних трусах оставили?

— Нет, еще рубашка осталась.

— Будешь знать, с кем пить!..

— Мужик, ты как сварливая жена, — сказал я проводнику. — Ты мне опостылел!

— Тогда выкатывайся отсюда!..

— Ага! — сказал я. — Без штанов, без ботинок... В твоем вагоне меня обворовали — здесь и жить останусь навсегда. Кстати, у меня в пиджаке три пачки денег было...

Растерянность промелькнула в сторожевых глазах проводника. Я повалился назад на кочковатый железнодорожный тюфяк, натянул на голову одеяло:

— Жизнь на колесах — мечта!

— Выматывайся, пьянь!..

Проводник выматерился и ушел. Его грузные матросские шаги протопали по коридору и смолкли. Я принялся ждать. Ожидание уже давно давалось мне легко, не знаю почему. Чего я только не пытался дождаться, даже коммунизма. Всерьез подсчитывал, сколько лет мне исполнится, когда он, наконец, наступит, и сумею ли я им насладиться в здравии, или разбитым стариком буду смотреть через хрустальные оконца образцовой богадельни, как резвится счастливый коммунистический народ, без денег получающий колбасу, картошку, выпивку и курево. А еще ждал окончания института, демобилизации из армии, получения квартиры... Ждал шестнадцатых и первых чисел каждого месяца, ждал сантехников, телевизионных мастеров... А разве не ждал я вдохновения? А как я ждал баб!.. Ждал ее... В конце концов я просто привык. Занятие простое.

Дверь в купе распахнулась, и проводник швырнул мне сверток:

— Вот, прикрой задницу!..

В свертке оказалось драное, заляпанное белилами хлопчатобумажное трико, разбитые циклопические кеды.

— Благодетель!.. — я влез в трико. Одна штанина была короче другой, через прорехи в ткани были видны мои желтые коленки и зеленые сатиновые трусы. В кеды я нырнул, как в пропасть.

— Ты что, на помойке это нашел? — спросил я у проводника.

— На вот, держи! — он сунул мне в руку несколько измятых бумажек, — на телеграмму хватит, порадуй родственников, опиши им, как ты вещички профукал...

И он хохотнул:

— На клоуна похож, один к одному... Проваливай, наконец!..

Зажав в кулаке деньги, я выбрался из вагона.

На перроне кружился кочевой народ, мечтающий о лучшей доле на новых местах. Из динамиков непрерывно раздавались гортанные команды, регулирующие прибои и отливы от поездов и к поездам. Тюки, баулы, младенцы и собаки плавали над головами простаков, попавших в железнодорожный капкан. Только командированные в этой суматошной толпе

выглядели холодными мудрецами, они неспешно несли в своих портфелях постановления и коммюнике, между которыми в ярких фантиках прятались проверенные электроникой презервативы.

...Любовь из века в век становится все опаснее, дождемся ли, когда за поцелуй будут вручать почетный знак, за объятие — орден, а за ночь с бабой — устанавливать бюст на родине героя?...

Я пошел к вокзалу, сопровождаемый насмешливыми взглядами, а вокзал двинулся навстречу мне, перебирая, как слон, серыми лапами колонн. Я пригляделся к нему и ахнул: точно, старый дружище! А с первого взгляда я его не признал. Все такой же ободранный, обвешанный тряпками государственных увещеваний, с разбитыми стеклами, воробьями и дикими голубями, изгадившими многотонную люстру... Давненько не видались.

Мои кеды шлепали по щербатому асфальту, как ласты, сентябрьская прохлада проникала в прорехи штанов, голуби пикировали на меня, целя дерьмом прямо в голову, вслед мне хохотали мальчишки и злобно шипели ветераны. А мне вдруг вспомнился другой сентябрь: тогда внезапно повалил снег, а я стоял возле крайней слева колонны, пытаясь через снежную пелену рассмотреть троллейбусную остановку. Но троллейбусы приезжали и уезжали, а Марии не было. Так она и не пришла в этот день. Осенний снег ее напугал.

А сегодня было тепло. Я сел в троллейбус и он, осыпанный искрами и желтыми листьями, потащил меня по почти забытым улицам. Пассажиры таращили на меня глаза, один мужичонка, вылитый Троцкий, подмигнул мне и покрутил пальцем у виска. Я протолкался к нему и сказал:

— Мудак ты, а еще революционер!..

— Сам ты революционер, морда гегемонская! — шепнул Троцкий.

Я ударил его поддых, он ойкнул и сложился пополам. Пассажиры отвернулись к окнам. И, действительно, там было интереснее: по улице шла колонны военных в касках, похожих на мотоциклетные шлемы, с длинными черными дубинками и прозрачными пластиковыми щитами.

— Удобны эти щиты, не мешают ориентироваться, — сказал кто-то позади меня.

Я обернулся и в это время Троцкий съездил мне по шее, потом в скулу, а потом по зубам, да так, что кровь брызнула из разбитых губ — на рубашку, на руки.

Я не люблю, когда меня бьют. Хотя в принципе побои помогают не утратить чувство реальности всего происходящего,

даже способствуют усилению чувства юмора, но каждый раз это больно.

Мы сцепились с Львом Давидовичем. Он был явно сильнее, наверное, занимался утренней физзарядкой, обливался холодной водой, жрал сардельки, по вечерам качал мускулы гантелями, а спать ложился точно по сигналу телевизора об окончании передач.

Последние пуговицы с моей рубашки посыпались, как перламутровые градины, сама рубаха затрещала по швам и лопнула у меня на спине — ну что за день такой?..

Троллейбусные пассажиры оторвались от окон и стали сочувствовать сильному — Троцкому.

— Дай по рогам этому бичу!..

— Выкинь эту падаль!..

Но я был злее. Нетопленые развалюхи, ночные задворки, зубная боль, безденежье, кислятина начальства — наверное, все говно этой части света кипело во мне. Для Троцкого троллейбусная потасовка — спорт, разогрев ветчинной крови, развлечение, для меня — дело всей жизни. Я изловчился и зубами цапнул его за нос. Он дико заорал. Зубов у меня немного, но, видимо, эти осколки как раз удобно расположены для откусывания носов. Сразу во рту стало солоно от крови и соплей. Я оттолкнул врага и сплюнул:

— Карбонарий хренов!..

Троллейбус остановился, и я вышел под листопад. Вслед за мной вывалился окровавленный, стонущий противник.

— Стой!..

Мне драться больше не хотелось. Минута прошла и настала другая жизнь.

— Мужик, у меня деньги есть, — сказал я ему и показал смятые бумажки, которыми снабдил меня проводник.

— Откупиться хочешь, гад? — все еще бурлил знаменитый революционер. — Или в штаны навалил?..

— Навалил, ага, — сказал я. Мне было понятно, что жизнь у него длинная, с незабываемым прошлым, славным настоящим, многообещающим будущим, — и он удобно размещен во всех временах — он был вчера, он есть сегодня, он будет всегда. И ему трудно останавливаться, прощаться с тем, что было не так давно, минуту назад. Он не понимал. Что времен огромное множество, каждую минуту может начаться совсем другое, в котором мы будем друзьями. Я не винил его за это непонимание. Многие не ориентируются во временах.

— Добавляй, вина купим, — предложил я.

— Сука! — сказал он, но уже затихая. — Только с такими я не пил!..

— А с какими ты пил?

— Да уж с порядочными.

— Конечно, русский интеллигент тебе не пара...

— Ты? Интеллигент?..

— А что?.. Наша дорога — пепел...

— Лоханкин ты!..

— Меня обворовали...

— Оторвать бы тебе башку!..

— Успокойся, рана небольшая... Боевой знак ...

— А ты дурак, точно дурак, — уже совсем спокойно, даже с некоторым удивлением — сделал открытие! — сказал он.

— Спорить не стану, — ответил я.

Он вытащил потертый кожаный кошелечек с кальсонной пуговичкой вместо застежки, покопался в нем, добыл новенькую купюрку.

— Смотри, если у меня заражение будет, я тебя на дне моря найду!.. А пока держи... За то, что Троцкого помнишь, выдающийся человек был...

— Ты тоже молодец, не отступаешь под натиском... И кровь у тебя хорошо сворачивается, не капает уже...

— Пошел ты, шутник! — махнул он рукой. — И я пойду, не пью я, а ты выпей...

Прижимая к носу окровавленный платок, он побежал через улицу, но, вдруг, вернулся:

— Слушай, оборванец, а ты мне понравился!..

И он ударил меня по уху, сволочь. На минуту я оглох. Он бросился опять через улицу, с другой стороны махнул мне рукой — и исчез. Я подождал, пока улица вновь наполнится визгом тормозов, радиорассказами о нашей счастливой жизни, звяканьем пустых бутылок в грязном мешке за спиной нечесаной бабы, — и только тогда двинулся дальше, куда?

Улица была малолюдна, застроена какими-то белыми, будто ватными, домами — и эти здания, призраки в саванах, редкие прохожие, цепляющие меня недоуменными взглядами, мокрая листва под ногами, пахнущая кладбищем, не позволяли ошибиться: город умирал, или уже умер.

Ему бы еще жить: выкопать метро и выставить напоказ дюжину небоскребов, заманить в гранитные дворцы, удрученное заботами о народе, башковитое правительство и объявить всеобщее равенство и братство, совсем чуть-чуть приструнив коварных инородцев, ему бы орать тысячами глоток на стадионах и форумах и твердо ступать в ровных колоннах под лучистыми взглядами вождей, но, видать, чего-то он проморгал, может, сытая отрыжка в мраморных залах помешала рас-

слышать, как скулила в бетонном микрорайоне раскрашенная дура, измордованная сутенером, а может, всего-навсего незамеченным пил всю жизнь и воровал ханурик из жаркого бункера теплотрассы?.. За такими стоит только не доглядеть — и пойдет!.. Затопят все понурые взгляды, штопанные юбки, никогда не утюженные брюки — и над всем этим поднимется мат-перемат, великий и могучий.

А, может, слишком много бюстов, конных статуй поставил город по улицам и площадям, — и теперь суровые философы, лихие рубаки, меткие стрелки и задумчивые сочинители — вся бронзовая мертвечина — притягивают живое?

Или тени великих, придавленные постаментами, успокоились, а по улицам города таскаются души тех, кто свален в номерные могилы или втихую засыпан под речными ярами и в глухих карьерах — и они-то и убивают, убили город?..

Низко над улицей прогрохотал медленный пузатый самолет, я разглядел в его круглых окошечках головы отважных воздухоплавателей и показал им кукиш, чтобы не зазнавались там наверху.

— Самолет, самолет, ты возьми меня в полет. А в полете пусто, выросла капуста!.. — пробормотал я.

— Ага, только там она и выросла! — ответила мне басом из амбразуры овощной палатки краснощекая голова. — А на грядке шиш с малом растет!.. Сучье — эти фермеры и колхозники, всю рассаду весной поморозили... Дуромялы!..

— Дуромялы? — подивился я филологической подкованности овощной головы.

— Они самые!.. Куропеки, саможралы, землегубы!..

— Ты кто, мужик или баба? — поинтересовался я у головы.

— Это ты мужик стебанутый, а я — женчина! — с достоинством ответила она.

— Поздравляю! — сказал я. — Ты — украшение этого отряда...

— Сам дурак! — сказала она. — Вали отсюда, засранец, пока я не вышла...

Я прошел мимо палатки; на грязном прилавке лежали арбузы, как отрубленные головы, и в их жидкой крови барахтались и погибали мухи.

— Эй, рванина! — окликнула меня голова. — Арбуз хочешь?..

— Мне врач запретил сладкое...

— Без денег возьми... Они почти все треснутые, все равно пропадают...

— Ладно, мочегонное мне полезно, — я вернулся и взял арбуз; трещина в нем была похожа на сабельный шрам.

— Ты по разговору-то вроде образованный, — сказала продавщица, — а в таком виде себя содержишь! С круга, что ль, сбился... Бормоглот!..

Я не ответил. За мной погнались неутонувшие мухи, и сопровождаемый их голодным гудением я вышел на берег мазутной городской речушки, раздавленной бетонными мостами. На берегу, привалившись спиной к постаменту подъехавшего к водопою бронзового конника, сидел понурый рыболов и читал «Литературную газету».

— Спички есть? — спросил он, не поднимая головы.

— Нет, меня ограбили...

— Да? Интересно! — продолжил он читать. — Я могу понять грабителей. У них хороший вкус. Хватит уже воровать машины, угонять самолеты, опустошать банки!.. Спички — вот то, что должно интересовать современного интеллигентного грабителя. Если вдуматься — спички самое замечательное изобретение со времен Адама. Сколько городов ими подожжено, сколько запалено бикфордовых шнуров, сколько сигарет прикурено!.. Ах, как хочется курить! И много у вас похищено спичек?

— Не знаю. Полкоробки, может быть...

— Зажигалки тоже нет?

— Я же сказал...

Он, наконец, взглянул на меня поверх газеты, глаза цвета речной воды были полны тоски.

— Клюет? — спросил я.

— Очень хорошо. Такого клева я не помню с тыща девятьсот тринадцатого года. Аж руки все вывернуло... Надо бы перекурить, да спичек нет. Хотя скажу тебе по секрету: в прошлом месяце, как его поставили, так и стало клевать здесь, жуть!.. И откуда только рыба взялась, прет на голый крючок!..

— Прет? — спросил я с сомнением.

— Да ты сам в мешке посмотри, там за постаментом.

В тени бронзового конника кренился на бок огромный брезентовый мешок, в нем что-то вздрагивало и шлепало. Я открыл мешок: к ногам упал крупный судак. Мертвым перламутром отливали его глаза, растопыренный колючий плавник, похожий на драконово крыло, еще был жив, трепетал, будто судак собирался в полет.

— Вчера жерех брал — не рыба, а одни кости, а сегодня вот эти крокодилы, — сказал рыболов. — Не иначе, как заколдованный памятник этот...

— Кому памятник-то?

— Хрен его знает... Освободителю какому-то...А раньше, говорят, на этом месте поработитель, гадина, стоял. У нас всегда

так: поработителей к чертовой бабушке, освободителей на их места... И вот, хоть рыба стала ловиться...

Рыболов схватил удилище, тонкий бамбук согнулся в дугу.

— Опять на голый крючок! — закричал он. — Просто фантастика!..

— Просто реальность, — сказал я.

Рыболов вытащил судака, взвесил его на руке:

— Килограмма четыре. Ну, не меньше двух... Хочешь, отдам его тебе?..

— У меня нет даже спичек...

— Даром отдам, ты мне понравился... Тебе идет с арбузом ходить, ходи и с судаком тоже. Да и уха хороша будет.

— Из арбуза?..

— Ага, из него...

— Интересный день сегодня, — сказал я. — Что-то всем я нравлюсь. Просто день любви...

Я взял судака под жабры, арбуз подмышку — арбузная липкая кровь смешалась в ладонях с рыбьей — чудный коктейль — и я, шлепая кедами, пошел по набережной.

— Приходи завтра! — закричал вслед рыболов. — Может, вобла будет клевать?..

— Ну да, — сказал я, — если опять памятник не поменяют...

По речушке прополз ржавый катерок и что-то нарушил. Над мазутной водой раскрутился ветер и набросился на город, потащил — быстрее, быстрее — растрепанные листы «Литературной газеты». Я оглянулся: рыбак пытался поймать улетающую газету, но проворная бумага — страница за страницей — разбегалась по асфальту и даже поднималась над улицей. Я задрал голову и успел прочитать: «Назад, в 2005! Пора, дура!..»

«В самом деле, пора», — подумал я.

Вслед за газетами в небо взмыли афишки заезжего американского проповедника с обещаниями точной даты второго пришествия. А за афишами тронулся в путь фанерный щит с намалеванной на нем рекламной девицей.

«Пора, дура...»

Я с опаской посмотрел на беззащитный крупнопанельный дом, мимо которого проходил — устоит ли он под натиском неведомого ветра? Дом устоял, но вдруг ожила валявшаяся у обочины дороги огромная мусорная бочка с дымящимися внутренностями — покатилась, набирая обороты, загремела, подпрыгивая на кочках — прямо на меня.

Я побежал от нее, но силы были неравны: мусорный каток толкала речная мазутная ярость, подстегивали мутной тоской ненайденные утопленники — весь тлен и гниение реки, воздуха, мертвого города был на стороне грохочущей урны; за меня же мог встать только страх, проверенный, надежный товарищ. Вот-вот должен был сбить меня с ног коммунальный снаряд, и я уже выдохся, а тяжелый арбуз норовил грохнуться оземь, вот уж действительно не рожден летать, а судак хлестал меня шершавым хвостом. И я отчаялся спастись, но — чудо — перерезал дорогу глубокий окоп с высоким бруствером и залегшими в нем зелеными фигурами бойцов — я спрыгнул, задохнувшись, в окоп, поддержанный добрыми руками, — мусорная бочка бессильно врезалась в бруствер, и ветер затих, опустились сверху на окоп газета, афиша, спланировал плавно рекламный щит.

«Пора, дура...»

— Солдатики, часто ли здесь мусорные бачки на прохожих нападают? — спросил я, отдышавшись.

— Сам ты солдатик, а мы кабель телефонный тащим, — обиделся один из зеленых, предводитель. — А ураганы теперь часто случаются, климат такой... Ледниковый период возвращается, слышал?..

— Земля с каждым днем холоднее, это точно! — подал голос второй землекоп. — Мы пузом этот холод чуем!..

— Зачем пузом-то?.. — спросил я.

— Земля всегда так — сначала на пузе, а потом в пузе, — неопределенно ответил тот. — А у тебя арбуз гавкнулся, жалко...

Я взглянул на арбуз: действительно, он раскололся на две половинки и они обе истекали последней кровью у меня подмышкой.

— Не гавкнулся, а пал в бою, — поправил я окопного работника.

— Веселый ты человек, — сказал предводитель, — поэтому и штаны у тебя в лоскутах... Но все равно арбуз надо сожрать, иначе пропадет...

— Вы хотите сожрать моего боевого друга, с которым вместе отступали под огнем? — возмутился я. — Я похороню его с почестями. Дайте лопату!..

Я взял штыковую лопату и вылез из траншеи.

— А ты мудозвон! — почти с восхищением сказал мне вслед предводитель. — Мудила!..

Место для погребения я выбрал на небольшой клумбе, где засохшие цветы торчали, как обглоданные селедочные хвосты. Земля была податлива и, набив две кровавых мозоли, я выкопал глубокую могилу.

— Кончай дурить! — дружно закричали землекопы. — В глотке пересохло, давай сожрем!..

— Каннибалы! — я бережно опустил обе половинки арбуза на дно могилы, забросал останки землей. — Пусть здесь вырастет сладкое арбузное дерево нашей надежды!..

— Чего? — крикнул из-за бруствера предводитель.

— Надежда, говорю, нам нужна!..

— Ага, нужна, особенно если ее с сальцом намять...

— Ладно, мужики, тащите свой кабель!.. А чего слыхать по нему, по телефонному?

— Да глупости болтают. Про конец света, про астероид... Говорят, ожидается демократия и неразбавленная водка... А деньги будем пудами получать.

— Хорошо, — сказал я, — а неразбавленной свободы не ожидается?

— Не разбавляли бы водяру, а уж эту траханую свободу... Хотя как их различишь — водку со свободой?.. — сказали трудяги. — Да тебе и так не хуже, вон какой у тебя судак! На букву «м». А дерево арбузное не вырастет, не полито.

— Сейчас польем, — сказал я, — вылезайте!..

Помогая друг другу, землекопы выбрались из траншеи, расстегнули штаны над клумбой. Я присоединился к ним.

— Моча большую пользу приносит, — сказал предводитель. — Ни одна болезнь перед ней не устоит... Даже наука специальная есть... Урино...логия или...хрен ее знает.

— Вот именно, — сказал я. — Ну, мне пора.

— Может, с нами останешься? — предложил предводитель. — Человек ты, видать, жизненный, с понятием, нам такие в телефонном деле нужны... Спецодежду получишь, жопу от атмосферы прикроешь...

— Спасибо, друзья, — поблагодарил я, — но мне нельзя с вами. У вас здоровый почвенный коллектив, а я человек зараженный...

— Ну? — насторожились мои новые товарищи. — Триппер?..

— Страшнее, — ответил я, — но вы не унывайте, может встретимся... Тяните вашу связь, нам без нее никак нельзя...Хорошо бы с Марсом или Сатурном связаться, может, там не все вымерли?.. Узнать бы, что они о нас думают? Скучно все время самим о себе думать, хочется, чтобы хоть иногда кто-то другой о нас думал...

Вдруг стало смеркаться. Солнце распухло, потускнело и растеклось на горизонте, как прокисший помидор.

— Атас! — закричали телефонисты и бросились врассыпную. — Шабаш! Конец рабочего дня!..

Я побрел дальше, и улица вывела меня к стеклянной коробке магазина. Магазин сиял, как хирургическая лампа, и люди, толпившиеся в нем, казались пятнами на солнце. Мария стояла в очереди за морковью, серый плащ, который мы с ней покупали вместе пятнадцать лет назад, был ей еще впору, только рукава стали коротки, может, руки вытянулись от сумок?

Маша взглянула в мою сторону, но, наверное, увидела только темное зеркальное стекло, а за ним неясную тень. Но эта темнота встревожила ее, она выбралась из очереди и медленно пошла к прозрачной стене — в мою сторону. Кто-то окликнул ее, она остановилась, посмотрела через плечо, минуту постояла, должно быть, пытаясь понять, что вытащило ее из очереди, потянуло к сумеречному стеклу. Она для чего-то оглядела себя, свои сумки с солеными огурцами, блеклой бараниной, крапчатыми коврижками; в ее взгляде мне показалось недоумение, как будто она не могла узнать саму себя.

Я отвернулся и пошел дальше, мне ли помогать ей в этом?

Я услышал, как хлопнула тяжелая дверь, Мария вышла из магазина и, торопливо шагая, обогнала меня.

Я уселся на ящик из-под бутылок, рядом положил судака. В мертвом судачьем глазу закрутилась магазинная неоновая реклама. От этого зябкого света стало холодно.

Мария вдруг повернула ко мне:

— Гражданин, продаете рыбу?

— Меняю...

— На что? — она пристально посмотрела на меня.

— На водку...

Она поразмышляла секунду:

— Это можно. Я живу неподалеку отсюда, дома найдется у меня бутылка... Я купила бы вам в магазине, но деньги кончились...

Она пошла чуть впереди, я отставал от нее на шаг, и она все время оборачивалась, спрашивала:

— Где вы поймали такую рыбу?.. На спиннинг или сетью?.. Она поймана сегодня?..

Я не отвечал. Она сутулилась над своими сумками и почему-то шагала все быстрее и быстрее, будто убегала от меня — и говорила, говорила без умолку, все ускоряя и ускоряя речь.

— Скоро вкус рыбы позабудем, мне недавно сосед принес двух лещей, так я не сразу вспомнила, как они называются, а ведь я родилась на берегу реки, в детстве сама рыбачила, да еще как добычливо, а теперь все кувырком... Вся природа задыхается... жуть, леса горят, реки высыхают, сплошная сажа вокруг, белье невозможно на балкон повесить — чернеет за минуту...

Мы подошли к едва освещенному подъезду какого-то серого, сгорбатившегося в темноте дома. Мария умолкла, развернулась ко мне:

— Это ты?..

Вскрикнула. Отшатнулась.

Узнала.

— Боже мой! Боже!.. Что с тобой стало?.. Откуда ты?..

Мне нечего было ответить ей.

— Я еще в магазине почувствовала неладное. Даже в висках заломило!..

Я молчал.

— Сволочь ты! — сказала она. — Сволочь!..

— Так ты будешь судака брать? — спросил я.

— Уходи! Уходи! Прошу тебя!.. — она бросилась в подъезд, сумки за ней; она зацепилась ими за дверь, и мне под ноги выкатился бублик, обручальное кольцо из сильных сортов пшеницы.

Я подобрал бублик, жратва всегда пригодится. Не помешала бы и какая-нибудь телогрейка или тряпка. Холодная осенняя ночь уже загнала под лестницы и подвалы, в подвалы и на чердаки бродячих собак и кошек.

Осенний ночлег страшнее зимнего. Зимой легко отогреться в любом подъезде у батареи, ничего не стоит и нырнуть в люк теплотрассы, а если повезет, можно роскошно устроиться в кочегарке — там и тепло обеспечено, и беседа с кочегаром, философом, закаленным огнем. Осенью рассчитывай только на собственное тепло.

Я заглянул в подъезд: прямо у двери стояла детская коляска, а в ней лежало зеленое шерстяное одеяло. Удача!

Я взял одеяло, на его место положил судака: натуральному обмену не страшна инфляция.

Мне повезло и дальше: дверь в подвал была не заперта, а в самом подвале пахло прелой картошкой, укропом и вишневым вареньем. В подвальный коридор выходило полсотни дверей с крепкими замками, как в тюрьме, и за ними в клетях и содержались в строгом режиме несметные квартирные запасы. Я подергал за ручку одну из дверей — прочнее бетона.

Я обошел весь подвал и постелил одеяло у двери, из-за которой пахло укропом. Я лег, закрыл глаза, и вокруг меня раскинулся огород. Неподалеку едва слышно плескала ленивой волной речка Ревунок, позвякивали ведра на коромысле бабушки Александры Львовны, поливавшей помидоры, где-то высоко звенела невидимая птица, а на козырьке моей фуражечки-восьмиклинки сидела стрекоза и внимательно смотрела на меня, и я тоже смотрел на себя из ее выпуклых зеркальных глаз, и думал: а видит ли стрекоза свое отражение в моих зрачках?..

Мне иногда казалось, что я родился на этом огороде; и ходить учился здесь, падая лицом в укропные заросли, и первые книжки читал в шалаше на берегу Ревунка, и до икоты объедался степным лакомством — вороняшкой, которую бабушка называла пасленом. Бабушка говорила, что от этого паслена можно умереть, но страшные рассказы тогда никого не пугали, вороняшку собирали целыми ведрами — доступнее лакомства не было. Слаще был только мед огромных желтых цветов тыквы, но цветы эти зорко охранялись бабушкой... А название «паслен» мне всегда мнилось графским или княжеским титулом. Граф паслен, хорошо звучит...

Где теперь эта речка, где этот огород?..

— Вставай, не лежи на самом пекле, — говорила бабушка. — Солнечный удар будет!..

Жаркое тогда было солнце...

— Вставай, ты с ума сошел! — почти прокричала надо мной Мария. — С ног сбилась тебя искать!.. Пойдем в дом...

Я поднялся и пошел за ней. В тесной кабине лифта она вжалась в стенку, чтобы хоть на сантиметр быть подальше от меня.

— Ты замечала, что лифты похожи на сортиры с зеркалами? — спросил я.

Она пожала плечами, сказала:

— Поживи у нас дня два-три, может что-то придумаем... В общагу тебя, что ли, устроить?..

— Меня обворовали, — сказал я. — В поезде...

— Куда ты ехал, горемыка?.. — стало ей жалко меня.

— Кажется, в Бузулук, — сказал я, — но точно не скажу — у меня амнезия, я помню только тебя, бабушкин огород, запах укропа...

— Слушай, не бреши, а?.. Сколько уж можно юродствовать?..

Лифт остановился, и она подвела меня к двери с медной начищенной табличкой «Профессор такой-то».

— Прошу тебя, — сказала она, — пощади Вадима, не переходи границы... Не трепись лишнего... Ладно?..

— Из такой меди, — постучал я по дощечке, — хорошие ошейники выходят... Собаку не завела?..

Мария вздохнула и открыла дверь. Я ступил через порог и навстречу мне из глубины комнат шагнул дружелюбный вельветовый хозяин.

— Вадим! — отрекомендовался он. — Проходите, располагайтесь... Не стесняйтесь...

Он излучал радушие, искрился застенчивой, располагающей улыбкой, благоухал заморской туалетной водой и совершенно не замечал моих рваных штанов, грязных рук, небритых щек. Интеллигент!..

— Сейчас будем ужинать, — сообщил он, — вы как раз вовремя...

— Я старался не запоздать, — сказал я, — семейный порядок для меня — святыня. В противном случае ужин мог остыть, а разогретая жратва, согласись, это как объедки.

Он заулыбался, но уже менее радушно, чем вначале.

— Снимай кеды, — сказала Мария, — вот тебе домашние туфли, очень удобные — на меху.

— Да нет, — сказал я, — эти кеды — подарок дорогого человека, даже на минуту тяжело с ними расставаться. Да и время сейчас такое, свои вещи лучше всего иметь перед глазами... Стоит расслабиться и потеряешь вместе с кедами веру в человека...

— Мы тебя не обворуем, успокойся, — сказала Мария.

Вадим перестал улыбаться, профессор кислых щей.

— Я тоже так думаю, — не стал я с ней спорить, — но жизнь научила меня не доверять даже близким людям...

Мария только махнула курой, ушла на кухню, загремела посудой.

Профессору тоже захотелось скрыться от меня. Я видел, что глаза его мечтали об уютной ночной книжке, о сладком сне под атласным одеялом в обнимку с податливой женой. В глазах его была тоска по ласке и доверию.

Он завел со мной какой-то специальный научный разговор, нервно шагая от дивана до негромко врущего телевизора.

— Будущее за шестидесятичетырехразрядными процессорами! — уговаривал он меня. — Придет время, когда все мы будем удивляться: как же мы могли обходиться без этих приборов!..

— В самом деле! — сказал я.

Он ободрился:

— Быстродействие просто поразительное! Возможности открываются беспредельные!..

— Хочешь сказать, что компьютер умнее человека?

— В каком-то смысле — да.

— Врешь ты, профессор, — сказал я. — Может быть, делить и умножать твой счетчик может, а все остальное — фиг!.. Потом, скажи, чего мне делить и чего умножать?.. Твою квартиру

делить, твой город и твою страну несчастную?.. Умножать говнюков на засранцев?.. Нищету множить?..

Вадим потух, еще сильнее захотел под одеяло.

— А может твой транзисторный набор придумать такое слово, как «дуромялы» или «сырожралы»?

— У компьютеров есть иные задачи, — сказал он совсем сухо, прошелестел, как песок в пустыне.

Он подошел к телевизору, добавил вранью громкости и уселся в кресло, погрузился в правительственные сообщения. Так он сидел минут двадцать, и в нем боролись желания: выгнать меня к чертовой матери или все-таки притворяться до конца терпеливым, рефлексирующим интеллигентом? Наверное, он ничего не решил, принялся переключать программы, как будто говорящие головы могли помочь ему сделать выбор.

— Что ты ищешь в этом ящике, — сказал я ему, — если интересуешься чем, спроси у меня — я все знаю...

Он уставился на меня стеклянными телевизионными глазами, и в это время Мария позвала нас ужинать.

— Извини, приготовила все на скорую руку, — сказала она, обращаясь к холодильнику, но я решил, что все-таки она сказала это мне.

— Ничего, я не привередлив, — поощрил я ее.

И в самом деле, привередничать не стоило. На столе в тарелках с золотым ободком дымилась уха, ощеренная судачья варка с побелевшими глазами, увенчанная лаврами, покоилась на блюде, как голова Олоферна. А еще в блюдечках, тарелочках, розетках были разложены салаты, закуски, какие-то травы и злаки. Ломти хлеба, наверное, были нарезаны компьютером, так одинакова была их толщина. Глядя на эти ломти, сразу мерещились зеленые галифе, строевой шаг, устав караульной службы.

— Уха из судачьей головы вышла отменная, — сказала Мария. — Еще чуть-чуть, и уехала бы рыба кататься вместо младенца, да я успела произвести обратный обмен — одеяло в коляску, а судака в нашу кастрюлю...

— Правильно, — сказал я. — Нельзя обижать детей. Одеяло — почти недвижимость, а рыба приходит и уходит...

— Я костюм тебе нашла, — опять сказала Мария холодильнику. — Правда, он поношенный, но вполне приличный... Думаю, что впору будет... Не отказывайся, пойми правильно...

— Я правильно понимаю... С профессорского плеча даже почетно...

Я видел — ей трудно давались слова, а Вадиму ее слова — еще труднее. Они оба страдали, шершавые деревянные их

языки не могли размягчить ни уха, ни салаты, ни злаки. Глаза их старательно обходили меня, а особенно дыры в штанах.

— Как рано настает ночь, — сказала она.

— Естественно! — обронил он.

Им хотелось жалеть меня, но они ненавидели.

— Ты какого вида профессор? — спросил я у него. — По компьютерам, что ли?

— По философии...

— Это хорошо. Значит, хоть собак для опытов не режешь... Или нынче философии тоже нужны дрыгающиеся лягушачьи лапки?

Пропел электрический соловей, и Вадим бросился открывать дверь, не ответив про лапки.

— Верка пришла, полуночница, — сказала Мария. — Никогда к ужину не успевает...

Длинноногая белобрысая девица ворвалась в кухню, уронила на пол какую-то крышку, чертыхнулась. Поглазела секунду на меня, рухнула на стул:

— Пируете, ребята?..

Придвинула тарелку, еще взглянула на меня, хмыкнула, принялась за еду.

— Проголодалась? — спросила Мария.

— Ага! — сказала Верка и добавила:

— Между прочим, есть хороший повод выпить вина...

— Интересно! — встревожилась Мария.

— Виктор сегодня кольца купил!.. Я принесла показать вам... Симпатичные!..

Верка вытащила две пластмассовые коробочки, внутри их на синем бархате лежали колечки с привязанными крохотными бирочками, на бирочках строго, с десятыми долями, указан вес и цена с нулями и копейками.

— Ну надо же! Куда вы только торопитесь?! — огорчилась Мария и пожаловалась мне:

— Вот, замуж собирается!.. Как только не отговаривала ее — не слушает. Ведь на первом курсе только. И он, Виктор, тоже зеленый, правда, парень неплохой, скромный. Я им сто раз говорила: получите дипломы, встанете на ноги — тогда и свадьбу сыграем!.. Но у них горячка!.. Загорелся в одном месте лед!..

— Как покойники, — сказал я.

— Кто? Что ты городишь? — изумилась Мария.

— Кольца, говорю, как покойники — им, покойникам, тоже бирки привязывают...

— Ну и сравнил! — сказала она. С новорожденными не мог сравнить, у них тоже бирки?..

— Ладно, пусть будут, как новорожденные...

— Вот... Помню, Верку из роддома привезла, а у нее на ногах такие клеенчатые, зеленые лоскутки, — вдруг, ударилась в воспоминания Мария, — а фамилия и номер написаны чернильным карандашом... Но фамилия с ошибкой, вместо «о» там была «а»... Я перепугалась, ну, думаю, подменили!..

— Но тревога была напрасной, мама, — перебила ее Верка. — Ребенка тебе, конечно, подменили — явно не от тебя произошла такая, как я, — но тебе досталась совершенно замечательная девочка — умная, красивая, скромная...

— Особенно скромная...

— Да, и еще — послушная. Поэтому отправляюсь в кроватку... Спокойной всем ночи!..

Она еще раз взглянула на меня, словно подтверждая, что и меня пожелание касается. Отличила.

Я промолчал, и она выкатилась из кухни.

Мария принялась убирать посуду, и Вадим потащил меня в свой кабинет. Интеллигентскую нору с книжными стеллажами, огромным глобусом, задумчивыми бронзовыми головами, фотографией Марии, с раздольным письменным столом.

Я крутанул глобус, он пошел со скрипом, как старая карусель; поплыли острова и материки, разноцветные страны и конфетти городов.

— Слушай, а как ваш город называется теперь? — спросил я у Вадима.

— А черт его знает! — ответил он, и впервые в его глазах промелькнуло что-то живое, может быть, злость. — В этом году три раза переименовывали...

— Хорошо!.. — сказал я. — Вы как будто путешествуете, не выходя из дома. Просыпаетесь утром в одном городе, засыпаете в другом... Но вот беда, люди не забывают прежних названий... Городам имена не люди дают. Но, думаю, все-таки изобретут такие таблетки, чтобы память отшибало...

— Как тебе отшибло? — протиснулась в кабинет с раскладушкой Мария.

Вадим испугался ее вопроса и снова отключился.

— Если научиться не пользоваться памятью, то каждое утро можно начинать новую жизнь, — я еще раз крутанул глобус, и он завертелся волчком, все материки слились в один. — Память хранит столько всякого говна... Вот твои компьютеры каждый день загружают новую память и наверняка счастливы — они уже не помнят, чем ты их вчера мучил, что городил, нагораживал по своей философии...

— А ты? — спросила Мария.

— У меня одна жизнь, память тоже одна...

— Я спросила: ты счастлив?..

— Наверное, нет, — ответил я. — Вот если бы нашлась зубочистка — тогда другое дело. Что ни съем — все в зубах остается... Это жратва такая или зубы, как ты думаешь?..

— Это жизнь такая! — сказала она со злостью.

— Вот видишь, все ясно: какое счастье с гнилыми зубами?..

Рядом с глобусом на столе лежал паспорт. Я раскрыл его и увидел, как замерли руки Марии, застилающие узкий гостевой матрасик скрипучими от крахмала простынями. Из паспорта смотрела на меня Маша давнишних годов, веселая моя девушка.

— Шпионский паспорт, правда? — спросила Мария.

— Конечно, — сказал я. — Подделка. Фотография-то чужая...

«Хорошо, что она поменяла паспорт, поменяла фамилию, а фотографию оставила старую... Смешно жить в городе с постоянно меняющимся именем, в стране, где нет ничего постоянного, на земле, которая крутится и скрипит, как глобус, — и не менять ничего в себе. Теперь ее паспорт похож на новую сторублевку со старым портретом. Она тщательно застилала узенький матрас, нервно оглядывалась на мужа — он слонялся по комнате с сигаретой, ронял на ковер пепел, покашливал, изо всех сил старался выглядеть равнодушным, но, наверное, и он понимал, что ее руки, ласкающие простыни, ничего не забыли. Руки женщин растут прямо из памяти.

— Вам уютно будет здесь, в кабинете? — спросил он у меня. — Читать удобно, включив настольную лампу...

— Да, — ответил я. — Люблю почитать на ночь...

— Спокойной ночи! — сказала Мария. — Мне завтра рано вставать...

Деревянно шагая, она отправилась в спальню, плотно прикрыв за собою дверь.

— По рюмочке? — спросил он, помаявшись. — Может быть, любите выпить для сна?..

— Это идея! — сказал я. — У меня бессонница с детства. А спиртное помогает...

Он почти убежал на кухню, затренькал стеклом.

«Интересно устроился, — подумал я, — еще чуть-чуть — и они начнут каяться передо мной... Может, взять у них денег, как будто взаймы?.. Они дадут, много...»

Он вернулся из кухни с графинчиком водки и бутылкой вермута, двумя стаканчиками, тарелочкой на которой прилипли почти прозрачные платинки сала.

— Водку или вина?

Идиотский вопрос любят они задавать. Когда есть водка — пью ее, когда вино — пью вино. Лучше, если есть и то, и другое. Кончается водка, принимаемся за вино... В моей жизни нет выбора; выбор предполагает свободу, а для чего она мне? Я ею отравлен.

— Ну, будем? — спросил он, будто разрешения, и выпил рюмку водки. Я за ним. — Будем!..

Он снова налил и выпил.

— С каждым годом водка все слабее, — заметил он, специалист.

— Дерьмо, не водка, — согласился я.

— И вино не лучше...

— Особенно, когда его мало, — сказал я.

— У нас есть еще! — испугался он.

— Хорошо, — поощрил я его.

Мы выпили еще, и он осовел, смотрел на меня сквозь очки, как лупоглазая золотая рыбка через стекло аквариума. Он тер пальцами виски, словно пытался что-то вспомнить, но, наверное, мешало обручальное кольцо: кольцо, обруч, проволочная петля, любой металл собирает вокруг себя ржавые электронные споры — они рвут живое, питаются живым.

— Еще по одной? — предложил я.

— Конечно, конечно, — стал разливать он водку, но пить больше не мог, но не мог и отказаться.

Я выпил и сказал:

— Из металла на теле признаю только крест...

— Что? — изумился он, и, забыв, что больше не может, одним глотком опорожнил рюмку.

— Только крест признаю, — повторил я.

— Конечно, конечно, закусывайте, — стал он двигать ко мне тарелку с салом.

Я мотнул головой, поднялся. Он еще больше округлил глаза.

— В сортир пойду, — успокоил я его, — когда начинаешь пить, нужно быть уверенным, что горшок рядом... Водка любит не только дружескую беседу, но и горшок...

— Да, — откликнулся он устало.

«Я устал больше, чем ты, сука, — подумал я, — в десять раз, в две тысячи раз... Что ты можешь знать об усталости, очкастый пупс?..»

Мне показалось, что я произнес это вслух, но он никак не отреагировал и я двинулся по коридору. Снизу из-под двери спальни выползла и задрожала желтая полоска света, я наступил на нее, как на змею, подождал пока она не сдохнет. Полоска погасла, наверное, Мария услышала мои шаги, насто-

рожилась. В темноте настораживаться удобнее. Я представил, как напряженно лежит она сейчас в постели, может быть, укрывшись с головой ватным одеялом, с ужасом ожидая какой-нибудь моей выходки. Я поскреб ногтями по двери, кашлянул, чтобы не подумала, что ей показалось, — и пошел в сортир. Ручка сливного бачка торчала, как рычаг переключателя скоростей, я потянул ее на себя, и унитаз зарычал, как мотор. «Вот моя машина, — подумал я, — поехали скорее!..»

Когда я вернулся, Вадим сидел на раскладушке с таким видом, будто именно ему предстояло ворочаться на ней всю ночь, а мне там, в спальной, на его месте...

— Что ты пригорюнился, будто завтра понедельник? — сказал я ему. — Топай спать!..

— Завтра и будет понедельник, — ответил он. — Тяжелый день...

— Вторник будет еще тяжелее, — обрадовал его я, — а среда, так до среды даже не все доживут...

— Зачем же так мрачно? Понятно, что не в кущах живем, но каждую минуту сокрушаться по этому поводу, простите меня, — это просто банальность...

«Наконец-то выпустил когти, наконец! — подумал я. — Видать, терпение лопнуло. Сейчас пойдет спать, а завтра выгонит. Или сначала выгонит, а уж потом закатится Марии под бочок?..

— Что? — переспросил я. — Банальность?..

Наверное, моя интонация ему не понравилась, он строго взглянул на меня, взялся за бутылку.

«Неужели по башке двинет? — удивился я. — А что, философ ведь...»

Вадим наполнил рюмки, выпил, вытер губы рукавом. Браво!

— Не дрочись, мужик! — сказал он. — Нравится тебе в подвалах жить — живи! Нравится купаться в блевотине — ныряй в нее, но что ты свои фурункулы все время выставляешь?.. Это же эксгибиционизм, понимаешь?..

— Нет, не понимаю, — ответил я, — а сам ты пробовал дрочить, профессор? Нет, не мозги, это ты умеешь... Другое... Ты попробуй, самостоятельность развивает. И слог у тебя станет лучше, увереннее... И мысли придут свободные... Но я думаю, ты даже жопу ни разу не почесал, хотя и чесалась. По соображениям этики... И морали. Хоть раз в жизни ты делал не то, что в тебя заложили, а то, что самому хотелось?.. А чего тебе хочется, ты знаешь? По глазам вижу, что знаешь... Тебе Верку трахнуть хочется, а ты философской статейкой бумагу мараешь!..

— Что ты позволяешь себе!..

— Заткнись! Ты любишь представлять себе, как ворвешься в ванную, где она моется, и набросишься на нее прямо в воде... А потом ты будешь просить прощения, униженно требовать, чтобы она ударила тебя... Точно, ты тайный мазохист.

— Ты с ума сошел! — мне показалось, что он сейчас загорится, так раскалилась его морда. — Ты...

— И еще тебе хочется, чтобы у твоего институтского начальника сгорела дача, а еще лучше, чтобы сам он разбился на машине.

— Ты!..

— А кроме того, ты боишься открывать консервные банки, потому что тебе все время хочется полосонуть ножом себя по руке, и чтобы кто-то увидел это и бросился бы бинтовать тебе руку, но ты успел бы лизнуть наждачным своим языком кровоточащую ранку... Ведь правда, что тебе нравится вкус собственной крови?.. Ведь ты уже пробовал?..

Вадим был близок к обмороку.

— Но ты всю жизнь закапываешь свои желания от самого себя, вот поэтому ты никогда задницу себе не почешешь, ты боишься выдать себя хоть одним жестом. Такие, как ты, придумали приличия, этику, эстетику... Это вы себе правила создали, а нас заставляете их соблюдать. Уродам так хочется, чтобы вокруг были только уроды.

— Ты чудовище!.. Ты пьян!..

— Успокойся, я никому не расскажу, — ободрил я его, — ты ведь совершенно безопасен, ты не можешь хоть на что-нибудь решиться. Я удивляюсь, как ты жену чужую сумел к себе под одеяло затащить...

— Ага! — закричал он, почуяв слабину. — Вот в чем дело! Тебя грызет ущемленное самолюбие отвергнутого самца, а ты о мировой скорби, о скитаниях вечных, о неземной духовности... Ты просто ревнуешь. Ну, надо же, странник, нигилист, бессребренник!.. Чистое сердце, да?.. Под твоей давно немытой шкурой обыкновенное человеческое мясо, не волчье, даже не собачье!.. И амнезии у тебя никакой нет, только лень. Все ты помнишь, каждую минуту своей бесполезной жизни; и каждую каплю вина — с кем пил, кто расплачивался, в какой норе ночевал; скольким бабам под юбку нырял; и кто кого сукой называл, и кто кому должен — все в тебе притворство, грязное кокетство и лень... Тебе нужна наша жалость, ты подглядываешь за чужими жизнями и завидуешь, завидуешь и ненавидишь!.. Ты из тех, кто тщится быть несчастным за чужой счет. Ты давно понял, что грязный, нечесаный, отверженный приметнее благополучного, вот ты и дерешь свои струпья... Не я, а ты лю-

бишь вкус собственной крови! Ты — человек замочной скважины, ты как один огромный глаз, смотрящий из унитаза... Но ты ошибся, решив, что земля — балаган. Нельзя притвориться шутом, даже напялив шапку с бубенцами. Шуты не бывают равнодушными и завистливыми...

Вадим замолчал, засопел тяжело, выкатил на меня обезумевшие глаза. Просто молодец, философ. Владелец глобуса, хозяин земного шара. Муж.

Я снял с полки первый попавшийся том, раскрыл его. Конечно же, на английском и без картинок. Все-таки плохо пишут эти англичане, ни одного слова не поймешь.

— Что скажешь? — спросил он почти миролюбиво. Я знал, что пауза его успокоит.

— Ты прав, — сказал я.

Он откашлялся и я понял, что раскладушка на эту ночь для меня спасена.

— Извини, если я излишне резко... Но ты и меня пойми...

«Как быстро остывает их гнев, — подумал я, — наверное, потому, что праведный...»

— И Марию ты должен понять! — увещевал он меня, перейдя на драматический шепот. — Сколько лет она ничего о тебе не слышала, не знала — жив ли ты вообще... Я не домостроевец, ты мог бы хоть раз в год открытку присылать... Все-таки расстались вы цивилизованно... Разве я виноват, что она полюбила меня?..

Я стянул с себя рваное трико, рубаху и улегся на раскладушку. Я заслужил ее. Раскладушка проскрипела ста пружинами и провалилась в черноту, понеслась в этой черноте с безумной скоростью — ледяной ветер ударил в лицо, раскладушечный брезент затрепетал под тюфяком, как парус — все-таки жутко летать осенними ночами. Я попытался хоть что-то рассмотреть, но напрасно: пустота, холод и ветер были вокруг — ни огня, ни звезды.

«...Вьется по ветру веселый Роджер, люди Флинта гимн моря поют...» — прохрипел я простуженной глоткой, раскладушка остановилась, как вкопанная, я свалился с нее, полетел куда-то вниз и растянулся на полосатом комковатом матрасе.

— Тюфяки здесь таганские, — сказал заскорузлый мужик, — полосатые, как роба зековская...

— Это раньше роба такая была, — заметил фиолетовый.

— Мужики, Тамбов проехали? — спросил я у них.

Они промолчали.

— Сплошное говно вокруг, — добавил я.

— А бабец у тебя славная, тоскливая!.. — мечтательно сказал заскорузлый. — Сиреневый туман над нами проплывает... Если бы меня такая провожала, я бы сроду никуда не уехал... И слезы у нее по щекам, как в картине... Моя-то блядь только по пьяне плачет...

— Где, где я садился в поезд, ребя?

Мужики захохотали, фиолетовый принялся разливать по стаканам вино.

— Как женщину эту зовут, как?..

— На, вздрогни, да костюмчик свой не закапай.

Я взглянул на себя: старенький, но вполне приличный профессорский костюм — шерстяной, серый, в елочку — был мне велик, но я сразу почувствовал себя приверженцем современных компьютеров.

— Мужики, выпьем за умные машины? — предложил я. — Миллион операций в секунду...

— За умных, так за умных, — сказал заскорузлый, — не за дураков же пить. Будем!.. А бабу свою ты Марией называл, Машей, значит...

— Костюмчик береги от бормотухи, — повторил заскорузлый. — Нынче шерстяная материя в большой цене... Дорога материя...

— Материя первична! — свесился с полки третий мужик.

— Особенно шерстяная, — поддержал фиолетовый. — В пятьдесят девятом году я пинжак купил, так уже к шестидесятому его моль съела — вкусная вещь!..

— Умели раньше делать! — не отстал от остальных заскорузлый. — Хоть материю, хоть сознание! А теперь дерьмо одно...

За вагонным окном проплыло следующее осеннее дерево на желтой равнине, и еще один грузовик, пытающийся выбраться из раскисшей колеи.

— Какая-то чужая планета, — предположил я.

— Точно! — поддержал заскорузлый. — Я и сам заметил — кругом все не наше... И солнца не видать...

— Едем-едем, а будто на месте стоим, — сказал третий мужик.

— Завтра восемь месяцев будет...

— Что? — спросил я.

— Восемь месяцев, как выехали. Ты что, со счету сбился? — засмеялся фиолетовый. — А не мудрено!.. От этой собачьей жизни паровоз — и тот заблудился...

— В самом деле, куда катим?

— Не катим, а катимся...

— Это ты зря! Живем неплохо, с голода не умираем, начальство меньше звереть стало... А свободы сколько дали!..

— Вот именно, дали, — сказал я, — а может, подали?..

— Ну и что!? — взорвался заскорузлый. — А хоть бы и подали!.. Нас не натыкай носом в эту долбанную свободу, как кошку в говно, мы наступим сапожищем в нее и не заметим, пройдем мимо...

— Нужна она тебе. Делакруа на баррикадах, — заметил третий мужик. — У нее только титьки хорошие, сами в руки просятся...

— Тебе, может, и не нужна... А путным людям — и титьки, и свобода всегда пригодятся, — сказал заскорузлый.

— Разговор у нас какой-то непонятный, — сказал я. — С пятого на десятое...

— Жизнь непонятная, вот и разговор такой, — объяснил фиолетовый. — Но, впрочем, может быть, все наоборот — от непонятных слов — жизнь непонятная... Все-таки вначале было слово...

— С этим не поспоришь, — сказал третий мужик. — Любое дело со слов начинается... Слово — сила неоценимая!.. Возьмем твою Марию, ну, которая тебя на вокзале провожала, — толкнул он меня в бок, — так она обняла тебя, что-то сказала, а у тебя аж слезы из глаз!..

— У меня слезы?.. Померещилось тебе!..

— Ага, померещилось... Ей тоже, наверное, померещилось, поэтому она стала своим платком глаза тебе промокать... Ты, бедняга, сиганул от нее в вагон, даже судака своего забыл... Да ты не придуривайся, что ничего не помнишь, это только счастливые не помнят, а ты не похож на такого...

— Судака? — спросил я.

— Ну, конечно, вон на верхней полке лежит...

Я поднял глаза: с полки свешивался влажный свинцовый судачий хвост.

— Восемь месяцев, говоришь, едем, а судака будто только из реки вытащили...

— Ну и что?.. Сам сказал, что на чужую планету попали... Может, тут не рыба гниет на воздухе, а человек?.. Да и потом, разве здесь воздух?..

Он шумно потянул носом:

— Нет, это не воздух. Вонь одна...

Я встал, подтянулся до верхней полки. Так и есть, выше спинного плавника, почти у самой головы, судачье туловище опоясывал свежий, розовый шрам.

— Вот и я смотрел, — сказал снизу заскорузлый, — головато приросла, хотя и вареная...

— Приросла?..

— Точно!..

Я опустился на полосатый железнодорожный матрас, посмотрел на попутчиков: скромные, интеллигентные люди, в глазах мудрое спокойствие, на губах тонкие улыбки, в твердых руках алюминиевые кружки — ни капли рубиновой бодрости не прольется на липкий пластик стола.

— А я вам говорю, что здесь другое измерение, — сказал фиолетовый. — Совершенно другое... Четвертое или пятое. Скорее даже шестое...

— Ага, — сказал я, — или седьмое...

— В седьмом я был, — продолжил фиолетовый, — не похоже здесь на седьмое...

— Конечно, — кивнул я.

— И я о том, — отхлебнул он из кружки. — Все зависит от взгляда... Идешь ты по улице имени Гринберга...

— Гринберг? Кто такой?

— Да никто. Для примера говорю. Пусть будет проспект Цезаря или переулок Батыя...

— Куда ни сунешься — везде инородцы, — проворчал третий мужик.

— Так вот, идешь по переулку Батыя и знаешь, что в этом доме кабак, а напротив Нюрка веселый дом держит. А чуть дальше правительство думу думает, а в сквере сам железный Батый, а под ним нищие сидят... А на стене манифест... И дождь идет третьи сутки, по грязным лужам троллейбусы ползут... В общем, все известно, и ты делаешь только то, что ожидает от тебя эта улица, что она тебе разрешает. Загорается красным светофор — и ты стоишь, а если нет — улица бросит тебя под колеса... Ты покупаешь бутылку вина и пьешь где-нибудь в подворотне, а рядом уже стоит живая душа — ждет пустую бутылку... Короче, в своем измерении мы делаем только то, что положено нам здесь... Мы не летаем, как мыльные пузыри, не жрем карбид, не размножаемся, как инфузории, делением, хотя народ из сорок второго измерения только так и поступает... Ты расскажи тамошнему люду, чем мы питаемся — они умрут от омерзения, а уж если узнают о нашем способе размножения — обхохочутся...

— А что, неплохой способ, — мечтательно сказал заскорузлый.

— Не перебивай! — одернул его фиолетовый и продолжил:

— Измерений и пространств не счесть. Просто жуть сколько их. И все они одно в другом, как матрешки. Если обделался в одном измерении — воняет во всех сразу. К чему я это говорю?.. Да к тому, что попасть из одного пространства в другое — пустяк. Никаких машин и приборов не нужно для этого...

— Любишь ты фантастику с вермутом, — сказал заскорузлый.

Фиолетовый не сразу удостоил его ответом:

— Ненавижу всякую ученую болтовню. Все эти гиперпереходы и расширяющиеся вселенные, позитроны и контрацептивы для меня, как красная тряпка для быка. Эти осциллографы и калькулятору придуманы исключительно для того, чтобы мы все глазели на экраны и стрелки, чтобы ушами хлопали и не сомневались в том, что все устроено именно так, как нам вдалбливают...

— Точно! — поддакнул третий. — У нас всех в башках не мозги нормальные. А кино крутится... Сволочь какая-то вправила нам это кино с рождения — и мы смотрим, смотрим. Смотрим!.. Нам бы по сторонам посмотреть и назад обернуться, а мы в одно место таращимся!

— Конечно! — сказал фиолетовый. — Присматриваться нужно. Я не зря говорил о привычных улицах, привычной жизни. Мы смотрим на эту жизнь в четверть глаза и ничего не замечаем. Стоят дома, идут машины, бегут люди... А, может, все вокруг фальшивое? И люди подменены, и машины чужие? И уже давным-давно мы в другом, враждебном измерении?

— Это хороший разговор, — перебил его я, — но слова — как вино натощак — кружит голову, отбивает аппетит, но голода не утоляет. Вредная практика пить натощак...

— Понял, понял упрек, — замахал руками фиолетовый. — Есть сотни способов перебраться из одного измерения в другое... Здесь у нас можно просто внезапно резко оглянуться назад или наоборот — подпрыгнуть вверх и постараться в деталях рассмотреть то, что происходит сейчас впереди... Или взять любую знакомую вещь и рассматривать ее тщательно, не гнушаясь никакой мелочью, никаким пустяком — каждый штрих, каждую точку. Каждую самую крохотную линию — и ты вдруг увидишь, что у тебя в руках не совсем то, к чему ты привык... Глядя на себя в зеркало, скосите вдруг глаза, и вам может открыться неведомое, только не пугайтесь!.. Или вот хороший способ, многие им пользуются — постарайтесь оба глаза скосить на кончик носа — минуты три-четыре удерживайте зрачки в этом положении — и можешь оказаться совсем в другом мире...

Дверь в купе распахнулась и вошел проводник, протянул мне скомканное рваное трико, рубаху прошедших веков, разбитые кеды и несколько смятых купюр.

— Вот, держи! Скоро станция, а ты без всего остался...

Он изумленно уставился на мой костюм, хмыкнул, обвел разочарованным взглядом батарею пустых бутылок на столике, произнес непонятно:

— Ну, летчики! Голытьба хренова! Смотрите мне!..

— Ты сзади, сзади посмотри, что у тебя! — крикнул ему фиолетовый.

Проводник испуганно дернулся, обернулся — и вдруг покатилась по полу форменная фуражка, повалился пустой китель, звякнув медной бляхой легли к нашим ногам брюки, а плотные холщевые кальсоны простояли дольше брюк, но и они вскоре беззвучно рухнули на остальную одежду — сам же проводник исчез, растворился в воздухе.

— В шестое, в шестое измерение бросило его! — обрадовался фиолетовый. — Повезло ему, гаду! Там шесть выходных на неделе, а водка дешевле молока...

Я стянул с себя шерстяной поношенный костюм, вполне приличный, более приличный, чем мне полагалось в этом измерении.

— А я боюсь попасть в тринадцатое измерение, — сказал заскорузлый. — Чертова дюжина одни несчастья приносит. Как ты думаешь?

Я надел рваное трико, рубаху, зажал в руке деньги, принесенные исчезнувшим проводником.

— Что ты делаешь? — уставился на меня фиолетовый.

— Я боюсь оказаться в таком измерении, где каждый живет в чужой шкуре, в чужом костюме, — сказал я и скосил глаза к переносице. Стены купе подернула пелена, за окном сгустился мрак, замигала и погасла люминесцентная лампа под потолком — и все исчезло — только темнота, тикающая, как мина замедленного действия, осталась со мной. Я зажмурил глаза: где я? И тут же неподалеку хрипло заорала кукушка: ку-ку... Сколько жить в этом лесу?

Ку-ку, ку-ку, ку-ку... Три раза прокричала дивная птица и захлебнулась. Я открыл глаза: прямо над раскладушкой в пятне заблудившегося света висели часы, притаившись внутри них, напрягала пружинную глотку для следующего куплета пунктуальная птаха.

— Что ты заткнулась, певунья? — спросил я у нее и поднялся с раскладушки.

Кукушка не ответила, и я огляделся. Ламп никаких не светилось, но по корешкам книг, забитых в стеллажи, по зелени недопитых бутылок, по материкам и океанам картонной земли, по сонным фотографическим мордам, развешанным по стенам, бродили разноцветные блики, может быть, отсветы далеких космических битв. В открытую форточку заглядывала крупная зеленая звезда. Звезда жужжала, как электробритва, наверное, к морозам — есть такая народная примета. На подоконнике светилась полированная деревянная указка, увесистая педагогическая дубинка.

— Сучий профессор! — сказал кто-то, может быть, глобус.

— Что? — спросил я.

Никто не ответил.

Я крутанул глобус и жуткая сила сбила меня с ног, швырнула к стене, придавила невыносимой тяжестью. Грудную клетку сдавило так, что я закричал. Но мое хрипенье — «а-а-а-а-ааа...» — не протащилось и метра от меня, плюхнулось на пол лопнувшим воздушным шаром. Воздух со свистом потек в форточку и сразу перехватило дыхание. Что ж, придется жить в безвоздушном пространстве, нам не привыкать. За окном посыпались выстрелы, ухнул взрыв, второй. Я едва поднялся на ноги, все вокруг ходило ходуном, сыпались со стеллажей книги, статуэтки, все профессорские безделушки. Только водочная и винная бутылки стояли, как сфинксы. С неимоверным усилием переставляя чугунные ноги, я двинулся к сумасшедшему глобусу. На его поверхности красными прыщами наливались очаги напряженности, разрастались мерцающие пятна радиоактивных полей, синюшными отеками расползались наводнения. Что-то взрывалось и вспыхивало на раскрашенном картоне. Я уцепился за подоконник, перевел дух. Небо за окном поблекло, и зеленая звезда понеслась вниз. На ее место выкатилось солнце, недолго побалансировало и умчалось на запад, но мгновенно вынырнуло на востоке — промелькнуло и опять закатилось. Ураганный ветер протащил мимо окна громыхающий трамвай, причем задом наперед: вагоновожатый, покрытый форменной фуражкой, как генерал, неулыбчиво смотрел через секло трамвая, осуждая мир за нестабильность.

Кукушка принялась орать тонко и пронзительно, как на ускоренной грампластинке: ку-ку, ку-ку, ку-ку, ку-ку... Я досчитал с ней до сотни и сбился.

Кому кукуешь, тварь?..

Из-за угла на улице выкатился танк, поводил хоботом орудия по сторонам и ахнул, окутавшись дымом и пылью. Над

крышей исторического музея поднялось чадящее масляное пламя, наверное, занялись святыни. Из подворотен высыпали воины, народная армия, и принялись строчить из автоматов, метать гранаты. Врага не было видно, но потери получались обильные, и это вселяло уверенность в справедливости правого дела, обильно политого кровью. Убитых красиво накрывали национальными флагами и отправляли на торжественные похороны под светлые слезы невест. Гремел оркестр.

Совсем низко над крышами проревела реактивная эскадрилья, ударила из пушек, и рухнул музей, рухнуло здание аптеки и похоронило под собой танк, воинов с автоматами, смолк оркестр. Но раскатилось громовое «ура» и улицу заполнили солдаты противника.

Я добрался до глобуса и остановил эту картонную вертушку. Тут же зеленая звезда вернулась на место, но стрелять на улице не перестали, революция, должно быть.

Кукушка прокричала шесть. Я взял бутылку водки и вышел в коридор. Дверь супружеской спальни была закрыта плотно, я толкнул ее рукой, и она пропустила меня. Надсадно сопел на Марии профессор, она тоже легонько постанывала, вцепившись руками в его рассветную спину.

— Доброе утро! — поприветствовал я их, и они, завизжав, принялись закапываться в одеяла.

— Ты что?! Ты с ума?! — закричали они одним голосом, полным оргазма.

— Наверное, ничего так не освежает, как раннее половое сношение, — сказал я. — И рюмка водки к нему... Я как раз принес бутылку...

— Вон! Вон отсюда! Мерзавец! Паразит! — их голоса опять слились. — Убирайся!..

— Не могу понять, какие слова твои, — сказал я Марии. — Это обиднее всего... Вы с ним одно целое... Я ведь тоже люблю тебя, ищу тебя шестьсот шестьдесят пять лет, но разве могу я позволить говорить тебе чужим голосом?.. Зачем жить без своего голоса? — это же бессмысленно... Зачем горбатиться, вытягивать продовольственными сумками руки до колен, если все твои слова — не твои?..

— Ненавижу! Мне кажется, что вся мразь и чернота на земле — от тебя! — сказала Мария.

— А от тебя — свет...

Я поставил бутылку у их кровати — и вышел, плотно прикрыл дверь.

Верка спала в своей, совсем крохотной, спаленке на узенькой жесткой кушеточке, на такой кушетке и снятся все веры-

павловнины сны. Она лежала, свернувшись калачиком, как все одинокие, слабые люди. На лице ее было ожидание и надежда, губы чуть-чуть шевелились, может молитва? Бедная, напрасная жизнь...

У изголовья на столике светились два золотых колечка с бирочками. Металл любви... Я взял кольца, сунул их в карман и вышел из комнаты, из квартиры, из дома.

Ледяной утренний ветер тащил запахи пороха и пожара. Суровый патруль протопал кованными сапогами и оценил мою благонадежность тремя парами настороженных глаз. Рваное трико и разбитые кеды ничем не грозили стране.

Не торопясь, я пошел по пустынной улице. Спешка — удел голодных, а я сыт всем по горло. Ударил где-то выстрел, и пуля провизжала у меня над головой.

«Неужели сыт? Неужели, наконец, нажрался, нахлебался, насосался?.. Все?.. День любви кончился?.. Нечего больше искать, незачем болтаться по железным дорогам, незачем заглядывать в глаза прохожим — все найдено, все понято?..»

Я вышел на берег вчерашней реки. Рыболов радостно помахал мне рукой:

— Стреляют, а?! Во всех подряд! Снайперы на крыше театра засели, в «очко» режутся... А ставка — сам знаешь, какая ставка, на это всегда играют...

— Клюет?

— Не знаю, еще удочки не разматывал, жду... Тут подводные лодки воду взбаламутили... Вот уляжется эта муть — и все пойдет...

— Не скоро уляжется, — сказал я.

— Наверное, — согласился он. — Но надо ждать.

Я достал из кармана трико золотые колечки, взвесил их на ладони — легонькие, бесполезные ледышки.

— Чего это? — спросил рыболов.

— Кольца обручальные... Хорошей пробы... Дочь замуж собралась, а меня не спросила. Не спросила... Я, может, не против, но все-таки...

Я размахнулся и швырнул кольца в реку. И сейчас же из воды вылетели две свинцовых торпеды — метровые судаки — и колечки с бирочками исчезли в их зубастых пастях.

Рыболов бросился разматывать удочки. Ловись рыбка!

— Эй! — окликнул я его.

Он не услышал, занятый.

— Эй!..

— Что? — наконец, повернулся он.

— Здесь у вас какое измерение?

— Шутник! Такое же, как везде... Метр — сто сантиметров, килограмм — тысяча грамм...

— Ага, понятно, — сказал я. — Ширина, высота, длина... Короче, пространство и время...

— Нет, — перебил меня он, — вот этого, последнего, у нас нет. Времени... Ширина есть, килограммы тоже иногда бывают, а времени нет. Нет... Не слышали о таком, извини...

— Ничего, — успокоил его я. — Просто я нездешний...

Я скосил глаза к носу, все раздвоилось, поплыло: желтая равнина, буксующий грузовик, согнутая фигура в брезентовом плаще, мужик с заскорузлым, как пятка, лицом — все завертелось и понеслось сквозь меня, и я вдруг понял: как легко прощаться с любым измерением, как невозможно проститься...

ЮБИЛЕЙ

Иванова звали Иваном. Жену его — Марией. Так сошлось. Поэтому Верка, писательница с третьего этажа, когда у нее главу заедало или весь роман останавливался, звонила и кричала в трубку: «Слушайте народную мудрость: что ни Иван — то дурак, что ни Машка — то бл...! Вот протрезвею — воткну вас в повестушку, прославлю!..» Когда трезвела, — забывала, не здоровалась.

Так и жили Иван с Марьей безвестно. Он когда-то любил ее, она его тоже жалела — время пролетело быстро; дети уехали в институты без права переписки, только по телефону денег просили; страна раскололась, как зеркальце, ничего не рассмотришь в осколках — то налитой кровью глаз косит, то прыщ на носу; Иван отрастил бороду и подкатило ему к пятидесяти. Юбилей круглый, приметный, да жизнь сама невидная, белесая, как туман, — нечего и отмечать эту грустную дату, думал Иван. А Мария сказала ему: годы идут не просто так, во всем свой смысл, только разглядеть его надо... По молодости он тоже так думал, но не подтвердилось. Хотя и обмана не было: так уж устроено. Тридцать лет назад листья на деревьях были зеленые, водка крепче, Урал — глубже, — может, поэтому мнился смысл во всем? |

Иван размышлял: четвертый месяц он без работы, четвертый месяц вместо того, чтобы идти утром к шлифовальному станку и наводить глянец на продукцию, он тащится к оптовому ларьку на рынке, берет на реализацию пакетики с сухим фруктовым соком, дешевые сигареты, мотки резинки для тру-

сов — и потом целый день топчется у автовокзала, приставая к прохожим в надежде сбыть повыгоднее всю эту дрянь — уж каков смысл? Но, вдруг, завтра очнется от спячки завод — и снова позовет его гудок в родной цех как незаменимого шлифовщика боеголовок, лучшего на предприятии гранатчика, первопроходца самонаводящихся ракет — и жизнь обретет смысл? Он как-то подсчитал, что за тридцать лет работы намастерил тридцать вагонов лимонок, двадцать вагонов запалов, три вагона боеголовок, и по мелочи — капсюлей, дроби, разрывных пуль — вагонов десять — так в этом смысл?

Он ничего не сказал Марии, но задумался. И прежде неспокойно было на сердце, а теперь, к пятидесятилетию, пуще. Будто лежала где-то в укромном месте долговая расписочка — и вдруг предъявил ее кто-то нетерпеливый — и обожгло, и ни о чем другом больше нет мыслей. Он взял бутылку, пошел к Верке на третий этаж. Выпили, пожевали консоме во фритюре.

— Пишется? — спросил Иван.

— Ни хрена! — призналась Верка. — Кому оно надо в этой дерьмовской стране?.. Вас хоть звездами, хоть бисером обсыпай...

— Тема не подвернулась или вообще слово не идет?..

— Кончай бодягу, Ваня! — сказала писательница. — Вываливай, с чем пришел.

— Пятьдесят мне стукнет скоро, — начал он.

— Поздравляю, наливай! — сказала Верка.

— Не в этом дело, смысла в жизни нет... Или есть?

— Вон оно что! — поняла, наконец, она. — «Идет ветер к югу и переходит к северу, кружится на ходу своем...» Манька твоя мотается?..

— Да нет вроде. Бог миловал...

— Чего тогда?..

— Непонятно мне, зачем живем... Зачем самолеты летают, извержения вулканов происходят, бабы детей рожают?.. В молодости не думал об этом, некогда... В молодости все ясным кажется. В молодости вино пьешь — не напиваешься, с девкой всю ночь глаз не сомкнешь, а утром — как новый, зимой — весело, летом — тоже душа поет, а день как год тянется... А после тридцати одна скука... Может помирать надо в молодости, а?..

— Консоме тебе понравилось? — спросила Верка. — Во фритюре?..

— Годится, только название непонятное... Да и состав продуктов... На майонезе?..

— Сам ты, Ваня, на майонезе! Простое питательное блюдо постичь не можешь, а на смысл жизни замахиваешься!.. Не

предполагаешь ли ты, что он скрыт от тебя не потому, что в нем откровение, а чтобы тебе еще скучнее не стало? Может одна тоска в этом самом смысле? Кумекаешь?

— Не может быть! — не поверил Иван.

— Я тоже думаю, что не может, — согласилась писательница, — особенно когда поддам, но по утрам картина мира страшна... Воздух полон углерода, солнце не греет — батареи отопления тоже, денег нет не то что по утрам, к вечеру тоже, издатели — сволочи, соседи — враги, мужики пьяницы, бабы... а бабы кто же?.. — тоже это самое... В общем, туговато со смыслом.

— Зачем же тогда нам родиться? — возопил Иван. — Вынырнул утопленник на секунду, глотнул воздуху и опять, в глубину? Во тьму?..

— А может, там и не тьма, Ваня? — разливая остатки водки, заботливо спросила Верка. — А что, если загробная жизнь есть? Может она и не загробная совсем, а просто жизнь, и вот именно в ней весь смысл?.. А сюда, на землю нас помаяться выпускают — бормотуху попить, помата́риться, пяток доносов написать — чтоб настоящей жизнью потом дорожить сильнее?.. Как считаешь?

— Нет! — мотнул головой Иванов. — Не для доносов выпускают!..

— А может нас и не выпускает никто, — выпив, задумчиво сказала Верка. — Может, мы всегда были во вселенной?.. Вдруг мы и есть сама вселенная?..

— Сама вселенная? — переспросил Иванов. Мысль показалась ему глубокой и красивой.

— Во всяком случае, мы узнаем об этом только тогда, когда нас не станет на этой земле, — проникновенно произнесла Верка.

— Когда не станет? Когда не станет... — повторил за ней Иван и тяжело вздохнул. По всем выкладкам жизнь была неясной штукой, но жить хотелось. И выпить.

— Мотанусь еще в ларек? — предложил он.

— Мотанись, Ваня. Продолжение — это развитие... И материалисты, и мы, идеалисты, не отвергаем продолжения, мотанись...

В дверях она остановила его:

— Прости, товарищ, за вопрос. Напомни, когда у тебя юбилей? Завтра?

— Да нет, первого июля...

— А сегодня какое число? Какое? ...что ж ты ножками сучишь, еще целых пятьдесят дней...

— Ну! — улыбаясь, сказал Иванов. — И лет пятьдесят, и дней пятьдесят. Кто празднику рад, тот заранее пьян.

— Твоя правда! — сказала писательница. — Воткну тебя в повестушку, прославлю!.. Или в роман!

В общем, сколько они выпили еще, и когда он вернулся домой, и на своих ли ногах — этого память не сохранила. Он запомнил только сон. Привиделся ему собственный день рождения, застольное торжество с привлечением товарищей по труду и домино. Поздравляли Иванова с достижением полных сорока девяти лет, дарили подарки.

Сон был удивительный — цветной, со стереозвуком, с мельчайшими подробностями.

Иванов слушал крепкие хвалебные тосты, которые крепчали от рюмки к рюмке, и постепенно убеждался, что сон этот не совсем сон. Ну разве во сне мы обращаем внимание на дырявые носки шурина или спорим со всемирным ветераном дядей Васей по животрепещущим вопросам земельной реформы? Или разбавляем на кухне спирт, закрашивая его растворимым кофе, чтобы представить потом гостям этот напиток как шотландский виски?

Мария преподнесла ему фиолетово-свекольный галстук, флакон зарубежной туалетной воды и огромный, темно-бордовый, с золотым тиснением — сорок девятый том Большой советской энциклопедии, — подарок со значением.

Иванов принял дар, но сказал:

— Странно, ведь сорок девять мы уже обмывали... И подарила ты мне тогда совсем другое...

— Так то во сне было! — захохотала поддавшая Мария. — Радуйся, что второй раз отмечаем! Значит, так любим!..

С этим он и проснулся. Разлепил глаза, приготовясь к артиллерийским ударам головной боли, сердцебиениям, холодному поту, но к удивлению, похмелье не навалилось. Он поднялся и едва поверил себе: руки не тряслись, в глазах не двоилось, рот не источал ароматов выгребной ямы.

— Отличная водка вчера попалась, — сказал он удивленной его молодецким видом Марии.

— Может, все-таки пивка? — заботливо спросила она.

— Не! — отмахнулся он.

Мария внимательно посмотрела на него, ничего не сказала, да что тут скажешь?

Целый день ощущал Иванов необыкновенный прилив сил, все получалось у него. С утра до полудня успел продать у автовокзала два блока сигарет, чуть не целую коробку жевательной резинки, семь плиток молочного шоколада, одиннадцать

банок пива. Особенно хорошо, отправляясь в междугородные рейсы, брали граждане плодово-ягодное вино, которым Иванов тоже втихаря приторговывал, и шла нарасхват резинка для трусов. В общем, выручил он солидно. И если бы не тягучая тоска по родному боеголовочному производству, день можно было бы назвать счастливым. Ни разу не стукнулось в сердце вчерашнее отчаянье, не поднялись со дна души горькие размышления о видимой бессмысленности человеческого существования.

После обеда позвонил он Егорию Селивановичу — так чудно прозывался заводской профсоюзный командир.

— Что слышно? — спросил он у командира.

— И слышно, и видно, — ответил тот. — На мирную продукцию переходить будем...

— Ядерные мясорубки, что ли, делать? — засмеялся Иванов.

— Зачем ядерные? Обыкновенные, — сказал Егорий Селиванович. — И утюги электрические, и самовары, и наборы ножей из нержавейки, и много чего другого...

Он долго размышлял по этому поводу и еще до ужина решил: нет, не пойду мастерить писсуары с самонаведением, утюги и прочую гадость. Не для того квалификацию получал.

Ночью, укладываясь в постель, Мария заметила:

— Ты даже посвежел, Иван. Вот что значит не опохмелятся с утра!.. — и была с ним особенно нежна.

А во сне он опять оказался в центре юбилейного стола. Шурин обнимал его, дыша в лицо сложным перегаром, и поздравлял:

— Сорок восемь лет, Ваня — это срок. Два года до полтинника. За что я тебя уважаю? — за годы невзгод и семейный уют, за счастье и быт, что руки твои на века создают!

И шурин вручил ему электробритву:

— Брейся на здоровье!

Иванов больше двадцати лет носил бороду, но от души поблагодарил шурина и невзначай взглянул на его ноги: носки были дырявыми. «Сколько же лет он их носит?» — подумал Иван.

Мария подарила ему сорок восьмой том Большой энциклопедии и спиннинговую катушку — рыбачь вволю!

— Что-то у нас не то получается! — сказал Иванов. — Вчера сорок девять отмечали, сегодня — сорок восемь. Так не бывает.

В ответ Мария и гости смеялись, наливали в рюмки закрашенный спирт. И странное дело, Иванову самому понрави-

лось, что дни рождения стали у него чаще. Может, земля стала вращаться быстрее, кто знает?

Проснулся он, когда в квартире уже вовсю бушевало солнце. Мария гремела посудой на кухне, рыжий кот Васька сидел у кровати и удивленно смотрел на Иванова. И было чему удивляться. Впервые за пятнадцать лет Иван не проснулся затемно, впервые не ворочался до рассвета, гоняя, как тяжелые бильярдные шары, непонятные, тревожные свои мысли.

— Дрыхнешь как молодой! — сказала Мария, входя в спальню. Он взял ее за руку и потянул к себе. Она хотела сказать, что у нее на кухне мясо пригорает, но от изумления не смогла произнести ни слова, сбросила халат и нырнула под одеяло.

Целый день потом она напевала негромко какую-то песню, чему-то улыбалась, приговаривала:

— Ну надо же!..

В этот день он не пошел торговать пивом и бормотухой. И жевательной резинкой, которую придумал называть «живительной». Он уселся за круглый обеденный стол и написал десяток писем: и старому другу, которому послал новогоднюю открытку десять лет назад, и сыну, не кажущему глаз в родной дом уже пятый год, и дочери, уж какой год проходящей мудреные науки на первом курсе педагогического института, и теще, регулярно присылавшей шматки копченого сала, и еще дальним родственникам, одноклассникам, бывшим однополчанам. Письма вышли на удивление длинными, обстоятельными; он как будто самому себе объяснял свою жизнь.

— Ты прямо писатель, как Верка, — заметила Мария, удивленная бурной эпистолярной деятельностью мужа.

День пролетел быстро. Иванов перечитал письма, исправил грамматические ошибки, дописал где надо «жду ответа» и «лети с приветом — вернись с ответом» — и стал укладываться в постель.

— Семьдесят вторую серию не будешь смотреть? — спросила его от телевизора Мария

— Не, пораньше лягу...

Он поудобнее устроил голову на подушке, подложил ладонь под щеку, закрыл глаза, и тут же шурин закричал:

— Сорок семь, сорок семь — ты молоденький совсем! До дна! До дна!

Иванов с удовольствием выпил, закусил пупырчатым огурчиком. Хорошо!

Обернулся к Марии. Та, будто ждала его поощряющего взгляда, протянула ему сверток:

— Поздравляю тебя, родной мой!..

В свертке оказался электрический фонарик— китайский, с регулировкой яркости, и сорок седьмой том энциклопедии. Он раскрыл наугад и прочитал о какой-то жуткой змее со смертельным ядом.

— Б-р-р-р-р! — вздрогнул он от омерзения испросил:

— Завтра сорок шестой том будет, а?

Мария загадочно улыбнулась и подняла рюмку:

— За твое здоровье!

— За смысл! — добавил шурин!

Иванов опустил глаза: носки у шурина были дырявыми.

Утром он проснулся от чьего-то пристального взгляда. Мария лежала рядом с ним, подперев голову рукой, смотрела на него. Спросонья Иванову почудился в ее взгляде страх.

— Ты чего? — спросил он.

— Просто так... Седины у тебя вроде меньше стало...

— Который час? — потянулся он к будильнику и не поверил своим глазам: стрелки показывали половину девятого, самое раскаленное кухонное время, ненавидимое Марией, никогда еще не посмевшей пренебречь им. Еще вчера в этот час она кружилась вокруг стола и плиты, уворачиваясь от шипящих масляных брызг, а сегодня лежит под атласным одеялом, смотрит на спящего мужа. Сквозь тонкую ткань ночной рубашки просвечивают соски и — о чудо! — голова ее не утыкана бигуди.

— Что случилось? — ошарашенно спросил Иванов.

— Случилось! — ответила Мария и прижалась к нему. Второе дыхание у тебя открылось...

— Это так теперь называется? — спросил Иван.

И пошло, и поехало. Каждую ночь во сне он получал тома энциклопедии, соответствующие убывающему возрасту — сорок шестой, сорок пятый, сорок четвертый, тридцать третий... двадцать седьмой... На торжество, посвященное двадцатисемилетию Ивана, шурин явился в новых носках. Наяву Иванов тоже помолодел. В три дня исчезла седина, за неделю пропал ночной никотиновый кашель, порозовели щеки и разгладился лоб.

— Экстрасенс Кашпировский по эфиру омоложение дает! — уверенно сказала Мария. — У тети Кати грыжа рассосалась...

— Ага! — сказал Иван. — Может, мне бороду сбрить?

Мария оглядела его с уважением, молвила не сразу:

— А ты ведь против меня совсем парень... Мо-ло-дой!..

И этой же ночью она пропала из многосерийного сна Иванова. Шурин поздравил его с достижением двадцати шести лет,

подарил граммофонную пластинку «Вокруг света № 8» с тягучей мелодией «Маленького цветка», выпил за его здоровье.

— Где Мария? — спросил Иван.

— Какая Мария? Сеструха, что ль, моя? Машка? А ты когда успел с ней познакомиться?..

«Да я ведь еще не женат на ней!» — сообразил Иван.

— Как же теперь с энциклопедией быть? — произнес он вслух. — Сегодня черед двадцать шестому тому...

— Ах, энциклопедия! — всплеснула руками неведомо откуда взявшаяся за столом давняя, забытая подружка — Галина. Галька, Галчонок... Чернобровый, черноглазый дружок. — Мне подвернулся как раз один том, я и купила... Умная книга.

— Спасибо! — поблагодарил Иванов. — Как поживаешь, Галчонок, ты ведь в Канаде теперь?..

— Перегрелся? С утра отмечаешь? Не закусываешь? — Галина прикоснулась прохладной ладошкой к горячему иванову лбу. — В одном городе живем, забыл? В одной школе учились, за одной партой сидели... На одной улице — имени Августа Бебеля — живем. Не забывай, Ванечка! Не забудешь?..

Она улыбнулась, погрозила ему шутливо пальцем.

— Не забуду, — сказал он и подумал с непонятным отчаяньем: «Забуду, забуду, давно забыл!»

Утром он проснулся с чувством давнишней легкой грусти, когда грустишь не о проходящей жизни, не о напрасных надеждах, а просто так — потому что осень, или — наоборот — весна; потому что день длинен и жизнь длинна, потому что воздух чист и видно далеко, и можно сколько угодно смеяться, а плакать пока не о чем... В молодости грусть приходит, как любовь, без причины. Утром он сбрил бороду. Мария ахнула:

— Ваня, ты как на свадебной карточке! Просто пацан!..

На секунду задумалась:

— Что-то с тобой делается... Что-то...

И еще раз ахнула, схватилась за сердце:

— Влюбился, гад! А я голову ломаю: чего он хорохорится?..

— Ну что ты! — не очень горячо принялся он разубеждать ее, сам не зная, как объяснить происходящую с ним метаморфозу.

— Лидка приворожила, сучка! — определила Мария. Лидка была ее закадычной подругой; подруги всегда на подозрении.

— Вот выдра! И глаз не кажет какую неделю! Стакнулись, значит?!.

Ивану стало приятно; ничего так не украшает супружескую жизнь, как ревность.

Мария заплакала. Обидно стареть, смотреть на мужа, который розовощек, как ванька-встанька, смахнул бороду, как пыль, с лакированной морды, и смотрит голодными молодыми глазами.

— Будет тебе, Мария! — сказал Иван. — Не придумывай чепухи.

— Чепуха?! Почему ты так выглядишь? Разве тебе пятьдесят? А мне сколько?..

— Не знаю я ничего, — признался он, — и не покривил душой: кто может знать, что происходит с нами во сне? А наяву?

Наяву он совсем перестал ходить к автовокзалу со своим немудренным товаром. Ему вдруг стало стыдно приставать к прохожим; он как будто увидел себя со стороны — этакий мальчонка-лотошник.

Чтобы избежать объяснений с Марией, он уходил из дома и бродил по улицам. Очень скоро он уяснил себе, что бесцельные шатания его отнюдь не бесцельны. В какую бы сторону он ни направлялся, за какой бы угол ни сворачивал, в итоге все равно оказывался там, где он не был миллион лет. То он останавливался у старого, вросшего в землю одноэтажного дома, изумленно узнавая в нем именно тот, в котором тридцать лет назад жила одна надменная одноклассница — как звали ее? — которую он долгими часами дожидался здесь; то упирался взглядом в грязную громаду клуба мелькрупкомбината, в зале которого давным-давно он вместе с тысячей других стриженых мальчишек ожидал отправки в армию. Тогда в этом клубе какие-то нудные майоры и полковники читали дисциплинирующие лекции, а на улице у окон теснились украденные темнотой силуэты родителей, а среди них и мать Иванова, опухшая от слез, все пытавшаяся передать ему через важных дежурных стеклянную банку с горячей куриной лапшой.

Иванов долго стоял у клуба, пытаясь хоть что-то рассмотреть через замызганное, пыльное окно, представляя, каким же он был тогда, почему не плакал, когда разлетелась вдребезги банка с лапшой, выскользнувшая из неуклюжих пальцев подпитого дежурного; тысяча мальчишек хохотала над смешным происшествием, и он тоже хохотал.

Однажды в своих скитаниях по городу он завернул в кино. В зале было пусто, неуютно. Шел фильм о жизни бандитов и их возлюбленных, Иванов никак не мог уловить смысла происходящего на экране, да и не пытался. Он думал, что все последние дни отнюдь не он, прежний Иванов, просыпается в постели рядом с Марией, ходит по улицам, размышляет о жиз-

ни, а неведомо откуда взявшийся чужой мужик — зритель. Посторонний, он смотрит на то, что произошло с Ивановым за пятьдесят лет, и ему нисколько не обидно, что не стал Иван Иванов космонавтом, хотя и мечтал, что так и не дождался надменной одноклассницы, что потерялись, позабылись закадычные друзья, да что там друзья — потерялась страна, исчезла, засыпана пылью, обрывками пожелтевших газет, кровавыми бинтами.

Зрителю не нравится скучноватый сюжет, умещающийся в одном абзаце: родился, учился, шлифовал, женился, заводил детей, пару раз хорошо выпил, почти столько же раз хорошо закусил. Денег не накопил, дети разлетелись, в почках камни — и кино уже крутится к финалу, к титрам. Зритель недоумевает: не выйти ли из темного зала под горячее июньское солнце? А где же сам Иванов?

...Двадцать пятый, двадцать четвертый, двадцать третий тома энциклопедии ему дарила Галина, ласково улыбалась, шептала:

— Нам хорошо вместе, правда?

— Да! — откликался он. Ему и взаправду было хорошо во сне. Первоиюльское солнце заглядывало в окно, пробиваясь сквозь густую зелень сонных деревьев, — и стояло солнце высоко-высоко; хорошо тем, кто родился в июле — и ранние яблоки поспели, и черешня налилась, и крепкий редис просится в рот. Свеж, зелен, с первым чувством оскомины на зубах бесконечный июльский день.

Двадцать второй, двадцать первый, двадцатый том ему вручил знатный шлифовщик, старый, лысый, под присмотром которого Иван постигал станочное искусство.

По утрам Иванов не сразу мог разобраться — спит он или уже проснулся.

Мария с головой ушла в предъюбилейные хлопоты: и водка, закуска, посуда, стулья, которых всегда не хватает, и раскладушки для приезжих или внезапно ослабевших гостей, телефонные разговоры, подсчет расходов — с утра до поздней ночи ни присесть, ни дух перевести.

Девятнадцатый и восемнадцатый тома энциклопедии ему подарил густоусый капитан Урсак, не то хохол, не то немец, мастер шагистики, поэт плаца, философ казармы. Он учил Иванова армейским премудростям: мыть лестничные марши снизу вверх, чистить сапоги зубной щеткой, январской ночью, натянув на голову лягушечью кожу противогаза, долбить ломом лед в выгребной яме.

После того, как Иванов отпраздновал во сне совершеннолетие, получил паспорт и впервые попробовал вина, Мария наяву перешла спать на диван в зале.

Он ничего не говорил ей, да и что скажешь? Она с тревогой поглядывала на него, иногда всхлипывала. Он размышлял: «Вот если бы можно было сделать так, чтобы с человек оставался в том возрасте, который ему больше всего нравится, и чтобы год на календаре оставался одним и тем же. На Новый год поднимаешь бокал: с новым шестьдесят первым! Через год опять: с наступающим шестьдесят первым! И так всю жизнь!..»

Получив шестнадцатый том Большой энциклопедии, он развернул его на подоконнике распахнутого окна и замер: на улице плескалась жизнь задуманного им шестьдесят первого года. По серой булыжной мостовой катились «Победы», «Газики», кое-где мелькали «Волги» с испуганными никелированными оленями на капотах; из алюминиевого радиоколокола на крыше кинотеатра имени Гагарина томный мужской голос на чистом испанском языке призывал целовать его крепче и крепче «Бесаме, бесаме мучо...»; огромный фанерный шит у кинотеатра извещал, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме; над чем-то хохотали мальчишки в белых пикейных рубахах с закатанными по локоть рукавами, а с ними девчонки — тоже в пикейных, но цветных платьях; вовсю дымили трубы «почтового ящика» — номерного завода, на котором — знал весь город, да и враги передавали по «Би-Би-Си», —делали боеголовки, гранаты и другие полезные товары. И было в этом первоиюльском городе шестьдесят первого года что-то такое, что смотришь на этот город — не насмотришься, дышишь его воздухом — не надышишься. Может, в воздухе растворено по небрежности или умыслу успокоительное лекарство, а может, солнечная активность меньше привычной?

— Красивый у нас город, правда? — мать осторожно положила ему руку на плечо.

— Красивый, конечно... Мама, а как ты считаешь, коммунизм в каком году наступит?..

— Скоро, совсем скоро, — и мать вздохнула непонятно о чем.

Пятнадцать, четырнадцать... одиннадцать, десять... пять — даты мелькали, менялись, но день оставался все тем же, безмятежным, торжественным. Ивана поздравляли, обнимали, целовали. Теперь за столом вместе с матерью сидел отец — живой, веселый, чуть хмельной. А рядом с ними — сестра Милочка, бабушка Александра Львовна, бабушка Фатима, тетя Маруся с

заднего двора — тоже живые и улыбчивые, поднимали за него бокалы, не забывали подливать и ему фиолетового морса.

Его поздравляли с тем, что ему исполнилось пять лет, а он сидел — плечистый, заросший недельной щетиной — и никто не удивлялся, и он сам не удивлялся. Только мелькало иногда в голове: а что же будет через пять лет, то есть через пять дней?

Четвертый том энциклопедии показался ему неподъемным.

За два дня до пятидесятилетнего юбилея ему исполнился во сне годик, за день до торжества — он только-только родился...

Подготовка к приему гостей вступила в такую фазу, когда выглядела как разливка стали из мартеновской печи — жар, снопы искр, огромный ковш, крохотные фигурки сталеваров у огнедышащего зева... Иванов пришел на кухню.

— Маша, я уже месяц к автовокзалу не хожу, — признался он.

— Я знаю, — просто сказала она и вывалила перед ним на стол гору лука:

— Займись, не мне одной плакать.

Он вооружился ножом, и они принялись проливать слезы.

— Что-то со мной происходит, — сказал он.

— Конечно. Правильно, что опять бороду отпускаешь. Мужчиной будешь выглядеть, не сопляком.

— Мне приснилось сегодня, что я только родился...

— Ты Верку-писательницу позвал? — спросила Мария.

— А вдруг я завтра исчезну? — спросил он. — Во сне каждую ночь мой возраст уменьшается... больше некуда уменьшаться.

— Если с самого утра начнешь наливаться, то конечно исчезнешь!.. Ты скажи мне лучше: у вас с Лидкой правда ничего не было?

Он не стал врать:

— Правда!..

Мария обняла его, поцеловала в щеку, губы.

До самой ночи, воюя с мясорубкой, орудуя ножами и терками, он помогал Марии. Только за полночь отправился спать и под продолжающееся сражение кастрюль и сковородок на кухне улегся на кровать. Подождал Марию: может сегодня оставит диван? Не оставила, что-то, кроме вопроса о Лидке, не давало ей покоя.

Он закрыл глаза и пропал. Растворился, как кусок сахара в черном кофе, утонул без боли и отчаянья. Чернота, безмолвие... Ни ширины, ни длины, ни тиканья будильника...

Утром, когда солнце едва добралось до флагштока с новеньким государственным флагом, Мария побежала сначала

на маленький базарчик за свежей ягодой, потом к маникюрше — не быть же перед гостями деревенщиной с облупленными ногтями, из парикмахерской понеслась в прачечную. В общем, домой примчалась только к десяти.

В квартире все уже было поднято на дыбы привлеченными родственницами и подругами. Выл пылесос, звенели тарелки, сияние хрусталя доводилось до бриллиантового, готовились занять свои места на необъятном столе графины, вазы, фужеры — вся стеклянная и фаянсовая рать.

— Ивана завтраком накормили, юбиляра-то? — спросила она у трудолюбивых женщин.

— Накормили бы прямо в койке! — захохотала подружка Лидка, сучка на подозрении. — Только нет его, куда спрятала?

— Странно, — сказала Мария и заглянула в спальню. Мужа не было.

— К дружкам, подлец, наверное, рванул. Надуется пивом... А это что за талмудища такие?..

На кровати, на полу, на столе в спальной лежали множество огромных, с золотым тиснением, томов — целые груды. И кто только додумался подарить полтонны макулатуры? Странно...

День набрал обороты и помчался к застолью. Прибыли шурин, Верка-писательница, всемирный ветеран дядя Коля, дважды приходил почтальон с поздравительными телеграммами.

А Ивана не было. Все-таки стервец он.

Пришел Егорий Селиванович, заводской профсоюзный командир, пришли дачные соседи, пришли маньяки доминошного спорта. Еще одну телеграмму принес почтальон, самую дивную — из Канады, от какой-то Галины.

А Иванова все не было.

— Пора за стол! — вспомнила писательница. — По рюмочке опрокинем, скрасим ожидание, а там виновник объявится!..

— Конечно, конечно! — на грани истерики поддержала Мария Верку.

— Объявится, обязательно объявится!..

Выпили по одной, по второй. Пришли все опоздавшие, заставили все пространство квартиры цветами. Мария ушла в спальню, повалилась на кровать. Вспомнила вчерашние слова Ивана: «Вдруг я завтра исчезну?..» И горячие слезы смыли французскую косметику: растворенные в слезах румяна, тушь, пудра капали на полотно наволочек, и ей казалось, что вместе со слезами из нее уходит и жизнь — вот такая раскрашенная, напомаженная, а на самом деле грошовая, пустячная.

Где Иван, где?

Пришла ее успокаивать Лидка.

— Не убивайся! И в прошлом году он заявился к ночи, еле на ногах стоял... Пойдем, подруженция, водочки жахнем!..

Мария вытерла слезы, поднялась печальная, растерянная. Поняла, что не в пивнушке Иван, не у дружков на даче и даже не в вытрезвитель загремел. Но где же он? Где?.. У нее не было ответа, но она точно знала — непонятно почему, но знала — Иванов не вернется. Не вернется...

Лидка перебирала толстенные тома, заглядывала под обложки, похохатывала, вычитав ерунду, пыталась растормошить подругу.

— Слушай, ты знаешь, что такое копуляция? Не знаешь? Копуляция — значит соединение... двух особей при... при... ха-ха... половом акте...

— Брось! — сказала Мария.— Чего тут смешного?..

— А вот смотри, — продолжала Лидка, — здесь все тома, а шестнадцатого нет. Нет шестнадцатого!..

— Пойдем к гостям, будем гулять, — позвала Мария, а что еще остается?..

— Наладится! — взяла ее под руку лучшая подруга; — Все обойдется, наладится, будет как надо...

Они вернулись к гостям. Как водится, еще выпили, послушали стихи, сочиненные шурином, поспорили о войне и мире с ветераном дядей Колей, спели застольную народную песню на слова Кондратия Рылеева, похвалили кулинарное искусство Марии, и многие забыли о поводе, сплотившем всех в этот час за столом. Шурин по забывчивости даже крикнул: «Горько!» На него зашикали, ну и дурак!

Мария взглянула на его дырявые носки и сказала негромко:

— Ладно уж, ведь на самом деле не сладко...

И все согласились с этим. Как не согласиться.

СОДЕРЖАНИЕ

РЕАЛЬНОСТЬ НОМЕР ОДИН

Глава 1. Тайный шуруп 5
Глава 2. Гайка повышенной точности 12
Глава 3. Преодоление 16
Глава 4. Атомное одиночество 19
Глава 5. Одинокое одиночество 21
Глава 6. Горькое одиночество 25
Глава 7. Разоблачение 29
Глава 8. Порок человеческий 35
Глава 9. Утро императора 44
Глава 10. День, когда винтовка выстрелила 55
Глава 11. Скитания 84
Глава 12. Казнь Пахома Пахомовича 110
Глава 13. Исход 115
Глава 14. Майна 124
Глава 15. Тайна Артура 136
Глава 16. Солнечный круг 143

РАССКАЗЫ

Эмиграция в ноябре 147
Свет земной 178
Ставка по максимуму 202
Триединство
Тайна 235
Шамбала Иванова 250
Блэк энд голд (Черное и золотое) 272
За подкладкой 293
Игра на интерес 326
Бутылочка 342
Кретин 359
Везение на все времена 369
День любви 400
Юбилей 433